

3

Вера Кезинская

Annotation

В основе сюжета романа — смелый научный поиск молодых ученых, конечной целью которого является улучшение жизни и труда людей.

- [В. К. Кетлинская](#)
 - [НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СПУСТЯ](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
-

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

В. К. Кетлинская

Иначе жить не стоит

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СПУСТЯ

Он бежал, обгоняя товарищей, перескакивая через наметы закопченного снега и стараясь не оступаться в воронки. Он помнил, что нужно во что бы то ни стало добежать до градирни, откуда бьет пулемет, и в то же время помнил, что это недоброе поле — то самое, по которому они с Витей шли из Тулы в последний мирный вечер, но тогда оно было ярко-зеленое, в лиловых цветах клевера и белых ромашках. Витя срывала метельчатые травы и шлепнула его по руке, когда он захотел поцеловать ее тут же, среди поля, пусть завидует, кто увидит! А Палька Светов и увидел. Посмеялся и сказал, что они целуются прямо над огневым забоем. Витя удивилась: как странно, что где-то в глубине под этим деревенским полем бушует пламя, а Светов хохотнул: бушует! Если бы оно бушевало, мы бы получали один дым, это означало бы, что мы не умеем управлять процессом! Он водил их по станции, и дал заглянуть сквозь щель внутрь градирни на переливающуюся прохладную воду, и хвастался, и заставлял их всем восторгаться, а потом посерьезнел и сказал: «Работы еще — уйма! Уйма!» А теперь Светов где-то воюет, и неизвестно, жив ли, станция — в развалинах, и надо добежать сквозь огонь и дым до той самой градирни и точно метнуть гранату в узкую щель.

Он вдруг будто наткнулся грудью на раскаленное острие и успел жгуче удивиться, что это он — убит.

Он так и подумал: убит.

Хотя все его тело было устремлено вперед, он упал не вперед, а назад, в обжигающий холод снега, но снег, и боль, и посвист пуль сразу исчезли, он увидел свою лабораторию — свой рабочий стол, лист с кривыми распространенности элементов и среди них непонятно крутую пику аргона... Он снова пережил ошеломляющую радость той счастливой догадки: распад калия-40 — аргон... Распад калия-40 — аргон!.. Аргонный метод!..

Но я не записал.

Никто не знает. И уже не узнает?!

Мысль была так страшна, что он заставил себя открыть глаза и стынувшим взглядом увидел пасмурное неподвижное небо и мелькающие на нем фигуры бегущих солдат.

Он уже не слышал и не чувствовал, как пожилой солдат упал рядом с ним в снег, испуганно пробормотал: «Ты что, академик?» — и,

дотронувшись заскоруждыми пальцами до чистого юношеского лба, горестно прошептал: «Вот ведь как, Илюша...»

Мяч подпрыгнул, ударился о ствол лиственницы и покатился к воде. Галя съехала по обрыву, чтобы перехватить его, но мяч катился быстрее и вот уже закачался на воде, как будто стоя, весь на виду и — недоступный. Течение приткнуло его к сплотке бревен, покрутило и медленно потащило на стремнину.

Галя сбросила тапки и вступила на покачивающиеся бревна. Пока она добралась по ним до края ближайшего плота, мяч отнесло к следующему. Оглянувшись, не видят ли ее из окон госпиталя, Галя побежала по плотам наперерез. Теперь она опередила мяч, нужно было лежа подстеречь его и схватить двумя руками...

Она схватила его двумя руками и от радости не сразу поняла, что произошло. Плот весело раскачивался вместе с нею, разворачиваясь по течению, и вода весело журчала. Галя вскочила и тотчас присела, потому что край плота юркнул под воду и вынырнул мокрым, скользким, и журчащего течения уже не слышно было: течение и бревна шли вместе по извилинам реки — к повороту. Излучина была крутая, с песчаной отмелью, издали казалось, что плот упрется в песок, и Галя, прижав к себе мяч, приготовилась спрыгнуть на отмель. Но плот не ткнулся в песок, он крутанулся вместе с течением и остался на стремнине.

И тут Галя услышала глухой рокот воды на порогах.

«Думал — проскочит, а лодку ка-ак брякнет о камень...» — рассказывала повариха. Три человека утонули тогда. Еще до войны. Кузька говорил: если есть характер, всегда найдешь выход. Лейтенант, что без ноги, смеялся: «Ты, Галочка, как мальчишка, не перепутали твои родители?» Что бы тут сделал мальчишка? Кузька — что сделал бы?

Отмель осталась позади. Русло сжималось в скалах. Вода завинчивалась воронками, стала темной и сердитой.

Закусив губу, Галя легла на середину плота, подбородком ожесточенно прижала мяч, распластала руки и вцепилась пальцами в осклизлые выпуклости бревен. Если вцепиться крепко, не слететь — пронесет.

Теперь вода не журчала, а ревела. Толчок! Еще толчок. Как ревет вода! Во всем теле отдаются толчки. Закрывать глаза, так легче. Треск. Вода окатила всю. Не выпустить мяч! Треск. Прыжок. Плот становится дыбом. Удержаться! Удержаться! Еще прыжок, треск. Мама! Все вертится...

Что это?

Плот тихо покачивается. Рев воды остался позади. И страшные пороги

отсюда кажутся нестрашными: торчат из воды несколько камней, а вода разбивается о них, разбрасывая искрящиеся брызги.

Мяч цел.

Еще поворот — и запруда.

Тапки остались там, под обрывом.

Только бы не опоздать к ужину! Только бы не опоздать, а то мама найдет тапки и с ума сойдет. Только бы не опоздать и чтобы мама не узнала...

Она садится на плоту и зажимает мяч в коленях. Почему-то мелко трясутся колени. И руки. И даже зубы лязгают.

Вот бы рассказать Кузьке! И Матвей Денисовичу. Он, наверно, не раз бывал в таких переделках. Это и есть «переделка». Вот оно что такое. И Никите рассказала бы, если б Никита был здесь. А никому нельзя. Разве что лейтенанту без ноги — тот не проболтается.

Он проходил по длинным школьным коридорам, уставленным койками. И в открытые двери классов были видны койки — одна к одной, много коек. И на всех лежат или сидят раненые. Стены белые, койки белые, марля бинтов белая. И где-то тут — Татьяна в белом халате, как у санитарки, что поспешает за ним и приговаривает:

— То-то обрадуется наша золотая, вот радость-то голубушке, вот дождалась-то.

Это про Татьяну.

Пока он мчался сюда, он знал, что едет за своими Рыжиками, большим и маленьким, что они временно пристроились в госпитале, что они его ждут. Сейчас он впервые увидел место, где Татьяна не только как-то существовала — где она работала. Вон сестра в белой косынке склонилась над койкой, видна обнимающая ее за шею мужская рука, — этой сестрой могла бы быть Татьяна. По коридору идет, отирая со лба пот, женщина в забрызганном кровью халате, — и это могла бы быть Татьяна?!

Санитарка остановилась на пороге спортивного зала — в нем еще сохранилась шведская стенка, на перекладинах висели в ряд полотенца. Тут коек было особенно много.

— Татьяна Николаевна! — громким шепотом позвала санитарка.

Татьяна сидела на одной из коек и на колене скатывала бинт. Она подняла глаза — и вдруг вскочила и прежним легким шагом побежала через весь зал к двери. От виска отлетала рыже-золотистая прядь. И все ярче — словно разгораясь — бил ему навстречу слепящий свет.

— Олешек!

Они взялись за руки, стесняясь поцеловаться. На них глядели десятки глаз, глядели сочувственно, ревниво, печально или раздраженно, кто как, но все — не отрываясь.

— У меня всего три дня! — счастливой скороговоркой сообщил он. — Нас перебазировали в Красноярск, пока перевозят и утрясают, помчался забрать тебя и Галинку. Я уже забронировал билеты, так что...

И тут она сказала:

— Нет!..

Вскинула руку, ладонью вперед, как бы отталкиваясь, и быстро выдохнула:

— Нет!..

— Нет? — шутливо повторил он и поймал ее руку и погладил розовую шершавую ладошку. — Разлюбила?

— Нет, — уже по-иному, смущенно сказала она и оглянулась, как бы ища поддержки и объяснения у всех этих глаз — сочувственных, ревнивых, печальных, злых, всепонимающих и просто любопытных.

Связь не работала, а ждать темноты было невозможно. Хотелось вырваться из этого чертова пекла. И нужно было поскорее доложить начальнику штаба о появлении новой немецкой дивизии. Еще думалось о том, что радистка Лиза ждет не дождется его, будет приятно прийти к ней и первым делом выпить чаю, много горячего крепкого чаю.

— Прорвемся, если полным ходом, — сказал Игорь и любовно оглядел машину: он недавно вместе с водителем поставил новый мотор вместо разбитого, залатал ее и отладил.

— На том участке днем не ездят, — мрачно сказал водитель, но вспомнил, как этот отчаянный капитан трое суток возился с машиной, не по приказу, а по доброй воле, вздохнул и добавил: — Разве что на фукса.

Пока машина шла лесочком, Игорь прислушивался к рокоту мотора и думал, что мотор свободно выжмет и восемьдесят, и сто на том проклятом участке. От неожиданности немцы могут не сразу отреагировать. Дорога пристреляна, но если помчаться на большой скорости...

За последними деревьями — это были раскидистые дубы, окруженные молодой порослью, — открывался голый взгорок, за которым опять начинался дубняк.

Засвистел ветер.

С той горюшки отчетливо виден этот взгорок и дорога. И машина.

Мотор завывает, он выжимает больше, чем возможно.

Разрывов не слышно, только видны взметы жирной земли — справа,

слева, чуть впереди, опять справа. Еще раз взметнулась земля, ударив мокрыми комьями по крыше машины.

— Проскочили! — облизывая губы, сказал водитель, когда по сторонам встали дубы.

Холодная огненная вспышка возникла совсем близко, справа, и несколько дубков, роняя землю с корней, взлетели кверху, а потом начали оседать к обочине. Игорю показалось, что дверца машины распахнулась и тотчас захлопнулась, ударив его выше локтя.

— Проскочили, — подтвердил он, когда, почти не сбавляя скорость, машина свернула с дороги на проселок к штабу.

— Я уж думал — покойник! — весело сказал водитель. — Закурим?

Игорю хотелось потереть ушибленную руку, он попробовал это сделать, но невыносимая боль пронзила его тело до кончиков пальцев на ногах. Он еще подумал: закурить! — но к горлу подступила тошнота, и он начал валиться влево, на водителя.

Матвей Денисович взбирался по тропе неутомимым шагом старого изыскателя. За его спиной прерывисто дышал Юрасов, по шуршанию осыпи было понятно, как неточен его шаг.

— Последняя сопка! — ободряюще крикнул Матвей Денисович.

Она казалась невысокой, эта последняя сопка, но карабкались еще минут сорок. Юрасов все еще спотыкался.

И вот — перевал.

Какой простор вокруг! Куда ни поглядишь, курчавится и сияет зеленым многоцветьем тайга. Внизу — широкая падь с поблескивающей речкой, тут речка выглядит мирной, но километрах в трех отсюда она водопадом кидается со скалистого обрыва; издали, среди темных скал и хвои, водопад кажется струей чистого серебра, а прислушаешься — струя ревет грозно и беспокойно. Она — могучая сила, и в самый короткий срок ее нужно превратить в рабочую энергию для двух заводов, что уже поднимаются вон за теми сопками...

Юрасов белоснежным платком вытер лоб и шею, распахнул кожаную куртку — из-под куртки выглянула накрахмаленная рубашка, щегольской узел галстука. Рубашка, галстук и бархатистая серая шляпа при кожанке и охотничьих сапогах — это нелепое сочетание у Юрасова не казалось смешным.

— Мы облазили сто километров вокруг, — сказал Матвей Денисович, — лучшего створа не найти. И всего двадцать три километра по прямой...

Ему хотелось услышать похвалу знаменитого гидротехника, но

Юрасов заговорил о другом:

— Завтра же потянем сюда временную линию передачи. Обрубим ветви с сосен — вот и столбы. Станцию будем строить ряжевой конструкции, все, что можно, — из местных материалов. Бетон — только на фундамент. Сегодня главная задача — дорога! Оборудование на себе не потащишь.

— Дорога строится с двух сторон. Все силы — там. Мои изыскатели тоже добровольно пошли, вместо отдыха.

И, опять не похвалив, Юрасов сказал:

— Вас мы скоро перекинем на Иртыш, большое дело там начинается.

Он первым пошел вниз по петляющей тропе. Услыхав голоса, заторопился — и вдруг замер над кручей.

С кручи был виден карьер, откуда брали гравий, и участок строящейся дороги, перерезанный речкой. Множество женщин и девчат, в низко повязанных платочках, в мужских сапогах, нагружали тачки и бегом, бегом, бегом гнали их по доскам на трассу, вываливали гравий и тоже бегом гнали пустые тачки к карьере. Вот две тачки сцепились бортами, одна опрокинулась... Девчата переругиваются неистовыми голосами. Сзади напирают другие, тоже кричат во весь голос... У речки начали ладить мост. И там почти все — женщины и девчата. Вот группа подтягивает на волокуше толстое бревно. Маленький старичок прораб, прошедший с Юрасовым все стройки, пытается помогать и ритмично выкрикивает:

— Е-ще р-р-раз! Е-ще р-р-раз!

Юрасов проводит рукой по лицу. Глаза его влажны.

— Боже мой!.. Помните, на Волховстрое? Тачки... артели... салазки... Сотни людей в котловане и три деррика, да и то деревянные... Уже на Днепре все было по-другому.

Они стоят рядом, сразу постаревшие: резче морщины, тусклее глаза. Большое двадцатипятилетие труда — это их молодость и зрелость. Годы поисков и усилий воплощались в гидростанции, заводы, города. Казалось — на века...

— Только подумать, что ее взорвали...

Юрасов не закончил, но Матвей Денисович и так понял. Столько раз он пытался, сквозь боль и гнев, представить себе светлую красавицу — днепровскую плотину — в развалинах, и не мог.

— Где-то в тех местах воюет мой Игорь...

Это он пытался представить себе много раз на дню — дымные поля сражений и воющего сына. И тоже не мог — нынешние бои мало похожи на бои его юности. Теперь воюют моторы, моторы, моторы. А значит, и

заводы, что поднимаются за теми сопками. И вот эта кустарная гидростанция, воздвигаемая женскими руками.

Волокуши застряли на взгорке. Девчатам никак не сдвинуть их. Впрягаются, тянут, толкают сзади...

— А ну, взя-ли! А ну, друж-ней!

Матвей Денисович тяжело скатывается вниз и пристраивается в упряжку, подставив плечо под веревку.

Юрасов крутит шеей, будто тесен стал воротничок, потом легкой походкой, как всегда прямой, подтянутый спускается вниз и тоже подставляет плечо и тянет, тянет изо всех сил...

— Взя-ли! Взя-ли! По-шла-а!

Когда он входил в кабинет, гордо развернув плечи под замызганным ватником, всегда казалось, что он тут главный, и начальник становился суетлив. Но сегодня он забыл расправить плечи.

— Гражданин начальник, я еще раз прошу и требую...

— Садитесь, Егор Васильевич, и отбросьте формальности, когда мы одни.

— Александр Антонович! Что меня держит здесь — ошибка или преступление, — этого я касаться не буду. Но меня не имеют права... я не могу сидеть тут в безопасности, когда немцы в Донбассе и на Волге. Я имею право защищать... умереть за мое! Мое!

— Вы знаете, все, что я лично мог... Я поставил вас во главе мастерских. Вы даете оборонную продукцию.

— Ее выпустят и без меня! А если бы я... если бы меня перебросили в Донецк... Как бежавшего из лагеря, понимаете? А свои меня знают, они никогда не поверят, что Чубак... Я же могу столько сделать!

Начальник вздохнул и развел руками.

Чубаков поглядел на него и уже безнадежно повторил:

— Когда немцы в Донбассе и на Волге... Я мог бы столько сделать!..

Привез посылку тот же сержант, что и в прошлый раз. Сержант, который нарочно подчеркивал:

— Подполковник интендантской службы послал...

— Подполковник интендантской службы приказал...

Никто, кроме него, не называл так Костю. Говорили просто — подполковник. А этот исполнительно играет глазами и думает про себя... что он думает?

Она еще не успела распаковать посылку, когда в кабинете зазвонил

телефон. Теперь, когда всё и все сдвинулись с мест, а частные телефоны мало где работали, это случалось редко.

Многоголосый шум хлынул ей в ухо; телефонистка грозно предупредила: «Вызывает Куйбышев, не отходите!»; потом очень долго не соединяла с Куйбышевым, а кто-то далекий кричал: «Отгружаю три вагона! Три вагона!» Настойчивый женский голос требовал: «Небольшую статью, строк полтора, но покрепче!», а другой женский голос молил: «Приезжай хоть на один день, ты же можешь, на один день...» И вдруг без предупреждения раздался совсем близкий голос отца:

— Людмила? Сегодня мне сообщили, что под Обоянью убит Анатолий Викторович. Ты слышишь? При нем нашли твою фотографию. Я подумал, что все-таки следует известить тебя.

После паузы голос добавил:

— И еще убит Арон. Под Ленинградом. Ты, очевидно, здорова? Ну, вот и все.

И сразу — щелчок разъединения.

Люда на цыпочках вышла из кабинета и села на диван, оттолкнув раскиданные по нему свертки. Хотелось зареветь — и не получалось. Стукнула себя кулаком по колену и сказала:

— Дрянь!

Прислушалась к себе: ужасно ли это? Удивилась, что нет, не очень. И снова побелевшими губами шепотом сказала:

— Дрянь!

Грязный до черноты мальчишка толкал перед собою тачку с углем. Обычный мальчишка, раскопавший на терриконе куски угля и спекшуюся угольную пыль.

— Мальчик, продай угля! На кукурузу сменяю!

Катерина выглядывала через забор, окружавший землянку. Землянка давно скосилась набок и совсем вросла в землю; забор, сбитый из разномастных трухлявых досок, грозил обрушиться. Забор не укрывал Катерину, видны были ее старая, рваная кофта и шахтерские штаны. Нечесаная, на щеках сажа.

— Чего смотришь? — улыбнулась она прежней быстрой улыбкой. — Так теперь верней. Заходи во двор.

Мальчишка протолкнул тачку в узкую калитку. Развернуть ее тут негде, придется вытягивать назад... Катерина быстро набрала угля в ведро и пошла в комнату. На кровати спала девочка — розовые щеки на чистой, странно чистой наволочке. Катерина засунула руку под подушку, что-то

быстро вложила в ведро, еле слышно сказала:

— Половину отдай Сверчку. Разбросать сегодня ночью. Наши близко... А домой не ходи.

— Почему?

Он второй день мечтал заскочить домой, умыться, поесть хоть чего-нибудь горячего, домашнего.

— Я тебе должна сказать, Кузя. — Она отвернулась от него и твердо выговорила: — Вчера твоего папу... В шахте... Расстреляли и сбросили в ствол...

Несколько минут оба молчали, потом он еле слышно спросил:

— Мама где?

— С мамой — люди, — строго сказала Катерина и положила руку на сжавшиеся плечи. — А тебе нельзя. И ты иди, нехорошо тебе тут задерживаться.

Пакет из ведра уже скользнул под угли. Она помогла вытолкать обратно тачку. Держась за колючие доски, проводила взглядом худенького оборвыша — локти торчат, лопатки торчат, плечи узкие, зябко сведенные. А наклон головы — Вовин, упрямый. И улыбка — Вовина. Только когда-то он теперь улыбнется!

Город еще дымился.

На проспект Красных Шахтеров не пускали: там работали саперы. Машины шли в объезд, по Косому переулку. Переулок всползал на горку, — оттуда, с горки, они впервые увидели разбитый скелет Коксохима, по-прежнему похожего на крейсер, но крейсер, только что вышедший из боя: две его трубы гордо поднимались в чистое, бездымное небо, две другие были снесены или взорваны, торчали коротышки с зазубринами наверху.

Машина покатила под горку и обогнула шахту. Знакомые терриконы, стоящие рядом и уже давно сросшиеся внизу... Поваленный набок копер... Опрокинутые скипы без колес... Землянка у подножия одного из терриконов, когда-то оставленная Чубаком как музейный экспонат прошлого, — каменной ограды и мемориальной доски уже нет, а в землянке, похоже, кто-то живет.

Трое друзей стояли в кузове и смотрели, смотрели на все, что было знакомо с детства и теперь так горько изменилось, и еще чаще — вперед, туда, где за крышами и деревьями не было видно, но могло вот-вот показаться... Что? Что они увидят там, где когда-то так изящно изгибались трубы, высились башенки скрубберов, белели здания компрессорной и насосной, разбегались от голубой подстанции жилы проводов...

Им еще предстояло все, что выпадало людям, с боями вернувшимся на истерзанную родину: все удары, вся боль, все волнение поисков близких... Но в эти минуты, когда должна была вот-вот показаться навеки милая станция, они думали только о ней.

И они ее увидели.

Они соскочили с машины у закопченной стены с черными проемами на месте окон и зловещей пустотой внутри.

Они вошли на территорию станции через ворота, хотя ворот уже не было и от ограды остались одни обломки. Первое впечатление неузнаваемой перемены было от зелени: акации и клены, которые тут посадили в первый год под лозунгом «Каждый должен посадить пять саженцев!», — эти акации и клены уже сомкнулись кудрявыми кронами.

В конце главной аллеи несколько акаций стояли голые, засохшие, по краю глубокого окопа торчали их обрубленные корни.

На дне окопа лежало два трупа: один лицом вниз, в каске с облупившейся свастикой, другой на боку, соломенные волосы присыпаны землей.

Компрессорной нет, один фундамент. Насосная сохранилась, только угол здания будто вырван клещами. Подстанция — груда камней и покачивающиеся под ними сорванные провода.

Изрытое снарядами поле еще хранило следы прежнего: уцелели бетонные стойки, на которых когда-то лежали трубопроводы, кое-где чернеют выходящие из скважин трубы без головок — головки сняли перед отступлением, так же как компрессоры и аппаратуру.

Трое стояли, сняв фуражки, над этим кладбищем.

— Все начинать сначала... — сказал младший из трех и сурово сжал дрогнувшие губы.

Рука друга легла на его плечо. Голос звучал рассудительно:

— Почему с начала? Не с начала, а с середины. Вернее, с той же точки.

С той же? Как из дальней дали, сквозь тягостное напряжение военной страды пробилось воспоминание об ином, счастливом напряжении труда и нелегких исканиях, когда каждый успех выдвигал новые, еще не решенные задачи, когда было столько догадок, и споров, и опытов, и надежд... Какой желанной и пока недостижимой показалась двум друзьям та самая точка, и как остро захотелось вернуться к ней, чтобы двинуть вперед, и какой отрадой привиделось все, что могло ожидать их на этом возобновленном пути, — и борьба, и осложнения, и новые искания, и труд, труд, труд... Дорваться бы!

Третий, самый старший и по возрасту, и по воинскому званию, и

вместе с тем по всей повадке — самый неисправимо штатский, уже по-хозяйски осматривался и прикидывал, с чего начинать.

— Где людей найти, вот вопрос, — сказал он озабоченно. — А камень на камень быстро складывается.

— Слушайте! — вдруг пораженно воскликнул младший, и лицо его осветилось чистой радостью.

Повиснув над этим горьким полем и трепыхая крылышками, в небе торжественно заливался жаворонок.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НАЧАЛО

1

Они шагали втроем, плечом к плечу, прямо по сочной, еще не успевшей выгореть степи, никуда не спеша, позволяя ветру подталкивать их в спину. Сильный и теплый, он трепал и спутывал их волосы, вздувал рубахи и носился вокруг них, то вскидывая, то пригибая зеленые метелки типчины, раздувая золотистые сквозные шары молочая и совсем расстилая по земле и без того поникшие кисти шалфея. Наиграется вволю, пахнет в лицо горьковатыми запахами полыни и чебреца, а потом сдует с ближнего террикона бурую донецкую пыль, смешанную с черной угольной, понесет ее облаком над степью да и уронит на кусты ежевики по краям балки, на серебристые хвосты цветущего ковыля. Затихнет, даст услышать смягченный расстоянием грохот угля, ссыпаемого в бункера, разноголосую переключку маневровых паровозов и трезвон бегущего под уклон трамвая, поколышет дымную пелену над заводами и станцией — и вдруг бросит в степное раздолье кисловатый запах угля.

Друзья шагали размашисто, дышали во всю грудь и говорили во весь голос. Поговорят, необременительно помолчат — и снова кто-нибудь из трех выскажет мелькнувшую мысль; подхватят ее — хорошо, не подхватят — тоже не беда. Только одного они не касались: официального извещения со штампом Академии наук, полученного Сашей Мордвиновым, хотя именно это извещение, сулящее разлуку, оторвало их сегодня от субботних дел.

— А что, если так идти и идти, не сворачивая? Через балки, через речки, через города — напрямки. За сколько дней мы бы до Москвы дошли?

Так спросил Палька Светов, самый молодой из трех, — черноглазый, с юношески гладкими щеками и решительно выдвинутым подбородком.

— Отсюда напрямик не Москва, а Харьков, — сказал Саша Мордвинов и остановился, чтобы ориентироваться по низкому закатному солнцу.

Он был высок, тонок, загорелое лицо казалось светлым оттого, что глаза очень светлые, мягко-серые, а волосы белесые. Прищурясь, он оглядел горизонт, взрезанный тут и там крутыми холмами терриконов,

похожими на вулканы, но вулканы, все как один, с вершинами набекрень; раскинул руки, определяя направление, и не без педантизма уточнил:

— Так — север, так — запад. Конечно, Харьков.

Некоторое время они спорили, как идти на Харьков, а как — на Москву, спорили так, будто им вот сейчас предстояло идти туда.

— Поезд довезет, была бы причина ехать, — лениво подал голос Липатов и замолк.

Добрая, хитроватая улыбка еще долго не сходила с его лица — то дрогнет на губах, то подчеркнет первые морщинки возле глубоко посаженных голубеньких глаз. Низкорослый, костистый, с прочно подведенными углем ресницами, он был самым старшим из трех — скоро тридцать. Вместе с друзьями он остановился и вместе с друзьями, равняя шаг, пошел дальше, но думал свою думу. Когда он прислушался, друзья обсуждали, помогает ли альпинизм вырабатывать характер.

— Характер — это воля плюс выдержка и упорство, — говорил Саша.

— Чего стоят упорство и воля, если они просто так, без всякой пользы! — горячился Палька. — Плевал я на характер, если он не устремлен на настоящее дело!

— Чем плевать, лучше тренировать характер, — улыбнулся Саша. — В том числе и выдержку.

— На что он намекает, Палька, ты не знаешь? — поддразнивал Липатов.

— Не знаю, — буркнул Палька и ожесточенно двинул ногой круглый кустик синеголовника, но кустик устоял, не надломился, и Палька виновато поправил его носком ботинка. — Я знаю, что и чувство коллектива, и эта ваша выдержка вырабатываются в деле! На чем-то большом! Когда — умереть, но добиться!

Он склонил голову так, что уперся подбородком в грудь, и сказал с тоской:

— Хочу такого. А где оно? Китаевские «битум-альфа», «битум-бета»... сколько можно!

Саша глядел огорченно, понимая, почему Палька томится сегодня, почему такой невыносимой показалась методическая возня с навесками угля, которую навязал ему Китаев для своей нескончаемой работы о природе спекаемости углей... Конечно, вышло обидно. Вместе, втроем, кончали Донецкий институт угля. Ну, Липатов — горняк, он и не претендовал ни на что другое. А они с Палькой решили — в науку! Радовались, что их оставили при кафедре. И вдруг одного из двух, Сашу, выдвинули в аспирантуру лучшего в стране столичного института.

Работать под руководством академика Лахтина! Еще месяц назад он и мечтать об этом не смел.

— Это же только зачин, — сказал Саша, — за химией будущее. Осмотришься — нащупаешь самое интересное. А в отпуск приедешь ко мне, сходим в академию...

Он хотел самого доброго: ввести Пальку в круг новейших проблем, поискать для него перспективную тему — уж там-то, у Лахтина, сконцентрировано все главнейшее, что есть и будет... Но Палька с мальчишеской нетерпимостью отверг будущую помощь.

— Ну да, в отпуск! Хвостиком ходить! Я не в отпуск... Если я захочу, так я!..

Он сам не знал что. И не зависть томила его, хотя именно бумажка из Академии наук растревожила его сегодня. Успех Саши открыл ему, что возможностей много и кафедра Китаева — лишь ступенька к настоящему увлекательному делу, надо только понять — какому, и перешагнуть. Только бы ухватить, а там он своего добьется! Недаром же его в двадцать два года оставили аспирантом при кафедре, и Китаев скрепя сердце сказал, что Павел Светов — «многообещающий, способнейший юноша, хотя упрям, заносчив и неуравновешен...»

Палька гордился второй частью характеристики не меньше, чем первой. Виноват ли он, что старик хочет покоя, а он не хочет просиживать брюки за пустяковыми лабораторными анализами истолченного в пыль угля — только для того, чтобы установить природу спекаемости, когда уж если заниматься этим, то так, чтобы поднять производительность коксовых печей, чтобы перевернуть дыбом весь Коксохим!

Год назад Палька и подумать не мог, что его незадачливый приятель Федька, вынужденный уйти из школы в шахту, станет знатным забойщиком, чуть ли не наравне со Стахановым, а теперь Федька руководит на своем участке школой стахановского труда, и в газете пишут: «Федор Никитич Коренков сказал...» Ближайший сосед, Остапенко, ездил на совещание в Кремль и запросто беседовал с Орджоникидзе и Сталиным. Липатушка со старым Кузьменко борются за сплошь стахановский участок. Серега Маркуша — вместе кончали институт — пошел на Коксохим сменным инженером, рабочие поначалу вышучивали его, а теперь, говорят, какой-то новый метод придумал...

Палька не мог высказать всего, что бродило в нем, и сам почувствовал, что ответил заносчиво, нелепо. Саша поморщился и промолчал, Липатов начал подзуживать:

— Еще бы! Если ты захочешь, ты и в Кремль попадешь! Только

намекни, самолет пришлют! Почетный караул выставят!

— Не дразни его, Липатушка, взорвется.

— А почему не попасть? — продолжал ерепениться Палька. — Ты что ж думаешь, я буду всю жизнь у Китаева в подсобниках корпеть? Слушать его поучения? — Он согнулся, вытянул шею и проскрипел старческим монотонным голосом: — «Научное знание, мой юный друг, слагается из мельчайших частных выводов, и ваш кропотливый, незаметный труд в конечном счете...» Да ну его к черту!

— Какие уж там частные выводы, ты всю химию враз перевернешь!

— Брось, Липатушка, ведь взорвется.

Палька ринулся на Липатова и дал ему хорошего тумака, потом наскочил и на Сашу. Некоторое время они боролись, стараясь повалить друг друга, затем отдышались, подставляя под ветер распаленные лица, и зашагали дальше довольные — никто никого не повалил. Но оттого, что им было так легко вместе, каждый по-своему ощутил: неразлучной троице — конец.

Саша подумал: что ж поделаешь, одно находишь, другое теряешь.

Палька подумал: нас объединял Саша. Саша был главным. А как же теперь? Три минус один не всегда два.

Липатов с горечью прикидывал, что без Саши будет совсем скучно, если Аннушка не придет. А где она? Ждешь, ждешь...

Не принято было у них говорить о чувствах, Липатов сам не заметил, как у него сорвалось с языка:

— Эх, и жалко же терять тебя, Сашко! И рад за тебя, и жалко. Дружбы нашей.

Палька даже отвернулся: ну зачем он так?

Липатов смутился и от смущения продолжал другим, дурашливым тоном:

— Женишься — раз, в Москву укачишь — два.

Ну что ты ерунду городишь? Москва близко.

— И жена близко, да вроде проволочного ограждения.

— Чудак, ты ведь сам женатый.

— Ну, я!..

— Он холостой женатый, — сказал Палька. — Муж-заочник!

Липатов уныло усмехнулся. То, что казалось Пальке забавным, было для него хоть и привычно, но трудно. Он женился очень молодым, это была первая комсомольская свадьба в поселке, молодые торжественно поклялись ни в чем не стеснять свободу друг друга; но вышло так, что этим воспользовалась только Аннушка: поехала учиться, затем вечно пропадала

в экспедициях то на севере, то на юге, возвращалась домой измотанная, с запавшими щеками, в истрепанных ботинках. Липатов волновался о ее здоровье, каждый раз откармливал ее и выхаживал, он никак не мог представить себе, как она живет одна среди чужих мужчин, ходит пешком по горам, ночует у костров, мокнет под дождем и носит на спине мешок с пробами пород... «Я же не одна, с товарищами», — объясняла она, и тогда он томительно ревновал ее к этим неизвестным товарищам. Их восьмилетняя дочь воспитывалась в Ростове у тетки — считалось, что тетка опытный педагог и сумеет дать Иришке хорошее воспитание; правда, Липатов замечал, что во время своих приездов домой Иришка лихо ругается во дворе с мальчишками, удивляя их ростовским шиком выражений, витиеватых и обидных, — но что поделаешь, если мать — редкий гость дома! Отдохнув и пополнев, Аннушка опять уезжала в какие-то неведомые места — на карте таких названий не найдешь. Липатов писал письма как на тот свет. Ответы приходили через месяц, а то и через два, иногда и сама Аннушка уже была дома и сидела напротив него в домашнем халатике, так что рассказы о скитаниях и приключениях казались особенно невероятными.

В это лето Аннушка работала с экспедицией поблизости, в Донбассе, изучая что-то связанное с грунтовыми водами; Липатов отказался от путевки на Кавказ, надеясь, что Аннушка будет приезжать домой по субботам, но она все не приезжала, и адрес у нее был невнятный: до востребования, почтовый ящик.

— Мой случай особый, — со вздохом сказал Липатов. — А вообще-то известно: женишься — переменишься.

— Ты Любу, кажется, знаешь, — обиженно возразил Саша.

Да, они с детства знали Любу и все-таки ревновали...

— Так ведь я и то знаю, что у хорошей жинки муж по ниточке ходит и по сторонам не глядит.

— Неумно.

— Брось, Липатушка, женихи — народ нервный! — начал поддразнивать Палька.

Сашка сказал строго:

— Хватит! Переменили пластинку!

И в его голосе прозвучала знакомая друзьям категоричность, с которой нельзя было не считаться.

Не тяготясь молчанием, каждый из трех продолжал мысленно кружить вокруг этой интересной темы.

Саша думал: какой вздор! С Любой просто не может быть ничего

подобного, у нас совсем не те отношения...

Палька думал: в данном случае скорее Люба будет по ниточке ходить, но на кой черт так рано жениться? Нет, я такой хомут не надену, дудки!..

А Липатов посмеивался про себя: что они оба понимают? Женишься — думаешь одно, а получается другое. У нас с Аннушкой никто по ниточке не ходит... а разве это семья? Вот и реши, как лучше!

Они подходили к Дубовой балке, где еще устояло несколько старых дубов из большой, некогда шумевшей тут рощи. Старики рассказывали, что в первые же годы, когда бельгийцы построили шахту, они вырубали рощу для крепи. Уцелевшие дубы теперь начали сохнуть — над их разлапистой листвой торчали сухие, голые ветви.

Липатов замурлыкал себе под нос:

Как заду-у-у-умал сын жени-и-ить-ся,
Дозволенья стал просить...

Песня была унылая, и, хотя припев у нее был «Веселый да разговор!», веселого в ней ничего не было, песня кончалась смертью. Но тягучее мурлыканье Липатушки заглушил счастливый голос Саши, за Сашей звучным тенорком вступил и Палька:

Отец сы-ы-ыну не пове-е-рил.
Что на свете есть любовь...
Веселый да разговор!

Песня смолкла вдруг, на полуслове.

На той стороне балки появилась женщина.

Она была еще далеко, но в лучах заходящего солнца ее высокая фигура в белом платье казалась искрящейся и очень стройной. Шла она вольным шагом человека, наслаждающегося и ходьбой, и солнцем, и ветром.

— Чья такая?

— Вроде не наша.

— Ин-тер-ресно.

Незнакомка увидела их, настороженно замедлила шаг, потом смело сбегала по спуску, перескочила через убогий ручеек, струившийся по дну оврага, и начала подниматься по склону.

Все трое с молодой непосредственностью уставились на нее. Лицо

свежее, по-северному не тронутое загаром. Волосы рыжие или кажутся такими в закатном освещении.

Никто не успел разглядеть ее толком. Она прошла мимо и тоже оглядела их независимо, с легким любопытством.

Не сговариваясь, друзья повернули вслед за нею к поселку. Теперь низкое солнце светило им в глаза, а женщина двигалась перед ними четким силуэтом, окаймленным золотой полоской.

— Вот это краля! — сказал Липатов.

Саша усмехнулся:

— Что, зацепило?

Друзья знали способность Липатова мгновенно влюбляться и привыкли подшучивать над этим.

— Ты, жених, молчи уж! Кому-кому, а тебе на женщин теперь не засматриваться. Засматриваться предоставь другим. — И Липатов кивнул на Пальку, который так и шагал с приоткрытым ртом, не отводя глаз от светящегося силуэта.

Палька покраснел.

— А чего засматриваться? Подумаешь, невидаль!

— Оно и заметно.

— Что заметно?

— Что невидаль! Даже рот раскрыл.

Женщина остановилась — и разговор разом оборвался. Она прикрылась рукой от солнца и неторопливо разглядывала все, что раскинулось перед нею. И трое друзей придержали шаг, оценивая знакомую картину по-новому.

С детства они привыкли к тому, что за родным поселком — степь. В детстве степь казалась почти неоглядной, а потом — потом уже и не думали, какая она, настолько она была своя. Теперь же вдруг увидели, как она ограничена со всех сторон: позади, за Дубовой балкой, совсем близко вырастает поселок Азотно-тукового завода, а справа километрах в полутора тянутся многочисленные здания самого завода и высятся его трубы — две дымят, а третья распустила по ветру ярко-рыжий лисий хвост — отходы производства, окислы азота.

Слева степь обрывалась у другой балки — Дурной, куда стекала сажа от Коксохима. Сажа оседала по берегам озерка, разлитого в ее широкой чаше; время от времени грузовики забирали сажу и увозили куда-то. Вымахнув прямо на край балки, один к одному лепились неказистые домишки Нахаловки — шахтерского поселка, возникшего тут стихийно; каждый строил так, как бог на душу положит, в большинстве землянки, то

есть глиняные мазанки, поставленные прямо на грунт, с крошечными оконцами и кривыми трубами. Чубаков мечтал снести Нахаловку, переселить ее жителей в новые дома — да скоро ли настроишь этих домов для всех, когда народу все прибывает!

Два террикона стояли рядом, сросшиеся между собою, как две вершины Эльбруса, только вершины были черные, увенчанные скиповыми подъемниками; склоны дымились, будто лава после недавнего извержения вулкана, — тлеи выкинутые вместе с породой угли и сера. Черные вершины отвалов господствовали над всей округой; если присмотреться, их можно насчитать десятка полтора, а то и два. Мимо шахты, по мосту, перекинутому через отрог Дурной балки, бежал красный трамвайчик, гордость поселка, — его пустили всего год назад, и дорогу из Донецка в поселок замостили год назад. Это было торжество, Чубаков произнес речь, а самый старый житель поселка, дед Никифор, перерезал ленточку... Но заезжей красотке, вероятно, кажется, что дорога была всегда, она и не поверит, что тут после дождя в жидкой глине тонули лошади...

Прямо перед ними — и перед нею — в яркой зелени молодых садов стройными рядами стояли домики поселка имени Челюскинцев. Трое друзей помнили, что тут недавно была степь, помнили домашние разговоры о новой затее: государство дает шахтерам ссуды с рассрочкой на много лет, помогает материалом и транспортом — стройтесь, товарищи шахтеры! Трудно шли люди на такое необычное дело, сперва и десятка застройщиков не набралось, а потом понравилось, поселок начал расти и расти. В то время только и разговору было о спасении челюскинцев со льдины, так что новому поселку присвоили имя челюскинцев, а улицы между порядками называли как кто хочет, но все выбирали названия торжественные — имени Парижской коммуны, Социалистическая, Революционная, имени Артема... Улицу, где поселились Световы, назвали именем Клары Цеткин: ее бесстрашная речь при открытии рейхстага осталась в памяти, и всем казалось, что таким названием они бросают вызов фашизму, вызов Гитлеру, который в те дни захватил власть и пер в диктаторы.

Отсюда, из степи, домики поселка виделись маленькими и до смешного одинаковыми: стена в три окошка на улицу, да пристрочка веранды, да негустая зелень яблонек, абрикосов и вишен, что еще не успели разрастись, а надо всем этим, замыкая порядки домов, даже издали мощная махина Коксохима: на фоне пылающего заката будто плывет четырехтрубный крейсер, смешивая с облаками тяжелые клубы своих дымов.

Женщина разглядывала все это, козырьком пристроив над глазами

незагорелую руку, Видела ли она все то же, что и они? Или сморщила тонкий нос: дымно, пыльно... Кто знает, что видит залетная птаха, невесть зачем прибывшая сюда?

Солнце опустилось за трубы Коксохима, золотая кайма погасла, фигура женщины стала обыденной. И эта обыденная женщина, подойдя к окраине поселка, рупором сложила ладони и протяжно выкрикнула:

— Галин-ка! Галю-у!

Белое платье промелькнуло мимо палисадников и скрылось в проулке.

Саша скосил глаза на часы — Люба уже дома.

— Наконец-то я вас нашел! — раздался сбоку отчаянный возглас, и откуда ни возьмись метнулся к ним худенький парнишка лет двенадцати. Его босые ноги отважно приминали и траву, и крапиву, и колючки.

— А чего тебе? — небрежно отозвался Палька.

Парнишка не ждал такого вопроса. Выражение радости сошло с его лица, он отвернулся и уже не старался попасть в ногу.

— Ну что, Кузька? — ласково спросил Саша, обнимая его за плечи.

Кузька вывернулся из-под обнимающей руки: Саша был женихом сестры, его внимание дешево стоило. Саше он так же не нужен, как и другим; вот ведь разговаривали о чем-то своем, а подошел к ним — замолчали...

— Все в порядке, пьяных нет! — со злостью крикнул Кузька и, засвистев, побежал вперед, припадая то на одну ногу, то на другую, когда подворачивались колючки.

— Пошли к Кузьменкам? — предложил Саша.

— Да стоит ли? — насмешливо откликнулся Палька.

И они пошли вслед за Кузькой в поселок.

Кузька вихрем пронесся мимо землянок Нахаловки и вбежал в окраинную улочку поселка Челюскинцев, где недавно играли в городки, но никого из мальчишек уже не было. Линии, обозначающие города, наполовину замело пылью.

Кузька потопал по ним босыми ногами и побрел куда глаза глядят, стараясь подавить обиду.

Сделал глупость, поперся за людьми, когда у них свой разговор, — ну ладно! Но Палька-то заважничал! «Чего тебе?» Липатов — начальник участка да еще член парткома, но он-то как раз и не задается. Саша хоть и

пришлся к Любе, но все знает и говорит очень интересные вещи. «Вторая пятилетка — пятилетка химии» — почему? Шахтеры гонят добычу — пятилетка. Реку Днепр перегородили — пятилетка. Почему же химия? Саша говорит: «А ты знаешь, что пуговицы из творога делают?» Он знает, кажется, все на свете. А Пальке чего гордиться? Мама говорит, он был «сущее несчастье» и она полотенцем гнала его от забора: «Ступай, ступай, занимается Никита, нечего посвистывать!» А Никита через забор перескакивал к нему, и они пугали парочки в саду; один раз живую крысу спустили по водосточной трубе школы прямо девчонкам под ноги. Отец говорил: «Плохая у тебя компания, Никита!», — это про Пальку. А теперь, скажи пожалуйста, какой серьезный!

Обидно, потому что Палька все-таки молодец. И Саша, и Липатов. Ни от кого не услышишь таких разговоров, никто не спорит так много о самых разных вещах... Жалко им, что Кузька послушает?

Никто не понимает Кузьку, даже мама: «Где шатаешься?», «Опять рубаху порвал!», «Чего сидишь без дела, сходи в лавку!» А Кузька не шатается и не сидит без дела. Он думает. Он слушает. Он читает все, что попадает под руку, и особенно газеты. Другие мальчишки считают, что в газетах — скука, Кузька не согласен: он всегда вычитывает там важное. Вредителя разоблачили... При взлете учебного самолета сломалось шасси, летчик шесть раз вылезал на плоскость, пытаюсь починить, а потом ловко посадил самолет на одно колесо... В Магнитке задули новую домну, как странно: «задули»... На зимовке в Арктике медвежонка белого поймали и приручили... Старший лейтенант Филонов на мотоцикле «Красный Октябрь» прыгнул с помощью трамплина на семь, потом на десять, потом на тринадцать метров... Пограничники выловили банду шпионов и диверсантов...

И почему-то все самое интересное происходит именно теперь, когда Кузьке никуда ходу нет. Кузька не собирался стать шахтером, его манили необыкновенные профессии: водолаз, верхолаз, исследователь вулканов. Но если б он был шахтером, как брат Вовка, он закатил бы такой стахановский рекорд, что никто не обогнал бы!

Все только отшучиваются, если человеку двенадцать лет. И все свои мысли и разговоры берегут промеж себя: «Ты чего тут крутишься?», «Спать пора!», «Зачем ты взял мою книгу, это еще что за новости — книги таскать!» А Кузьке нравятся те книги, что читают взрослые. Не совсем понятно, но тем интересней думать над ними, добираться до смысла. И Кузьке нравится слушать, как отец с Липатовым говорят о Гитлере и об итальянских «молодчиках», о том, кто и почему просчитается; это у них

получалось очень убедительно; даже странно, почему отец и Липатов так здорово все понимают, а те, кто «просчитается», не понимают...

Пойти домой, что ли?

Не доходя до своей калитки, Кузька увидел девчонку в розовом платье на заборе панфиловского дома. Она преспокойно пригнула к себе ветку вишни и что-то на ней рассматривала. Что она там рассматривает? И что это за девчонка такая — с большим бантом в рыжеватых растрепанных волосах, в платье с оборками и белых носочках?

— Эй ты, пигалица! — крикнул Кузька.

Девчонка не вздрогнула и не смутилась, а весело повернула к нему скуластое, выпачканное вишневым соком лицо.

— А тебе жалко?

— А ну слазь!

Девчонка не слезла, она запустила в рот несколько вишен и выплюнула на Кузьку вишневые косточки. В ту же минуту она слетела с забора от сильного удара по ногам. Видимо, Кузька не рассчитал — девчонка так грохнулась об землю, что осталась лежать и заскулила. Испугавшись, Кузька сказал для храбрости:

— Ну вот, теперь реветь будешь.

Но она вскочила, как на пружинке, размазала по лицу пыль и сказала, презрительно поблескивая сухими глазами:

— Вот еще! Из-за всякого сопляка буду я реветь!

Если бы это была своя, поселковая девчонка, он бы знал, как с нею поступить. Но в этой нарядной городской девочке, неожиданно находчивой, было что-то непонятное и сдерживающее. Вместо того чтобы дать ей затрецину, Кузька засмеялся и сказал примирительно:

— Ишь ты какая отчаянная!

Девочка подмигнула и тоже примирительно спросила:

— А вишни чьи? Ваши?

Тогда он подпрыгнул, пригнул ветку и щедро предложил:

— Бери.

Но она, видно, уже наелась или разрешение лишило вишни всякой приманчивости. Кокетливо улыбаясь распухшими губами, она сорвала две сережки и нацепила их на уши. Глаза у нее были темные и блестящие, как эти вишни. Вишневый сок лиловыми разводами застыл на ее щеках и крепких скулах.

— Ты откуда взялась?

Девчонка мотнула головой в сторону города.

— Приезжая?

— Ага.
— Откуда?
— Из Москвы. — Она подумала и важно добавила: — Кончим дела и поедem в Сухум.
— А чего вы тут делаете?
Девчонка оглядела Кузьку и гордо проронила:
— На консультации приехали. — Но тут же, устыдившись, добавила:
— Это папа. Мы с ним...
— Он кто?
— Профессор.
— Про-фес-сор? А по чужим садам вишни воруеть. Профессорша!
Девчонка хмыкнула и доверительно сказала:
— А мой папа тоже вишни воровал. И яблоки.
Кузька ответил доверием на доверие:
— Я тоже. — И вернулся к тому, что его интересовало: — Он по какой науке профессор?
— По химии. — Помолчала и прибавила: — Гео.
Он не понял, но спросить постеснялся.
— Химия сейчас самое важное. В этой пятилетке.
Девчонка кивнула не очень уверенно и в свою очередь спросила:
— А вы кто?
— А мы шахтеры. И отец, и брат.
— У тебя один брат?
Кузька помолчал и неохотно ответил.
— Два.
— Вот счастливый! У меня — никого... А второй — кто?
— Какая любопытная! Кто да кто. Зачем тебе?
Где-то за домами, то ближе, то дальше, женский голос звучно выкликал какую-то Галинку-Галю-у... Уж не ее ли? Но девчонка и ухом не повела.
— А ты в каком классе?
— В шестом... перешел.
— А я в третьем... перешла.
Кузька только успел подумать, что девчонка еще мелкота, как она придвинулась поближе и чистосердечно предложила:
— Давай дружить, а?
Он подумал, что она все-таки молодец, не заревела и вообще ведет себя что надо; не отвечая, спросил:
— Как тебя звать-то?

— Галина. А тебя?
— Кузь... Константин.
— А Кузь это что?
— Это меня ребята зовут так. Кузька. Кузьменко моя фамилия.
— И я тебя буду звать Кузька, хорошо?
— Зови, мне-то что!
— В гостинице такая скучища! Ребят ни одного, внизу рояль стоит, а играть запрещают. Ты ко мне приходи, у папы такие альбомы есть! В красках. Придешь?
— С чего я вдруг пойду?
— А просто... Ты в этом доме живешь?
— Не. Вон в том, где дуб, видишь? А эти альбом о чем?
— Научные, — туманно ответила Галинка: должно быть, не читала в них ничего, только картинки смотрела.
— А я тут два дня вредителя выслеживал.
У девчонки округлились глаза, округлился рот — вот это да!
— А ты думала, о бдительности просто так пишут?
Галинка растерянно молчала: она совсем об этом не думала и не читала.
— А он чего делал?
— Ничего не делал. Ходил, смотрел. С фотоаппаратом. Я ему два снимка засветил. Обломком зеркала.
Он не торопился рассказывать, наслаждаясь ее потрясенным видом.
— А он... чего снимал?
— Землянки, — с презрением бросил Кузька. — Делал вид, что снимает старорежимные землянки. А поверх них завод видно, чуешь?
— Чую... А потом? Арестовали его?
— Исчез он куда-то. Сел на трамвай и уехал в город. Я и туда ездил. Не нашел.
Конец рассказа получился слабее начала, Кузька и сам почувствовал это, и по лицу девчонки видно было. Она оглянулась, запоминая место.
— Так ты в том, где дуб? Я завтра приду после обеда, ладно? И свистну.
— Свистнешь?
Она сунула два пальца в рот и пронзительно свистнула — не хуже мальчишки. И сразу из-за домов донеслось:
— Галин-ка! Галю-у!
Галинка пригладила без особого успеха волосы, придержала одной рукой бант, а другой рукой сильно дернула за прядку, на которой он

держался, чтобы бант встал на место.

— У тебя все лицо вишней перемазано.

— Ну и пусть.

— А ты скуластая.

— Это я в папу. Папа тоже скуластый.

— Тебя кличут?

— Кого ж еще?

Она звонко отозвалась: «Иду-у-у!» — и, не прощаясь, побежала на зов, вздымая тучи пыли.

3

Перейдя по камням черное болотце в отроге Дурной балки, друзья поднялись к крохотной мазанке, притулившейся на скате.

— Ты жива еще, моя старушка! — пропел Липатов.

Саша на минуту остановился, оглядел и землянку, и кособокий очаг с высокой кривой трубой, стоявший в пяти шагах от нее, и разросшиеся, пышно цветущие кусты шиповника.

— Цветут, — посуровев, отметил Саша и прошел, склонив голову как перед могилой.

Когда-то, несмышленишем, он ненавидел эту убогую землянку и чудного старика, жившего в ней. Старик был до жути худ, жилист, остронос. Его руки с длинными пальцами всегда шевелились, будто хватали, мяли что-то невидимое. В Нахаловке старик слыл «тронутым», мальчишки смеялись над ним, и для Саши было страшным открытием, что этот «тронутый» — его дядя. После похорон матери дядя цепкой рукой взял Сашу за плечо и повел к себе.

Что это был за диковинный человек! Один из старейших шахтеров в поселке, он в молодости много пил и случайно пережил памятную в Донецке катастрофу, когда от взрыва газа погибла в шахте вся смена, пятьсот тринадцать человек. Было это в понедельник. Запив в субботу и закатившись «гулять» на соседнюю шахту, Дядя явился домой во вторник, когда его жена уже сутки считала себя вдовой. С тех пор он стал пить еще больше, оглаживая бутылку и приговаривая:

— Спасла, родимая! Выручила, милая!

Как и почему покинула его жена, никто толком не знал. Когда Саша поселился у дяди, тот жил один, почти не пил и в шахте не работал: болел силикозом. Целыми Днями старик читал, философствовал и что-либо

придумывал. Одно время он решил культивировать шиповник, для чего пересадила к мазанке несколько кустов, подрезал их ветви, удобрял землю, поливал кусты каким-то раствором, оставлял только самые крупные бутоны и рано утром, как ребенок, бежал посмотреть, не произошло ли чудо, не распустилась ли роза... Где-то прочитал он о лечебных травах, увлекся, бродил по степи в поисках каких-то особых трав, неизвестных медицине, варил их и настаивал на водке, устраивал причудливые смеси — и уверял Сашу, что вылечится сам и будет лечить других лучше всяких докторов. Однажды он заявил, что берет за ум и обеспечит верный заработок, чтобы Саша мог учиться. Два дня он малевал огромную вывеску:

*ПРИНИМАЮ ПОЧИНКУ РАЗНУЮ ОБУВ
ЗАЛИВКА ГАЛОШ ЛУДИТЬ ПАЯТЬ*

Сперва в Нахаловке только смеялись над затеей «тронутого», потом круглолицая девчушка с косой принесла в узелке четыре пары сношенной детской обуви — из семьи Кузьменко — и сказала:

— Когда почините, мама пришлет папины.

После Кузьменок и другие стали приносить обувь, но чинил ее с грехом пополам Саша; дядя только руководил: он был дальнорук, гвоздики расплывались у него перед глазами, заплатки ложились не на место. Дырявой посуды и ведер набиралось немало, но дядя так и не научился лудить-паять; лудил-паял Саша, вернувшись из школы, а дядя ходил вокруг него, размахивая жилистыми руками, и рассуждал.

— Весь мир, — говорил дядя, — разделен надвое: вампиры-кровососы и трудящие. Когда во всем мире задушат вампиров, засияет ярче солнца гений человечества...

— Наплевал я на сытое брюхо, — говорил он, — и ты плюй на это. Главное есть человеческая мысль, ее развивай, Саша!..

Когда дядя слег, Саша бросил школу и поступил на шахту в насосную. Ночами дядя маялся кашлем и бессонницей, Саше приходилось сидеть возле него и читать ему книгу за книгой: слушая, дядя забывал кашлять. Кузьменковская девчушка Люба приносила в глечике то бульону, то молочка для больного. Однажды она сказала Саше, что папа предлагает устроить дядю в больницу. Саша был бы не прочь, он устал до одури, но дядя смертельно боялся больницы, и Саша непреклонно заявил, что дома дяде лучше, дома — воздух и есть кому читать вслух.

— Но ты же работаешь! — прошептала Люба.

И тут Саша ответил со страстью:

— Избавить меня хотите? Думаете, тронутый, пусть помирает? А он совсем не тронутый. У него... у него жизнь не вышла, вот что!

Это ему открылось как-то во время ночной беседы с дядей — не вышла. Целая жизнь не вышла... и вот кончается.

Уже давно схоронили дядю. Уже закончил Саша вечернюю школу, потом институт... а все, проходя мимо дядиной землянки, скорбел об этой несостоявшейся жизни и чувствовал себя без вины виноватым.

Землянка осталась позади, с нею отошло и воспоминание.

После беспорядочно скученных, залатанных хибарок Нахаловки поселок Челюскинцев казался особенно просторным, нарядным. Одинаковые домики имели каждый свое лицо: кто украсил фасад затейливой резьбой, кто покрасил в два цвета ставни, тут веранда мигает цветными стеклами, там прилажено крыльцо на колонках, обвитых диким виноградом...

Домик Световых стоял не в общем ряду, а в самой глубине участка, к нему вела узкая тропка, а по сторонам ее все было засажено молодыми яблоньками и овощами — так распорядилась сестра, она верховодила в семье, и она, а не мать «сводила концы с концами». Переехали они сюда из рабочей казармы, строиться помогала шахта — ради памяти Кирилла Светова, сложившего голову в боях за революцию. Катерина и ссуду брала на свое имя, и сажала все, и брата понукала, чтоб таскал воду от колонки — поливать...

Скосив глаз через забор — нет ли в огороде сестры, — Палька вместе с друзьями перешел на другую сторону улицы, где наискосок жили Кузьменки.

Это был самый приметный дом в поселке, да и во всей округе. Среди одноэтажных донбассовских домиков он выделялся тем, что у него была надстройка — мансарда с аккуратным балкончиком, вобравшим в свою ограду ствол большого старого дуба, отчего казалось, что дом и дуб обнимаются. Когда строились, дуб сберегли, и вокруг дома все засадили, а когда Вовка подрос и захотел отделиться от беспокойных младших братьев, на земле негде было пристраивать комнату, и Вовка нарушил обычай, как говорила мать, — полез на верхотуру. Приметным был и участок вокруг дома — ни у кого не успела так разрастись сирень, ни у кого так не курчавились деревца и ягодники; соседи кивали на хозяйку: еще бы, любительница, с утра до ночи в саду возится! — другие завидовали: так ведь поливают сколько, колонка у них! Трубы проложил, колонку установил за домом сам Кузьма Иванович с сыновьями, освободив свою

Ксюшу от коромысла.

Хозяйка и сейчас была в саду — стоя на табуретке, подвязывала ветку абрикосового деревца, чтоб ветка не залезала в окно.

— А-а, наши хлопчики! — звонко крикнула она.

У нее была маленькая полная фигурка, ладно обтянутая синим в горошек платьем, и милое подвижное лицо из тех, что долго сохраняются молодыми, — было бы настроение хорошее.

— Здравствуйте, Ксюша Кузьминишна! — крикнул Палька, пользуясь уважительно-ласковым прозвищем, утвердившимся за всеми членами этой семьи: Кузьмичи.

— Шли по домам, а ноги привели к вам! — подхватил Липатов. — Можно до вашей хаты?

И только Саша почтительно поклонился будущей теще:

— Добрый вечер, Аксинья Петровна!

— В хате вам делать нечего! — шутливо откликнулась хозяйка. — В огороде для вас интересней.

В огороде склонились над грядкой две девушки. Две косы — черная и русая — спадали на ярко вышитые украинские рубахи. Две пары рук тщательно пропалывали капусту. Поглощала ли работа все внимание этих тружениц настолько, что они не слышали голосов пришедших, или таковы уж законы девичьей гордости? Саша поднял камешек и осторожно бросил его в огород. Девушки дружно вскрикнули, оглянулись, засмеялись. Одна из них не выдержала и сама побежала навстречу гостям, запроляя за ухо выбившуюся светлую прядку.

Оторвавшись от подруги, она тотчас забыла все правила девичьей игры. На ее простеньком, круглом, совсем юном лице, обращенном к Саше, проступила такая беззаветная радостная преданность, что Липатов и Палька, застеснявшись, заторопились прочь.

Субботние послеполуденные часы, видимо, были использованы с толком: абрикосовые и вишневые деревца окопаны и политы, ягодники подвязаны и тоже политы. Лопаты стояли рядом, воткнутые в землю, лейки сохли, перевернутые, а работники — отец и сын — вовсю намывались у колонки.

Заря окрашивала в розовый цвет их обнаженные спины и руки — у обоих одинаково мускулистые и складные, хотя один был выше и тоньше, а другой шире и кряжистей. Кузьма Иванович первым накрепко растерся полотенцем, накинуд чистую рубаху, и сразу, как только здоровое, кряжистое тело скрылось под рубахой, заметнее выступило по-стариковски морщинистое лицо с седыми усиками.

— А-а, мушкетеры! А куда третьего подевали?

Не дожидаясь ответа, он взял под руку Липатова и повел его к дому, торопясь закурить трубку и высказать то, что его занимало.

— Нет, Михайлыч, как тебе нравится это английское гостеприимство?! Риббентроп гостит в имении лорда Лон... Лон...

— Лондондерри.

— Во-во! Якшаются с фашистами, лебезят перед Гитлером, а Чемберлен и Черчилль требуют усиления вооружений. Как ты это понимаешь, а?..

Вовка все еще фыркал и ухал у колонки: Палька щедро поливал его вздрагивающую от холода спину.

Оставшись одна, вторая девушка бросила работу, выпрямилась, потянулась всем своим сильным, статным телом и не спеша направилась к парням у колонки. Ее черные глаза глядели на них лукаво и смело.

— Хватит тебе, Вовка! — сказала она и закрыла кран. — Размокнешь.

Он повернул к ней покрасневшее от воды лицо с застенчивой кузьменковской полуулыбкой.

— А тебе жалко будет?

— Не надейся, — сказал Палька. — У этой девицы сердце из ржавого железа.

— А ты помолчи, когда старшие разговаривают!

Оба озорно улыбнулись и стали удивительно похожи. Девушка была сестра Пальки, Катерина.

— Ты ошибся калиткой, — сказала она брату, — твоя наискосок через улицу.

— Повторяю твои ошибки, — откликнулся Палька и подтолкнул Вовку, который стыдливо прикрыл полотенцем голую грудь. — Ты не знаешь, ради кого она бежит сюда полоть ваш огород, когда свой зарастает сорняками?

Вовка молча улыбался и следил влюбленным взглядом за уверенными движениями Катерины. Она ополоснула руки, набрала воды и теперь пила из ковша, роняя на землю блестящие капли.

— Дай-ка полотенца краешек, — попросила Катерина, помахивая мокрыми руками.

— Я сам тебе вытру... Ой, как ты оцарапалась!

— Ажину искала в балочке.

— Что ж без меня? Я б тебе самые верхние пригнул.

— Думаешь, сама не добралась?

Палька почувствовал себя лишним. Поразмыслил: подразнить сестру

еще или не стоит?.. Но вечер был так хорош, так светло сияла заря и такой особый, независимый от зари горячий свет играл на лицах обоих при этом как будто незначительном разговоре, что Пальку пронзила зависть. Он поплелся к веранде и присел на ступеньку рядом с Кузьмой Ивановичем и Липатовым, которые, покуривая трубочки, уже точно установили, что Англия поощряет германский фашизм и сама себе роет яму.

— Люба, Катериночка, собирайте на стол! — из летней кухни закричала Кузьминишна. — Павлуша, открой-ка погреб! Вова, отец, садитесь за стол да гостей зовите! Костя, раздуй самовар, чтоб песни пел!

— Всем дело нашла, — сказал Кузьма Иванович и выбил трубку. — Пошли, раз такой приказ вышел.

Через несколько минут все собрались на веранде за столом, на котором победно трубил, роняя в поддон красные уголья, «его величество самовар» — так прозвал его Липатушка. Липатов давно был своим в этом доме — он входил в шахтерскую жизнь под началом Кузьмы Ивановича, а теперь они работали вместе: молодой инженер и опытейший мастер. Липатов ввел в дом своих друзей по институту, помогавших ему осваивать премудрости теории. Теперь и Саша стал своим — свадьба назначена на август. На особом, почетном положении бывала тут и Катерина: все хотели, чтобы она вошла в семью женою Вовы, а она медлила, лукавила, отшучивалась.

Один Палька еще чувствовал себя здесь немного скованным. Он дружил с Вовкой и любил его даже больше, чем когда-то любил его младшего брата, Никиту, прежние грехи Пальки как будто забыты... Но мог ли он сам забыть, что, увлекшись наукой, он просто отбросил, как помеху, дружбу с Никитой, а Никита отбился и от учебы, и от работы. Никита стал горем этой семьи...

Семья Кузьменко была одной из самых уважаемых семей на шахте. Кузьма Иванович работал тут больше тридцати лет, участвовал в двух революциях, отсюда уходил воевать с Деникиным и разными бандами, потом восстанавливал шахту и гнал добычу на помощь разоренной республике, здесь же вступил в партию большевиков. Уважали семью и за Вовку, и за Любу. Вот только Никита...

О Никите обычно не заговаривали, чтоб не мрачнел Кузьма Иванович, не туманилась Ксюша Кузьминишна. Но сегодня именно она заговорила о нем:

— А мы от Никитки письмо получили!

— Ничего там особенного нет, — сдвинув брови, пробурчал Кузьма Иванович. — Приедет — поглядим.

— Да ведь интересно, — виновато сказала Кузьминишна и вытянула из

кармана письмецо.

Этой весной, отчаявшись обуздать сына, Кузьма Иванович с помощью Аннушки Липатовой пристроил Никиту рабочим в изыскательскую партию. Начальнику партии Митрофанову, с которым Кузьма Иванович когда-то вместе воевал против басмачей, была послана секретная просьба: бери хоть кнут, хоть вожжи, а зажми его в кулак — не слушался отца, пусть послушается кнутца... Со дня отъезда Никита прислал только одну открытку, а вот теперь письмо.

Кузьминишна торжественно читала имена всех присутствующих — им передавались приветы с веселыми добавлениями.

— «...Еще привет Катеринке, надеюсь, ее язычок не притупился. Еще передай Вовке...» Ну, это я пропущу, — многозначительно сказала она, зыркнув глазом на Катерину. — «А мою маленькую маму...» Вот озорник-то! «...мою маленькую маму поднимаю в воздух и целую в обе щеки...» — Она рассмеялась по-молодому звонко, счастливая этой лаской.

— Как он там, освоился? — осторожно спросил Палька.

— «Если удастся приехать, как мы хотим, заберу с собой хоть на неделю Кузьку — пусть поглядит работу на буровых вышках и узнает, что у него под ногами...» Значит, освоился, верно? — с надеждой сказала Кузьминишна и обвела всех умоляющим взглядом, чтоб подтвердили: да, освоился и полюбил свои буровые вышки, вот и братишку хочет взять...

— Обязательно поеду! — выкрикнул Кузька.

— «А приехать мы собираемся, как только отремонтируем машину, может, в ближайшую субботу или в следующую, товарищ Митрофанов хочет повидать папу...»

Липатов напряженно ждал хоть словечка об Аннушке, но Кузьминишна уже сложила письмо: видно, нет ни словечка.

— Если в эту субботу, должны б уже быть, — сказал Кузьма Иванович и поглядел сквозь листву на улицу. Тихо на улице, тут и там мелькают огоньки, из садочков доносятся негромкие голоса — чаевничают люди, отдыхают.

— На машине — значит, близко, — вслух подумал Липатов.

И вдруг странно-хриплый неистовый гудок возник вдали, и на темную листву сада лег качающийся свет автомобильных фар.

сооружением: высоко посаженный кузов на разномастных колесах, обтянутый зеленым брезентом верх с перекошенными оконцами. Неистовый гудок исходил из диковинной трубки, похожей на маленькую граммофонную трубу.

Передняя дверца посопротивлялась и с дребезжанием вывалилась наружу, выпуская ширококостного бритоголового человека того неопределенного возраста, когда можно дать и сорок лет, и шестьдесят. С удовольствием расправляя спину и затекшие ноги, он окинул взглядом встречающих, ища одно, самое нужное лицо, и, найдя, протянул обе руки:

— Кузьмич! Дорогой! Экой ты стал! Патриарх, а?

Они обнялись и трижды поцеловались.

— Да где ж твои кудри, Матвей Денисович?

— Сыну напрокат отдал, Кузьмич, без них прохладней.

Водитель машины, пригнувшись к раскрытой дверце, не без насмешливости наблюдал и встречу старых приятелей, и столпившихся у машины людей. Приметив два девичьих лица, он вынул гребенку, расчесал вьющиеся кудри, забросил их назад, открывая высокий лоб с густыми бровями вразлет, и только тогда, посмеиваясь, откинул переднее сиденье, чтобы выпустить тех, кто сидел сзади. Видно, это было не просто. Какая-то суета произошла под брезентом, прежде чем из машины высунулась, нащупывая ступеньку, нога в маленьком сапожке.

— Аннушка! — сдавленным голосом выкрикнул Липатов и бросился вытаскивать из машины тоненькую женщину в старой, выдавшей виды курточке, в голубом вылинявшем берете, из-под которого торчали короткие светлые волосы.

— Вот и приехала! — сказала Аннушка, высвобождая из машины вторую ногу. — Да, видно, зря! Заезжаю домой, а дом на замке! Соседи говорят — до ночи не бывает. Я еще проверю, где ты гуляешь до ночи!

Липатов блаженно усмехнулся — все, слава богу, как всегда! Приехала — и оказывается, это он неизвестно где и с кем мотается, а она — заботливая жена!

— Меня-то выпустите или нет? — раздался из-за ее спины веселый голос.

— Никитка!

Материнские руки обхватили его, потянули к себе, прижали, огладили и замерли на его шее. Растроганный Никита припал чубастой головой к ее щеке, уже мокрой от слез.

— Мамо... да ну, мамо... — бормотал он, всем существом откликаясь на ее родное, всепрощающее тепло.

— Ну, здравствуй, сын!

Это был отец — его сдержанный голос, его зоркие глаза, засматривающие прямо в душу — какова-то она, душа?

Мать отвела руки, отступила. Сын подошел к отцу, обнял, поцеловал в колючую щеку и почувствовал, как ответно дрогнул отец. А тут подскочила сестра, потянулись навстречу дружеские руки... Все тут, все в сборе, в, что бы там ни было, все рады... Ох, хорошо вернуться домой!

— Надолго ли?

— До понедельника, на рассвете выедем.

В короткую минуту тишины ворвался восторженный возглас Кузьки:

— Вот это механика!

С первой минуты его внимание приковала невиданная машина, на которой гости приехали и еще собирались уехать обратно.

— Ох-хо-хо! Вот и ценитель нашелся! — захохотал бритоголовый. — В эту диковину, братишка, вложено смекалки побольше, чем в Эйфелеву башню. А называется она «рыдван моей бабушки». Ее конструктор скромничает, но мы его сейчас обнародуем. А ну, Игорь, вылезай! Прошу любить и жаловать — мой сын.

Игорь и не думал скромничать. Вольно развалившись на сиденье, он от нечего делать выбирал, которое из двух девичьих лиц милее. Когда отец позвал его, девушки устремили на него любопытные взгляды; под этими взглядами было особенно приятно показать свое сооружение и лениво-небрежно, будто он всю жизнь собирал машины, рассказать, что из чего сделано.

Неказистый вид машины не только не смущал Игоря, а усиливал его гордость. Из хороших частей и материалов любой дурак сделает, а вот из всякой рухляди — тут нужны и голова, и руки. Девушки, кажется, глядели на него самого, а не на машину. Настоящий интерес проявлял только паренек по имени Кузька, молодой человек, которого называли Палькой, и, как ни странно, мать Никиты: она потрогала и то, и это, погудела в гудок и все ахала и оглядывалась на мужа, призывая его восхищаться.

— Неужто все сами сделали? — восклицала она.

— Сам. Да вот Никита помогал мне, — добавил Игорь, чтобы доставить ей удовольствие; в действительности Никита просто болтался рядом, чтобы не было скучно.

Кузьминишна просияла, а Кузьма Иванович как бы вскользь спросил:

— Что ж, и в моторе разобрался?

— Да нет... — с застенчивой полуулыбкой ответил Никита.

Между тем молодежь уже завладела Игорем, и он охотно подчинился

суете провинциального гостеприимства, не очень-то стараясь запоминать имена новых знакомых — все равно: встретились — и простились. Кто-то поливал ему на руки из ковша, кто-то подал вышитое полотенце (одна из девушек, но которая?), а Кузька все крутился под рукой и ненасытно расспрашивал, какой в машине мотор и откуда взяли такой гудок...

— А ну, хлопцы, кому сапога не жалко? — крикнул девичий голос из летней кухни — одна из девушек (но которая?) тщетно пыталась раздуть угли в самоваре.

— Мне не жалко! — воскликнул Игорь, устремляясь к девушке. — Только я уж сам, руки перемажете.

Девушка выпрямилась, он увидел в луче света, падающем с веранды, ее гордое лицо и горячие, лукавые глаза.

— Попробуйте, — сказала она. — Такое чудо техники построили, так неужто самовар раздуть не сумеете!

Он с удовольствием слушал ее мягкий южный говор, так пленявший его, москвича, в этих новых для него местах. Ожесточенно сжимая в гармошку и разжимая голенище, он старался припомнить, что рассказывал Никита о своей семье, одна у него сестра или две и о какой говорилось свадьбе. Теперь он знал, что именно эта девушка милей, и жених был здесь лишним. Но жених оказался тут как тут.

— Давайте я. Вы ж с дороги...

Угли не раздувались, Игорь охотно отдал сапог, и в новых руках сапог так бешено запрыгал, что в самоваре разом вспыхнуло алое пламя.

— Сапог-то отдай, Вовка, не скакать же гостю на одной ножке, — сказала девушка. — И углей подложи. Пойдемте в дом, Игорь... простите, не знаю, как по батюшке.

— Откликаюсь на Игоря без батюшки.

— Ну, пошли, Игорь просто так.

Вовка мрачно смотрел, как они шли по двору, перекидываясь шутками, поднялись на веранду, но не вошли, а остановились у двери, и этот кудрявый парень зачем-то потянулся за абрикосами (ведь зеленые еще!) и притворялся, что ему нравится эта кислятина, а Катерина из его рук губами поймала абрикос и тоже сделала вид, что ей нравится... И откуда он взялся, строитель бабушкиных рыдванов?!

Когда Вовка внес на веранду самовар, приезжие с аппетитом уплетали ужин, а Катерина сидела напротив Игоря, подперев голову руками, и была особенно красивая — вызывающе красивая.

Мать приняла самовар и снова приросла взглядом к Никите. Широкоплечий, как отец, самый высокий и сильный в семье, Никитка

рьяно перемалывал мясо крепкими зубами. Тщательно лелеемый чуб падал на лоб, прикрывая одну бровь и веселый глаз — самый его веселый глаз, которым он любил подмигнуть как раз в ту минуту, когда надо бы отругать его. Ох, Никита, совсем взрослый стал, и такой завидный парень, что девушки и там небось вьются кругом да около, хлопцы и там небось наперебой зовут в компанию!.. А ты и рад, Никитка? Это ничего, это молодость... Только удержался бы ты на той работе! Удержись, Никитка, пора научиться хоть какому делу, ведь двадцать третий год! Любо ли тебе там, сынок? Не слишком ли тяжело на этих буровых? Не слишком ли суров начальник?..

Сотни вопросов горели на губах у матери, но не задала ни одного: где уж тут, при всех!

Какой-то интересный разговор завязался за столом, так что и Павлушка Светов весь загорелся, и Костя сам не свой стал, и старик оживился — любит поговорить! Все заметила Кузьминишна, а вникнуть в разговор не могла: слишком устала она и от хлопотного дня, и от старания всех приветить, и от тревожного предвкушения предстоящих разговоров с глазу на глаз и с сыном, и с этим его начальником — каков-то он, что за человек? Ведь ему одному, каков бы он ни был, до конца поверит Кузьма Иванович.

Сколько раз старалась она представить себе человека, который должен «хоть кнутом, хоть вожжами» зажать ее сына в кулак. И вот он сидит перед нею, ширококостный, сутулый, бритоголовый, пьет третий стакан крепкого чаю и молчит. Не улыбнется. Бирюк бирюком. Как под таким работать?..

И вдруг бирюк отставил стакан, в упор глянул на Аннушку и на сына, снова на Аннушку и снова на сына, спросил:

— А вы понимаете, геолог и гидротехник, перспективный смысл этой работы?

Игорь смотрел на отца выжидательно и почему-то недоверчиво, даже с досадой, Аннушка быстро и радостно ответила.

— А как же! — И стала пояснять, обращаясь к Кузьме Ивановичу и мужу. — Вы же знаете, что такое грунтовые воды для шахтеров. Пытка! А под нашей речонкой залегают мощные пласты угля, ее воды фильтруются через грунт и создают труднейшие условия для добычи («добыча» она произнесла с ударением на первом слоге, по-шахтерски)... А мы эту речонку берем и поворачиваем в новое русло, сами приказываем ей: иди сюда, тут ты вредить не сможешь!

Теперь и Кузьминишна поняла, обрадовалась. Посмотрела на Никиту — доволен ли он, что работает в таком важном деле. Никитка уплетал

пирог. Может, и не слышит?

Кузьма Иванович тоже глянул на Никиту.

— Ну как, сын, интересное дело?

Никита перестал жевать, усмехнулся:

— Наше дело простое. Где прикажут бурить, там и бурим.

Кузьма Иванович поморщился, Игорь вызывающе сказал:

— А это и есть для нас самое главное — буровые работы.

Митрофанов фыркнул, но промолчал, только протянул стакан — еще чайку!

Палька Светов заинтересовался, на сколько километров новое русло, нет ли по пути городов и селений. Аннушка объяснила, чертя вилкой по скатерти.

— Да я не о том, — прервал Матвей Денисович, наклонив голову и выставив крутой лоб, будто собирался боднуть кого-то. — Эта речонка пустяшная. А не думаете ли вы, что настает пора распорядиться, свободно и сознательно распорядиться природой в интересах общества?

— Вот именно! — вскрикнул Палька.

— Ну а конкретнее? — спросил Саша.

— Я думаю: на нынешнем уровне техники государство может начать планомерное и масштабное улучшение природы в интересах своего экономического развития. Наша речушка — акт местного значения, не отражающийся на экономике и климате даже Донбасса, а ведь можно себе представить...

Кузьминишна начала терять нить разговора. Бирюк говорил словами, которых она не понимала, вернее, каждое в отдельности и разобрала бы, но, когда они соединялись все вместе в ученую речь, общий смысл ускользал от нее, и она снова со страхом подумала: нет, не сумеет бирюк живую Никиткину душу понять и обуздать...

Но тут у бирюка засветилось лицо: и угрюмые глаза, и сухие губы, и лоб, прорезанный белыми, незагоревшими полосками морщин, и щеки с пробивающейся седой щетиной — все засветилось, заиграло, и стало видно, что никакой он не бирюк, а чистый и горячий человек.

— Ты помнишь, Кузьма, Каракумы, а? Неделями песок на зубах, а? В волосах песок, в пище песок, а вода — будь у нас золото, мы бы его вес на вес обменяли на воду! Помнишь? Так разве мы не можем повернуть воду туда, в песчаные пустыни?

— В пустыни? — охнул Кузька.

— Голое небо над головой! Сутки, неделю, месяц — голое небо, без единого облачка. Раскаленное небо!.. А дать туда воду, ты понимаешь,

Кузьма?! Облака будут! Ого-го-го! Конец голому небу! Засухе! Бесплодию пустынь!..

— Вон куда ты клонишь! — сказал Кузьма Иванович. — Оно бы и замечательно, да только как?

— Пожалуй, это осуществимо, — задумчиво сказал Саша. — В принципе.

— Конечно! — воскликнул Палька. — Но какую реку?

И что тут поднялось!

Дерзкие предложения посыпались одно за другим: уже и Волгу начали куда-то заворачивать, и Дон потревожили; кто-то махнул на Урал и тоже повернул — не горный хребет, а Урал-реку...

Катерина сидела, подперев голову рукой, устремив глаза поверх спорящих; поглядит на притихшего Вовку — и снова отведет взгляд.

— Двенадцатый час, папа! — вдруг резко сказал Игорь. — И пока нам важнее хорошо и в срок отработать данные по нашей речушке.

Он сделал упор на слова «хорошо» и «в срок».

Митрофанов-старший сразу осел, смущенно задвигался.

— Мы ж еще хотели Русаковского навестить. Гостиница от вас далеко?

Пошли мелкие разговоры о том, как проехать в гостиницу, условились, что завтра Митрофановы приедут обедать. Матвей Денисович говорил добродушно, но Кузьминишна видела: что-то в нем погасло. И она с недоброжелательством покосилась на Игоря: зачем он так?

Еще меньше ей понравился Игорь минутой спустя, Когда снова оказался с Катериной на крылечке.

Она хотела выйти, отвлечь Катерину, но тут же забыла об этом, потому что Кузьма Иванович и Митрофанов перед прощанием ушли вдвоем в комнату. О Никите разговор? Никита понял это и мгновенно исчез. Калитка не хлопнула, но уж мать-то знала, как ловко он перемахивает через забор и как нескоро возвращается.

Уход с веранды двух старших мужчин был сигналом, все разбежались кто куда. Собирая посуду, Кузьминишна слышала голоса и шепот во всех углах сада, узнавала: под сиренью шепчутся Люба с Сашей, на крыльце сидят, обнявшись, Липатовы, а по дорожке прогуливаются втроем Катерина, Вовка и этот приезжий. Катерина и приезжий непринужденно болтают, смеются, а голоса Вовки и не слышно.

Кузьминишна снесла посуду в летнюю кухню, постояла в раздумье — мыть ее или оставить до утра? — беспечно махнула рукой и пошла в сад — что я, хуже других? Все гуляют, а я буду гнуться!

Под вишней, на скамеечке, сидели Палька Светов и Кузя.

— Костенька, спать пора! — сказала Кузьминишна, ласково подтолкнув сына, и сама подсела к Пальке, обняла, засмеялась. — А тебе и парочки нет, кроме Кузьки?

Палька пожал плечами, с тоской сказал:

— В гидротехники пойти, что ли... Вон что люди делают!

Кузьминишна кивнула, мечтательно глядя перед собою.

— Я бы сама куда ни есть помчалась, да старика разве сдвинешь!

Она сорвала несколько вишен, поиграла ими. В льющемся с веранды мягком свете Палька видел молодой блеск ее глаз.

— Вот Люба... — Она бросила в рот вишню, протянула парочку вишен Пальке. — Конечно, Саша славный. Даже очень славный, — поправила она, — но будь я сейчас на ее месте, ни за что не торопилась бы, сама как-нибудь судьбу свою сделала, а там можно и замуж, и детей, и все. Достигнуть сперва надо.

— Саша ей не помеха, — заступился за друга Палька.

— Ну как же! Вы, мужчины, даже в толк не возьмете, сколько от вас помехи. Самый что ни есть лучший мужик в доме — такая забота! Суета за троих — и то и се. И мысли всякие женские. Ты молодой, не знаешь. А любовь, думаешь, мало чего стоит?

Она повернула голову к Пальке, и было в ее лице в эту минуту то самозабвенное выражение, которое так пленяло когда-то молодого Кузьму Ивановича, а теперь оживало и в Любе, и в Вовке, и даже в Кузьке.

— Когда любишь, Павлуша, кругом как туман стоит и в этом тумане один дорогой сияет.

Палька жадно слушал ее молодой голос и те, другие, приглушенные голоса, доносившиеся из-за кустов, и ему вдруг томительно захотелось такой любви, чтобы кругом туман и только одна дорогая сияет. Мимолетно прошла перед ним и удалилась женская фигура, словно окаймленная золотой полоской. Рыжая-золотая — кто она?

— ...сердце наше, Павлушка, и к любви, и к боли нежное. И через эту женскую природу трудно перескочить.

— А зачем перескакивать?

— А затем, дорогой, что не хочется всю жизнь пристяжной бегать.

— Так ведь теперь женщинам все дороги открыты — скачите на здоровье!

— Открыты! А взгляд на нас у мужиков... как бы тебе сказать... и с уважением, да снисходительный. А это силу отбивает. Да что скрывать, — она снизила голос до шепота, будто ему одному сообщала большой секрет, — мы сами на себя часто со слабостью смотрим. Я вот все думаю и

гляжу... Нет, будь я на месте Любы, иначе бы жила!

— Молода еще.

— Молода! А ты не молод? Ты вот мечтаешь реки поворачивать, горы сдвигать...

Она запнулась — горькая мысль о Никитке обожгла ее: а он-то! Водка да гульба, работы поменьше, заработок побольше — вот и вся его мечта. Теперь, как и раньше. Сердце матери не обманешь, сердце чует, что никакого приятного разговора у Кузьмы Ивановича с Митрофановым нет, приятные разговоры короче...

Но об этой боли никому не скажешь. Заглотнула ее, тряхнула головой, продолжала:

— ...почему бы и Любке не мечтать? Так нет же... На Сашу своего очи подняла — и все. Окликни — не услышит.

В темноте не разглядеть было ни Любу, ни Сашу, белела лишь рубаха Любы да чуть обозначались светлыми пятнами их лица.

— Любовь! — с легким вздохом сказал Палька.

— Любовь! — в тон ему повторила Кузьминишна и, отгоняя непрошеную и смешную зависть к молодым, шутливо сказала. — А что совсем досадно, так ведь и Вовка у меня такой же дуралей! И с Катеринкой они будто поменялись.

— Небось сына жалеете? — буркнул Палька, скрывая смущение: он заметил сегодня кокетство сестры и злился на нее.

Кузьминишна замахала руками:

— Еще чего! Эти огорчения, Павлуша, не смертельные. Я своего тоже крутила — дай бог! Ничего, выжил. Катерина — девка сильная, сама себе голова. Одно не пойму: что у них с Вовкой происходит? — Ее голос потерял веселую таинственность, она снова стала матерью, озабоченной бедами и тревогами детей. — Иногда даже зло берет. Ну сколько времени тянуть будут?

— А куда спешить? Сами же говорили, скакать куда-то там надо!

— Ой, верно! Подцепил!

Она звонко рассмеялась на весь сад.

Из темного окна — света в доме не зажигали — Кузьма Иванович спросил удивленно и нежно:

— Ты, Ксюша?

Через минуту они вышли. Матвей Денисович начал созывать своих и прощаться. Кузьма Иванович мимоходом сжал локоть жены и шепнул:

— Все в порядке, Ксюша.

Она тоже мимолетно улыбнулась ему, хотя поняла, что с Никиткой все

еще далеко не в порядке и приняты какие-то строгие решения, но Кузьма Иванович хочет поберечь ее и всю тяжесть принять в одиночку на свои отцовские плечи.

Последними у калитки остались Катерина с братом и Вовка. Вовка так ожесточенно крутил щеколду, что казалось: вот-вот сорвет ее.

— Пойдем до дому, Катерина? — зевая, позвал Палька.

— Вот еще, с братом ходить! Как-нибудь найдется провожатый.

— Тогда счастливо оставаться!

Две пары глаз проводили Пальку через улицу и палисадник. Когда стукнула за ним дверь дома, Вовка спросил, взглянув на Катерину из-под насупленных бровей:

— Это о каком же провожатом ты говорила?

— А о тебе!

— Что же шофера не взяла? Подвез бы на своем рыдване.

— И подвез бы, да развернуться негде. — Так как Вовка молчал, Катерина с вызовом добавила: — И не шофер он, а студент. Четвертого курса.

— Все доложил!

— Почти. Вот только не успел доложить, чи есть у него зазноба, чи свободный. Придется спытать.

— Дразнишь?

Он переминался с ноги на ногу, беспомощный перед ее независимостью. Она долго рассматривала, будто изучала его несчастное лицо и всю его поникшую фигуру, потом заговорила со злобным отчаянием:

— А почему бы мне и не дразнить тебя? Погляди на Пальку! Моложе тебя, а уже аспирант! Саша всего на год старше, и Саша один из такой нужды пробивался! В Москву посылают, ученым будет! И если Люба выходит замуж, так она знает, что человек достоин, что...

— Тебе ученого надо? В Москву надо? Так вот этот студентик — пожалуйста!

— Наплевать мне, ученый или кто! Федька Коренков был сопляк сопляком, теперь весь Донбасс знает. Генька Ежиков в институт готовится — и поступит! Все, все, все двигаются в жизни! Я сегодня смотрела — люди говорят, мечтают, а ты молчишь! Сказать нечего!

— А может, и есть! Может, и не стою на месте? — о чем-то раздумывая, произнес Вовка.

— Не стоишь? На шахту да из шахты, поел, погулял — вот и вся твоя жизнь.

— Нет, не вся, — по-прежнему не обижаясь, медленно возразил он. — Ты просто не знаешь. И не спрашивай больше.

— Такие секреты, что и спросить нельзя?

— Придет время — узнаешь.

— Так придет время — я и пойду за тебя!

— Если бы ты хотела... если бы ты любила... Эх, да что говорить. Тебе ведь только понасмехаться.

— Видно, хорош секрет, если ты заранее знаешь, что я буду насмехаться!

— Я просто знаю, что ты... — Он начал со страшной злобой, но сам испугался того, что хотел сказать, и не закончил.

— Что же ты знаешь про меня?

— Ничего.

— Маловато, чтоб жениться!

— Катерина!

— Двадцать четыре года Катерина. И пора спать.

— Спокойной ночи.

— Ты меня не проводишь?

— Я думал, тебе это не нужно.

— И не поцелуешь?

Он рванулся к ней, но она отскочила и засмеялась по ту сторону калитки.

Они молча прошли через улицу до ее дома. Она уже готовилась ускользнуть, оставив его растерянным, сбитым с толку ее горячим, неожиданно оборванным поцелуем, когда он схватил ее за руки так, что она вскрикнула от боли, и заговорил необычно гневно:

— Так вот, Катерина! Ты думаешь, я шляпа, потому что с тобой я действительно шляпа, если не обломал тебя до сих пор! Ты думаешь, я ни на что не способен. Что ж, думай! Видно, ты неразборчива — терять время с таким человеком! Теперь я не хочу больше, поняла?!

Катерина, остолбенев, всматривалась в еле видимое лицо своего возлюбленного — даже в потемках угадывалось выражение ненависти. И что он только говорит? Вовка, ее податливый, добрый Вовка!.. Ненавидит? Не хочет ее?.. Она пыталась сказать хоть слово, но он продолжал еще отчаянней:

— Я тебе сейчас все скажу, все и в последний раз! Ты мне закрутила голову, тебе нравится мучить такого теленка, каким я был с тобой... Хватит! Я не такой. И мне не надо жены, которая любит не меня, а поездки в Москву. Да, да, не возражай, довольно я тебя слушал! Довольно я из-за тебя глупостей наделал! Чтоб видеть тебя каждый вечер, я ночами не спал, чуть глаз не лишился — хватит! Не хочешь выходить за меня, не надо!

— Володечка...

— Нет, нет, молчи, довольно! Тебе нужны ученые — ищи, держать не буду! Не хотела быть мне другом — не надо! Справлюсь без тебя! Прощай!

— Володечка...

— Нет, нет, поздно! Я себе на сердце наступаю, Катерина! — вдруг со слезами в голосе сказал он. — Но я тебе клянусь, что все кончено. Больше ты моего унижения не дождешься.

Он отшвырнул ее руки и побежал вдоль улицы. Она окликнула его — не остановился. Побежала за ним — исчез в темноте. Тогда она припала к столбику калитки и затихла, прислушиваясь, как тявкают — все дальше и дальше — потревоженные собаки.

А Вовка бежал, не сбавляя шагу, мимо спящих домиков, мимо землянок старого поселка — в степь. Он слышал, что Катерина звала его, но не вернулся. Нет, нет, кончено!

Постепенно бег перешел в неверный, спотыкающийся шаг. Вовка увидел черную, пустую степь, увидел небо в больших, ярких звездах. Бросился на землю, на душистую, мягкую от густой травы, все еще теплую землю. Конец! После всего, что он наговорил ей, отступить невозможно. И ведь он прав, прав!.. Хотя такая правота убить может. Как же это будет? Ежедневно проходить мимо ее дома — и не остановиться, даже если она у калитки. Пройти мимо ее компрессорной — отвернуться. Она придет к Любке (кто может запретить ей зайти к подруге?), а он будет сидеть, как проклятый, на своей верхотуре, не сойдет, не заговорит... Ну и пусть разрывается сердце — не сойдет!

А может быть, это все неправда, может быть, он сам виноват, что скрывал от нее? Зачем он скрывал?

Он начал припоминать, как все случилось. Прошлым летом Катерина подала документы в заочный педагогический. В те дни их отношения только начинались, Катерина была нежней, но ее насмешки и тогда донимали его. Решение Катерины учиться взволновало его и пристыдило. Как же так? Девушка получит образование, занимаясь вечерами (она вытянет, в этом можно не сомневаться!), а он, мужчина, отстанет!.. Он терзался несколько месяцев, не сделав решительного шага. Отъезд

Катерины на зимнюю сессию ошеломил его. Вот оно, самое страшное! Тут она на глазах, а в Ростове?.. Кого она там встречает, с кем из студентов дружит?.. Именно во время двухнедельного отсутствия Катерины он решил. Был составлен жесткий план подготовки. Полторы недели он занимался все вечера без передышки и в полном объеме ощутил свое невежество. Но вот вернулась Катерина — счастливая, полная впечатлений и соскучившаяся без него, — да, она соскучилась, три вечера подряд они были неразлучны, Катерина была такой доброй, что он ошалел от счастья. Когда он немного опомнился и решил вернуться к занятиям, у него не хватило сил отказаться от встреч с Катериной, и он наверстывал ночью. Катерина сама заговорила с ним об учебе: пора браться! Неужели ты так и останешься неучем?.. Он чуть было не признался ей во всем, но испугался. О-о! Он знал, что скажет Катерина! Обрадуется, похвалит и начнет «помогать» ему, всячески сокращая встречи. Нет, этого он не хотел. И вот уже седьмой месяц он втайне от нее занимался ночами, дурея от любви и от усталости. День — в шахте, вечер — с Катериной, ночью — за книгами. На сон оставалось четыре часа. Он был очень здоровым парнем и сумел выдержать, но глаза резала боль, пришлось потихоньку бегать в поликлинику. Ничего! Он мечтал, что она наконец выйдет за него замуж, и он преподнесет ей, как свадебный подарок, поступление в институт. Ты видишь, Катерина, какой у меня характер! И когда я кончу, я буду не из тех мальчиков с дипломом, что испуганно озираются в шахте, нет, я прошел почти все шахтерские специальности, я буду настоящим инженером... Ты сможешь гордиться мною... Так он думал тогда, наивный дурак! А она крутила ему голову как хотела.

Припомнив каждую встречу, каждую насмешку Катерины, все ее лукавые выходки и сегодняшнее заигрывание с этим студентиком, он с горьким успокоением признал, что был прав, что она злая, своевольная, не пойдет она за шахтера — просто развлекается, пока не подвернулся жених получше. Значит, конец!

Когда он возвращался домой, звезды уже побледнели и ознобом сводил плечи предутренний холодок. Закрывая за собой калитку, он почувствовал, что кто-то стоит, притаившись, рядом с калиткой и взволнованно дышит.

— Кто здесь? — спросил он свирепо.

— Володечка...

Она прижалась к нему, обхватила его голову заолодевшими руками.

— Не сердись, Володечка, я все-все время стояла здесь и ждала... Это у меня характер такой, будь он проклят, а я люблю тебя!.. Неужели мне аспиранта нужно! Мне для тебя хотелось, за тебя обидно было — ты же

лучше их всех!

— Катерина, — сурово сказал он, задыхаясь от счастья. — Если ты думаешь сломить меня, если ты рассчитываешь...

Она выпустила его и вскинула гордую голову. Он со страхом понял, что обидел ее, но Катерина произнесла торжественно:

— Клянусь тебе: люблю и выйду за тебя, когда ты захочешь. Хоть завтра. Хоть сегодня. Хочешь, сейчас разбудим всех и скажем? Хочешь... хочешь, я сейчас пойду к тебе и у тебя останусь?

Он молчал. В эту ночь он принял безжалостно твердые решения и сейчас никак не мог поверить, что они не нужны.

— Ты что же... не хочешь?!

Тогда он схватил ее за плечо.

— Да, пойдем! Пойдем! Теперь я тебе покажу, чем я занимался, пока ты издевалась надо мной!

Он увлек ее к дому, яростно сжимая ее плечо, охваченный одним желанием — восторжествовать, доказать, увидеть ее раскаяние.

На скрипучей лесенке он опомнился, выпустил ее плечо:

— Тише. Услышат.

— А я целого света не побоюсь! — И она первую взбежала по крутым ступенькам.

Кузьминишна проснулась, когда хлопнула калитка и в саду зазвучали возбужденные голоса. Никитка? Она со страхом прислушалась — с кем это он и очень ли пьян? Судя по голосам, пьян. И с ним женщина. Господи помилуй, хоть бы старик не проснулся! Голоса приблизились к дому — да что он, с ума сошел, девку в дом вести? Такого еще не бывало. Вот вам и чужие твердые руки — пуще разбаловался!

Но что это? В коридорчике, почти под дверью, Вовкин шепот: «Тише», — и Катеринкин смелый, громкий ответ. Ишь ты, целого света не побоялась, среди ночи к милому пришла и каблучками притопывает, чтоб слышали! Ай, невестушка, как долго упиралась и как отчаянно в дом вошла!

Лежала Кузьминишна не дыша и все прислушивалась: вот прикрыли дверь наверху, вот смутно доносится Вовкин сердитый (почему сердитый?) голос..! Ласково засмеялась Катерина... Тишина. Тишина. Тишина...

Кузьминишна быстро натянула на голову одеяло. Она ничего не осуждала, только радовалась за сына и старалась понять, что же сегодня произошло между ними.

Примостившись поудобнее к плечу похрапывающего мужа, Кузьминишна уснула с удивленной улыбкой на лице и уже не слыхала, как

скрипнуло окно соседней комнаты и, шаркая ногами по карнизу, перекинулся через подоконник и грохнулся на постель Никита.

Павел Светов остановился на скрещении двух улиц: одна вела к столовой ИТР, другая — к институту. Было бы неплохо подзаправиться после нескольких часов, проведенных в технической библиотеке в поисках пустяковой справки. Но и лаборатория притягивала: он еще не был там сегодня и чувствовал пустоту дня, как всегда, когда приходилось отрываться от реального дела. В этот обеденный час в лаборатории особенно хорошо: нет старого дотошного лаборанта Федосеева, сующего свой нос в каждую пробирку, все разбежались кто куда. За окном знойный день, а тут прохладно, отблески солнца дробятся в колбах, слышно, как этажом ниже тикают стенные часы в директорском кабинете... И становится удивительно приятно оттого, что ты один и что ты работага каких мало.

Он совсем было решил идти в институт, но голодное воображение подразнило его видением бифштекса по-деревенски, прикрытого горкой жареного лука.

В полупустой, пронизанной солнцем столовой Палька выбрал столик у окна, заказал самые соблазнительные блюда и попросил газеты.

Он видел себя как бы со стороны, глазами сидящих в зале людей: вошел научный работник (молодой, но талантливый: о, этот далеко пойдет!), заказал борщ флотский, бифштекс по-деревенски и мороженое, привычно листает подшивку и просматривает газеты наметанным глазом — не подряд, как новички, нет! — он знает, где что. Передовая — ого, о нас! «Условия победы стахановского движения». Донбасс после побед прошлой осени покатился назад, давали 240–250 тысяч тонн угля в сутки, теперь 185–190 тысяч тонн. Почему? «Люди возомнили, что дальше победа придет уже сама собой, а стахановское движение разовьется самотеком...» Ох, нет! Кузьма Иванович говорит — начальство не справляется, Липатов говорит — организация подготовительных работ хромает, Вовка ворчит, что задерживает откатка. Ага, тут как раз об этом и говорится. Правильно!

Ну, а как автопробег Горький — Памир? Каракумы пройдены. От Копикли (где это?) до Ашхабада автоколонна прошла за пятьдесят девять часов, включая остановки и ночевку. Двести восемь километров шли по барханам при 68 градусах жары! 68 градусов! Об этом и говорил

Митрофанов: раскаленное небо, песок на зубах, в пище песок, а воду обменяли бы на золото, вес на вес! Здорово все-таки, если сумеют повернуть туда воду...

Интересная статья «Металл новой эпохи». До чего хорошо звучит — металл новой эпохи! О чем это? А, металлический магний! «Мы вступаем в эпоху легких металлов...» Алюминий — и тот уже тяжел! Металлический магний «легче железа в четыре раза и намного легче алюминия». Главный его недостаток — быстрая окисляемость. Понятно. «Найдены, однако, методы, позволяющие...» Какие?

Раздумывая о химических превращениях, над которыми бьются неизвестные энтузиасты металлического магния (ведь вот нашли же люди дело под стать новой эпохе!), Палька уже взялся за мороженое, да так и замер с приоткрытым ртом...

В столовой появилась женщина в желтом полотняном платье, схваченном у талии пестрым кушаком. Она медленно шла через зал сквозь солнечные лучи, и каждый раз, попадая в солнечный луч, ее волосы вспыхивали темным золотом. Она!

Женщина остановилась, оглядываясь в поисках свободного места. Свободных столиков уже не было, но многие стулья были еще не заняты. Палька поспешно подтянул к себе газеты и посмотрел прямо в лицо женщины. Она поняла приглашение и неторопливо подошла.

— Вы кончаете? — проронила она, садясь и обнаженной до плеча, чуть тронутой загаром рукой задерживая занавеску.

— Скоро, — ответил он и заказал еще порцию мороженого.

Женщина, не глядя на него, слегка улыбнулась.

Он протянул ей карточку.

— Благодарю вас, — бросила она таким царственным тоном, что Палька не решился на дальнейшие попытки завязать знакомство.

Женщина заказала фаршированные помидоры. Без супа. «Потолстеть боится», — со злорадством решил Палька и, закрывшись газетой, начал исподтишка разглядывать соседку.

Волосы не были золотыми, они были рыжие, очень красивого медного оттенка (может, крашенные?). С той стороны, где солнце бросало сквозь занавеску желтый свет, волосы как бы дымилась, их цвет напоминал зарево. Кожа нежная, просвечивающая, над висками голубеют жилки. Брови круглые и узкие, темнее, чем волосы (это уж факт — крашенные!). А волосы не крашенные. Очень красивые волосы! И лицо... Не скажешь, что красавица, а хочется глядеть и глядеть.

Она будто и не замечала Пальку, ее зеленовато-карие глаза рассеянно

блуждали по залу, так что можно было беспрепятственно разглядывать ее из-за газетного листа. И вдруг она быстро в упор посмотрела на Пальку (значит, все время замечала его уловки?) и, отвернувшись, усмехнулась уголками губ.

Гордячка!

Палька ожесточенно листал подшивку. Главное, не обращать на нее внимания. Подумаешь, не видал он таких барыnek!

— Две порции мороженого сразу, — мелодичным, смеющимся голосом сказала она официантке. Это был вызов ему, Пальке. Но он только упрямее пригнулся к газетному листу.

Официантка ушла за мороженым и пропала.

Женщина поправила прическу, солнечный зайчик от ее часиков скользнул по лицу Пальки, затанцевал на обороте газетного листа.

Палька упрямо читал: «...объем потребления каучука считается одним из важнейших показателей уровня культуры, техники и обороноспособности страны...» Зайчик все еще прыгал. Нарочно она, что ли? Палька заставил себя заинтересоваться проблемой синтетического каучука: «...в будущем году мы оспариваем у Англии второе место в мире. Впереди нас остаются только США». Это здорово! Вот она, моя химия!

Зайчик погас. Женщине принесли мороженое. Уйти невысмысленно, смотреть на нее нельзя ни в коем случае, этого она не дожидается!

Ну, а за границей что? Ничего хорошего! Гляди-ка, до чего разгулялись фашисты! Гитлер отправляется в морское путешествие вдоль берегов Швеции и Норвегии. Геббельс и Геринг собираются в Грецию... Немецкий генерал Рейхенау едет в Нанкин, чтобы преподнести Чан Кай-ши саблю в подарок от Гитлера...

— Мерзавцы! — пробормотал Палька и, перевертывая лист, мельком глянул на соседку.

Она доедала мороженое, розовым язычком облизывая ложку.

Он нахмурился и уткнулся в газету.

Опять запрыгали зайчики, на этот раз от стакана. Женщина маленькими глотками пила лимонад.

Остались одни объявления. Чтобы не глядеть на нее, начал читать объявления: «Нужны инженеры и строители всех специальностей», «Срочно в отъезд требуются техники и рабочие, знакомые с буровыми работами...», «Прием на краткосрочные курсы монтажников металлоконструкций», «Союзкультторг НВКТ СССР объявляет всесоюзный конкурс на лучшую куклу...» Вот оно как! На лучшую куклу! «Управление по делам туризма и экскурсий организует и проводит...»

Отправиться, что ли, в какой-нибудь сногшибательный поход на Памир или на Алтай? «Комитет химизации и комиссия по подземной газификации угля объявляют всесоюзный конкурс на проект...» Что это такое — подземная газификация угля? Странно, ничего не слышал о ней! «Материалы и условия конкурса высылаются по требованию...» Непременно напишу, пусть вышлют. Чем черт не шутит!..

Женщина допила лимонад и расплачивалась, выискивая на дне сумочки мелочь, так как у официантки не было сдачи. Палька встал, бросил поверх ее денег свой червонец, процедил: «Сдачи не надо!» — и пошел к выходу. Он успел заметить, что женщина вспыхнула от такой явной невежливости. Ну и пусть! Может задаваться сколько хочет. Он сейчас пойдет на почту и потребует выслать условия конкурса, а потом разработает, чего доброго, самый лучший проект — конечно, разработает! — и тогда она еще пожалеет. «Талантливый молодой ученый Павел Кириллович Светов...» Газификация угля. Подземная газификация угля. Любопытно!

Отправив запрос, Палька заспешил в институт. Прямо над парадным входом старого особняка, построенного еще бельгийцами, над одним из чванливых львов, карауливших теперь профессора Китаева и директора Сонины — окна китаевского кабинета. Было бы лучше проскочить в институт двором, но во дворе шла стройка: к маленькому особняку пристраивали четырехэтажное новое здание — к рукаву пришивали кафтан. Вход со двора закрыли, чтобы оттуда не заносили известковую пыль.

Палька благополучно проскочил в лабораторию, не попав на глаза Китаеву, но лаборант Федосеев, поджав губы, сообщил, что Китаев дважды справлялся, кто из аспирантов отсутствует.

— Федосеич, вы слышали что-нибудь о подземной газификации угля?

Федосеич знал все, что касалось угля и химии. Пальке казалось, что он родился одновременно с химией и химия не могла существовать без Федосеича. Но и Федосеич ничего не знал о подземной газификации угля. Черт возьми, это что-то абсолютно новое!

Непонятная подземная газификация сливалась в его воображении с дымящимися на солнце волосами. Вот ведь далась мне эта рыжая! Откуда она свалилась? И почему ходит, как к себе домой, в столовую ИТР? Если бы она была новым инженером, Палька давно услышал бы, что на шахты прибыла столичная краля...

— Павел Кириллович, вас зовет профессор Китаев.

Вот оно! Начинается...

Кабинет Ивана Ивановича Китаева был похож на захудалую лабораторию со случайным оборудованием: профессор любил помудрить наедине и постоянно запрашивал то одно, то другое — Федосеич ворчал, но покорно носил. Аспиранты прозвали этот кабинет «кельей алхимика».

— Добрый день, добрый день, мой юный друг! — приветствовал Пальку профессор. — С утра вас не видал и соскучился.

— Я был в технической библиотеке, искал справку о...

— Да разве я проверяю вас! — воскликнул Иван Иванович, отмахиваясь короткопалой сморщенной ручкой. — Вы же знаете мои принципы: научный работник подчиняется только своей научной совести и внутреннему чувству долга. Зачем же мне допрашивать вас, где и почему вы отсутствовали половину рабочего дня?

— Иван Иванович, вы что-нибудь слышали о подземной газификации угля?

Китаев не любил, чтобы его перебивали.

— Мой принцип состоит в том, что только силой научного авторитета я воздействую иногда на умы моих учеников, — окончил он. — Какая газификация? — процедил он, снимая очки и внимательно разглядывая Пальку. — Неужели вы опять, Павел Кириллович, стремитесь уклониться от хода научного мышления в некие проблематические дебри, коих так много возникает справа и слева от науки?

Заглотив насмешливый ответ, Палька вежливо объяснил: прочитал объявление и надеялся, что профессор что-нибудь знает...

— Не слышал и не думаю, чтобы частные инженерные задачи могли привлекать внимание юноши, посвятившего себя науке, — проворчал Китаев и надел очки. — Я вас потревожил для того, чтобы уточнить актуальную проблему отпусков. Помнится, вы хотели поработать часть отпуска, чтобы закончить начатое нами исследование. Могу ли я считать, что ваше научное рвение не ослабело?

— Можете, — сказал Палька, переступая с ноги на ногу.

Такое необдуманное решение он высказал сгоряча месяц назад: надеялся развязаться с «навесками» и с осени взяться за самостоятельную тему. А сейчас вдруг представилось, что отпуск можно использовать для разработки проекта этой непонятной газификации... Но не говорить же об этом старику!

Китаев снова снял очки и несколько ласковее поглядел на аспиранта. Человек одинокий и целиком погруженный в жизнь института, он ненавидел отпускные месяцы и желал бы видеть своих аспирантов погруженными в работу, без всех глупостей, которые постоянно отвлекают

их от дела: то любовь, то какие-то спортивные занятия (гоняют мяч, как маленькие, или стараются дальше всех забросить дурацкое копье — первобытное занятие, достойное дикарей, а не научных работников!). От Светова он все время ждал чего-либо подобного. Как ни странно, неуравновешенный юноша, именуемый товарищами «Палька» (!), до сих пор ничего не выкинул, да еще частью отпуска жертвует.

— Вот и чудесно, — протянул Китаев. — Извините, что оторвал вас в рабочее время, Павел Кириллович. Загляну к вам позднее или завтра утром.

Палька ушел, ругаясь про себя. Милое обещание означало: я рядом, я проверяю. И на кой черт было жертвовать половиной отпуска?

Перед ним опять возникла рыжая-золотая с ее повадками гордячки и удивительным лицом, на которое хочется глядеть и глядеть. Есть такое слово — ненаглядная. Вот это оно и значит: глядишь и не наглядишься.

На следующий день он снова встретил ее, она вышла из столовой и запросто попрощалась с двумя институтскими доцентами. Была она не одна, а с девочкой лет десяти, девочка тоже поклонилась, розовый бант на ее волосах смешно подпрыгнул.

— Очаровательная женщина! — сказал один из доцентов, рассеянно здороваясь с Палькой.

— Не разглядел, — притворяясь равнодушным, буркнул Палька. — А кто она такая?

— Как, вы не знаете? Татьяна Николаевна, жена профессора Русаковского.

Имя Русаковского было широко известно. Недавно Русаковский приехал с комиссией принимать государственные экзамены и консультировать угольные тресты. Пальке не пришлось встречать его, профессор представлялся ему вторым, улучшенным, более роскошным изданием Китаева. И вдруг такая жена!

Три дня подряд Палька утром и вечером проходил мимо гостиницы, но все окна были затянуты одинаковыми занавесками. Где там прячется ненаглядная? В столовой он сидел так долго, что официантки теряли терпение. На пятый день у него не оказалось денег, он ел одно мороженое, обильно заедая его хлебом.

— Вы кончили? — спросила официантка, сметая крошки.

Палька вышел злой, негодующий. Какого дьявола он тут торчит? На что ему сдалась эта рыжая? Раз у нее такая дочь, ей не меньше тридцати. Выскочила замуж за старика ради денег и ученого звания! Ну и пусть наслаждается всем этим, ему наплевать.

Он снова представил себе ненаглядную, шагающую по степи в золотой

солнечной каемке. На что ей муж и дочь? Он подошел бы к ней: «Здравствуйте, вы, очевидно, любите нашу степь?» — «Да, — сказала бы она с улыбкой, — степь нельзя не любить». Он взял бы ее за руку, и повел по степи, и привел бы ее в балочку, где растет ежевика, и залез бы в колючие кусты, и наклонял бы ей ветки с сочными, черными ягодами, чтобы она полакомилась, не оцарапав свои красивые руки.

— К черту!

Вовка и Катерина — пара, ровня, он может залезть ради нее в колючие заросли, не теряя достоинства, она сама не промах. А эта городская красотка будет стоять с царственным видом, будто так и надо. Нет, к черту! Пора заняться делом.

Приняв решение, Палька повеселел и деловым шагом отправился в техническую библиотеку поискать сведений о подземной газификации угля. Поднимаясь по лестнице, он с удовольствием думал, что умеет справляться с глупыми увлечениями.

Войдя в библиотеку, он растерялся от неожиданности: рыжая-золотая была там. Положив на барьер обнаженные руки, она болтала с библиотекаршей, пока та по длинному списку подбирала ей литературу.

Обе повернули головы к вошедшему. Покраснев, Палька наклонился и сказал: «Здравствуйте» — без добавления имени и отчества библиотекарши, так что приветствие могло относиться к обоим женщинам. Рыжая чуть наклонила голову, губы ее насмешливо дрогнули. Но голос был приветлив, очаровательный, немного певучий голос:

— Пожалуйста, товарищ, берите, что вам нужно. У нас дело долгое.

Уж не думает ли она спровадить его? Этот номер не пройдет!

— Спасибо, у меня тоже долгое дело.

И он попросил каталог заграничных журналов.

Устроившись у окна, он прислушивался, что берет рыжая. Специальные книги по горному делу, геологические журналы, несколько справочников... В мягком свете, царившем в глубине комнаты, ее волосы приобретали тяжелый медный оттенок, матово-зеленое платье открывало плечи, плечи чуть-чуть порозовели от солнца, а спина бронзовая, — видно, прячет лицо от загара, все достается спине. Палька опустил взгляд и увидел ее ноги в тонкой паутинке и совсем новых туфлях на высоченных каблуках. И как она ходит на таких!

— Павел Кириллович, вам что? Я иду за журналами, зараз принесу.

Было приятно, что библиотекарша назвала его по имени и отчеству: пусть видят, что он тут человек свой. Он выбрал наугад два немецких журнала.

— И опять я вам перебежала дорогу! — воскликнула рыжая. — Оба в моем списке.

Журналы были чудесным поводом для продолжения знакомства.

— Куда вы набираете такую кучу книг? Вам на месяц хватит.

— Неужели вы думаете, что я буду читать всю эту скуку? — со смехом воскликнула она. — Я беру для мужа.

— Слава богу! Вам совсем не идет читать всякую ученую муть.

— О-о-о, да вы забияка!

Они, улыбаясь, разглядывали друг друга. Библиотекарша принесла журналы. Но Палька облокотился на барьер и продолжал разговор, принимавший все более веселый характер.

— Только муж способен нагрузить женщину этакой кучей книг.

— Он просил не брать все сразу, но в то же время намекнул, что все книги ему нужны сегодня вечером.

— Вряд ли ваши каблучищи рассчитаны на такую нагрузку.

— Если они треснут, ему придется купить мне новые туфли, вот и все.

Библиотекарша решила вернуть обоих к делу:

— Кому же записать журналы?

Рыжая мило улыбнулась:

— Все-таки мне. — И обратилась к Пальке: — Вам они очень нужны?

— Очень. Я их просматривал, но мне нужно сделать выписки, — соврал Палька, лихорадочно придумывая лучший способ превратить эти журналы в естественный повод для встреч.

— Как же быть? — спросила она, невинно распахнув глаза.

— Берите! Я их возьму у вас на несколько часов, а вечером отдам.

— Чудесно! Но где же я вас увижу?

— А где хотите. Я свободен и...

— Надеюсь, это вас не затруднит?

Ее глаза так явно смеялись, что Палька решил не поддаваться.

— А если и затруднит? Журналы-то мне нужны!

Конечно, они вышли вместе. Чтоб гордячка не задавалась, Палька предоставил ей нести связку книг и только в конце квартала снисходительно сказал:

— Каблуки проверили, теперь давайте мне.

Они дошли до гостиницы, превесело болтая. Возле подъезда она хотела остановиться, но Палька шагнул дверь.

— Доставлю до места назначения, Татьяна Николаевна!

— О-о! Откуда вы знаете, как меня зовут?

— Догадался.

— Однако вы действительно заноза, Павел Светов!

Тут настала его очередь удивиться.

Уже у своей двери она добродушно улыбнулась:

— Я о вас знаю гораздо больше, чем вы предполагаете, причем из самого надежного источника.

Кого же она сочла «надежным источником»? Китаева?..

Войдя вслед за нею и бросив книги на стол, он согнулся, сморщил лицо и проговорил монотонным, слегка шепелявым голосом:

— Из этого самонадеянного молодого человека мог бы вырасти под моей непрерывной опекой неплохой научный работник, если бы он не был так упрям, дерзок и непослушен!

Сходство получилось явное. Татьяна Николаевна расхохоталась.

— Вам очень трудно с ним?

— Постарайтесь представить себе!

— Бедняга! Начинаю уважать ваше терпение.

— Это не самое лучшее мое качество. Есть и другие.

Они стояли посреди комнаты и смеялись, она не спешила выпроводить его. Но тут, как назло, в комнату ворвалась девочка с мячом, в грязном платье, с расцарапанными коленками.

Татьяна Николаевна всплеснула руками:

— Вы посмотрите на нее!

Девочка спрятала за спину руки с мячом и прошла мимо Пальки, исподлобья мрачно оглядев его.

— Немедленно умойся и переоденься, — строго приказала Татьяна Николаевна, вынула из пачки два журнала и протянула Пальке.

— До вечера, — певуче сказала она.

Вечером, подойдя к гостинице, Палька сообразил, что ее муж, вероятно, дома и, следовательно, придется отдать журналы и уйти, не обеспечив новую встречу. Нет, такой глупости он не сделает! Зайти нужно утром, когда муж в институте.

Чтобы скоротать время, он направился к Кузьменкам. Саша с Любой сидели у садового стола. Люба шпилькой вынимала косточки из вишен, ее пальцы были запятнаны соком, а Саша следил за каждым движением ее пальцев и что-то тихо рассказывал ей.

Палька повернулся и ушел. Все влюблены, все счастливы. «Как туман стоит, и в этом тумане одна дорогая сияет...» Захотелось немедленно помчаться к Татьяне Николаевне. Ненаглядная — это ей подходит. Ненаглядная...

На улице он с удивлением увидел ее дочь. Скуластенякая, совсем не

похожая на мать. Что она тут делает?

Девочка вскарабкалась на забор, положила два пальца в рот и свистнула, как мальчишка. И тотчас откуда-то появился Кузька.

— За ажиной пойдём? — спросила девочка.

— Можно.

Как они умудрились познакомиться? И девочка уже называет ежевику по-украински — ажина. И свистит, как мальчишка. Видно, ненаглядная не перегружает себя заботами о воспитании дочери.

Палька долго бродил один. Ни читать, ни работать он не мог. Скорей бы настало утро!

Подходя к дому в темноте, он увидел у калитки две фигуры. Катерина и Вовка? Вовка обнимал Катерину и целовал, целовал ее...

Отшатнувшись, Палька походил по улицам и вернулся. Те двое еще целовались. Палька хотел свистнуть, но что-то удержало его. Он снова побродил, с тоской и надеждой думая о том, что у него все сложнее, трудней, но и у него будет любовь. Не может не быть.

В третий раз он подошел к своей калитке, издали начав шаркать ногами и насвистывать.

— Ты, Палька?

— Простите, если помешал.

— Ну что ты! — лицемерно пробормотал Вовка.

Катерина засмеялась, стремительно вскинула руки на плечи своего милого, поцеловала его и убежала домой.

— Выходит, в родственники набиваешься, Вова?

Вовка перевел дыхание и робко сказал:

— Выходит... А что?

Получасом позднее Палька ворочался в постели, вспоминал блаженное выражение лица своего приятеля, вспоминал, как Катерина вскинула руки и при брате поцеловала Вовку. «А меня? Будет ли когда-нибудь, что она вскинет руки и поцелует меня?.. Может ли она полюбить меня?» И сам испугался этой мысли.

В одиннадцатом часу утра он постучался у ее двери. На ней было что-то длинное, легкое, невероятно прекрасное, — такие платья Палька видел только в кинофильмах. Он стоял и молча теребил журналы.

— А я думала, вы удрали с этими журналами.

Солнце падало в окна двумя сверкающими полосами.

Одна полоса подобралась к ногам ненаглядной. Солнечный блик дрожал на ее щеке. Она смотрела на Пальку вопросительно и немного испуганно.

— Сядьте, пожалуйста, к окну, — умоляюще сказал Палька. — Вот сюда, на солнце.

— Какой вы сегодня странный, — сказала она и села, Что с ним случилось за неполные сутки?

Она хотела встать, потому что нелепо подчиняться прихоти малознакомого юноши, который молчит и смотрит не отрываясь, но Палька грубовато сказал:

— Сидите! У вас волосы на солнце светятся. Вам всегда надо на солнце быть.

— Всегда?

— Да, всегда.

Оттого, что она подчинилась, Палька обрел уверенность, и она это заметила.

— Почему вы не пришли вчера вечером?

— Догадайтесь, если можете.

Она, конечно, догадалась, но сказала невинно:

— К счастью, у мужа было заседание до ночи, так что журналы не понадобились. А сейчас мне нужно в город. Подождите минутку, выйдем вместе.

Она ушла в другую комнату и прикрыла дверь. Значит, вчера она была свободна целый вечер... А он скитался один! Действительно ей нужно в город или она наказывает за вчерашнее? И какой предлог найти для новой встречи? Кино, театр — так начинают ухаживать за девушками, а тут — муж, дочка!..

Татьяна Николаевна появилась снова, в желтом платье с пестрым кушаком, которое было на ней в столовой, когда он бросил червонец поверх ее денег. Помнит она об этом?.. Вид у нее царственный и отчужденный.

— Вы спешите? — оробев, спросил он.

— Мы идем на солнце! — нараспев сказала она, запирая дверь, и метнула быстрый взгляд, от которого у него заколотилось сердце.

Она зачислила его в спутники и мило командовала им, заходя то в один магазин, то в другой за всякими пустяками. Но на улице то и дело попадались ее знакомые, она останавливалась и болтала. Чаще всего это были институтские работники, знавшие Пальку. Самолюбие Пальки страдало, и в то же время он гордился: да, она идет с ним, а не с кем-либо другим! Он сам добился ее внимания и теперь уж не упустит ее!

— Вы гуляете в степи? — улучив минутку, спросил он.

— Случается, — пропела она и тут же обрадованно откликнулась на приветствие знакомого и остановилась поболтать.

Палька злился и подбирая слова, чтобы самым простецким тоном предложить ей погулять вместе по степи, и вдруг начисто забыл о ней.

Протяжные, тревожные гудки заполнили город.

Протяжные, тревожные гудки...

— Беда! Беда! Беда! — кричали гудки на весь этот город, где не было ни одной семьи, не связанной с шахтой.

— Скорей! Скорей! Скорей! — кричали гудки, сея ужас перед еще неизвестной бедой и взывая о помощи...

Автомобиль, кативший по улице, круто развернулся перед носом трамвая и помчался в обратную сторону, к шахте.

Люди, только что мирно шагавшие по своим делам, на миг обмирали и, забыв обо всем, вскакивали в трамваи или пускались бегом туда же, к шахте.

Женщина, вышедшая из магазина с покупками, закричала истошным голосом и, в беспамятстве роняя пакеты, побежала к шахте.

Перекрывая протяжные гудки своим зловещим трезвоном, прогрохотали пожарные машины — к шахте.

Завывая, пронеслись две кареты «скорой помощи» — к шахте.

Палька тоже побежал в нарастающей толпе.

В трамвай было не влезть, он прицепился к нему с той стороны, где цепляться не полагалось, и сразу оказался притиснутым к обшивке чьими-то телами. На подъезде к шахте трамвай замедлил ход, тщетно названивая, чтобы его пропустили: во всю ширину улицы бежали, бежали, бежали шахтеры второй смены, жены и матери, школьники, шахтерские деды с палками...

Вход в шахту был оцеплен.

Большая толпа стояла полукольцом у входа — страшная своей молчаливостью толпа. Шахтеры второй смены подбегали, тяжело дыша, и проходили сквозь толпу, ничего не спрашивая. Во дворе шахты они собирались в группы, один из начальников тыкал в кого-нибудь пальцем — вот старшой! — и группа во главе со старшим без слов шагала к подъемнику и уносилась вниз.

— Светильный газ... газ... газ... — тихо говорили в толпе. — Взрыв... Обвал... От газу...

Иногда взмывал женский замирающий голос:

— А люди? Люди? Много там?

— Не знаем, — осуждающе отвечали голоса, и женский голос смолкал, и отчаянное женское лицо застывало, как маска, как все лица вокруг.

Палька выискивал знакомых, чтобы его пропустили сквозь оцепление и позволили войти в одну из спасательных групп. Липатов пробежал по двору, но на зов Пальки отмахнулся, даже не поглядев. Затем Палька увидел Сашу Мордвинова, уже в шахтерской робе. Саша вместе с одним из инженеров направлялся к подъемнику.

Совсем близко от Пальки раздался неистовый выкрик:

— Саша, не надо! Саша, не ходи!

Саша на миг обернулся, заметил в толпе рвущуюся к нему фигурку в белом халате и косынке, резко отвернулся и вошел в клеть.

Женщины без сочувствия поглядели на Любу и отвернулись от нее, как от чужой. И Кузьминишна, стоявшая рядом с дочерью, отвернулась. Люба побелев, опустила голову.

При первых звуках сирены Кузьминишна кинула все дела и, как все шахтерские женщины, побежала к шахте. Она не знала, на каком участке произошло несчастье, и никто ей не сказал об этом, но по тому, как ее без слов пропускали вперед, она поняла, что несчастье произошло именно там, там, где ее муж и ее сын. Тридцатилетний опыт шахтерской жены подсказывал ей, что спрашивать ничего не нужно: все, что знают в окружающей ее толпе, — только слухи и домыслы. Надо ждать. Ждать час, или много часов, или сутки. Ждать...

И все ждали. Ждали матери и отцы, жены и дети. Ждала мать Пальки и сотни женщин, подобных ей. У них не было сейчас под землей ни мужа, ни сына. У них были — люди.

Большая напряженно застывшая толпа — все лица обращены к подъемнику, все глаза прикованы к его темной пасти, куда изредка входят и откуда никто не выходит.

Но вот с тихим гудением поднялась клеть, и у выхода забелели халаты санитаров.

О, эти долгие минуты последнего ожидания, когда все самое страшное становится пугающе близким, вот-вот обрушится на тебя!.. Когда предчувствие горя и надежда сливаются в единый трепет... Когда ты еще не можешь разглядеть в очертаниях тела и закинутого лица дорогие или чужие черты... Долгие минуты последнего ожидания перед тем, как ты узнаешь, тебе ли выпало самое страшное горе, и, может быть, если не тебе, — обрадованно кинешься навстречу своему любимому и все равно не

сможешь радоваться, потому что горе рядом, и кто-то уже забился в рыданиях, и на лице дорогого тебе человека лежит та же печать потрясения, как и у всех, кто был там.

И вот уже вынесены из клетки носилки. Кто? Чей?

Сотни глаз впились в лицо того, кто лежал на них. А затем толпа зашевелилась и расступилась, пропуская вперед ту, которой всего нужнее. И женщина в голубом платочке одна пробежала по двору и без крика склонилась над черным от угольной пыли лицом, подрагивающим в такт покачиванию носилок. Глаза раненого приоткрылись, черные губы раздвинулись, сию секунду что-то сказать. Женщина всхлипнула, положила руку на черный лоб и пошла рядом, плача от боли и от радости: жив! И вся толпа перевела дыхание: жив.

Вторые носилки.

Кузьма Иванович шел сбоку. Весь в угле и в поту, он тяжело, неотступно шел сбоку, стиснув губы и глядя прямо перед собой. Иногда он спотыкался на неровностях двора, выправлял шаг и снова шел в ногу с санитарями, глядя прямо перед собой.

Его губы дрогнули, когда он увидел жену, дрогнули и снова окаменели.

Кузьминишна на цыпочках пробежала по двору, беззвучно вскрикнула и упала на неподвижное тело того, кто был ее сыном.

Санитары опустили носилки. Кузьминишна быстрыми руками огладила голову, лицо, плечи сына и припала к холодеющему телу.

— Ксюша!.. Ксюша!.. Ксюша! — звал Кузьма Иванович.

Палька стоял рядом и не отрываясь смотрел на искаженное судорогой, окровавленное лицо друга. На секунду в памяти возникли две слившиеся фигуры у калитки, блаженное лицо живого, счастливого Вовки, его робкий ответ: «Выходит... А что?»

— Мамо, мамочка! — плача, повторяла Люба.

Кузьминишна оттолкнула дочь, оттолкнула мужа и врача. Ее руки оторвались от перекладин, расправили и пригладили спекшиеся от крови волосы, платком отерли уголь и кровь со лба и щек сына.

— Берите носилки, — приказал санитарам врач.

Ничего не слыша, Кузьминишна все гладила, оправляла, прибирала родное бездыханное тело. Кузьма Иванович отвернулся, засопел носом, смежил веки. По черному лицу покатались слезы, оставляя белые бороздки.

И тогда Палька решительно подхватил и поднял Кузьминишну. Крепко держа ее и прижимая к себе, он впервые вспомнил о сестре. Она сегодня работает в ночь, а с утра на велосипеде поехала купаться. Как сообщить ей

и что с нею делать?..

Но в это время сомкнувшаяся вокруг носилок толпа снова раздвинулась как по команде. По узкому проходу бежала Катерина. В красном сарафане, таком чудовищно праздничном в эту минуту, она бежала напрямик к своему горю. Добежав, с разбегу остановилась над самыми носилками. Ее руки взлетели и сцепились у горла.

— Да покричи, покричи! — не выдержав ее молчания, выдохнула какая-то женщина и попыталась обнять ее.

Катерина повела плечом, скидывая чужую руку, и продолжала стоять, сцепив руки у самого горла.

— Берите носилки! — крикнул врач и согнутым пальцем вытер глаза.

Санитары подняли носилки и понесли их, обходя застывшую на месте Катерину.

— Катерина, пойдём, ну, пойдём! — бормотал Палька, топчась рядом с нею.

Вынесли третьи носилки. Женский вопль встретил их.

От этого вопля Катерина очнулась, безразлично отвернулась от чужого горя, рванулась туда, где санитары уже вдвигали носилки в санитарную машину... Плечом отодвинула брата и стремительно пошла прочь от людей — излишне твердой походкой, в праздничном красном сарафане, все так же сцепив руки у горла.

Инженер Катенин проснулся. По тусклым щелям между занавесями Катенин понял, что еще рано, и торопливо закрыл глаза, удерживая сон. Но мысль уже работала по-дневному. Уснуть не удастся. Его разбудило... Что? Не звук извне, не привычка, нет, что-то тревожило, мешало.

Он повернулся на спину и постарался вспомнить — что. Перебирал новости, рассказанные женой и дочерью вчера вечером, когда он вернулся из Донбасса. Новости были мелкие, обыденные. Обычно все, связанное с дочерью, вызывало у него тревогу, но вчера Люда выглядела превосходно, а самый подозрительный поклонник — майор — уехал в летние лагеря, так что и тут никаких страхов не было. Катя? Но что могло случиться с Катей? Вот она посапывает рядом, и все в ней знакомо, привычно и мило. На службе, в управлении техники безопасности? Но и там все в порядке. Несколько дней назад он очень волновался из-за аварии на одной из шахт, по дороге в Донецк представлял себе разные неприятности. Грозная

комиссия, созданная для расследования, могла раздуть упущения, которые всегда обнаруживаются после аварии... Выводы комиссии были благоприятные для Катенина, а привлечение профессора Русаковского к разработке методов предупреждения взрывов газа было его заслугой. Так что же?

Похороны погибших... Да, это тяжело. Он всегда старался избежать похорон, но на этот раз пришлось присутствовать. Тысячи людей шли за красными гробами. Шахтерский оркестр неумело играл траурные марши. Над холмиками непросохшей земли плакали жены, матери, ребятишки... Катенину запомнилась девушка, неподвижно стоявшая над могилой самого молодого из погибших. Кто она: жена, невеста? Она не плакала, и от этого ее горе выглядело еще страшнее.

Там, на кладбище, в его памяти ожил давний день, когда он практикантом начал работать в шахте. Ранним утром, в сером полумраке, он шел в толпе молчаливых шахтеров, выделяясь новой чистой робой. Он чувствовал себя чужим среди этих черных теней и обрадовался, когда увидел светлую домотканую робу такого же, как и он, новичка. Катенин спросил как можно солидней: «Что, братец, первый раз идешь?» У парня было курносое деревенское лицо, светлые глаза под белесым чубом. «Впервой. Оженился недавно, мы сами бедные и невесту взяли из бедных, по любви. Поработаю до весны, сколочу денег, купим корову...»

Они расстались у клетки. Страшной показалась Катенину шахта: теперь и представить себе трудно шахтерский труд в те годы, когда ни механизации, ни техники безопасности не было, — дикий труд кайлом, на карачках или лежа, в черных, душных недрах земли... Среди дня прозвучал сигнал тревоги. Катенин побежал к месту обвала, хотя больше всего ему хотелось бежать вон из шахты. И первое, что он увидел в мутном свете шахтерских ламп, были торчавшие из-под обвала ноги в светлой, еще не испачканной робе...

Вернувшись осенью домой, Катенин признался своему другу Арону Цильштейну: сделал ошибку, не полюбил и не полюблю свою профессию. Арон сказал со свойственной ему прямолинейностью: «А ты думал, шахта — рай? Конечно, можно переменить профессию и самому избежать этого ада, но я бы добивался, чтоб ада не было ни для кого!» Арон и не мог ответить иначе. Катенин избегал политики, его желания были скромней: кончить Горный институт, стать инженером, жениться на Кате. Он этого добился. Арон повлиял на него только в одном: Катенин отказался от протекции отца-профессора, желавшего оставить сына при себе, и поехал с молодой женой в Донбасс. Годы были трудные: война, потом революция,

гражданская война, разруха... Где-то в самом центре революционных боев мотался Арон. Катенин воспринимал все происходящее из глубины своего маленького дорогого мирка — Катя и крошечная Люда. Все его помыслы были направлены на то, чтобы обеспечить незыблемость этого мирка. Чем только не занимался он в то время! Когда началось восстановление угольной промышленности, Катенин вернулся на шахту. Он избегал и большевиков с их агитацией, и всяких контрреволюционеров и саботажников, которых тогда хватало, работал со свойственной ему добросовестностью.

И вдруг его увлекли темпы работ и огромные начинания по охране труда, по технике безопасности, по механизации угледобычи. Он написал Арону, узнав, что друг юности работает в Москве: «Вы (он имел в виду — большевики) хотите все пропитать политикой, а я делаю для народа самое главное — улучшаю труд, практически работаю для того, чтобы ликвидировать „ад“, помнишь давний разговор?» Арон ответил: «Узнаю старого скептика и приветствую, но ведь это „политика“ дала тебе возможность заниматься ликвидацией „ада“. Будешь в Москве, приходи, вспомним прошлое и поговорим о будущем». Арон стал крупным специалистом по газогенераторам, его имя мелькало в технических журналах. А Катенин? Устал ли он, начал ли стареть?.. Какая-то вялость сковала его, особенно после того, как Люда заболела воспалением легких и Катя взбунтовалась: хватит донецкой пылью дышать!

Он добился перевода в Харьков, в управление. Работа отошла на второй план. Семья — в этом была вся жизнь. Люда, ее занятия музыкой, ее хрупкое здоровье, ее капризы... Иногда он горько задумывался: жизнь перевалила за половину, а чего-то самого главного так и не сделал. Правда, в последние годы ощущение неполноценности, незавершенности приходило к нему все реже.

Но именно оно разбудило его сегодня.

«Да, да, да! Я еще могу что-то сделать. Что?»

Вчера ночью, лежа в постели, он рассказал Кате о похоронах погибших шахтеров.

— Но что же делать? — сказала Катя, вздыхая. — Под землей не убережешься. Ты же сам говорил, что какой-то процент непредусмотренной опасности неизбежен.

Она заснула раньше, чем он. Катенина томила мысль об этом неизбежном проценте. Когда-то процент увечий и смертей в шахтах был огромен, теперь он намного меньше. Но разве это утешение? Самый малый процент — это человеческие жизни, какой-нибудь паренек, женившийся по

любви, крах надежд какой-нибудь девушки, красивой и полной сил... «Но что я могу сделать?» С этим горьким чувством он заснул.

А мысль пробилась сквозь сон. Что-то не сделано. Где-то рядом, нет, в нем самом живет способность, сила для свершения. Чего? Надо только найти, вспомнить... Что-то намеченное, но забытое, оттесненное повседневностью. Что же? Что?

Щели между занавесями стали яркими, в спальне посветлело. Катя сладко зевнула, накинула халат и вышла из спальни. Через полчаса она вернется будить его.

Он рассеянно оглядел знакомую комнату. Утренний свет блестел в зеркале платяного шкафа, играл на лакированной поверхности бюро — дорогого бюро красного дерева, пленявшего Катенина множеством затейливых потайных ящичков.

Вот оно! Вот!

Он вскочил, как в юности, одним движением и подбежал к бюро. Лихорадочно искал ключи, нажимал секретные кнопки, выдвигал ящики, за которыми открывались тайники, перебирал бумаги, блокноты, старые письма... Вот оно, письмо Арона!

— Всеволод! Без халата? Босиком!

Он виновато обернулся. Екатерина Павловна отметила молодое оживление в его лице.

— Мне тут одно письмо понадобилось...

— Вода нагрета, Люда проснулась, — сказала она и ушла.

Он любил в ней эту безошибочную деликатность: она живо интересовалась его делами, но никогда не надоедала вопросами, должно быть, давно убедилась, что он сам обязательно расскажет. И сейчас, только она успела выйти, Катенину захотелось вернуть ее и рассказать о письме Арона.

«...Дружище! Меня включили еще в одну комиссию, на этот раз очень интересную. Предполагается разработать способ подземной газификации угля, то есть заменить подземный труд шахтеров каким-то процессом превращения угля в газ под землей. Пока ничего конкретного, собираются объявить конкурс на лучший проект. Посылаю тебе первый набросок условий конкурса, мы будем его обсуждать на ближайшем заседании. Попытка заменить подземный труд — интересно! Вот бы ты взялся и разработал проект. Попробуй, а?»

Письмо и тогда взволновало Катенина, он решил написать Арону, посоветоваться, подумать. Но у Люды шли экзамены, Катенин повторял с нею все предметы подряд: историю и грамматику с синтаксисом, алгебру и

географию, даже историю музыки. Письмо Арона было отложено и забыто.

А ведь это и есть, это может стать лучшим делом жизни!

Написать, нет, попросту поехать в Москву к Цильштейну, разузнать, вместе с ним разработать проект...

Он заспешил в ванную комнату, выплеснул из кувшина приготовленную для него теплую воду и с непривычным удовольствием накрепко растерся холодной.

— Суть в том, что у каждого человека должно быть свое, главное дело, — сказал он за завтраком, обращаясь к бездумно-радостным глазам дочери.

— Ну конечно! — согласилась Люда и посыпала яичницу укропом.

— Не каждый его сразу находит, — продолжал Катенин. — Иногда люди и не догадываются, что без этого нельзя.

Дочь не ответила. Екатерина Павловна приглядывалась к мужу, но в разговор не вступала. Только в передней, провожая его, тихо спросила:

— Что-нибудь интересное?

— Да вот... Еще самому не ясно.

Неожиданно для себя он подхватил жену, приподнял, поцеловал и быстро опустил, переводя дух: Катя стала тяжеловата.

— Рубикон! — воскликнул он. — Стоит перешагнуть — и вся жизнь может перемениться! В общем, я на днях поеду в Москву, а там... Ох, Катя, как я был глуп!

И он сбежал по лестнице, чего не делал уже лет двадцать.

Из поездки в Донецк Матвей Денисович Митрофанов вернулся в лагерь экспедиции более угрюмым и ершистым, чем обычно. На обратном пути «рыдван моей бабушки» пять раз выходил из строя, и сонный Игорь неохотно, без увлечения чинил его, переругиваясь с Никитой.

Поездка, казавшаяся такой приятной, закончилась плохо. В гостинице Матвей Денисович не застал своего друга. Профессор Русаковский уехал в Ростов, а жене профессора было не до него: в ее двойном провинциально-роскошном «люксе» играл патефон, пятеро мужчин стоя ждали, пока хозяйка выпроваживает непрошенных гостей: вероятно, они по очереди танцевали со своей единственной дамой. Игорь заглядывал через плечо отца, он охотно примкнул бы к веселой компании, а слишком оживленная и слишком красивая жена профессора бросила ему откровенно кокетливый

взгляд и, прощаясь, некстати рассмеялась.

— Вертушка! — сердито определил Матвей Денисович, как только дверь за нею закрылась.

— Она достаточно красива для того, чтоб не быть скучной.

Игорь любил изрекать подобные глупости назло отцу. Они поссорились, лежа в постелях, не из-за жены профессора, а из-за хода дел в экспедиции. Что ж, недостатков и неурядиц хватало: два буровых станка были на ремонте, и ремонт затянулся, — но найдется ли экспедиция, где все идет гладко? Недовольные считали, что начальник мягок и неэнергичен. Игорь — родной сын! — наслушался их воркотни и требовал, чтобы отец поднял на ноги все районные, областные и центральные организации, будто у них нет другого дела.

Утром Игорь повез отца на квартиру к директору, но тот был на рыбалке. Игорь разузнал, где директор удит рыбу, и повез отца за десять километров на рыбалку. Хорошо, что клев был отличный и директор в добром настроении. Об ускорении ремонта договорились, но на обед к Кузьменкам опоздали; хозяйка жаловалась, что все перестоялось. Во время обеда Игорь скучал (девушек не было!), а потому удрал вместе с Никитой. Жалея друга молодости и его жену, Матвей Денисович утаил многие грехи Никиты, решив, что сам обломает парня. Мог ли он знать, что в тот же вечер Никита втянет Игоря в свою неважнецкую компанию и что Игорь среди ночи ввалится в гостиничный номер совершенно пьяным!

— Не сердись, — сказал Игорь поутру, как ни в чем не бывало поднявшись и торопя отца. — Перебрал с непривычки. Но как там пели! Как плясали! Ты видал, папа, настоящий гопак?

— Гопак видал, а тебя пьяным впервые увидел, — сказал Матвей Денисович. — Никита придет сам или его по канавам искать?

Никита ждал их у Липатовых — трезвый, румяный, с кошелкой домашних пирожков.

Всю дорогу Никита пел песни, вероятно, те, что накануне понравились Игорю. Игорь пытался подпевать. И Аннушка подпевала: ей не было дела до того, что вчера этот бездельник напоил Игоря!

В довершение всего Никита весьма легкомысленно отозвался о коллекторе Леле Наумовой, которую молодежь звала отчаянной Лелькой. Эта девица к своим двадцати четырем годам успела побывать во многих экспедициях, поработала и на буровых, и возчицей, и коллектором. В Средней Азии она отбилась от партии во время песчаной бури и все-таки уцелела, да еще и сохранила инструменты. Совсем недавно, работая на отдаленной буровой, она на спине принесла Митрофанову мешок с

пробами, когда он срочно их затребовал, не зная, что машина сломалась. Пришла босиком, с израненными ногами, злая, как черт, крепкими словцами определила во всеуслышание, какие в экспедиции машины, какие шоферы и какие начальники, сходила в баню, заставила сапожника срочно подбить подметки к развалившимся сапожкам и в тот же вечер пешком ушла обратно, боясь, что без нее перепутают керны... Матвей Денисович ценил Лелю и старался не замечать, что она слишком вольно ведет себя с парнями, что она невоздержанна на язык. Что же делать, была беспризорной, из трех детдомов убежала, ни в школе, ни на производстве не прижилась, а вот изыскательское кочевье полюбила!

Дребезжание и пыхтение «рыдвана», появившегося в палаточном лагере, привлекло всех, кто был поблизости. Выбежала на крыльцо кернохранилища и Лелька — босая, в узкой юбчонке и белой майке, в украинском широкополом бриле. Надвинула бриль на лоб, чтоб заслониться от солнца, пошла к машине, крепкими ногами раскидывая пыль, голым плечом раздвинула столпившихся товарищей и остановилась на самом виду. Курносая, большеротая, с блестящими глазами того неопределенного цвета, который она же сама называла «сер-бур-козюльчатый», она отнюдь не была красивой, но было в ней что-то такое вольное, дикое, зовущее, что и Матвей Денисович иной раз заглядывался на нее. «Ох, Лелька, бесшабашная душа, я бы и поберег тебя, да стар и ни на что тебе не нужен, а все эти парни, с которыми ты так отчаянно, без опаски, хороводишься, не доведут они тебя до добра, неужто сама не понимаешь?!»

Ничего она не понимала. Стояла подбоченясь, поводя голыми плечами, из-под полей бриля глядела на приехавших парней. Через минуту Никита оказался рядом с него возле кернохранилища. Матвей Денисович с острой неприязнью окликнул Никиту, послал за старшим буровым мастером, а сам подумал: «Разошлю их в разные стороны, а если обидит ее — голову сверну!»

Буровой мастер пришел раздраженный: надо перевозить буровую вышку, а трактор опять поломался. Тут же пришел старший механик со своими неприятностями, потом завхоз. Все это было обычно, без ежедневных затруднений в экспедиции не обойдешься, но Матвею Денисовичу они были сегодня в тягость — он торопился всех отправить вон и остаться наедине со своими мыслями.

Уже стемнело, молодежь разожгла костер и пела песни, когда Матвей Денисович уединился в палатке и тяжело опустился на табурет возле колченогого стола, заваленного бумагами и пробами.

И сразу забылись сегодняшние заботы и неприятности. Глаза смотрели

и не видели ни колеблющегося света лампы, ни захлавленного стола; они видели совсем другое, навсегда памятное, до осязаемости реальное. Круглятся песчаные барханы... Порыв ветра — и сотни струек стекают с верхушек барханов, песчинки бегут и бегут, как живые. Пески движутся. Двигутся, движутся пески, гонимые ветрами, и среди этих песков стоят странные, насквозь просвечиваемые заросли безлистных кустов саксаула. Ветер сдувает песок с их корней, солнце сжигает их безрадостные ветви, но они живут, уцепившись за неласковую, опаленную зноем почву, цепкими разветвленными корнями удерживают текучие пески и сосут, сосут из глубинного слоя скудную влагу...

Как давний мираж возникла среди разбросанных бумаг и камней свежая травинка с крохотной капелькой росы на сгибе. И Матвей Денисович улыбнулся этой капельке — неутомимой работяге.

Капелька воды — вечная путешественница. Вот она скопилась из мельчайших частиц влаги. Отяжелела. Скатилась с травинки на землю. Миллиарды таких капелек образуются как бы из ничего, высасывая влагу из воздуха. Они набухают и скатываются, уходят в землю и, казалось бы, исчезают бесследно, но и они продолжают свой путь подземными ключами... Вечный круговорот! Капля скатывается, куда-то стремится, испаряется, в облаке пара несется над землей и, как любящая дочь, опять припадает к родной земле... Что дает ей движение? Мотор — солнце. Безотказный гигантский насос! Солнце испаряет миллиарды капель, поднимая их с нагретой поверхности морей и океанов. Солнце нагревает воду и землю, и холодные потоки воздуха устремляются туда, где теплее, вытесняя другие потоки — теплые. Образуются ветры. Ветры несут миллиарды капелек и роняют их на землю дождем или снегом. Лежат капельки сверкающими кристаллами и ждут своего часа. Приходит весна, снега тают, журчащими струями устремляются в ручьи, в реки, все дальше, все больше, все шире — половодье. Так, путешествуя, капелька питает землю, растит хлеба и деревья, растворяет соли земли и перемещает их с одного места на другое, озорует и кормит, обрушивает на людей бедствия наводнений и дарит благодать изобилия и снова уносится в моря и океаны, где мотор-солнце запускает свой бесшумный насос.

Мудрый круговорот. И все же неточный, беспощадный к одним и сверхщедрый к другим.

Когда это было? В двадцать первом он приехал в Алма-Ату через несколько дней после того, как селевой поток обрушил на город страшную лавину камней и жидкой грязи. Улицы были завалены камнями, щебнем, землей. Обезумевшие люди искали в этом хаосе трупы своих близких...

А наводнения на Великой китайской равнине? После десятидневных дождей река Хуанхэ вырвалась из своего русла на густонаселенную низменность, снесла больше трех тысяч деревень и поглотила в своих беснующихся водах семь миллионов людей. Семь миллионов!..

Природа и мудра, и капризна. Могучие потоки воды она выносит на север, в Ледовитый океан, а на юге, там, где солнце и вода обеспечили бы благоденствие целых народов, там воду продают стаканами. Говорят — бесплодные пески. А на самом деле пустыня таит в себе сказочное богатство! В течение тысячелетий разливались и прихотливо перемещались воды Амударьи и Сырдарьи, оставляя после себя ценнейшие наносы. Академик Обручев утверждает, что по структуре трудно найти почвы плодороднее, чем в Каракумах и Кызылкумах. Стоит дать сюда пресные воды — и пески покроются фруктовыми садами и хлопковыми плантациями...

Но как изменить условия, созданные самой природой? Научимся ли мы когда-либо, сумеем ли мы создавать новые условия, диктуя природе свою разумную волю?

Вот мы возимся с этой донецкой речушкой, которая летом похожа на ручеек. Мы проложим ей новое русло и не позволим затапливать шахты. А если отвести по-своему, так, как нужно нам, большую многоводную реку и перегнать воду в эти выжженные солнцем пустыни? Хуанхэ несколько раз сама меняла русло. Почему же нам не изменить течение рек по инженерному расчету, по хозяйственному плану? Именно теперь, в годы громадных преобразований страны, мы можем взяться и за эту проблему. Я докажу, что бесхозяйственно оставлять втуне сказочные богатства юга!

Войдя в палатку, Игорь увидел странную картину: отец сидел в одних трусах возле коптящей лампы и что-то чертил на самодельной карте, где смутно угадывались очертания Каспийского и Аральского морей. Вид у отца был вдохновенный и... нелепый.

Игорь подкрутил фитиль и сухо сказал, что керосин выгорел.

— Так налей керосину, — буркнул Матвей Денисович, прикрывая локтем самодельную карту.

— Спать пора, — повторил Игорь, но взял лампу и пошел к завхозу.

— Матвей Денисович спит? — угрюмо спросил завхоз. — Напомни ты ему, Игорь Матвеевич, пусть позвонит насчет солярки! Ведь на один день осталось, я же...

— А почему вы сами не напомните? — огрызнулся Игорь.

— Три раза напоминал! Ведь если станет движок...

Игорь вернулся к отцу сердитым.

— Папа, почему ты не позвонил насчет солярки?

Матвей Денисович отсутствующим взглядом посмотрел на сына, не сразу понял вопрос, потом рассердился тоже:

— А ты что за контроль? Не в свои дела суешься! — Расстелил постель, улегся, со вздохом пробормотал: — Ты мне напомни утром. Черт его знает, как это я забыл!

Игорь рывком сорвал с гвоздя полотенце, ушел мыться. Долго пропадал в своеобразном «клубе» возле умывальника — в палатку доносился его раздраженный голос и девичий смех. Вернувшись, Игорь швырнул полотенце и со злостью сказал:

— Напоминают о нарядах. Ведь группа Сысоева утром уходит!

— Кто это там... напоминает?

— Ну, Лелька.

— А кто ее зачислил в группу?

— Анна Федоровна, наверно. Кому она подчинена, тот и зачислил.

— Никуда она не пойдет!

Игорь задул лампу и лег.

— Коллекторами распоряжается Липатова, зачем тебе вмешиваться? — сдерживая раздражение, заговорил он. — А вот руководители групп... В конце концов, Сысоев такой же практикант, как я. Почему все его да его? Ты прекрасно знаешь, организатор он неважный. На восьмой точке сколько валандался! А меня никуда! Несправедливо это.

Матвей Денисович закричал, но промолчал. Они лежали в темноте, оба раздраженные. Наконец Игорь тихо сказал:

— Папа, прошу тебя... Отпусти меня с этой группой! Не могу я здесь. Штатный напоминальщик при родном отце! Нехорошо. Руководителем группы не доверяешь — пошли буровым рабочим. Я ж буровые работы знаю! Кем хочешь пошли...

После долгого молчания Матвей Денисович обиженно ответил:

— Ладно. Надоел отец — иди.

— Кем? — обрадованно спросил Игорь, пропустив мимо ушей горькие слова отца.

— Руководителем группы пойдешь. А Сысоева pošлю на завод торопить ремонт.

— Ты увидишь, папа, я справлюсь!

— Вот что, сын. Вчерашнее я тебе простил, но если на работе себе позволишь... если ты Никиту не скрутишь в бараний рог... если произойдет хоть малейшее нарушение...

— Не произойдет! И Никита не такой уж худой парень, меня он

слушаться будет.

Оба одновременно вздрогнули и подскочили на койках: где-то неподалеку взвизгнула девушка, потом раздались звуки борьбы, приглушенные голоса, звонкие хлопки пощечин...

— Уйди, гад! — отчетливо крикнул девичий голос.

Мимо палатки прошуршали легкие шаги босых ног, — Леля Наумова, — узнал Матвей Денисович.

И твой хороший, послушный Никита.

— Может, и не он?

— Он. Кто ж еще?.. А Наумову я не пущу с вами.

— Как хочешь. Только Соню я не возьму; мне коллектор нужен, а не барышня с маникюром.

— Кого пошлю, того и возьмешь. Рано еще условия ставить.

Они долго лежали, не разговаривая и не засыпая. Полог палатки был откинут, и оттуда веяло теплым ветерком, запахом степных трав, привядших от жары.

— Игорек, ты спишь? — прошептал Матвей Денисович. — Знаешь, то, что я говорил о переброске рек, это ведь не фантазия. Это вполне осуществимо при нынешнем уровне техники. И это обязательно будет!

— Возможно, только не скоро, — без интереса отозвался Игорь. — И пока у нас на очереди другие дела.

Через минуту он сказал мягче:

— Спи, поздно.

— И откуда у тебя такой рационализм? — вздохнул отец. — Как можно жить, не заглядывая в будущее?

Игорь не ответил. Ему хотелось сказать многое, но все, что просилось на язык, было явным осуждением отца. Он с детства мечтал быть таким же, как отец, скитаться по диким, необжитым краям, по берегам горных рек, всегда налегке, всегда преодолевая препятствия. Еще в школе он изучал все, что может приблизить заветную цель. После окончания школы нанялся подсобным рабочим по бурению в геологическую экспедицию и осенью встретил отца, приехавшего из Казахстана, рассказами о собственных приключениях. Отец высмеял хвастливые подробности, несколькими вопросами ткнул сына носом в его безграмотность и обещал взять Игоря с собой в следующую экспедицию — «если будешь учиться так, что мне не будет стыдно за тебя...» И вот они вместе в экспедиции, живут в одной палатке, близки, как никогда... и, как никогда, далеки. Мог ли Игорь думать, что это ему будет стыдно за нераспорядительность и забывчивость отца?

Перед рассветом Игорь вскочил счастливым: кончилась должность «штатного напоминальщика», начинается самостоятельная работа! Две буровые вышки, целая группа людей, подчиненных ему, зависящих от его умения и заботливости... Уж он-то ничего не забудет!

Отец вышел провожать группу.

По-деловому прощаясь с ним, Игорь впервые заметил, что отец стареет: могучие плечи сутулятся, лицо изборождено морщинами. Дрогнув от нежности к этому стареющему человеку, Игорь сжал его руку, заглянул в подпухшие за ночь глаза.

— До свидания, папа, — шепнул он.

Коллектора Соню подсаживали с двух сторон в кузов грузовика: эта жеманница даже в кузов залезть не умела! Игорь подмигнул Лельке Наумовой; потихоньку от отца Игорь уже договорился и с Липатовой, и с самой Лелькой, что через несколько дней, закончив обработку кернов, Лелька приедет сменить Соню. Какая бы она ни была, Лелька, а каждая группа радовалась ей, как лучшему коллектору, которого не испугают ни ливень, ни холод, ни дальние расстояния.

Никита первым перевалился через борт грузовика и сидел, отвернув лицо. На его скуле отчетливо виднелся синяк. Происхождение синяка не вызывало сомнений, а Лелька косилась на него смеющимися глазами. Если бы Никита мог, он соскочил бы с грузовика и дал ей основательный подзатыльник. Подумаешь, эго дело, поймал в потемках и поцеловал! Что он, не знает, как она путалась с разными парнями? Сама задевает, дразнит, а чуть тронешь — разыгрывает недотрогу! Добро бы шлепнула слегка, ради кокетства... так нет, чуть скулу не свернула... Остается? Тем лучше.

Грузовик пошел прямо по степи, подымая рыжую пыль. Никита оглянулся — Лелька смотрела на него и, невинно улыбаясь, махала рукой. И такой желанной она показалась ему, что Никита стиснул челюсти от злости. Ну, погоди, доиграешься!

Работа под началом Игоря рисовалась Никите чем-то вроде прогулки: приятели ведь! Но, став начальником группы, Игорь сразу изменился: отдавал распоряжения голосом, не допускающим возражений, придирчиво проверял работу, отчитывал за промахи. Правда, сам он работал больше всех и не корчил из себя начальство; когда грузили на тракторный прицеп буровую вышку, подставлял плечо там, где всего тяжелее. По вечерам, у костра, он пел песни и дурачился со всеми, но, если он говорил: «Хватит, товарищи, пора спать!» — все подчинялись. Однажды парни сбегали за шесть километров в село и принесли две бутылки водки. Игорь встряхнул одну бутылку и сильным ударом под дно вышиб пробку, потом сделал то

же со второй бутылкой, потом взял обе за горлышко, перевернул их и вылил водку.

— Деньги могу вернуть, если вам жалко, а в экспедиции пьянки не будет!

И никто не рискнул возражать: его требовательность нравилась.

Только Соня возненавидела нового руководителя. Игорь беспощадно гонял ее от одной вышки до другой: хочешь быть изыскателем — так работай, не хочешь — скатертью дорога, выходи замуж за счетовода и сиди дома! Соня глотала слезы — почему за счетовода? Нанимаясь в экспедицию, она представляла себе, что мужественные скитальцы все разом влюбятся в нее. А тут грубияны, никто не ухаживает, да еще нахваливают разгульную Лельку за то, что та не побоялась ночью протопать семнадцать километров!

Никита не знал, что Лелька должна приехать, и от нечего делать попытался ухаживать за Соней, но Соня жеманничала, ему стало противно.

Повалившись на брезент прямо под открытым небом, Никита закидывал руки за голову, смотрел на звезды и думал о том, что в этих скитаниях есть толк и удовольствие; пожалуй, тут стоит закрепиться. Потом вспоминал Лельку и ревновал ко всем парням, какие только есть в центральном лагере, — с кем она там хороводится, кого предпочла настолько, что грубо оттолкнула его, Никиту?

Был знойный полдень — в небе ни облачка, над степью марево, в сапогах печет ноги, а скинешь сапоги, ступать больно: так колется стерня. Все утро устанавливали на новом месте вышку, намаялись. Никита не захотел полдничать, жадно выпил ковш холодной воды, разыскал кусочек тени под кустами и лег, раскинув руки. Заснул он мгновенно и проснулся оттого, что кто-то щекотал ему нос травинкой.

Перед ним стояла Лелька в алой кофточке без рукавов и в серых бумажных брючках, заправленных в сапоги.

— Вставай и танцуй, лежебока! Тебе письмо.

Письмо — из дому, больше получать неоткуда. Лелька была гораздо интересней родительского письма.

— Откуда ты взялась?

— С неба упала!

— На чертовом помеле прилетела, что ли? Оно тебе в самый раз.

Лелька уселась рядом с ним и дернула его за чуб.

— Вставай и танцуй, а то не дам письма.

— Дашь!

— Не дам!

— Сам возьму!

Он схватил ее за плечи и так крепко стиснул, что она вскрикнула. Руки ее он предусмотрительно зажал, чтобы не дралась. Но Лелька и не собиралась драться, исподлобья глядела на него — и как-то необычно, непонятно. Он изловчился и поцеловал ее в губы. Она затихла, глаза прикрыла... но через минуту изо всех сил толкнула его: «Ты опять!..» Однако не ушла.

Смущенный, он осторожно вынул из ее несопротивляющихся пальцев письмо, надорвал конверт. Почерк удивил его.

— От батьки, — пробормотал он и перевернул листок, рассчитывая увидеть знакомые материнские каракульки, набегающие друг на друга, но на обороте ничего не было. Отец писал редко и только тогда, когда считал нужным отругать сына. За что же на этот раз?

Лелька склонила голову к его плечу и начала читать вместе с ним. Он воспользовался этим и обнял ее одной рукой, но рука тут же соскользнула.

«Дорогой Никита, извещаю тебя, что у нас случилось большое несчастье и горе. Вова...»

Они вместе прочитали чудовищное известие, потом перечитали снова и снова... Вовки больше нет! Вовка погиб!

Он долго не мог освоиться с тем, что это правда и от этого ужаса никуда не денешься. Потом он почувствовал, что теплая рука сжала его пальцы. Рядом был человек. Никита привалился к Лельке тяжелой головой, привалился, как к матери, и всхлипнул.

— Поплачь, — шепнула она, — поплачь...

Сразу повзрослев, она тихонько гладила его крутые плечи, смотрела на его поникший чуб, на бессильно упавшие большие, грубые руки. От него пахло табаком, потом и полынью, а может, это степь примешивала ко всему запах полыни. «Плачет, как ребенок. Я не плакала, когда умерла мать, только губы искусала. А он плачет. Не грубый он и не скверный, грубые и скверные так не плачут. Глупый он еще. И балованный...»

Осторожно перебирая волосы Никиты, она широко раскрытыми глазами глядела поверх его головы в дальние дали, каких и в степи не увидишь, глядела и видела свое — новое, трудное, такое трудное, что неизвестно, одолеешь ли.

«Как я с таким?» — сама себя спросила она, изумленно улыбнулась тому, что пришло к ней, и утешающим материнским движением прижала к себе Никиту.

— Горе-то какое! И кто же он был тебе — старший или младший? Ты мне расскажи, расскажи, облегчи себя.

На семью Кузьменко упала черная тень горя.

Кузьма Иванович по-прежнему вставал на рассвете и уходил в шахту. Потом вскакивала Люба, спешила в свой детский сад. Кузька, похватав на кухне всего, что приглянется, убегал по своим мальчишеским делам. Кузьминишна по-прежнему поднималась раньше всех, стряпала, стирала, убирала комнаты и двор — заведенный порядок жизни не мог нарушиться и не нарушался, но весь дом притих. Даже Кузька, возвращаясь домой, уже не перемахивал через забор, а проскальзывал в калитку, прислушиваясь к непривычной тишине. Люба не пела и не улыбалась, а Саша редко заходил в дом, они встречались на улице. Люба возвращалась одна, с виноватым лицом, и спрашивала шепотом: «Что мама?»

Так же, как и раньше, настроение в доме определялось Кузьминишной. А Кузьминишна, механически выполняя все, что нужно, ничего не видела и не слышала, ничем не интересовалась, ни во что не вникала сердцем. Среди повседневных хлопот она вдруг припадала к стене, или к забору, или к оконному косяку и плакала, безнадежно и отчаянно плакала, забыв, для чего сюда пришла. Все, что прежде радовало, теперь вызывало у нее приступы отчаяния. Когда приходил с работы Кузьма Иванович, она вспоминала, что раньше приходило двое. Заметив у калитки Любу и Сашу, она оплакивала сына, который уже не узнает счастья. Ее оскорбляло, если кто-нибудь садился на Вовино место, а если стул пустовал, она убегала в темный угол выплакаться. Оставаясь одна в доме, она поднималась в комнату сына, перетирала его книжки и рыдала над ними.

Там, наверху, она видела Вову таким, каким он был перед смертью, — взрослым, упорно сидящим над книгами, и оплакивала его мечты, его надежды, все, что было так важно и нужно ему самому и о чем догадывалась только мать. Внизу, среди обиходных вещей, сын возникал в памяти маленьким, во всем зависимым от нее добродушным мальчиком; она снова пеленала его, купала в корыте и кормила грудью, находила первый зубок, раздвигающий розовую десну, брала на руки и качала, своего желанного сыночка, своего первенца, и плакала, плакала, плакала, потому что руки были пусты.

Все домашние пугались, когда заставляли ее такой.

Катерина не приходила совсем.

От Пальки знали, что Катерина никого не подпускает к себе — ни мать, ни брата, ни подруг.

Однажды Люба все-таки зашла к ней — одна, без Саши, — но Катерина сухо сказала:

— Оставь, Люба. У тебя — свое, у меня — свое.

И Люба отступила, потому что сказать ничего не могла; как ни жалела она брата, ее горе было несравнимо с горем Катерины, а ее собственное счастье оставалось счастьем.

Затем пришел Кузьма Иванович.

— Ты бы зашла к нам, Катерина.

Она вскинула глаза, но промолчала. Старик грустно и заботливо глядел на девичье померкшее лицо, в глаза, полные муки.

— Не сторонись, дочка, — сказал он, издав носом какой-то звук. — Всем тяжело. Ты не сторонись.

Она поднялась, бросила:

— Пойдемте.

Перешла улицу, вся подобравшись, чтобы не разрыдаться, и вошла в дом спокойной. Но когда она увидела совершенно неузнаваемое лицо Кузьминишны и ее дрожащие, что-то перебирающие пальцы, не выдержала, опустилась на пол рядом с Кузьминишной, положила голову на материнские руки и, целуя их, заплакала. И Кузьминишна заплакала, но более легкими слезами, чем обычно.

— У вас другие дети есть, — выплакавшись, твердо сказал Катерина. — Вам жить нужно. Для них. Мне хуже. У меня теперь никого. А я и не жила еще.

Кузьминишна страстно возразила:

— Никто мне теперь не нужен. Никто. Видеть их не хочу!

— Это пройдет, — сказала Катерина. — Пройдет! У вас дочь, у вас Никита... Костя подрастает... Пройдет это!

— Мать, — сказала Кузьминишна, — мать никогда не забудет.

Они долго плакали, говорили и снова плакали.

Кузьма Иванович думал, что с этого вечера они будут часто горевать вместе, но Катерина заходила редко, будто исполняя обязанность, и старалась не оставаться с Кузьминишной вдвоем.

Тогда он вызвал Никиту.

Поезд приходил ночью, от вокзала до поселка было далеко. Никита не захотел ждать первого трамвая и пошел пешком, заранее пугаясь того, что его ждет дома. Вчера Лелька провожала его на станцию и всю дорогу учила: «Ты поплачь с ними, а потом говори о своем, о своем». Вероятно, она была права, но о чем своем говорить, когда в семье такое горе?

И вот показались вдали крыша под старым дубом, три окошка с бело-

голубыми ставенками, теплый дымок в глубине двора, у летней кухни — родной дом, лучше которого нет на свете. Никита побежал, надеясь еще застать отца, и действительно, открыв калитку, сразу увидел его: Кузьма Иванович шагал навстречу старческими мелкими шагами (боже мой, откуда у него такая походка?), ссутулив плечи... Да когда он успел постареть?..

Никита рванулся к отцу, и отец обнял его, чего никогда раньше не делал, и прижался головой к плечу сына. Плачет? Нет, не плачет.

— Ну, я пошел, — сурово сказал отец, — а ты с мамой... побудь...

Оба оглянулись на легкий вскрик и увидели мать — она быстро шла между огородными грядками, протянув руки навстречу Никите, глядя на Никиту, сквозь слезы улыбаясь Никите. Никита подбежал к ней и подхватил ее, увидел ее поседевшие волосы под сбившимся черным платком и сам заплакал от жалости к ней.

— Как же ты... пешком? — спросила мать, отворачиваясь от его слез, и энергично потянула его к колонке. — Давай-ка помойся с дороги, я тебе полью. Самовар горячий еще, яишню сделаю...

Никак не ждал Никита, что встреча будет такой. Покорно мылся, покорно, стыдясь доброго аппетита, съел яичницу. Выбежала заспанная Люба, поцеловала, шепнула:

— Ты с мамой побудь, не уходи от нее!

И заспешила на работу. Потом появился Кузька, присел к столу, но не разговаривал с Никитой, а пугливо косился на мать.

— Вот хорошо, что приехал, — как взрослый, шепнул он, когда мать вышла. — Она совсем другая при тебе.

И тоже заторопился уходить.

Другая? Мать казалась Никите такой же, как всегда, только седины прибавилось да движения суетливей. Но хозяйственна по-прежнему: накормила до отвала и сразу все прибрала, смела крошки со стола, скомандовала:

— Вынеси самовар да захвати ведро, воды принесешь.

Никита вышел в сад. День начинался жаркий, безветренный; после ночи, проведенной без сна, Никите хотелось спать. Он подставил руку под струю воды, освежил мокрой ладонью лицо и волосы, завистливо поглядел на тенистое местечко под кустами, где они с Вовкой любили поспать в жару. Он и сейчас лег бы, но воспоминание о брате пронзило его тоской, а затем он вспомнил о матери и уже не поверил ее хлопотливому спокойствию.

На веранде матери не было, в кухне тоже не было. Никита заглянул в

родительскую спальню — и там нет ее. Где ж она? Он был не из чутких, но горе будто подтолкнуло его и повело наверх, по скрипучим ступенькам, в низкую комнатку под крышей. Мать стояла посреди комнатки, прижав руки к щекам, и покачивалась из стороны в сторону.

— Мамо... ну, мамо...

— Нет его, нет! — быстро сказала мать.

Никита растерянно оглядывал комнату. Все тут было как раньше: на столе лежали книжки и раскрытая тетрадь, будто Вова только вышел и вот-вот вернется.

— Как это случилось, мамо? Я ж ничего не знаю.

Он в самом деле хотел знать, как погиб Вова, ему и в голову не приходило, что этот вопрос нужней, чем слова утешения. Мать окружали люди, знавшие подробности несчастья не хуже ее, ей некому было все рассказать, все выплакать. И поднялась она сюда оттого, что Никита не спросил о брате, как бы забыл о нем, а сердце ее боялось забвения и дрожало от гнева ко всем, кто мог забыть.

— Около полудня, — сказала она, расширив глаза, потому что перед нею ожил тот день и тот час, — я окучивала капусту. И вдруг как загудит...

Она рассказывала все-все, как было, и жадно ловила на лице сына отражение собственного ужаса, отчаяния, боли, безнадежности. Потом, рассказав про тот день, снова вспомнила Вову живым, упорным, любящим и начала рассказывать про живого так, как можно говорить только о мертвом, — ничего не утаивая.

— Скрывал он, да разве от матери скроешь? В полночь свет-то отключают, так он лампу завел — говорил: почитать перед сном. Налъешь ему полную лампу керосину, а утром смотришь — весь выгорел. Сколько просидеть нужно, чтоб выгорело до дна?

Что-то у него не ладилось с Катериной. Гордая она была (про нее, как и про Вову, мать говорила в прошедшем времени, словно Катерина умерла вместе с ним).

А потом вдруг сама пришла к нему. Каблучками по лестнице притопывала, не хотела таиться. Утром в сенцах столкнулись, она говорит: «Доброе утро, Аксинья Петровна!» Вся вспыхнула, а голова поднята. Вова проводил ее до калитки, вернулся ко мне, за плечи взял и лбом об щеку мою потерся. А сам счастливый-рассчастливый...

Солнце прошло через комнатку и ушло, а Кузьминишна все говорила, говорила. Молча, с туповатым недоумением на лице слушал Никита... Ничего-то он, оказывается, не знал о брате! Посмеивался над ним: тихоня, увалень. Снисходительно спрашивал: «Как живешь, Вовка?» — и не ждал

ответа: казалось, что интересного может быть у Вовки? Жалел брата: влюбился в самую бедовую девчонку, разве такая полюбит? А оно вот как получилось...

За окном ожила, зашумела тихая улочка: хлопали калитки, перекликались голоса, шелестели по пыли шаги. Вечерняя смена направлялась к шахте.

— Ой, обед-то я и не начинала! — вспомнила Кузьминишна. — Ты вот что... Отдохни пока. Тут. А потом, если хочешь... Возьми книжки его, какие нужные для тебя.

Требовательно заглянула в глаза Никиты, ничего не прочитала в них, кроме смущения, вздохнула со всхлипом и пошла вниз.

Никита остался сидеть у стола.

Вместе с известием о смерти брата вторглось в его жизнь что-то совсем новое. Горький час, когда он плакал на груди у Лельки, перевернул его душу. Впервые в его отношения с девушкой вмешалось что-то постороннее, впервые он искал у девушки не поцелуев, не телесных радостей, а душевной помощи. Два дня он почти не расставался тогда с Лелькой, подолгу рассказывал о брате, о матери, о своем детстве. Лелька слушала и только изредка задавала вопросы, на которые трудно ответить. «Ты чего в жизни больше всего хочешь?» Ничего он особенного не хотел, кроме развлечений, но ответить так было совестно, да и несчастье, ошеломя его веселую голову, отодвинуло былые интересы. «Ты какие книги любишь?» Никаких он не любил, в школе читал с грехом пополам то, что полагалось, а потом и вовсе не брал книгу в руки. Лелька любила приключения и путешествия. В вечерней темноте перебирая его волосы, она пересказывала ему истории разных путешественников. Прочитанное путалось в ее голове, обрастало выдумками, но Никита всему верил и с уважением думал о том, как много она знает. Проводив его ночью до палатки, Лелька целовала его в щеку и ускользала в темноту. В другое время Никита пошел бы за нею, теперь было стыдно.

— Пришьет тебя Лелька! — посмеялся Гошка, один из молодых буровых мастеров.

Про этого пария говорили, что он путался с Лелькой. Никита невзлюбил Гошку, ответил сухо:

— Не твоя забота!

Но его самого начинала пугать растущая душевная близость с девушкой и ее властная повадка. Что же это такое? Не объяснились, не женихались, а получилось, что связаны и есть у нее какие-то права на него!

— Тебе надо определить, кем ты будешь, ты же такой способный! —

однажды сказала Лелька.

Откуда она взяла, что он способный? Возражать не приходилось. Не дурак же он в самом деле! Но что значит — определить? Или она тоже хочет загнать его учиться? А сама-то она что? Работает коллектором, а написала «калектор», Никита поправлял.

И вот теперь — рассказ матери. Как сильно должна была любить Катерина, чтобы ночью, не таясь, самой прийти к Вове, и остаться до утра, и выйти с поднятой головой! Никита пользовался успехом у девушек, чем Вова похвастаться не мог, но ни одна девушка не решилась бы на такой поступок, даже самые разгульные девчонки побоялись бы родителей Никиты. Да, тут любовь, какая-то особая, гордая любовь!

И еще — книги. Вова потихоньку ото всех учился, готовился поступать в институт. Просиживал ночи, так что выгорал весь керосин. А ведь у Вовы была хорошая специальность, вышел в стахановцы, зарабатывал побольше инженера. Что же его заставляло гнуть спину над книжками до рассвета?

Никита осторожно тронул одну книжку, другую... Алгебра для девятого и десятого классов. История СССР. Астрономия — это что-то о звездах. Зачем Вовке нужно было знать расстояние от Земли до звезд?

А вот в тетрадке — не то письмо начато, не то дневник. Похвалы какой-то Татьяне, затем старательно выписанный стих:

За что ж виновнее Татьяна?
За то ль, что в милой простоте
Она не ведает обмана
И верит избранной мечте?
За то ль, что любит без искусства,
Послушная влеченью чувства,
Что так доверчива она,
Что от небес одарена
Воображением мятежным,
Умом и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцем пламенным и нежным?
Ужели не простите ей
Вы легкомыслия страстей?

Совсем странно. Что за Татьяна? И почему Вова переписал этот стих?

Никите вдруг захотелось приложить эти строки к другой девушке. Захотелось увидеть свою Лельку именно такой — с «воображением мятежным... и сердцем пламенным и нежным». Он адресовал к себе вопрос поэта: «Ужели не простите ей вы легкомыслия страстей?» Но тут на память пришел Гошка с его нахальным смехом. Лелька путалась с ним. И с шофером Терентьевым тоже. «Легкомыслие страстей»? Ну нет! Такие вещи не прощают. Погулять с нею можно, но на серьезное пусть не рассчитывает! «...любит без искусства, послушная влечению чувства» — это все-таки очень хорошо! И похоже на Лельку...

Задумавшись, он навалился грудью на стол и незаметно задремал. Проснулся от тихого голоса матери:

— Никитушка, отец пришел. Обедать!

Тело затекло в неудобном положении, мысли путались.

— Ты книжки возьми, Никитушка. Надумаешь учиться, а книжки все под рукой. Вова-то рад был бы. Он тебя жалел, Вова.

Жалел?

Мать собирала учебники дрожащими руками. Сложила книжки стопкой, перевязала. Припала к ним мокрым от слез лицом.

— Возьму, мамо. Возьму!

Три дня провел Никита дома. Никуда не выходил, старых приятелей и подруг не навещал. Подолгу лежал в саду под кустами или сидел в комнатке Вовы, раздумывая о своем. Жизнь напирала со всех сторон, чего-то требовала от него, куда-то толкала. Куда? Зачем?

Уезжая, он все-таки взял стопку книг, тщательно перевязанную матерью, и в последнюю минуту, взбежав наверх, свернул трубкой и сунул в карман тетрадку со стихом о легкомысленной Татьяне.

Палька Светов физически ощущал, как из него «выходит» мальчишество. Веселая беспечность возникала все реже и не удерживалась.

Оказывается, можно уйти из жизни, так и не сделав ничего заметного. Жил на свете умный, хороший парень. Ждал от жизни многого. Нет, не только ждал — напористо шел к цели. И вот ничто не сбылось. Человека нет. И память о нем быстро выветривается.

Говорят — любовь, дружба... А что это такое? Пока все хорошо, друзей полно и любовь кажется сильной, — вскинула тебе на плечи легкие руки и поцеловала перед целым светом... Но вот ты умер, и все, «отдав

долг», торопятся жить без тебя. Два-три человека поплачут. Да и долго ли поплачут?

Все любили Вову. Все любили семью Кузьменко. Чуть ли не каждый вечер сбегались в приветливый дом. А теперь изредка заходят по сердечной обязанности и стараются скорее уйти. И я так же, как другие. Саша ходит ради Любы, но и они норовят отстраниться от домашнего горя. Липатушка и тот не показывается, говорит — авария сорвала выполнение плана, нужно вытягивать. Да ведь и раньше случалось, что план вытягивали, а все равно прибегал!

Нас было трое, закадычных дружков. Занимались вместе, натаскивали Липатушку по теоретическим предметам, а чуть дело доходило до практики, учились у него. Считалось — дружба до гроба. Потом Липатушка ушел в шахту, малость оторвался. Теперь уедет Саша. У каждого свое. И каждый помчится к своему, забывая о старых друзьях. Значит, прочного ничего нет?

Даже любви?..

Да, да, да!.. Любви нет. Мечты о любви, вера в любовь — мальчишество, бредни. Любовь — такой же эгоизм, как все остальные чувства. Люди хватают то, что дает им жизнь, наслаждаются, обманывают себя и других красивыми словами, а отнимет жизнь любимую игрушку — всплакнут и торопятся завести другую. Уж если Катерина...

Чему можно верить, если Катерина...

Все мысли возвращались к ней, к Катерине, к сестре. Он не мог глядеть на нее без раздражения. Катерина ли не горевала так, что пугала всех своим неумеренным отчаянием!

— Я и подойти к ней боюсь, — шептала мать. — Заговорю — молчит. Заплачу — уйдет. Я и спать боюсь: не сделала бы над собой худого.

Мать была рано состарившейся, усталой женщиной, совершенно не похожей на своих статных, бойких детей, — казалось, вложила в них все, что имела, а сама осталась ни с чем. Да так оно примерно и было. Рассказывали, была она когда-то хороша собой, да больно тиха, а Кирька Светов был парнем озорным, непокорным. Выпало ей на долю короткое счастье или нет, но горюшка хватила через край. Только чугунный обелиск с голубым земным шаром и красной звездой наверху остался ей на память о муже, — обелиск стоял на кургане как раз посередине между Донецком и шахтой, там, где теперь построили мост, и лежало в той братской могиле больше ста революционных бойцов. На одной из граней обелиска были выбиты торжественные слова Карла Маркса: «Погибшие товарищи воздвигли себе памятник в великом сердце рабочего класса»; на другой —

слова, сочиненные шахтерами: «Ваши трупы послужат стеной, через которую контрреволюционные силы не посмеют больше шагнуть в Красный Донбасс!»

Товарищи погибших бойцов пошли воевать дальше, а Марья Федотовна, поплакав, поступила на шахту, на лесной склад, вечерами подрабатывала стиркой и мытьем полов в городе. Иногда брала с собой и Катерину — на помощь. Но в школу обоих детей посылала и над Палькиными двойками плакала. Когда Катерине стукнуло шестнадцать, товарищи Кирилла пристроили ее ученицей в компрессорную, в двадцать она стала машинистом компрессора. Марья Федотовна мечтала выдать Катерину замуж и нянчить внуков. И вот — новый удар.

— Поговори с нею! — умоляла мать. — Может, уехать ей на время? Истает она... Меня не слушает, а тебя, может, и послушает.

Палька сам не знал, как подступиться к сестре. В ту пору многие тревожились о ней, товарищи из компрессорной останавливали Пальку на улице и давали всякие советы, предлагали денег собрать, чтоб отправить Катерину в Ростов ли, в Москву ли, а то и на курорт. Палька жалел сестру, но гордился ею. Любовь!

И вдруг...

Перемена произошла в один день, разом.

Воспрянула Катерина, да так, что неловко стало перед людьми, а Кузьменкам и в глаза смотреть стыдно: уж больно быстро утешилась!

Повстречал ее как-то после работы, — идет вместе с механиками и машинистами, глаза блестят, задирает всех озорными шутками и даже не думает, что люди скажут, что подумают.

Ни с того ни с сего затеяла генеральную уборку, с бешеной энергией переворошила весь дом, моет, скребет, обметает пыль, все перетряхивает и среди этого кавардака вдруг запоет, как прежде, оборвет песню на полуслове, а немного погодя забудется и опять поет...

«Вот тебе и любовь! — с горечью думал Палька. — Значит, грош цена самым сильным чувствам. Ты нужен и дорог, пока на глазах. А помрешь — сгинешь без следа, будто и не жил».

Нет, он не хотел сгинуть без следа. Смерть отступает перед славой. Вольтова дуга, таблица Менделеева, закон Мозли, Бутлерова теория строения, реакция Гриньяра... Любящие могут разлюбить, друзья могут забыть, а люди живут в сделанном. Наука может пойти дальше, но их имена все равно не вычеркнешь из истории познания. Надо работать так, чтобы сделанное тобой осталось надолго.

Но где оно, его дело?

Ответа из Москвы не было, непонятная подземная газификация теряла свою заманчивость. Вероятно, чепуха. «Частная инженерная задача», как говорит Китаев.

Так где же оно, мое дело?..

В институте началась работа, связанная со светильным газом и предупреждением подземных взрывов. Может быть, это дело и есть мое? Во главе стоит Русаковский, столичное светило. Группа научных работников собирается у него в гостинице, туда же ходят инженеры-практики, Липатов тоже. Работой группы интересуются в партийных организациях, о ней спрашивают шахтеры...

Палька пошел к Китаеву.

— Это же совершенно не ваш профиль, Павел Кириллович, — сказал Китаев. — Вы опять разбрасываетесь во вред пауке и самому себе. Наука еще выдержит, поскольку у нее есть и другие служители. Но вам, мой друг, пора понять, что есть принципиаль-ней-шая и су-ществ-вен-ней-шая разница между научным работником и молодым теленком, который скачет туда-сюда, подкидывая ноги.

— Насколько я знаю, старых телят не бывает, — сказал Палька и ушел, чтобы не наговорить дерзостей.

Мать обрадовалась его приходу, она так и летала по дому. Ей не было никакого дела до людского забвения и посмертной славы.

— Садитесь за стол, детки, я вареников наготовила целое блюдо!

— Не хочу, — огрызнулся Палька, однако вдвоем с сестрой очистил блюдо.

Сестра заговаривала с ним, а он не отвечал и отводил взгляд: цветущий вид Катерины раздражал его. Хоть бы притворялась, что ли!

Он ушел к себе и уселся на подоконник. После вареников грустить было трудно, но делать ничего не хотелось. Да и что делать? Нечего! Дни проходят за мелкими опытами ради «частных научных выводов» Китаева, а чем они лучше «частных инженерных задач»? Старик пятый год собирается обогатить науку статьей о природе спекаемости, где он сошлется на бесчисленные опыты, «проделанные под моим руководством», и, быть может, в примечании самым мелким шрифтом упомянет фамилии учеников. Попытка попасть в группу Русаковского — самообман, просто захотелось проникнуть в тот гостиничный номер! Не вышло, и очень хорошо. С этим покончено. Не искать встреч. Не думать. Забыть...

Скрипнула, приоткрываясь, дверь.

— Да ты не работаешь! Каким чудом ты дома?

— Тебе показалось — меня нет дома.

Не смущаясь приемом, Катерина вошла и стала у окна рядом с братом. Ее ноздри жадно втянули усилившиеся к вечеру запахи сада — нагретой коры, яблок, маттиолы.

— Вечер-то какой!

— Вот и шла бы гулять.

— Гулять?

Она усмехнулась, села на подоконник, по-хозяйски подтянула под ноги стул, охватила колени сильными, загорелыми руками.

— Мне с тобой поговорить надо, Палька.

— Ну?

— Не «ну», а слушай. Мне больше не с кем. Если с мамой, она в слезы, я раскричусь, и выйдет свалка... — Она помолчала, подыскивая слова. — Ты знаешь, Палька, какие у нас отношения были... с Володей?

Вот и пойми женщин!

— Брось, сестренка. Что старое бередить?

— Зачем бередить? — откликнулась Катерина и подняла ясное лицо. — У меня ребенок будет.

Палька чуть не свалился с подоконника, а Катерина продолжала:

— Вот и не забудется. Если сын — Владимиром назову. Ты чего как в обмороке?

Глянула вызывающе, а лицо светится. Но ведь это безумие какое-то! Теперь, после случившегося...

— Трудно тебе будет, одной-то...

— Дурак! — ласково ответила Катерина. — Одной трудно, а я ведь не одна буду.

— Да, но воспитать, растить...

— А я что, инвалид? Квалификации нет? Заработать не сумею?

— Да, но... Конечно, дело твое...

— Заикаешься, как заика! — с гневом прервала она. — Говори уж прямо: ни жена, ни девка — и ребенок без отца. Задело? А мне все равно!

Никогда Палька не думал, что можно плакать от жалости, а тут от слез глаза защипало.

— Катеринка, ты ж еще молодая!

— А рожать надо в старости, да?

— Ты погоди. Случилось большое несчастье. Вову не вернешь. А у тебя впереди вся жизнь.

— Я Володю никогда не забуду.

Со дня несчастья она говорила «Володя» вместо прежнего панибратского «Вовка». И брат подчинился этому.

— Ты пойми, не кончается жизнь в двадцать четыре года! Пусть не так, как Володю... Но ты еще встретишь кого-нибудь. Да погоди ты! — прикрикнул он в ответ на ее негодующий возглас. — Не зарекайся, дуреха. Неужели ты до старости одна жить будешь? Не полюбишь никого?

— Может, и полюблю, — медленно сказала Катерина и с ненавистью взглянула на брата. — Зарекаться глупо. Жизнь длинная. Но при чем здесь это?! И неужели я ради этого... сейчас... Ах, ничего ты не понимаешь! — со слезами в голосе выкрикнула она и встала.

Палька придержал ее за локоть, неумело погладил по спине.

— Катеринка, давай не ругаться!

Слезы опять обожгли глаза. Что ж она делает с собой? И ничего нельзя изменить. Другие как-то избавляются, хоть и запрещено. Но Катеринку разве уговоришь?

— Лишь бы ты не пожалела потом.

— А я, может, только теперь саму себя жалеть перестала.

Она перекинула ноги через подоконник, соскочила в сад. И он соскочил за нею. Обнявшись, медленно прошли по дорожке и остановились у забора, закинув на него локти. Здесь к запахам сада примешивались вкусные дымки самоваров и очагов. Под деревьями и у калиток вспыхивали огоньки папирос, отовсюду несло журчание голосов — неторопливый вечерний ручеек.

Западный край неба был еще желт, но краски быстро меркли.

— Фимка, в киношку пой-де-ем? — что есть силы закричал через улицу соседский хлопец.

— Пой-де-ем! — издали откликнулся Фимка.

Стайкой прошли принарядившиеся для гулянья девушки, — наверно, в сад имени Первой Пятилетки, называемый в быту просто Пятилеткой или Чубаковским парком.

Прошел, петляя, непутевый Тимоха — запьянцовский малый, которого то выгоняли с шахты, то, пожалев и поверив клятвам, принимали снова.

— Э-эй, держись за землю, Тимоха! — крикнула ему Катерина.

— А я — ничего, — убедительно сказал Тимоха и зашагал очень прямо, железными, негнущимися ногами.

Затем в конце улицы появился незнакомый франт в мягкой шляпе, сдвинутой на одно ухо. Два пышных цветка — две канны — пламенели в его руке, выглядывая из газетины.

— Гляди, Катерина, что за щеголь топает?

— От Ваганихи кто-то, — сказала Катерина. Только у десятника Ваганова разводили канны, старая Ваганиха ими тишком подторговывала.

С любопытством людей, выросших в поселке и знающих всю его жизнь, брат и сестра вглядывались в приближающуюся фигуру.

— Фу ты, это же Липатов!

Катерина весело охнула и перегнулась через забор:

— Липатушка, ты куда, на свадьбу?

Он не остановился, только помахал рукой и на ходу лицемерно удивился: а что такое?

— Шляпа откуда? Прямо англичанин какой-то!

Липатов дернул плечом и заторопился дальше. По скованной походке можно было заметить, как его смущают взгляды нехстати выглянувших друзей.

— Чудеса!

— Честное слово, Липатушка опять влюбился!

Катерина схватила брата за руку:

— Пойдем за ним! Пальчик, пойдем!

Как ребята, крадучись вдоль заборов, они пошли за Липатовым.

Липатов дошел до трамвайного кольца и уселся в первом вагоне, Палька и Катерина влезли во второй вагон.

— Ты следи, где он сойдет.

— Если у сада, значит, свидание. Цветочки! Шляпа!

— Ах он, старый черт!

«Старый черт», приосанясь, вошел в сад, обогнул центральную клумбу и остановился под скульптурой шахтера. Казалось, шахтер вонзал острие отбойного молотка прямо в его заемную шляпу.

— Подождем немного...

— Смотри, мороженое привезли!

Пока они ели мороженое, Липатов куда-то исчез. Сад был молодой, но кусты успели разрастись, а в боковых аллеях было много беседок и укромных скамеек. Весь Донецк знал, что на заседании бюро горкома Чубак сказал строителям сада: «Позаботьтесь о влюбленных, сухари вы такие!» Вот и попробуй теперь отыщи Липатова с его каннами!

Палька отступился бы, он все еще был взволнован и ошарашен, но Катерина искала Липатушку с полным увлечением. Какая она еще девчонка! Не приснился ли недавний разговор?..

Вспыхнули фонари на главной аллее и на танцевальной площадке. Боковые аллейки, перечеркнутые полосами теней, выглядели заманчиво, туда сворачивали парочки. Катерина и Палька пробежали по аллеикам, исподтишка перемигиваясь со знакомыми — открыто здороваться было тут не принято. Палька развлекался, опознавая, кто с кем гуляет, и вдруг дернул

сестру за руку:

— Хватит! Нашли занятие, пинкертоны!

Что угодно, но это уж слишком! В уединенной беседке развалился на скамье Липатов — в позе светского болтуна, окончательно свернув шляпу на ухо. А рядом сидела *она*, — блики света от дальнего фонаря чуть покачивались на рыжих удивительных волосах, на ее коленях — те самые канны.

Увлекая сестру к выходу, Палька трясся от злости. Лицемерная тихоня! Лиса! И еще женатый человек! И эта тоже хороша — профессорша, а бегаёт на свидания в темные аллеи! Каким же он был дураком, не решаясь пригласить ее на невинную дневную прогулку!..

— Ты иди, Катерина, мне нужно к приятелю.

Катерина заупрямилась, ему не сразу удалось отправить ее домой.

Парочка по-прежнему любезничала в беседке, только теперь Липатов снял свою дурацкую шляпу и крутил ее на кулаке.

Палька разболтанным шагом прошел по аллее и как бы случайно наткнулся на них:

— Кого я вижу!

Даже в полумраке заметно было, как побагровел Липатов. А Татьяна Николаевна не смутилась, она обрадовалась Пальке и усадила его между собой и Липатовым. Обида сразу улетучилась. Покраснев не меньше приятеля, Палька молчал и растроганно думал, что она милая, милая, милая.

— Куда же вы дели красивую девушку, с которой мы вас видели полчаса назад?

— Ушла домой.

Он отнюдь не хотел признаваться, что гулял с собственной сестрой. Пусть думает, что у него есть девушка, да еще красивая! Но Липатов объяснил, мстительно улыбаясь:

— Это его сестра. Она так же любопытна, как ее брат.

Татьяне Николаевне что-то не понравилось. Ее брови надменно взлетели. Холодно, как бы снисходя до разговора с ним, она сообщила, что хочет использовать пребывание в Донбассе для ознакомления с шахтами, ведь она училась в Горном и теперь помогает мужу: Иван Михайлович любезно обещал...

Палька почти не слушал. Все это не имело никакого отношения ни к его любви, ни к тому, что рядом сидит один из его лучших друзей — сидит враждебно настороженный, злой. Глупо, глупо, глупо! Она была приветлива и проста с ними, а они повели себя как два идиота. Сейчас она

встанет и уйдет навсегда.

— Становится свежо, — Татьяна Николаевна передернула плечами и поднялась, уронив канны.

Оба пошли провожать ее — один справа, другой слева.

Липатов завел нудный разговор о работах по светильному газу. «Мы, шахтеры, с нетерпением ждем...» То-то ей весело!

Возле гостиницы остановились. Она насмешливо смотрела то на одного, то на другого. Поразвлекается их глупостью и уйдет.

Отчаяние придало Пальке смелости — будь что будет! С неуклюжей решимостью он попросил еще на два дня журналы — те самые, что давно вернулись в библиотеку.

— Я спрошу мужа, — без запинки ответила Татьяна Николаевна. — Попробуйте забежать завтра утром.

Ее глаза смеялись. Эх, если бы тут не было Липатова!.. Но Липатов был тут. Он длинно и цветисто передавал привет профессору.

— Спасибо, что проводили, — с затаенной насмешкой сказала Татьяна Николаевна и скрылась за массивной дверью гостиницы.

Два друга побрели по улице.

Пальке хотелось обнять Липатушку и шепнуть ему доброе слово, но вместо этого он не без яда спросил:

— Что пишет Аннушка?

Липатов нахохлился еще больше.

— Ничего особенного. Ты на трамвай?

— Ага.

С подножки трамвая Палька еще раз увидел друга: зажав в кулаке ненужную шляпу, Липатов мрачно шагал к своему одинокому жилью, где в отсутствие Аннушки всегда пахло размокшими окурками и брынзой. Соскочить бы сейчас, догнать его, выпить с ним мировую...

Вот и треснула дружба.

Три минус один минус один — единица.

А завтра утром... Да ничего не будет завтра утром! Ровно ничего! Что я такое в ее глазах? Ничто! Кто я вообще? Никто! Аспирант, кропотливо подготавливающий «частные выводы»... Так идут дни, идут годы. Скоро двадцать три...

Успех приходит к упорным. К тем, кто ищет главное, не разбрасываясь по пустякам и зная, чего хочет. Не теряя ни одной минуты зря.

Вспомнив суровые решения, принятые несколько часов назад, он ужаснулся тому, что начисто забыл о них, стоило ему увидеть ненаглядную.

Дома его ждала бандероль из Москвы.

Катерина крутила ее в руках — смотри-ка, Палька, казенная, с печатями!

— Пустяки, библиографическая справка, — выхватывая ее, объяснил Палька и заторопился к себе.

Никому в мире не сказал бы он, сколько надежд разгорелось в нем при виде этой бандероли!

— Спокойной ночи, Павлик! — крикнула вслед Катерина.

Излишняя вежливость была у них не в ходу. Он невольно оглянулся — Катерина стояла в дверях, жалобно улыбаясь. Должно быть, нарочно не ложилась и ждала брата, чтобы поговорить о своем... Ничего, Катерина, сестренка, все будет замечательно! Ты увидишь, увидишь!

Он рванул обертку.

Условия конкурса были отпечатаны на нескольких страницах папиросной бумаги; Пальке достался тусклый, малоразборчивый оттиск.

Суть задачи терялась среди подробностей и частных. Палька с трудом уловил: нужно найти способ сжигания угля под землей, то есть перенести метод обычного газогенератора в подземные условия. В специальные шахты, что ли? Чтобы не вывозить уголь на-гора?

Честолюбивые мечты потускнели. Задача выглядела неинтересной. Да и дело здесь не для химика, а для горного инженера или специалиста по газогенераторам. Та самая «частная инженерная задача»...

Никогда еще он не чувствовал себя таким подавленным всем, что на него навалилось, и всем, что от него ускользнуло.

Он заснул среди размышлений, полных горечи. Но и во сне продолжалось беспокойство: в отрывочных видениях мелькнул Липатов с двумя каннами и истошно кричал маленький ребенок, а Татьяна Николаевна щурилась и говорила: «Я не знала, что эта красивая девушка замужем!»

Солнце ударило в глаза и разбудило. Серебристый тополек шелестел у самого окна. Занимался искристый день, суливший только хорошее. Молодое тело отдохнуло за ночь и не хотело ничего знать о тревогах духа. А дух уловил веселый шепоток тополиных листьев: «Сегодня ты ее увидишь...» И для чего терзаться, для чего отказываться от радости, когда радость сама позвала: «Попробуйте забежать утром!»

Умываясь во дворе, он крикнул матери: «Голоден как собака!» — и

впрыгнул в окно, чтобы в ожидании завтрака получше одеться.

На столе валялись материалы конкурса. При виде этих тусклых страниц Палька снова испытал вчерашнее разочарование, но быстро погасил его. Слишком солнечный день, слишком скучно предаваться досаде...

Он выбрал самый яркий галстук и, повязывая его, заглянул на первую страницу конкурсного задания. Нет, ничего привлекательного! Вчера он не все разобрал, пожалуй, тут есть интересные вопросы... но, конечно же, это не то единственное в мире дело, которое где-то, несомненно, ждет его! А все-таки занятно. Большая экономия на транспортировке угля. Очевидно, потребление угля частично вытеснится потреблением газа. Прямо по трубам из шахты? Надо подумать. В ожидании лучшего можно заняться и этим, почему бы нет?

Он открыл дверь и закричал во весь голос:

— Го-ло-ден!

— Как со-ба-ка! — из кухни откликнулась мать.

Она сегодня на редкость весела. Ох, бедняга, и расстроится же она, когда узнает...

Жаль, что подземная газификация оказалась делом инженерным. Конечно, газогенераторчики набросятся. Вероятно, уже набросились.

Палька перелистывал материалы, прислушиваясь к шипению сала и стараясь угадать по запаху, что там жарится. И вдруг он заметил небольшой листок, подколотый в конце, после условий конкурса.

«Приложение: статья В. И. Ленина „Одна из великих побед техники“, напечатана в 1913 году в „Правде“».

Что такое? Статья Ленина?!

«Всемирно знаменитый английский химик Вильям Рамсей (Ramsay) открыл способ непосредственного добывания газа из каменноугольных пластов».

После первых же строк у него перехватило дыхание: да ведь это, оказывается, совсем другое! Это же потрясающее, грандиозное дело!.. Не имея терпения читать все подряд, он жадно выхватывал самое удивительное:

«Открытие Рамсея означает гигантскую техническую революцию...»

«Способ Рамсея превращает каменноугольные рудники как бы в громадные дистилляционные аппараты для выработки газа».

«Громадная масса человеческого труда, употребляемого теперь на добычу и развозку каменного угля, была бы сбережена».

Да что же это такое?! Почему никто не знал об этом? В 1913 году... в

подпольной «Правде»... Я родился год спустя... И с тех пор никто! Ничего!

Это было так невероятно, что он еще раз перечитал статью с начала до конца, находя в ней все новые, еще более поразительные мысли. Не поверил себе, разыскал 368 страницу в XVI томе Ленина и заново перечитал... Да, статья существует, том с этой статьей стоит у меня на полке, в томе есть закладки... Готовясь к политзанятиям, к экзаменам, я читал в этом же томе другие статьи... может быть, касался и 368 страницы, но перелистывал дальше...

— Павлу-ша, го-то-во!

Было страшно оторваться от статьи, будто стоило выйти — и все развеется как сон. Так вот что такое подземная газификация угля! Не какая-то там экономия на транспортировке, не какое-то усовершенствование, а ликвидация подземного труда! Экономика высшего, коммунистического общества!

И все это выпало мне! Больше двадцати лет оно ждало меня, это чудесное дело, которое перевернет всю промышленность!

Он дочиста съел завтрак, но так и не заметил, что нажарила мать. Книга стояла перед ним, опираясь на корзинку с хлебом.

«Но последствия этого переворота для всей общественной жизни в современном капиталистическом строе будут совсем не те, какие вызвало бы это открытие при социализме...»

Понятно. Очень нужно капиталистам тратиться на переоборудование промышленности и транспорта! Им проще эксплуатировать дешевый труд. Они ж сами не работают под землей, а только собирают барыши!

«Рамсей ведет уже переговоры с одним владельцем каменноугольных рудников о практической постановке дела».

Это было в 1913 году. Ясно, что Рамсею не удалось провести опыт. Почему? Вероятно, стали на дыбы и шахтовладельцы, и пароходные компании, и железнодорожные... Еще бы, надо все менять! Вот он, капитализм, — ради сегодняшней экономии угробили великое открытие!

А теперь я, Павел Светов, разработаю и осуществлю его. Да, во что бы то ни стало! И будет то, что пишет Ленин, — при социализме. Освобождение миллионов шахтеров от подземного труда. Сокращение рабочего дня. Избавление от дыма и копоти. В корне изменится вся угледобыча... Значит — и наша шахта? Перестроится весь транспорт... Электропоезда? Намного быстрее пойдет все, все строительство... Ух ты!

Покончив с завтраком, он бросился перечитывать условия конкурса. Теперь, когда он понимал гигантское значение дела, материалы показались содержательнее. Но ясно, что сама комиссия понятия не имеет, как все

будет. Это скажет он, Павел Светов!

Я?.. Может ли это быть? Я? Именно я?..

Успех приходит к упорным. Успех — это труд. Так разве у меня не хватит упорства, энергии, способностей? Да я всю жизнь положу!..

Только надо начинать немедленно. Немедленно!

С чего же?.. С чего начинал Рамсей и к чему пришел?

Он перебрал все свои учебники в поисках какой-нибудь ссылки, намёка... Ни-че-го! Значит, нужен Рамсей! Ведь не может быть, чтобы от такого открытия не осталось хотя бы статьи, заметки, набросков... «Способ Рамсея превращает каменноугольные рудники как бы в громадные дистилляционные аппараты...» Так пишет Ленин. Громадные дистилляционные аппараты для выработки газа... Ленин где-то прочитал об этом! И сразу оценил открытие целиком, во всем его значении. Сам Рамсей, конечно, и половины не видел... иначе, наверно, повоевал бы?..

И все-таки: как оно получалось у Рамсея?

Он помчался в техническую библиотеку и перерыл ее всю. Сочинения самого Рамсея нашлись в разрозненных изданиях на английском и немецком языках. Палька впился в них, напрягая свои скудные познания и пользуясь словарями. Библиотекарша пыталась помочь ему, но быстро устала и предоставила ему одному хозяйничать на полках.

Запыленный, голодный, с ноющей спиной, он вышел из библиотеки, так и не узнав ничего об открытии Рамсея. Как ни странно, на улице темнело. В окнах загорались огни. Вечер?

Ну, вечер так вечер, а надо пойти в лабораторию. Только поесть бы. Поесть, а потом закрыться и думать, думать, думать... С этого и следовало начинать! Если б у Рамсея что-то было, в Москве знали бы... как я не сообразил сразу! Он купил два батона и полкило колбасы.

— Федосеич, родненький, я тут поработаю, ладно?

Он закрылся на ключ и сел на свое любимое место — отсюда днем видно небо и верхушки акаций. Теперь за окном мрак. Ничто не отвлекает. Можно вытянуть ноги, заложить руки за голову и думать, думать...

Итак, способ Рамсея неизвестен. Рамсей ничего не написал, ничего не оставил. Может, в Англии и найдутся люди, которые знают, помнят. Но кто станет разыскивать их? И захотят ли они делиться с нами?

Значит, передо мною голая задача — найти способ превращения угля в газ под землей. И все. Очень хорошо!

От чего же оттолкнуться? От принципа обычного газогенератора? Посмотрим обычный газогенератор!

Он пробрался в справочную библиотеку, открыв ее ключом от

лаборатории (секрет сходства ключей знали в институте все, кроме Федосеича и библиотекаря). Достал нужный справочник. Что же, принцип знаком. Но все-таки зарисуем схему, выпишем основные данные...

Что тут главное? Не сам процесс горения, а то, что уголь подается раздробленным. Сама схема газогенератора проста: вот так-то и так-то подается воздух, здесь образуется газ, тут он выходит по газоотводной трубе... Все просто! Но газогенератор — машина. А у меня — огромные залежи угля в недрах земли. Как превратить подземное царство в тот «огромный дистилляционный аппарат»?..

Какое-то подобие машины, опущенной под землю. К ней подается по желобу или конвейеру раздробленный уголь... Да, но какое же это, к черту, освобождение от подземного труда, если надо предварительно вырубать и дробить уголь?!

А как избавиться от необходимости дробления, когда «качество газа зависит от качества угля и равномерности дробления его»?..

Как избавиться, если это закон? Опровергнуть закон?!

Спокойствие, спокойствие, Павел Светов! Давай-ка с самого начала...

Когда Федосеич ранним утром пришел в лабораторию, Палька был там. По встрепанному виду аспиранта, по клочьям исчерканной бумаги на столе и на полу лаборант безошибочно определил, что ночь не дала результата.

— Не допер? Если подсобить нужно, скажи, подсоблю.

Палька обнял его и заглянул в его выцветшие глаза своими покрасневшими от бессонной ночи, но яркими и будто пьяными глазами.

— Не додумался и не сразу додумаюсь, но дело такое, что не жалко целый год не спать! А уж допру обязательно!

И чмокнул старика в мягкую, только что выбритую щеку.

Федосеич понятиливо кивнул и начал собирать раскиданные бумаги. За долгую жизнь этот тихий лаборант хорошо узнал трудность и длительность всякого научного искания. Он понимал толк в усталости и возбуждении, сопутствующих творчеству, и любил видеть людей в таком состоянии. Он любил перекинуться с ними шуткой и проводить их взглядом — слова, походка, движения у них особые, не всегдашние. Он собирал и прятал смятые записки и перечеркнутые формулы, потому что знал: пройдя от начального, отвергнутого варианта сложный путь догадок и откровений, исследователь нередко возвращается обогащенным к исходному пункту и понимает свою первую ошибку, и находит то, чего не хватало вначале...

А Палька шел домой, расслабив мускулы и предоставив рукам и ногам болтаться, как им будет угодно.

Мать выскочила навстречу, укоризненно покачала головой, но не посмела спросить, где он провел ночь.

— Ее зовут Химия, и она прелестна! — сказал Палька и грохнулся на стул. — Голо-ден!

— Как собака, — сквозь зубы dokonчила мать.

Он жадно ел, всецело отдаваясь этому занятию и по-прежнему ни о чем не думая. Зашел было к себе, постоял у кровати, но понял, что заснуть не сможет, и снова вышел из дому. Ноги вывели его в степь. Отойдя подальше, он лег прямо на землю, еще прохладную после ночи.

Как давно он не был в степи утром! Как здесь сильно и горьковато-сладко пахнет! Чем это? Травы полегли, желтеют, а полынь еще стоит, распрямив свои матовые листочки. Горечь от полыни. Или от чебреца? Вон его сколько на склоне — сплошной лиловый коврик. И тоже начинает привядать. Совсем близко трижды просвистел перепел — фить, фить, фи-и-ить! Подружку выкликает? Или у него тут перепелята укрыты в траве?.. Прямо над головою Пальки зазвучала песня, звонкая-презвонкая. Жаворонок! Палька посмотрел вверх: вот он висит в небе, как на ниточке, трепеща крыльшками, и поет-заливается о том, что жизнь прекрасна, прекрасна, прекрасна!

Если смотреть снизу вверх, видно, как колеблется воздух, — испаряется роса. Колеблется и чуть-чуть искрится.

В поселке каждое окошко сверкает, отражая солнце. И на мрачных скатах терриконов то тут, то там что-то поблескивает. И далеко-далеко, среди городских крыш, еле проступающих в солнечном мареве, ослепительно сверкает стеклянная крыша нового универмага.

А над всем этим ясным утренним блеском — сколько видит глаз, от одного края горизонта до другого, — тянется пелена дыма и копоти. Над шахтами, над заводами, над железнодорожной станцией тянется, покачивается темная пелена, заслоня голубизну неба.

Этого не будет!

Не будет дыма, грязи, копоти.

Не будет черных груд угля, ожидающего погрузки.

Не будет нескончаемых угольных составов, с громоуханием уходящих во все концы...

Не будет угольных топок и почерневших кочегаров, задыхающихся от нестерпимого жара... У кочегаров и шахтеров угольная пыль въедается в кожу, скоро этого не будет.

Люди не будут спускаться под землю, в черные пасти лав и уступов, они никогда уже не будут прислушиваться к зловещему гулу оседающей

породы, не будут приносиваться к спертому воздуху шахты, почуяв еле ощутимый кислый запах сочащегося газа...

Миллионы людей (ведь их миллионы, если взять весь земной шар!) выйдут на солнце, на вольный воздух, чтобы никогда больше не спускаться вниз.

А Вова погиб. Погиб, еще ничего не зная. Он любил Катерину и мечтал учиться на горного инженера. Если б он был жив, он бы так радовался ребенку! Дико, что Вова не успел узнать о ребенке. Он лежал на носилках, не похожий на себя, весь в крови и угле...

Сестренка, этого больше не будет!

Люба, девчонка пугливая, ты стала бояться шахты, дрожишь за своего Сашеньку, когда он спускается туда, — обещаю тебе, я уничтожу подземный труд! Кузьмич прикрикнул на Любу: «Молчи, дура! Не болтай вздор! Я тридцать лет в шахтах работаю, и чтоб родная дочь панику разводила — не позволю!» Он любит шахту, с гордостью говорит: «Мы шахтеры...» А я? Разве я не люблю? Я тоже люблю, горжусь, что я потомственный горняк. Настоящий шахтер никуда не уйдет от угля. Тут есть гордость и слава. Но кто захочет рубать кайлом, когда есть пневматический молот и врубовая машина? Кто будет цепляться за фонарь, когда светит электричество? И кто откажется от солнца? От теплого ветерка?

Влетит ветерок в окна станции управления. Станции управления подземной газификацией! Стены выложены белыми кафельными плитками, рабочие чистой тряпкой протирают никелированные части, легкий поворот рукоятки направляет сложный процесс газификации угля, процесс, происходящий глубоко под землей!..

Это уже не единоборство человека с природой. Это — уверенное управление послушной, подчинившейся человеку стихией.

И это коммунизм!

Кузьмич станет к пульту управления. Сын Катеринки и Вовы станет к пульту управления. Бесшумные электровозы помчатся по всем дорогам — через сады, через бездымные города. По невидимым, уложенным в землю трубам полетит газ к городам, заводам, пристаням. В сверкающих баллонах будет грузиться легкое волшебное топливо.

На белых лепестках акации не будет налета угольной пыли. И не будет висеть вон там, над родным городом, темная пелена дыма...

Он вдруг приподнялся, не веря своим глазам.

Совсем недалеко от него вольно шагала по желтеющей траве Татьяна Николаевна. Легкий шарф реял вокруг ее плеч. Полотняная шляпа

прикрывала от солнца ее лицо.

Трепет восторга поднял Пальку и бросил к ней навстречу.

— Вы! Вы! — повторял он, хватая и сжимая ее руки. — Дорогая, хорошая, вы!

Она стояла растерянная, испуганная. Он возник неизвестно откуда, прямо из земли. И он был, несомненно, пьян. Она попыталась говорить с ним, как с нормальным:

— Отчего вы не зашли вчера?

— Не зашел? Вчера?

Он с трудом понял, о чем она спрашивает.

Да, для всех людей отдельно существовало вчера и сегодня, утро и вечер, день и ночь. Когда-то он делил время так же, как все люди, и у него были свои планы и стремления. Тогда он обещал зайти к ней за журналами. Но какое это имеет значение сейчас! Вчерашнее откинуто. Но из вчерашнего пришла женщина. Он любит ее. Любит сильнее, чем вчера, потому что сегодня все стало огромным. Любит и не может не рассказать ей немедленно все, все...

— Наплевать, что было вчера! — воскликнул он, бросая пиджак на траву. — Сядьте и слушайте! Мне надо столько рассказать вам, чтоб вы поняли! Дорогая, золотая, какая вы умная, что пришли!

Она дала усадить себя на пиджак, но все еще сопротивлялась странному тону, взятому Палькой.

— Да я не к вам пришла, с чего вы взяли? Или степь — ваш дом?

— Не надо, — умоляюще прервал ее Палька. — Вы тут — и все.

Он лег на траву и подложил под голову кончик ее шарфа.

— Слушайте! Вы слышите — жаворонок?

— Да их тут много.

Он сердито дернул губами.

— Вот этот... Вы понимаете, что он поет?

Она была достаточно умна, чтобы прислушаться и промолчать.

— Вы когда-нибудь представляли себе коммунизм?

Более неожиданного вопроса в эту минуту нельзя было придумать.

— Не так, как в теории, — захлебываясь, продолжал Палька. — Уничтожение противоположности между городом и деревней, между трудом умственным и физическим и так далее. Нет, а зрительно? В деталях? Какие будут дома? Как будут передвигаться люди: в автомобилях, облегченных, как велосипед, или в индивидуальных самолетах, как у Маяковского? И каким будет вот этот самый умственно-физический труд?

Она решила, что он, возможно, и не пьян, а только очень влюблен. И

хочет говорить с нею, как с самим собой, все мужчины стремятся к этому, и чем лучше слушает женщина, тем сильнее они любят.

— Это так неясно... — протянула она, чтобы дать ему повод высказаться.

— Наоборот, теперь уже ясно! — вскричал он. — В том-то и дело, что теперь уже все ясно!

И он начал сбивчиво и восторженно рассказывать о том, что он только что увидел, заглянув в будущее. И о Кузьмиче, и о ребенке Катерины, и о цветах без угольной пыли на лепестках, и о белых кафельных плитках на какой-то станции, и о Рамсее, унесшем в могилу свое изобретение. Он пересказывал ей какую-то статью Ленина, от возбуждения глотая слова и не заканчивая мысль, и снова говорил о старом Кузьмиче и о погибшем Вовке...

Она плохо понимала его, но слушала, изредка откликаясь коротким возгласом, и думала о том, что этот аспирант — очень славный, увлекающийся юноша, и она не виновата, что ей приятно встречаться с ним и приятно, что он влюблен. И еще она думала: сказать мужу или не стоит придавать значения?

А Палька рассказывал, что он делал вчера и сегодня, вернее, с той минуты, как прочитал ленинскую статью, — последующие часы слились для него в одно бессонное, тревожное и счастливое время.

Выплеснув из себя все, что наполняло его, он уверенно потянул руку Татьяны Николаевны, прижался к ней щекой и затих. Она скосила взгляд на часы: поздно, пора идти.

— Нет, нет, не надо уходить, — почувяв это, пробормотал Палька. — Дорогая вы моя, дорогая, как мне сейчас хорошо!

Она молчала, обдумывая, что делать. Галя должна прийти домой, ее надо накормить. И муж забежит позавтракать. А тут этот сумасшедший со своими странными мечтами...

И вдруг она заметила, что он спит. Сонное дыхание вздымало его плечи, обтянутые белой рубахой. Слишком пестрый галстук сбился на сторону. Лица почти не видно, но щека по-юношески гладкая, и уголок губ, уткнувшихся в ее ладонь, влажен и свеж.

Осторожно, чтобы не разбудить его, она вытянула свою руку, прикрыла его плечи пиджаком. В порыве нежности провела кончиками пальцев по всклокоченным волосам.

Когда он проснулся, ее не было рядом. Над посеревшей степью зажглись первые неяркие звезды. Тянуло холодком. И не понять было, приходила она сюда или только снилась.

Накануне первого дня отпуска Катенин выехал в Москву. Ответная телеграмма Арона Цильштейна гласила: «Предоставлю квартиру и сердце телеграфируй приезде закажу оркестр». Все тот же Арон, прикрывающий чувствительность иронией!

Катенин старался представить себе встречу с давним другом — и не мог. Шутка сказать, девятнадцать лет!

В юности их дружба была, как говорил Арон, «единством противоположностей». Свел их Катенин-отец, который покровительствовал Арону из принципа: профессор презирал антисемитизм и осуждал бездарную политику царского правительства. Правда, позднее он называл Арона «комиссаром-недоучкой» и умер, так и не признав большевиков. Но в годы, когда Катенин был студентом, отец помог талантливому юноше преодолеть многочисленные рогатки, преграждавшие евреям путь к образованию. Арон был прописан в столице в качестве слуги профессора Катенина, зарабатывал на жизнь писарем у присяжного поверенного, ночевал в каморке у дворника и вольнослушателем посещал лекции в Политехническом институте. Кроме того, он принимал участие в революционном движении. Квартира профессора была для него безопасным прибежищем, изредка местом встреч с нужными людьми. Были дни, когда молодой Катенин хотел вступить в революционный студенческий кружок, но Арон деликатно отвел его просьбу. Не доверял? Не считал подготовленным к борьбе? Или предпочитал сохранить дом Катениных как удобную ширму?.. Катенин не настаивал, даже испытал облегчение оттого, что не нужно рисковать собой. Он был влюблен в Катю, приближались выпускные экзамены. Все убедительней звучали доводы отца: «России нужны не бунтовщики, а грамотная интеллигенция, способная управлять и производить, — не век же мы будем отдавать наши богатства, нашу промышленность на откуп иностранцам, ищущим поживы! Рябушинских и Распутиных могут оттеснить с исторической сцены только энергичные инженеры и организаторы. Победят не революционеры, а трезвые умы и точные знания».

Арон подшучивал: «Учись, учись, трезвый ум, тебе даже не нужно продаваться каким-нибудь Нобелям, возле папы тебя и сквознячком не продует». Когда молодой инженер из гордости отказался от протекции отца, Арон удивился: «Не ожидал! Да ты молодец, Всеволод!» — и Катенин был счастлив.

Каков же он теперь, этот старый друг?..

Москва... Выйдя из вагона, Катенин боялся не узнать Арона, но сразу же увидел бегущего к нему добротнookруглого, розоволицего человека с глазами и улыбкой прежнего Арона. Чуть задыхаясь после бега, Арон подтолкнул пальцем свою заграничную велюровую шляпу так, что она съехала на затылок, и сказал прежним ироническим голосом:

— Оркестр опоздал, я чудом поспел, но встреча друзей состоялась. А ну-ка, покажись, трезвый ум, как тебя жизнь обработала?

Затем он облобызал Катенина, опавнув его запахом одеколona, и вырвал у него чемодан.

— Еле удрал из наркомата. У меня сегодня три заседания в противоположных концах города!

В машине Арон заговорил напористо, не ожидая ответа на вопросы:

— О чем советовать? Продумал ты главное решение? Не знаю, сумею ли я помочь тебе, но тогда разыщем нужных людей, из-под земли достанем.

Он погладил обивку машины и без перехода сказал:

— Премия! Пер-со-наль-на-я машина. А? Вот тебе и нищий студент, прописанный лакеем профессора Катенина!

И опять-таки не ожидая ответа, перескочил на новую тему.

Открыв дверь своим ключом, он закричал на всю квартиру:

— Лена! Сыны-ы! Обедать!

И объяснил, вводя гостя в кабинет:

— Они на даче, приехали обеспечить гостеприимство, а потом мы — холостяки!

Не дав Катенину опомниться, повел его мыться, затем показал свою библиотеку, тут же сбрасывая на диван книги, которые могли пригодиться Катенину. Познакомил со своей пожилой приветливой женой и двумя сыновьями — сыновья были до смешного похожи на молодого Арона и одновременно на только что оперившихся щеглят.

Обед был долгий, беспорядочный, веселый. Щеглята ничуть не стеснялись гостя и громко рассказывали все, что произошло на даче в последние дни, — какой-то заплыв, ловля раков, драка с мальчишками Еремеевской дачи... Арону их рассказы были по-настоящему интересны, глаза его сверкали, как в молодости. Он тут же обещал вместе с Катениным приехать в субботу и отправиться с ночи удить рыбу.

— Да я никогда... — начал было Катенин, но Арон замахал руками:

— Не спорь! Это увлекательно до черта! Надо же когда-то начать! И какой ты будешь изобретатель, если не научишься терпению? А рыбная

ловля — высшая школа терпения!

После обеда друзья заперлись в кабинете. Катенина разморило с дороги, он мечтал прилечь на часок, но Арон и не вспомнил про свои три заседания, расположился в кресле и быстро спросил:

— Итак, берешься за газификацию. Ради чего?

И поглядел испытующе.

— Ну... это же интересно! Огромная техническая задача...

— Слава? Деньги?

Это был прежний Арон — пронизательный и беспощадный.

— Не откажусь ни от того, ни от другого, но не это главное.

— А что же?

Катенин поморщился. Трудно раскрыть себя так, сразу, после девятнадцати лет разлуки.

— Что твоя Катя? — спросил Арон, и эта его догадливость была новой чертой, приобретенной с годами. — У тебя ведь сын? Или дочь?

— Дочь, — с благодарной улыбкой сказал Катенин. — И очень удачная дочь. Музыкантша. Красавица. В Катю...

— Да ты и сам не плох! — воскликнул Арон, оглядывая друга. — Рост, осанка, барственное лицо — как у твоего отца. Ну, а другие красавицы как?

Катенин удивленно вскинул брови. Арон расхохотался:

— Ну, ну! Вижу: хороший семьянин и сама строгость!

Он одобрительно кивал головой, но Катенин понял, что Арон если и семьянин, то отнюдь не строгий.

— Хорошо или нет, но так получилось, — с легкой завистью к жизнелюбию друга проговорил Катенин. — Ценю то, что имею, да и годы...

— О! Впрочем, да, годы... К старости повернуло, а, Сева?

— Вот именно, — подхватил Катенин без всякой грусти, потому что чувствовал себя на подъеме и в этом разговоре обрел искренность. — Вторая половина жизни! И хочется сделать, обязательно сделать что-то значительное. Чтоб знать: жил не зря.

Арон кивнул, не перебивая.

— Помнишь, я тебе говорил когда-то: сделал ошибку, не полюбил и не полюблю свою профессию... Я не могу сказать, что так и вышло. Увлёкся тем, что меняет ее. Знаешь, размах механизации и прочее. Кое-чего добился. Но сейчас я понимаю: это была лишь подготовка. Ты мне послал жар-птицу — я подхватил ее перо. Сейчас мне кажется, что жизнь начинается завтра. Вот почему я к тебе примчался. — Пока он говорил, его нетерпение снова разгорелось: — Не томи, Арон. Расскажи, что за

комиссия создана? Есть ли уже проекты? И вообще, как она тут представляется, эта подземная газификация? Откуда это пошло — конкурс? Кто заинтересован?

— Алымов, — почему-то сердито сказал Арон.

— Алымов? Это кто же?

— Да так, один горячий дядька. Он и заворачивает. А комиссия — как большинство комиссий. Имена и звания. Все заняты тысячей дел, никого не соберешь. Меня тоже... не соберешь!

Арон прошелся по кабинету и остановился перед Катениным, как-то по-юношески улыбаясь.

— Комиссия — что! Ты вот послушай такую сказочку. На Кубани, в казачьей станице, жил-был обычный кавалерийский полк. Что делают в таком полку? Чистят и купают коней, скачут там или рубят лозу. Два или три раза в неделю политруки проводят политзанятия, а крестьянские и рабочие парни стараются изучить конституцию, историю партии и прочее. Так примерно? И вот на такой политбеседе паренек-кавалерист спрашивает своего политрука: «Я прочел у Ленина статью о великой победе техники. Будто уголь можно сжигать под землей. Я сам шахтер. Партия призывает шахтеров увеличить угледобычу. Так вот, товарищ политрук, интересуюсь, что у нас делается по этой статье?» Политрук был умный, сказал: «Не знаю, но узнаю» — и побежал к комиссару. Тот — в библиотеку. Все читают статью, все ищут сведений, что у нас делается, — и не находят. И тогда полк пишет письмо: «Всем! Всем! Всем!» В Совет Народных Комиссаров, в ВСНХ, в газеты, в вузы, в научно-исследовательские институты... Вот как! И право подписи предоставляется отличникам боевой и политической подготовки. И подписывают письмо торжественно, на сцене клуба, под аплодисменты. Письмо летит в десятки адресов, и везде хватаются за статью Ленина, и везде убеждаются, что ни за границей, ни у нас ничего не делается. Впрочем, кое-где письмо подшивали в папку с надписью «В дело» — есть такая форма безделья. Но кавалеристы нашумели в десятках учреждений и редакций. Добрались до Серго Орджоникидзе. Тут все и завертелось. Вызвал Серго своих угольщиков, спрашивает: что писал Ленин об угле? Они сыплют цитатами, а об этой статье — ни слова. Не знают...

Катенин спросил пересохшими губами:

— О какой статье ты говоришь? Я ведь тоже не знаю.

— Не знаешь?! Это ж самое главное! — Арон схватил и развернул том на закладке. — На, читай!

Катенин читал и перечитывал ленинскую статью. Арон вышел

проводить жену и детей — они уезжали на дачу. Все трое заглянули проститься с гостем, напоминали о рыбалке. Катенин рассеянно отвечал: спасибо, обязательно! Он был потрясен. На какую неожиданную высоту взметнулась облюбленная им задача! «Переворот в промышленности, вызванный этим открытием, будет огромен...» Какая удивительная удача! Какие перспективы!

— Освоил? — Арон положил руку на плечо Катенина. — Ты спросил, кто заинтересован и кто участвует? Так вот, заинтересованы кавалеристы, понимаешь? Рядовые советские бойцы, которым есть дело до всего, и до технической революции тоже. Мы механически повторяем, что наши солдаты — граждане. Вот оно, гражданское сознание! И совестью отвечать ты будешь перед ними. Перед народом.

Прежняя насмешливость мелькнула в его лице.

— Как видишь, трезвые умы широко распространились. И они таятся не только под черепными коробками избранных интеллигентов.

— Отец был человек старого воспитания, — виновато объяснил Катенин. — Разве он мог...

— Твой отец был золотой старик! — воскликнул Арон. — Недавно я ездил в Ленинград. Разыскал его могилу и положил на нее охапку цветов. Полевых. Сам набрал за городом. Потому что он был — дай бог всякому такое сердце и такую широту! — Он гневно оглядел Катенина. — Ты не понимаешь, какой у тебя был отец! Говоришь, большевиков не признавал? Да проживи он еще немного, он был бы у нас самым неутомимым, преданнейшим работником! Как Бардин и Павлов, как Графтио и сотни других! Да знаешь ли ты, что он меня от тюрьмы спас? Что у него в кабинете целый месяц наши шрифты хранились?

Катенин смотрел растерянно: ничего он об этом не знал.

— Так вот, думай и начинай, — без всякого перехода сказал Арон, взглянув на часы. — Задача — во! Громада! В комиссии никто ничего не смыслит в этом, проектов еще нет; как ее осуществить, эту подземную газификацию, не знает никто. И я не знаю. Но я тебе помогу чем могу. Завтра с утра поедem поглядеть разные типы газогенераторов в чертежах и в действии. Принцип и тут, и там одинаков, только условия под землей другие. Материалы, чертежи, всю науку — черпай, не стесняйся, все тебе дам. Про отпуск забудь. Вот тебе кабинет, вот тебе ключ. Никто тебе не помешает. Литература по газогенераторам у меня вся, какая только существует на свете. Что тебе еще? Ватман понадобится — вон там, в шкафу. Готовальня, тушь, линейка — на столе. Талоны в столовую для ученых людей я тебе достану. Сиди, думай, решай. Спать будешь на диване.

Простыни и одеяло — вот они.

Катенин подошел к нему, протянул обе руки:

— Арон, давай вместе!

— Э-э, нет! Это — нет. Да и зачем тебе? Чудак! Ты и один одолеешь.

— Арон, мне очень приятно с тобой. Будто молодость вернулась. Только я теперь умнее и... смелее. Давай вместе!

Но Арон отмахивался, покраснев и отводя глаза.

— Но почему? Не веришь в мои силы?

— Я и так два года в отпуску не был. А потом...

Он снова глянул на часы, доверительно наклонился к другу:

— А потом — что ты хочешь! — я стал немного легкомысленным. Я работяга, муж, отец, я все это люблю и берегу... но иногда я исчезаю из дому — и это лучшие часы моей жизни.

Он еще понизил голос:

— Ты вот говорил — вторая половина жизни, слава, хочется оглянуться перед концом и сказать себе, что не только скрипел, но и сделал что-то. Я тоже... Нет, я не скрипел! С пятнадцати лет работал, боролся, всего себя выкладывал. Но я хочу жить сегодняшним днем, пока я еще не стар, пока... Ну да ладно, мне пора!

В передней он вспомнил:

— Ужин на кухне под салфеткой. Чайник и примус там же, на плите.

— Ты придешь поздно?

Арон покраснел, засмеялся, хлопнул Катенина по плечу:

— Все такой же! Ну пока! Утром увидимся!

И исчез.

Катенин постелил себе на диване и лег. Свежие простыни напоминали об усталости — ах, как хорошо вволю поспать после дороги и стольких новых впечатлений! Кавалеристы... как странно! «Трезвые умы распространились...» Подпольные шрифты в кабинете отца... Статья Ленина... Я будто почувствовал, что в этом деле — мое счастье, моя вторая и, может быть, лучшая молодость. Предложить проект, осененный именем Ленина, добиваться его осуществления, опираясь на доводы Ленина... Еще сегодня утром я понятия не имел о том, как это значительно! Но почему же Арон, знающий всю важность проблемы, отказался работать вместе?..

Катенин был убежден, что Арон не дал настоящего объяснения. «Легкомыслие», «лучшие часы жизни»... Влюблен и любим? Последняя любовь? Может быть, но... Все-таки не верит в мои силы? Или не верит в свои способности к творчеству? Или все дело в том, что его жизнь — полна? Что он и так увлеченно работает, любит свое дело, никогда не знал

упадка сил и глухой неудовлетворенности собой?..

Начались дни работы, поисков, изучения новых проблем. Отпуск проходил. Катя спрашивала в письмах: «Когда приедешь?» Он отвечал уклончиво. Арон помогал как мог, подсказывал, где о чем прочитать, знакомил с полезными людьми. Увлекаясь, он вместе с Катениным часами обдумывал, обсуждал, искал решения, а потом вдруг надолго исчезал из дому.

Всеволод Сергеевич работал методично и без отдыха, не позволял себе ни торопиться, ни отвлекаться.

Схема подземного газогенератора прояснялась. Прояснялась без счастливых догадок — все давалось постепенно, изучением и трудом. Иногда Всеволод Сергеевич с тревогой размышлял: может, мне чего-то главного не хватает? Может, решение должно осенить сразу, а меня не осеняет, потому что нет таланта?..

Перед ним вставала непреодолимая трудность: предварительное дробление угля требовало участия людей в подземных работах, а без предварительного дробления угля не могло быть процесса выработки газа. Он утешал себя: людей потребуется намного меньше, чем при обычной угледобыче. Это уже громадный плюс!

Из истории великих открытий он хорошо знал, как часто идея рождается от случайного толчка, подсказывается самыми бытовыми наблюдениями. Упало с дерева яблоко — и определился закон земного тяготения. Где оно, мое яблоко?

Но ничто не падало, не загоралось, не взрывалось. Мысль пришла незаметно; сперва Катенину показалось, что он где-то вычитал ее и только не может вспомнить — где. Стараясь сократить подземные работы до минимума, он совершенно буднично подумал: а если заменить отбойный молоток подземными взрывами? Прорубить скважины, заложить в каждую взрывной патрон? Огневой забой будет приближаться к очередному патрону, нагревать его и вызывать взрыв, а взрывом будет дробиться уголь. Важно обеспечить равномерную постепенность взрывов.

Сформулировав мысль, он остолбенел: откуда это пришло к нему? Кто, где, для чего применял такой метод?

Он не мог вспомнить.

Нет, нигде и никогда не читал он ни о чем подобном.

И тогда в душе возник ликующий вопль: «Да это же мое, мое собственное!!»

Солнечный полдень, тишина, ни души вокруг. Некому крикнуть: «Эврика! Нашел!» Всеволод Сергеевич пробежал по всем комнатам пустой

квартиры. Остановился перед трюмо. Зеркало отразило сидящего, почтенного человека с ошалелым взглядом.

В кухне он выпил воды из-под крана (Катя назвала бы его сумасшедшим, посулила бы тиф и дизентерию!). Захотел есть, разыскал в холодном шкафу котлеты и огурцы. Котлета в одной руке, надкусанный огурец в другой, — пошел в кабинет Арона и остановился над листом бумаги, где еще ничто не было зафиксировано. Заглотив в два приема котлету, чтобы освободить руку, он начал зарисовывать схему процесса так, как ему представилось. Зарисовал — и мысль, воплощенная в инженерный чертежик, понравилась еще больше. Почти не думая, надписал: «Метод взрывов В. С. Катенина».

Когда вернулся с дачи Арон, Катенину удалось рассказать о найденном решении без восклицательных знаков, но Арон сам воскликнул:

— Да это же великолепно! Это же открытие!

Арон наполнил квартиру шумом. Вытащил из шкафа белую скатерть, а из-под дивана — коньяк, пустил в ход все запасы. Выпив, Катенин размяк и собрался помечтать, но Арону не сиделось.

— Берись, дружище, и работай без передышки! Как только оформишь, повезу тебя в комиссию, будем добиваться немедленной постановки опыта. Не теряй ни минуты!

Он переоделся, побрызгался одеколоном, от двери сказал:

— Все! Больше мешать не буду!

Катенин смутно понимал, что последние слова Арона — лицемерие. Но Арон прав: теперь, когда метод найден, стоит торопиться.

На следующее утро пришла телеграмма:

«Люда вышла за ма живут пока дома удержать не могла случилось быстро очень растроено *катя*».

Катенин долго не мог понять эту явно перевернутую телеграмму. Что значит «зама»? От чего Катя не могла удержать? Кто «живут пока дома»? Что «случилось быстро» и что «растроено»?

Арон расхохотался — вот так штука! Никакого «зама», твоя Люда выскочила замуж, пока ты тут изобретаешь! И она права, твоя девочка! Раз полюбила — отчего не выйти?

Замуж? Люда? Это дурацкое «зама»...

— Может, замуж за зама? У тебя заместитель молодой? Да не

расстраивайся, чудак, все девушки выходят замуж, это же естественно!

Нет, это было не естественно, а чудовищно! Люда, хрупкая девочка, со слабыми легкими, — замуж? Ни с того ни с сего, в отсутствие отца, не подождав, не посоветовавшись, стала женой... кого?! Какого-то чужого, грубого мужлана!.. Да, грубого и нечестного! Чем иначе объяснить такую неприличную поспешность и вопиющее неуважение к отцу. И эти слова «очень расстроено», что означает — Катя очень расстроена... Еще бы!

Арон достал билет на самолет. Проводил на аэродром. Успокаивал. Убеждал поскорее дорабатывать проект...

— Я так и не был в комиссии, — вспомнил Катенин.

— Я им говорил о тебе. Они ждут. Почва взрыхлена и удобрена, остается бросить семя.

И об этом Арон подумал!

Шагая по краю летного поля в ожидании посадки, оба чувствовали, что сдружились сильнее, чем в юности, что расставаться жаль. И что проект подземной газификации стал их общим делом, общей гордостью.

— Арон! Еще раз прошу: давай вместе. Ты так много помог мне. Почему ты не хочешь?

Арон лучезарно улыбнулся и подмигнул:

— А члена комиссии ты не учитываешь? Куда выгоднее иметь не соавтора, а друга в комиссии! Как говорится, блат!

Катенин уже не раз с удовольствием думал о том, что Арон будет участвовать в обсуждении проекта. Но тем более невозможными были слова Арона. Арон и — блат!

— Ты не доверял мне в юности, я не обижаюсь, я тогда и не заслуживал... Но теперь... в вопросах техники...

Хрипкое радио объявило о посадке на Харьков.

— Не чуди, Сева, — с особой ласковостью сказал Арон. — Я не только верю в тебя, я... в общем, я желаю тебе огромного успеха, славы, широченного поля деятельности... ну, и приличного зятя, тестя или как он там называется! — шутливо добавил он. — Кончай проект. И пиши! Обязательно пиши, как и что!

Он постоял на поле, пока не скрылись в утренней дымке поблескивающие крылья самолета, уносившего сына профессора Катенина. Не доверяю? Чудак! Не объяснять же ему, что сам он тут ни при чем, что есть такие вещи, как благодарность и возврат долгов... Только бы ему удалось!

А Катенин глядел в окно самолета. Небо было широченное, удивительно легкое, поля внизу — чисто изумрудного цвета, поезд,

пробежавший внизу, был похож на детский заводной, а дым из трубы паровоза, казалось, не поднимался вверх, а расстилался по земле вместе с летучей тенью от самолета. Как прекрасно было бы это утро, весь этот мир с его трудом и надеждами, если бы не Люда. «Вышла зама...» Боже мой, только бы это оказалось ошибкой!

Когда он вихрем пронесся по лестнице и поднял трезвон у двери своей квартиры, открыла Екатерина Павловна.

— Сева! — вскрикнула она, обнимая его, и заплакала. Но он отлично видел, что она уже не расстроена, что она особенно тщательно одета и причесана, даже серьги надела.

— Ну? — спросил он, скидывая пальто прямо на пол.

— Вот тебе и ну! — сказала она виновато и весело. — Такая уж наша судьба. Узнавать последними. Вышла замуж.

— Да за кого? — с отчаянием выкрикнул он.

— Господи, разве я не написала? Да за своего майора... за Анатолия Викторовича... Неужели я не написала? Но он очень милый и очень любит ее, и, знаешь, в конце концов, может, оно и к лучшему...

— Я вижу, ты тоже влюблена в него, — раздраженно прервал Катенин. — С ума посходили!

— Т-с-с... она дома.

— Ну и что? Радоваться прикажешь? Поздравлять? Хвалить?

— Сева, умоляю тебя... Конечно, это вышло так скоропалительно...

— Ты объясни, почему пришлось так неприлично торопиться?

— Боже мой, Сева... Ну, влюблены, ну, решили... теперь все проще, чем в наше время. Он приехал из лагерей, встретились... Разлука многое проверяет... Я тебя уверяю, он такой милый и порядочный...

— Это я уже слышал. Где Людмила?

— Спит.

— В полдень — спит? А этот ее... супруг?

— Он уехал на службу... Сева, умоляю тебя!

Оттолкнув жену, он, не стучась, вошел в комнату дочери. Люда лежала в постели, но совсем не спала — видимо, услышала голос отца.

— Папка! — восторженно проворковала она. — Папка приехал!

И, закрыв голову руками, со смехом сказала:

— Если сердиться, бей! Я приготовилась к хорошей трепке!

Обняв отца за шею, она целовала его, дурачилась, охала, снова целовала и между поцелуями и смехом говорила:

— Виновата! Оправданий нет! Влюбилась! Привела в дом чужого, страшного мужчину! С пистолетом в кобуре!

— Люда, ты подожди, ты...

— Папочка, уже поздно! Он уже тут! Если б он не уезжал в чертову рань на службу, ты бы сейчас увидел рядом со мной во-от э-та-кие-е страшные черные усы!..

Серьезного разговора с дочерью не получилось. И рассказа о методе взрывов тоже не получилось: и жена, и дочь были заняты своим. Но днем заехал обедать майор — Катенин впервые рассмотрел его как следует и не мог не признать, что Анатолий Викторович — славный, застенчивый и очень влюбленный человек. Страшных усов у него не было, но ему перевалило за тридцать, и легкие морщинки уже намечались под усталыми глазами. После первых минут взаимной настороженности именно майор заинтересовался изобретением Катенина и долго расспрашивал о всяких подробностях: бывший механик, он легко улавливал особенности и трудности новой технической проблемы.

— А теперь скажите мне, Анатолий Викторович, почему вы так поторопились? — спросил Катенин, оставшись наедине с майором.

— Я целых два года торопился, — со вздохом ответил майор. — Это Людочка все тянула... Поймите меня, Всеволод Сергеевич!

— Но почему было не подождать... хотя бы моего приезда.

— Она... мы... порешили отпраздновать свадьбу, когда вы приедете...

— Вы еще не зарегистрировали брак?

— Как можно! — вскинулся майор. — Мы зарегистрировались еще там, в лагерях...

Поняв, что проговорился, майор густо покраснел.

— Люда ездила к вам в лагеря?

— Всеволод Сергеевич! Я вас уверяю... Когда мы уже решили, она вдруг приехала в гости... Вы не подумайте...

У Катенина создалось впечатление, что майор выгораживает ее, но торопливость была продиктована Людой. Господи, до чего сумасбродная девочка!

— Как же вы собираетесь жить дальше? Ведь у Люды талант, ей нужно учиться.

Майор поднялся и сказал торжественно:

— Я люблю ее, Всеволод Сергеевич, и сделаю все, чтобы ей было хорошо. На уроки я ее сам отвозить буду. А жить... у меня есть комната в военном городке, очень хорошая комната... Но Людочка сказала, что не хотела бы расставаться с вами. Будет так, как решите вы.

Когда майор снова уехал на службу, Катенин позвал дочь.

— Он тебе понравился! — заявила Люда, ласкаясь к отцу.

— Мне хотелось бы, чтобы ты закончила учебу...

— Так я и кончу!

— Люда, ты теперь замужняя женщина. У тебя будут домашние заботы...

— Какие же заботы, когда мы живем здесь?

Катенин усмехнулся чистосердечности ее молодого эгоизма. Правда, какие у нее заботы? Просто лишние заботы маме...

На следующий день Люда подробно расспросила отца о методе взрывов, рассмотрела набросок схемы и постаралась понять... Муж ли рассказал ей? Или сама вспомнила?

— Ой, папка, какой же ты у меня умный, оказывается! — Ее лицо зарделось, глаза заблестели. — Если примут... мы переедем в Москву, да?

— Ну, об этом пока рано думать. И потом... ты-то все равно останешься, ты же замужем, девочка!

Она застыла с приоткрытым ртом.

Досада и недоумение так явно читались в ее лице, что Катенин отвел глаза и начал кнопками закреплять чертеж — пора было приниматься за работу. Две тонкие ручки обвили его шею.

— Ой, папочка, я не хочу без тебя...

— Людочка, я ж еще никуда не уезжаю! Наконец, ты сама решила свою судьбу.

Она пошлепала его по щекам.

— Ты еще недоволен, что твоя единственная дочь по-прежнему дома и больше всех на свете любит своего папу?!

Он растрогался, но холодок в сердце остался. Весь этот день он принимался чертить — и надолго задумывался, опустив руки на чертеж. Кажется ему или так и есть — то, что приоткрылось сегодня в дочери?

Недавние дни в Москве казались далекими-далекими. Счастливый, целеустремленный человек жил там в пустой квартире Арона Цильштейна, творил, мечтал, ни о чем другом не думал и ни от чего не страдал. Энергичный, деятельный человек по вечерам ожидал своего друга и тут же выкладывал ему свои сомнения и вопросы, и друг заинтересованно помогал... Очень его не хватало сейчас, Арона!

До конца отпуска осталось три дня. Два дня. День. Вот уже и на работу вышел, нахлынули повседневные дела. В субботу отпраздновали свадьбу; свадьба запомнилась усталым лицом Кати и счастливым — Анатолия Викторовича, шумной суматохой в доме и непроходящей неловкостью перед зятем оттого, что Люда играет, да, талантливо играет роль юной, застенчивой новобрачной.

Назавтра он выехал на одну из шахт, где на участках глубокого залегания происходило много несчастных случаев. Несколько часов провел на этих участках, в штреках, продуваемых насквозь мощной струей холодного воздуха, смягчающего невыносимую жару земных глубин. Простудился. Возвращался больным. Температура вызывала озноб, кашель не давал уснуть. И тут, бессонной ночью в темном вагоне, к нему пришел стыд. Мучительный и гневный стыд. Как я смею отвлекаться, медлить, терять время на посторонние переживания, когда в моих руках метод, способный избавить тысячи людей от тяжелого и опасного труда под землей? Как я смею лениться оттого, что рядом нет стимулирующей энергии Арона? Или я не в состоянии осуществить свою — свою собственную! — идею без подталкивания и чужой помощи?

Проводив врача, предписавшего постельный режим, Екатерина Павловна вернулась к больному и не поверила своим глазам: в телогрейке, с забинтованным горлом, сразу осунувшийся и пожелтевший, Всеволод Сергеевич вдохновенно размечал чертеж и беспечно напевал песню их студенческой юности: «Крамба-ам-були — отцов наследство...»

Игорь мчался по степи на подножке грузовика, вглядываясь в приближающиеся огоньки станционного поселка. Когда шофер резко тормозил, чтобы в темноте определить дорогу, слышно было, как дружно стрекочут кузнечики. Потом к этому звуку присоединились дальние тревожащие — многоголосый пьяный крик.

— Нажимай! Черт с ней, с дорогой! — умолял Игорь.

Разморенный горячей баней, ужином и накопившейся за много дней усталостью, он крепко спал, когда отец растолкал его и погнал в поселок, потому что заведующая чайной сообщила: «Ваши хлопцы буянят, вызываю милицию, лучше забирайте их сами!» Изыскатели за один субботний вечер давали чайной доход, равный недельному, их там привечали и, если иной парень не в меру выпьет, панику зря не разводили. Значит, дело серьезное.

Когда Игорь на ходу соскочил возле чайной, криков уже не было. И никакого буйства не было. На крытой галерейке, где любили пировать изыскатели в компании незнакомых Игорю молодых людей сидела Лелька Наумова в своем единственном шелковом платье, с цветком в волосах, азартно веселая и очень бледная, — вероятно, выпила лишнее. Перед чайной, в потемках, подступавших к светлому кругу, отпечатанному на

земле уличным фонарем, полукольцом теснились люди. Среди них Игорь увидел кое-кого из своих изыскателей и двух подавальщиц в белых наколках; все чего-то ждали, но не переступали через край светлого круга, усыпанного осколками стекла и черепками битой посуды.

В центре круга, опираясь спиной о фонарный столб, одиноко стоял Никита Кузьменко. Он не казался пьяным: стоит себе принаряженный для гулянья красивый паренек с молодецки развернутыми плечами, светлый чуб свисает на лоб, на губах детская подкупающая улыбка.

— Что стряслось? — спросил Игорь.

Захлебывающийся, шалый голос Лельки пояснил:

— У нас тут представление, Игорь Матвеевич, идите в первый ряд балкона. Очень интересно!

В это время на земле, у ног Никиты, что-то заворчалось, закричало, заохало — какой-то странный белый мешок. Никита мгновенно вскинул над головой руку с финским ножом и бешено рявкнул:

— Лежи! Убью.

Взвизгнули девушки. Из открытой двери чайной донесся женский голос, кричавший в телефон: «Милицию! Алло! Алло! Милицию!»

Игорь хотел подойти к Никите, но его удержали. Со всех сторон раздались предостерегающие возгласы; «Не троньте! Убьет! С ножом кидается! Смотрите, что с хлопцем-то сделал!»

Игорь взгляделся: у ног Никиты лежал человек, закатанный в скатерть; с одного конца свертка торчали ноги в изыскательских сапогах, с другого конца — голова с кляпом во рту.

— Кто это там? Товарищи, что же вы стоите?

Свои хлопцы ответили из темноты:

— Пробовали! Порезет, хуже будет. Не в себе он! Что ж, его под тюрьму подводить?

Лелька снова подала голос:

— Гошка там. Отдыхает. Очень даже удобно. Как младенец спеленатый.

Буфетчица нашептывала в самое ухо Игоря: «Она все время и подзуживает... из-за нее все... Тоже выпивши...»

Чувствуя, что на него смотрят и медлить — значит показать, что испугался, Игорь решительно вступил в светлый круг, но Никита в неистовстве заорал:

— Не подходи! Убью!

— Меня-то не убьешь, не за что, — как можно добродушной сказал Игорь, рисуясь под взглядами зрителей. — Убери нож, приятель, да

собирайся, поздно уже, я за вами на машине приехал.

Никита узнал Игоря по голосу, уставился на него мутным взглядом, снова подкупающе улыбнулся:

— А я что? Я ничего. Не подойдешь — не трону.

И вдруг, сильным взмахом руки с ножом очертив пространство вокруг себя, вызывающе выкрикнул:

— А подойдет кто — зарежу! И не обижайся! Сказано, не подходи!

Игорю оставалось каких-нибудь три-четыре шага. И помирать от ножа пьяного хулигана не хотелось. Но разве Никита способен поднять на него руку после всех дней, проработанных бок о бок?

— Ты что, не узнал меня, Никита? — мирно спросил он и шагнул вперед. — Это ж я, Игорь. Погуляли и хватит. На, закури. Спички у тебя есть?

Никита удивленно поглядел, переложил нож в другую руку, достал коробок. Игорь подошел вплотную, они закурили от одной спички. Папироса прыгала в руке Никиты, он проносил ее мимо рта.

— Вот так, — Игорь всунул ему папиросу в зубы, кивнул на спеленатого Гошку. — Этот пусть лежит, а мы поедем. Да убери нож, что ты размахиваешь им, как мясник, еще порежешься спьяну. Дай-ка мне его, вернее будет.

Нож сам выскользнул из ослабевших пальцев Никиты. Теперь видно было, что пьян он мертвецки.

Под восторженный шепот девушек, чувствуя себя героем, о котором завтра будут рассказывать и в лагере, и в поселке, Игорь обнял Никиту и потащил к машине.

Полукольцо зрителей распалось. Куча парней со смехом развязала Гошку — Гошка был тоже пьян, грязен, измучен и, встав на ноги, заплакал. Когда всхлипывающего Гошку привели к машине, Никита уже спал.

— Парни, в кузов! — командовал Игорь. — Наумова, сядешь в кабину! Давайте поворачивайтесь, и так прославились на весь район!

Притихшая Лелька потянула его за рукав:

— Игорь Матвеевич, я уж с Никитой, в кузове, растрясет его. А Гошка пусть в кабине, вон какой он... жалкий.

В пути Никиту вырвало. Лелька держала его голову и ласково приговаривала:

— Ничего. Ничего. Ты не смущайся, это ничего. Полегчает.

— Ты бы там вот так помурлыкала, — сказал кто-то из парней.

— Молчи уж лучше, храбрец! — огрызнулась она.

Когда приехали в лагерь, Лелька помогла спустить Никиту на землю,

проследила взглядом, как его втоптали в палатку, сбегала за ведром и тряпкой, не стесняясь, высоко подоткнула подол нарядного платья и прикрикнула на шофера:

— Чего стоишь столбом? Посвети, я в кузове приберу!

Митрофанов опрашивал свидетелей. Парни переминались с ноги на ногу, отвечали неохотно. В общем, дело представлялось так: Никита и Лелька уже неделю в ссоре; сегодня вечером Лелька была очень весела и села с местными хлопцами, Никита озлился, задирает и ее, и хлопцев, а Гошка сказал «нехорошее» про Лельку, мол, нечего с такой путаться. Никита ударил его бутылкой, повалил. Кое-кто пробовал вмешаться, но Никита всех раскидал, содрал со стола скатерть и спеленал Гошку, а в рот ему сунул кепку, чтоб не кричал. В этом месте рассказа свидетели фыркали, вспоминая смешные подробности, о которых не стоило докладывать начальнику. О ноже не помнил никто, — какой нож? У Никиты вроде и не было никакого ножа. Перочинный, что ли? Не видали... А что грозился Никита — так ведь спяну чего не сболтнешь!

— Ладно, идите проспите. Утром будем решать, — сказал Матвей Денисович. — И отдайте нож. У кого он?

Отобрав нож, Игорь засунул его в карман, но в пути нож исчез. Дружки ли выручили Никиту? Или все та же Лелька сообщила?

Воскресный день выдался пасмурный, дождливый, под стать настроению изыскателей. В палатку начальника по очереди вызывали всех, кто гулял вчера в поселке. Кроме Матвея Денисовича, которого никто не боялся, там сидели еще старший геолог Липатова (вдвоем с Митрофановым она составляла партийную часть экспедиции) и механик Сторожев, человек пожилой, совершенно не пьющий по причине язвы желудка и очень придирчивый, что тоже относили на счет язвы. Выходившие из палатки предупреждали товарищей, что механик задает каверзные вопросы и «подводит Никиту под увольнение».

Сам Никита спал беспробудным сном. Лелька выпросила на кухне рассолу и поставила возле него.

Гошка тоже спал, но за ним послали. Лелька перехватила его по пути:

— Что ты про меня худое сказал — твое дело, такая уж у тебя совесть! На это я плюю! Но если ты Никиту подведешь, жизни не обрадуешься! Так и знай!

Испугался ли он Лелькиной угрозы или не хотел топить товарища, но на все вопросы отвечал уклончиво, отговаривался тем, что сам выпил изрядно, а насчет ножа сказал:

— Не помню. Кричать-то он кричал — «убью!» — а был ли нож, не

знаю.

Еще утром заведующая чайной сообщила по телефону, что вчера побили посуды на двести двадцать рублей да за «амортизацию скатерти» еще тридцать. «Будете оплачивать или передавать в суд?»

Пока шли допросы, товарищи Никиты вместе с Лелькой собрали всю сумму — двести пятьдесят рублей. Было решено, что Никита ходит в чайную, извинится и внесет деньги.

Но все повернулось по-другому.

Проснувшись с гудящей головой, Никита жадно выпил рассолу, узнал, кто его принес, и с горделивой улыбкой попросил приятеля кликнуть Лельку. Но Лелька, задрав нос, презрительно бросила:

— Нашел девочку — бегать! Если нужно, сам прибежит! А мне на хулигана глядеть неинтересно.

И ушла под дождем в степь.

Приятель передал все, как было. Никита выругался и уткнулся лицом в подушку. Когда он встал, где раздобыл водки, никто не заметил. Увидели Никиту уже пьяным и до того злым, что казалось, сейчас повторится все вчерашнее.

— Ну, вот! — угрюмо сказал механик. — Вы его спасаете, а он, гад, над вами издевается.

— А по-моему, — сказала Аннушка, — тут дела любовные и говорить надо с Лелькой и Никитой, больше ни с кем. Глупые они. И гордые. Друг перед дружкой задаются.

Так и решили: Матвей Денисович поговорит с Никитой, когда того приведут в чувство, а Липатова по душам потолкует с Наумовой.

Лельку долго звали, аукая так, что за десять километров можно было услышать. Наконец она явилась — мокрая с головы до ног с пылающими глазами. Вид у нее был вызывающий и несчастный.

— Переоденься и приди ко мне, — сказала Аннушка, качая головой. — Сумасшедшая ты девка!

Разговор не получился. Лелька отмалчивалась, смотрела себе под ноги, кусала губы.

Услыхав, что Никита снова напился, она впервые подняла голову:

— Ну и дурак!

А в глазах блеснуло торжество.

— Любит он тебя, Леля. И ты, видно, любишь.

— А на что он мне сдался такой?

— Какой «такой»? Мальчишка еще, вот и все. Когда женщина любит, она может из человека что угодно сделать.

— Горбатого могила исправит!

— Так чего ж ты его защищала вчера, нож спрятала?

— Дура была.

Аннушка вздохнула и совсем тихонько спросила:

— А может, ты сейчас дуришь?

Лелька дернула плечом, снова опустила голову. Хороший человек Липатова, хочет помочь... да разве тут сможешь? Она добивается разговора по душам. Лелька и рада бы... да как рассказать о своей любви, о своей женской обиде?

Ведь по-хорошему все началось, не так, как с другими! Слезы его вытирала, добрыми советами проводила к родителям, а потом три ночи подряд по двенадцать верст бегала к ночному поезду — встречать. Встретила. Обрадовался он... Пошли вместе через степь, да так и не дошли до лагеря. Стог сена попался — он и был первым приютом их любви. Заплакала там Лелька, горько заплакала, что не девушкой пришла к нему, не убереглась, не чуяла, что есть настоящая любовь. Он утешил: «Все равно мне! Только молчи!» — не хотел ревность свою распалить, закрыл ее рот поцелуем, обнял так, что и сама она забыла обо всем не свете. Щекочущий запах сена и терпкий запах полыни слились для нее в ту ночь со всем прекрасным, что дала любовь. Она и сегодня, носясь по степи под дождем, бледнела от запаха увядших трав и полыни... Где она, та святая любовь? Где тот ясный утренний свет, что разбудил ее, счастливую, на груди у Никитки? Еще сонный, Никитка крепко обнял ее и сказал ей такие слова, каких она и не слыхала никогда. Серденько, ласточка, голубой лучик, травинка моя полевая... Обоим нужно было на работу, они пошли, обнявшись, и о чем только не говорили в то утро! Каких только планов не обсуждали! И главный план сложился такой, что Никитке нужно учиться, а Лелька будет помогать ему, сама Лелька и потом успеет, а Никитка — мужчина, ему без образования нельзя, он способный, ему геологом нужно быть, а Лелька с ним всюду ездить будет, хоть в Заполярье, хоть на Памир, такого коллектора в самую тяжелую экспедицию утвердят охотно...

Весь тот день они улыбались друг другу, как люди, владеющие чудесным секретом. А вечером... Подговорила она повариху, с которой жила вдвоем в женской палатке, поехать попутной машиной за продуктами — до утра. Успела шепнуть об этом Никитке. Весь вечер ждала, замирая, припав к пологу палатки. Слышала, как парни возвращались с купания, курили и болтали у костра, слышала, как затапывали костер и, зевая, собирались спать. Совсем близко от Лелькиной палатки прошли они всей гурьбой, и кто-то спросил: «Чего отстаешь, Никитка?» — и тут Никитка,

хохотнув, хвастливо сказал: «Кто куда...» Парни загоготали все разом, а Никитка поднял полог палатки... Откуда только сила душевная взялась у Лельки не завывать, не зареветь сразу! Вытолкнула его с размаху, закричала так, чтоб парни услышали: «Хвастун! Хулиган! Кобель! Сосунок паршивый!» Многое еще кричала вслед... Но парни не гоготали больше — затихли, и Никитка уполз в свою палатку, как побитый щенок... И с того дня кончилось все. Мрак. Тишь. Комок в горле.

Но как об этом рассказать? И кто тут поможет, если обманула та самая святая любовь? Если нет такой любви?

— Не нужен он мне вовсе! — отрезала она, не поднимая глаз. — Что спасла его — так зачем парня гробить? Но больше ничего у нас быть не может!

Аннушка снова вздохнула и рассудительно возразила:

— А мне кажется, Лелечка, нужен он тебе.

Лелька уперлась взглядом в пол, долго молчала — и вдруг, вскинувшись, быстро и гордо выговорила:

— Нужен? А зачем? Спать вместе? Так у меня с кем спать всегда найдется, только моргни. Мне просыпаться не с кем.

Говорить с Никитой было невозможно, его с трудом утихомирили. Игорь приставил к нему парией, а сам повез отца на станцию — улаживать отношения в чайной.

«Бабушкин рыдван» чихал и тащился еле-еле, норовя остановиться совсем. Игорь не сердился и не пытался, как обычно, выжать из старенького мотора непосильную скорость. После трех недель, проведенных вдали от отца, он радовался возможности без помех побеседовать с ним.

— Я впервые людьми руководил. Самостоятельно! — говорил он, ведя машину напрямик, по траве. — Вдруг, думаю, авторитета не хватит? Ничего, получилось. И с Никитой вчера проверил.

— Ошибка твоя была, когда в городе пошел и напился. Я не говорю, что выпить нельзя, но с Никитой не надо было. Понял — почему?

— Я уж думал об этом. Как раз вчера думал... Только сложно все у них. Ведь он за Лелькину честь заступился, папа. Интересно, правда? А поссорились из-за того, что он пошло, грубо похвастался.

— Леля сильнее его. А вот хватит ли у нее ума вытянуть его?

— Ты ее, никак, в воспитатели метишь? Ох, папа, ты бы посмотрел на нее вчера! Выпившая, развязная, страшно довольна, что из-за нее такой скандал, и все подзуживает! Распутная она девчонка.

Матвей Денисович поморщился, с досадой сказал:

— А еще хвастаешься: руководил! Самостоятельно! Авторитет! Что ты в людях понимаешь? Ты в душу ее заглянул? Какое детство у нее было, знаешь? А как работает, видал? Ага, работу ты еще видишь... А какая ж работа хороша без души? Ты говоришь — распутная. По фактам судить — похоже, что так.

— А я по фактам и сужу!

Игорь сказал это и тотчас пожалел, что не сдержался: отца прямо-таки затрясло. Чего он так?

— Верить ты мне, что я тебе добра хочу? — вдруг угрюмо спросил отец. — Покажи мне десять лучших девушек, все мне казалось бы, что ни одна тебе не пара. Не потому что ты больно хорош, а потому, что я отец. Родительское пристрастие...

— Ну?

— Так если б Лелька тебя полюбила и ты — Лельку, я бы ни слова против не сказал. Вот и соображай, что она за человек.

— Лелька?

— Леля Наумова. Да.

Осторожно объезжая кусты и ямы, Игорь обдумывал нелепые слова отца. А отец снова заговорил, как будто бы о другом, но оказалось, все о том же:

— Вот ты мною недоволен как руководителем. Ворчишь: то не так, это не сделано. А спроси любого — хоть раз обидел я зря человека? Хоть раз отмахнулся, когда помочь надо? Или, если доверять нужно, было ли так, чтоб я не доверил человеку? А доверие — великая вещь. При недоверии только святой хорошо работает, а обмануть доверие — это подлецом надо быть. Вот я и проверяю. Помнишь, Сорокина выгнал? Мне тогда пришивали, что самодур, дескать, не захотел исправить, не дал ошибку отработать. А если он меня обманул? Если он нечестный? Как можно в экспедиции, где половина работ на доверии... нечестного держать?!

— Но ведь и везде нельзя? Куда ж их девать, нечестных? Куда девать дураков? Клеветников? Я лично предпочел бы передушить их, чтоб не чадили... но ведь не передушишь? Иначе как-то нужно. А как?

— Только так, Игорь, как мы и делаем: работать до поту, чтобы новое общество создать. Только так! И чистить наше сегодняшнее не словом — делом! Вот я Сорокина выгнал за нечестность. И другой выгонит. Может, он и поостережется в третий раз?

— А может, тоньше работать будет?! Ловчее обманывать?!

— Тоньше, тоньше! Тонкое-то рвется!

— Ты, папа, идеалист. Не все же так. Мало ли бывает: подлец человек, да умеет прикинуться, так тонко действует, что ходит в чести и хороших людей гробит. И не рвется у него ничего. У хорошего человека скорее порвется — он и ошибается в открытую.

— Вот и борись с подлецами, не жалея мараться. Конечно, чистеньким ходить приятней, но другого способа покончить с ними нет!

Они подъехали к чайной. Объяснения и расчеты были недолги. Пока Матвей Денисович занимался ими, Игорь с удовольствием осматривал поле вчерашнего боя и красовался перед подавальщицами, глазевшими из окон.

Матвей Денисович вышел довольный, залез в машину и терпеливо ждал, пока мотор чихал и гудел, не желая заводиться, потом сразу заговорил:

— По-твоему, я идеалист. И не умею работать. Не умею командовать. А ты мне скажи по своему трехнедельному опыту: какое главное качество нужно руководителю?

— Организаторские способности!

— Д-да... — протянул Матвей Денисович. — Недаром ты меня осуждаешь!

— Ну вот... — смущенно пробормотал Игорь, но не возразил.

Ехали молча, каждый думал свое.

— А по-твоему, папа, что главное?

— По-моему, Игорек, главное — умение видеть каждого человека. На что способен. И умение дать ему развернуться. Без этого организаторские способности — один шум! Вот ты вчера одолел Никиту — хвалю. Сегодня защищал его, чтоб не увольнять, — хорошо! А что делать с этим самым Никитой? Как бы ты решил, будь ты начальник с организаторскими способностями? А?

Вопрос застал Игоря неподготовленным.

— Ты же начальник группы. Завтра или послезавтра получишь новые точки. Возьмешь ты с собой Никиту?

— Возьму!

— А Лелю Наумову?

— Она очень надежный работник, папа. Я бы хотел...

— А я не пущу! Если она его любит и он ее, пусть поскучают врозь. Пусть подумают. Погорюют. Способен ты принять такое решение, хотя тебе нужен надежный коллектор?

— Представь себе, способен, — обиженно проговорил Игорь.

— И Никиту я с тобой не пошлю.

— Почему?! По вчерашней истории ты мог убедиться, что я...

— Убедился, сынок, убедился! Славу завоевал, девичьи сердца покори. Все девушки в чайной о тебе спрашивали, герой! А вот исправить Никиту ты не сумеешь. Как, по-твоему, чего ему не хватает?

— Чего?.. Ну, дисциплины... Воспитания...

— Чувства ответственности ему не хватает! И самоуважения. Привык он к своей дурной славе да к опеке всяких дядек. Так вот, он у меня поедет один, передовым, на твои новые точки. Подготовить бытовые условия. Дам ему целый список поручений. Приедем — составим, ты же при мне напоминальщик! Как думаешь, выполнит?

Игорь подумал и чистосердечно признался:

— Не знаю, папа, но мне ужасно хочется, чтоб выполнил!

— И не побоишься везти группу, имея такого передового?

— Не побоюсь, — сказал Игорь, хотя сердце его екнуло: отцу легко делать смелые жесты, а за группу отвечает Игорь, ему работать и ему расхлебывать, если Никита сорвется.

По вечерам Саша заходил за Любой в детсад. В этот час у калитки толпились мамы и бабушки, а за самым капризным мальчуганом, тишкинским Данилкой, являлся дед Тишкин, высоченный озороватый старик, когда-то друживший с Сашиним дядей.

— Вышагиваешь? — спрашивал он Сашу, подмигивая.

— Вышагиваю.

Дед пускался в рассуждения:

— Вот ведь какое равновесие природы! До свадьбы, скажем, ты у калитки или на условленном углу выстаиваешь как часовой. А пробежит времечко, и никакая сила тебя не заставит. Зато выйдешь, скажем, с шахты — жена тут как тут, если с получки — деньги давай, если у тебя идея была — не моги, марш домой! Выходит, в среднем одно на одно приходится?

И еще рассуждал дед Тишкин:

— Сколько ж из-за этой самой любви километров исхожено! Если взять в мировом масштабе — миллиарды! Теперь вот энергию воды используют. А если б употребить в дело эти миллиарды шаго-километров?

Так они беседовали, выглядывая своих: один — Данилку, другой — Любу. Данилка начинал «выламываться», чуть только завидит деда, а Люба розовела и еще более властно управляла ребятами. Сама почти девочка, среди детей она преображалась, каждое ее движение и звуки ее голоса

были полны материнской мягкости; она инстинктом знала, как это трогает Сашу, и любила, чтобы он приходил за нею.

Это были их лучшие минуты. Отправив последнего малыша, Люба снимала халат и выбегала просветленная, несмотря на домашнее горе — счастливая. Они шли под руку, самым длинным путем, вокруг всего поселка. В эти минуты у нее хватало решимости: она сегодня же поговорит с родителями, завтра же пошлет документы в московский институт...

Свернув на улицу Клары Цеткин, Люба пугливо отнимала у Саши руку и вся съеживалась.

— Подожди здесь, — шепотом просила она и робко входила в сад, высматривая, где мама.

Иногда она звала Сашу, если мама немного рассеялась в домашних хлопотах. Иногда безнадежно махала рукой — и он уходил, чтобы прийти поздней и часок погулять с нею перед сном.

— Сказала? — спрашивал Саша.

— Ой, сегодня никак нельзя было!

А дни шли своим чередом, потом уже не шли, а летели с невероятной скоростью, приближая срок Сашиного отъезда. О предстоящей свадьбе забыли все, кроме Любы и Саши, по как заговорить о свадьбе в доме, где властвует горе? Как требовать внимания родителей к разным суетным делам вроде покупки и шитья зимнего пальто, без которого ехать в Москву невозможно! Список нужных вещей давно лежал в маминой шкатулке поверх квитанций, но как напомнить о нем теперь?

Саша предлагал ничего не шить и не покупать: в Москве понемногу все справят. Люба об этом и слышать не хотела.

— Так что ж, останемся здесь? Откажемся от аспирантуры?

— Нет, нет! Я поговорю сегодня же.

Саша сердился и умилялся. Он не мог осуждать Любу, он любил ее такой, какая она есть. Такой, какой она стала. Ничто не напоминало в ней пухлую, круглолицую девчушку, прибежавшую к дядиной землянке с узелком рваной обуви или глечиком молока; ту девчушку он недолюбливал: благополучная мамина дочка! Заново познакомившись с нею, он увидел тоненькую, застенчивую девушку, самую чудесную из всех, каких он знал. Эта девушка смотрела на него не жалостно, как прежде, а восторженно и почтительно: перед Сашей она благоговела. И в то же время у нее были слабости, в которых она упорствовала, смешные, милые слабости. Она ревниво боялась выдуманных ею же нарядных столичных лаборанток и ни за что не соглашалась ехать в Москву без новых одежек. У нее было сложившееся представление о свадьбе: пусть не будет большого гулянья,

но они должны пойти в загс с толпой друзей и подруг, на ней будет белое платье, из загса они пройдут пешком по всем улицам. Так всегда бывало в поселке.

И вот пролетали дни, а все оставалось неясным, нерешенным.

— Любушка, если ты не поговоришь сегодня...

— Поговорю! Вот сейчас же приду и скажу!

Саша видел, как она бродит по огороду, теребя кончик косы. Кузьминишны не видно было, а Кузьма Иванович, понурясь, сидел на ступеньке веранды. Саша вошел в калитку, не обращая внимания на отчаянные знаки Любы.

— Кузьма Иванович, мне очень нужно поговорить с вами.

Кузьма Иванович раскурил трубку и нетвердой походкой пошел к скамейке под сиренями, где обычно велись ответственные разговоры. Саша шел за ним, с горьким удивлением отмечая его старческую походку и ссутулившиеся плечи.

— В Испании-то... серьезно дело оборачивается, — сказал Кузьма Иванович. — Не быть бы большому пожару. Как думаешь?

Они поговорили о начавшейся гражданской войне в Испании, о Гитлере и Муссолини, помогающих испанским фашистам. Старик любил порассуждать о международных делах, но сегодня он просто оттягивал другой разговор. И вдруг глянул Саше в глаза:

— Так что у тебя? Выкладывай.

Люба притаилась поодаль и быстро-быстро шептала: «Господи, только бы обошлось! Господи, только бы согласился!» В бога она не верила, но не знала других слов, чтобы выразить свою мольбу о счастье.

Слушая рассудительные Сашины слова, Кузьма Иванович все ниже опускал голову.

— Матери будет тяжело без Любаши, — подумав, сказал он, сильно затаился и весь окутался дымом. — Вам когда ехать?

— Не позже двадцать пятого августа.

— Конечно, у вас свое. У каждого свое... Ну, ты посиди, я с матерью поговорю.

Он выпрямился — строгий, весь напряженный от усилий унять собственные чувства — и пошел к жене.

Кузьминишна сидела у летней кухни с ножом в руке. Несколько очищенных картофелин лежало в миске с водой, корзинка с картофелем стояла у ее ног, но Кузьминишна забыла о начатом деле.

— Ксюша, — позвал Кузьма Иванович и осторожно коснулся ее плеча. — Ксюша!

Она встрепенулась, взяла картошку и начала скрести ее ножом.

Не в силах заговорить о том, ради чего пришел, Кузьма Иванович смотрел на нее: сгорбленная, морщинистая, с погасшими очами... старухой стала Ксюша! Старухой...

Он женился на ней тридцать лет назад. Ксюша приехала сюда на заработки из-под Воронежа, снимала угол в убогой хибарке и не чуралась никакой работы. Плохонькая одежда не могла затенить, даже подчеркивала ее здоровую, молодую красоту. На гулянках застенчивый Кузьма не мог пробиться сквозь толпу более смелых парней. За что его полюбила Ксюша, он сам не понимал, только она первая, со свойственной ей стремительностью, сказала ему об этом и тут же убежала от него, и больше месяца он никак не мог поговорить с нею наедине: она краснела и пряталась, едва завидев его. Поженившись, они жили несколько лет как влюбленные, она выглядела все такой же девчонкой, и за нею по-прежнему пытались ухаживать. Когда родился первенец, Вова, Ксюша бросила работу. Потом родился Никита, а за ним — Катя, за Катей — Люба. Потом умерла от дифтерита старшая дочь, Катенька... Горе надломило Ксюшу надолго и стерло девичьи черты с ее лица, так что никто уже не заглядывался на нее, — только для Кузьмы Ивановича она оставалась все такой же. К пятидесяти годам она пополнела, командовала мужем и детьми, но по-прежнему смеялась по любому поводу, и морщинки на ее живом лице располагались так весело, что еще подчеркивали ее милую смешливость. И вот как-то вдруг, сразу — перед ним старуха. Каждое ее движение — родное, каждый ее вздох понятен и доставляет боль. Ей бы немножко радости, чтобы как-нибудь ожила, забылась. А вот не отпускает жизнь. И ничего не поделаешь, одним — стариться, другим — начинать.

— Ксюша, август наступает, — сказал он.

— Да, проходит лето, — откликнулась она равнодушно.

— Любу собирать пора. Они до первого сентября в Москве должны быть.

— До первого? — тупо переспросила она. — Ну, еще не скоро.

— Так ведь хоть самую скромную, а свадьбу сыграть нужно.

Она будто не поняла, удивленно повела бровями. Ее лицо говорило: я устала, мне все равно, оставьте меня в покое...

— Да, да, свадьбу, — согласилась она утомленно и вдруг, поняв, всколыхнулась вся и выронила нож. — Свадьбу?!

И разрыдалась, припав головой к столу.

Кузьма Иванович что-то бормотал, пытаясь успокоить ее, но она отталкивала его и сквозь рыдания выкрикивала: «Оставь! Оставьте все!

Уйди!» Сердце ее разрывалось от скорби и обиды. Вову уже забыли, она одна вмещает в себя все горе, не разделенное другими. Как они могут думать о какой-то свадьбе, когда он лежит в земле, изуродованный, холодный, когда он уже никогда не узнает счастья...

Люба подслушивала за углом кухоньки. Сперва она расстроилась за себя: не отпустит мама! Но постепенно страдание матери передалось Любе. В порыве самоотречения она тут же отказала себе в праве на счастье и, выбежав из своего укрытия, обняла мать, покрыла ее мокрое лицо поцелуями.

— Мамонька... Роднюшенька... Никуда я от тебя не уеду! Голубонька моя, не плачь! Я останусь с тобой! Ничего мне не нужно, только бы ты не плакала. Не уеду я.

Кузьминишна вытерла лицо передником, отвела обнимающие руки Любы.

— Глупости говоришь. Не нужно это ни тебе, ни мне... Не реви! — прикрикнула она. — Я не маленькая, чтоб возле меня сидеть. И ехать вам надо, решено же! Чего глупости лопотать?

Она встала, спросила, где Саша. Саша подошел, склонился и поцеловал ее руку. Это было неожиданно: никто никогда не целовал ей руки, не принято было, казалось смешным, чуждым обычаем. А сейчас растрогало.

— Гостей звать не время, — сказала она, обращаясь к одному Саше, — а среди семьи отметим. И поедете. — Не глядя на Любу, приказала: — Разыщи список, что мы составляли.

С этого дня начали готовиться к отъезду молодых. Нашлось множество дел, без которых не обойтись. Жила себе девушка, работала, гуляла, считалась прилично одетой, а тут оказалось, что и туфли не годятся, и платья не те, и пальто потертые — как в таком по Москве ходить? Мы, слава богу, не хуже других, можем единственную дочку выдать замуж как полагается.

Когда-то Кузьма Иванович удивлялся, зачем Ксюше что-то там шить да справлять, ему только и нужно было — обнять ее и привести в свой дом женой. Теперь он считал необходимыми все приготовления и горячо участвовал в них. Отправлялись за покупками втроем, но Любе и слова сказать не удавалось, старики сами все выбирали и ссорились между собою: что лучше, что к лицу дочери, а что не к лицу? Кузьма Иванович с радостью видел, как усмехается Ксюша его придиричivosti при выборе покупок, и нарочно смешил ее, задавая продавцу нелепые вопросы.

По вечерам в доме стучала швейная машина, на обеденном столе

расстилались выкройки. Кузьма Иванович садился в уголке с газетой и украдкой поглядывал на жену — прежней отрешенности уже нет, иногда и улыбнется невзначай... Вот и хорошо! От горя одно лечение — жизнь.

Так думал Кузьма Иванович, но вдруг острая тоска хватала его за сердце: Вова! Прикрывался газетой и, заглатывая слезы, думал о том, что все эти хлопоты — короткая передышка. Время пробежит — и оторвется дочка от родного гнезда, потом и Костя упорхнет куда-нибудь. А им, старикам, доживать в опустевшем доме со своим горем, с воспоминаниями о мертвых детях, с тревогами о живых...

Саша теперь почти не бывал у них. Проводит Любу, постоит с нею немного у калитки и — за книги! С той минуты, когда свадьба была заново решена, он дорожил каждым часом и все подчинял одной цели — прийти к академику Лахтину хорошо подготовленным. Чем усердней он готовился, тем больше пробелов обнаруживал в своих знаниях, тем меньше ценил руководство профессора Китаева. Иногда у него мелькала мысль, что Китаев — узкий, провинциальный профессор из тех, что тянут научную лямку... Саша был склонен к отчетливости суждений, но тут избегал договаривать даже наедине с самим собой: не хотел осуждать своего первого учителя.

Занятый с утра до ночи, Саша почти не замечал исчезновения друзей. Так бывало и раньше, когда он изучал какую-либо новую проблему. Это и есть настоящая дружба; захотелось — зашел или позвал к себе, нужен другу — немедленно откликнулся и помог, а если все в порядке и дел по горло, никто не обидится, что на время оторвался. Но они, видимо, были нужны друг другу — в течение пяти лет всем делились и все знали друг о друге. Поэтому Саша был поражен, когда случайно услышал, что Палька скоропалительно оформил отпуск. Ушел в отпуск — и не забежал сказать?... Да и Липатушка как в воду канул!

Сообразив это, Саша заскучал и в тот же вечер пошел к Липатову.

Липатов лежал одетым на постели. Ноги в сапогах закинута на спинку кровати, в зубах — потухшая папироса. На столе — весь тот беспорядок, который создает мужчина, когда хозяйничает сам. В углу — несколько водочных бутылок и веник, прикрывающий размочаленными прутьями немалую кучу мусора.

— Чего не заходишь, старик? — спросил Саша и понюхал стакан на столе — от стакана пахло водкой. — Прикладываешься?

— Ну и прикладываюсь, — сказал Липатов, и спустил ноги. — А что?

Из дальнейших ответов приятеля Саша узнал, что на шахте все «ничего», дочка в Ростове тоже «ничего». Аннушка «как всегда»... И тут

Липатушка вдруг подскочил и раскричался:

— Надоело! Жена она мне или кто? Заочная жена — спасибо! Ставлю вопрос: или приезжай домой, забирай дочку и живем как люди, или... спасибо.

Такие взрывы протеста у Липатушки бывали не раз, но они ничем не кончались: Аннушка приезжала, выписывала ненадолго дочку, стряпала вкусные обеды, а потом снова уезжала; обласканный Липатов покорно провожал ее и некоторое время всем доказывал Аннушкиными словами, что геолог без экспедиций все равно что рыба без воды, а дочке в Ростове лучше, потому что тетка — педагог.

Чтобы переменить разговор, Саша спросил про Пальку.

— Не видал и не стремлюсь видеть!

Добиться объяснений не удалось.

От Липатова Саша поехал к Световым, но застал только Катерину — она стирала у крыльца белье. Стряхнув с пальцев мыльную пену, Катерина насмешливо воскликнула:

— Ну и чудак! Пальку дома ищет!

— А где он?

— Будто не знаешь?

— Не знаю.

— Нелепые вы какие-то! Когда не надо, по пятам друг друга ходите, а когда нужны — глазами хлопаете.

— Да что такое?

Катерина загадочно улыбнулась. Саша удивленно приглядывался к ней: расцвела, стала будто крупнее и осанистей, в глазах веселые огоньки.

— Ничего не понимаю, Катерина. Загадками говоришь.

— А на загадку есть отгадка.

— Скажешь ты или нет?

— Да что я, шпион своему брату? Чего все видят, то и я примечаю, раз глаза на месте. А тебе сподручней: как-никак ты там поближе.

— К кому поближе?

— Да к профессорам всяким. — Она снова взялась за стирку, сурово сказала: — Иди. Не люблю сплетничать. А ты узнай. И вразуми. Дурной он еще, а ведь на чужой роток не накинешь платок.

На всякий случай Саша зашел к Федосеичу: Федосеич всегда все знал. Ответ старого лаборанта был неожиданным:

— Работает он. Чего изобретает, не знаю, но сидит иной раз до утра. Иван Иванычу, конечно, не говорим, а лабораторией пользуется. Видать, ничего пока не выходит у него... а старается очень. Расстроится, уйдет — а

назавтра опять здесь! Я его пошлю к вам.

Палька пришел очень поздно. Противоречивые отзывы заставили Сашу внимательно приглядеться к другу, но Палька был таким же, как всегда, — ни одержимости изобретателя, ни особого легкомыслия, требующего «вразумления», заметно не было. Он привычно просмотрел названия книг, разложенных по столу:

— Ого! Хочешь явиться пред светлые очи во всеоружии?

Они поговорили об этом с увлечением, как говорили всегда о работе в науке. Но о своих исканиях Палька рассказывать не стал.

— Есть дело, которое... В общем, немного погодя расскажу.

— Сглазить боишься?

Палька прошелся по комнате, взглянул на Сашу выжидательно и неуверенно — видимо, и рассказать не терпится, и не хочет до времени хвастаться.

— Чего Липатушка на тебя злится?

Палька расхохотался, но чувствовалось, что ссора с Липатовым все-таки мучает его.

— Да так, чепуха. Позлится и отойдет.

Теперь Саша видел, что с Палькой действительно что-то происходит.

— Ты что такой шалый сегодня?

Палька покраснел и улыбнулся.

— А разве видно?

— Видно. Даже очень.

— Малость влюбился, — с иронической ухмылкой признался Палька. — Ну да глупости это все.

— Если ты влюбился только малость и это кажется тебе глупым, — брось! «Малость» любить не стоит.

— Да нет...

— Кто она?

— Ну, в степи тогда повстречали... такая рыжая, золотая...

Саша весь вскинулся:

— Это ж Русаковская!

— Ну да. Что ж такого?

— Познакомился?

— Ага.

— Бываешь у них?

— У них? — с презрением вскричал Палька. — Я бываю у нее! И вообще, если ты думаешь читать мне нотации...

— Нотаций ты от меня не дождешься, — заверил Саша. — Нашел

моралиста — учить тебя! Просто мне неприятно, потому что ее муж... И потом, она же намного старше тебя! Ей уже за тридцать, пожалуй. Приехала и уедет, а ты... И чего же ты хочешь?

Так как Палька молчал, Саша уточнил:

— Отбить ее у мужа? Стать любовником на месяц?

Палька вспыхнул.

— Совсем нет! Она не такая, чтобы... Да разве я хотел влюбиться в нее? Но она такая... И что же мне делать, Саша? Я не могу отстать от нее, потому что...

Он смолк, не найдя объяснения. Он сам толком не знал, чего хочет. Отбить у мужа и жениться самому? Мысль показалась нелепой и даже испугала его. Татьяна Николаевна — жена?! Он просто хотел, чтобы она полюбила, чтобы она вскинула к нему на плечи свои легкие руки и поцеловала его... Он предпочитал не помнить о том, что там есть муж и ребенок — эта девчонка, мрачно глядящая исподлобья. Добиться ее — вот чего он хотел. Ее рыже-золотые волосы проблескивали сквозь все его честолюбивые мечты, и ничего он с этим не мог поделать.

— Я хочу, чтоб она полюбила, вот и все.

— Ой, Палька, с ума ты сошел! Жена известного ученого... Совсем она не твоего круга, не твоего уровня... И потом — как ты себе представляешь, что дальше?

— Очень мне нужно загадывать наперед!

Вид у Пальки был смущенный и дерзкий.

— Я не ханжа, — строго сказал Саша. — Но, по-моему, так нельзя. Когда я начал ухаживать за Любой, я с первого дня знал, что хочу жениться на ней. А ухаживать за чужой женой...

— Очень интересно! — воскликнул Палька, смеясь. — До чего мне хочется отбить ее у этого важного гуся!

— Совсем он не гусь, — сердито возразил Саша. — Большой ученый, умный и милый человек. Да ты хоть знаешь его?

— Не знаю и знать не хочу! Подумаешь!

Саша начал сердиться всерьез.

— Ты спятил, Палька! Я его глубоко уважаю и не позволю, чтобы твое мальчишество...

— Ах, ах, какие нежности! — запальчиво перебил Палька. — Если он настоящий человек, так он не должен терять голову...

— Как ты? — закончил Саша и рассмеялся. — Опомнись, Павлушка! Почему бы тебе самому не поступить как мужчине?

— Отойти?

— Да. — Саша подумал и подтвердил: — Да.

Палька предпочел пропустить эти слова мимо ушей.

— А ты знаешь, что старая лисица Липатов крутит хвостом около нее?

— Да что ты?!

Саша развеселился и начал расспрашивать. Он вовсе не стремился продолжать нравоучение. Черт его знает, как он справился бы с собою в подобном случае! Он был влюблен и понимал, что задушить свое чувство трудно. Нет, он справился бы. Во что бы то ни стало. Но Палька...

— И все-таки подумай. Измена, обман — это противно. Пошлость. Она, говорят, довольно легкомысленная, у нее вечно толкуются мужчины... Я ничего худого не хочу говорить про нее, — возразил он на гневное движение друга, — но я тебя прошу: возьми себя в руки, Палька, и, если можно, отойди.

— Конечно могу, — буркнул Палька, но всем существом почувствовал, что это невозможно, и добавил: — Только не хочу.

— Работается тебе или нет?

— И еще как!

— Так что же ты такое задумал?

Палька отошел к окну, стал спиной к Саше и заговорил возбужденно:

— Вот ты думаешь: имя, звание, профессор и все прочее, а я — что я? Аспирантик без всякого положения и веса. Наплевать мне на это! Я сейчас такое дело начал... такое дело!.. Сглазить — это вздор! Просто не могу я болтать, когда все во мне бродит и вот-вот вырвется. Чувствую, что все рядом — победа, слава, любовь — все! И отказываться ни от чего не буду. Не могу. Не хочу. Мое!

Саша подошел и сзади крепко сжал его плечи.

— Да нет, я серьезно, — обиженно сказал Палька и повернулся к другу с виноватой улыбкой. — Правда, Саша, у меня сейчас такое время пришло! Такое!.. Ну, я пошел! — вдруг сорвался он. — Я ведь в лабораторию пробираюсь, ночное бдение!

Задумчиво покачивая головой, Саша слушал, как Палька скатился по лестнице и хлопнул дверью вниз. Из всего, что он тут наговорил, Саше ярче всего запомнился его короткий ответ: «И еще как!» Саша верил: если человеку хорошо работается — все остальное придет в порядок.

Родной дом, сестра с ее бедами, друзья, институтские интересы — все существовало будто за стеклом, в стороне от главного движения Палькиной жизни. Ему приходилось иногда вникать в окружающее, но так, как на случайном полустанке: вышел, чему-то удивился, чем-то мимолетно заинтересовался — и вскочил на подножку.

Его воображение создавало все новые и новые газогенераторы. Громоздкие машины различных типов зарывались глубоко в землю, в ее черные недра. Они располагались там по его воле и послушно превращали уголь в газ. Газ струился по трубам, заполнял серебристые баллоны, питал электростанции и заводы...

Но прожорливые пасти машин капризно принимали только раздробленный уголь, и этот уголь приходилось предварительно дробить в подземных выработках.

Люди по-прежнему должны спускаться под землю, а это значит, что весь замысел ничего не стоит. Жалкая полумера, придаток к шахтерскому труду!

Простая истина из учебников, что от качества дробления угля зависит качество газификации, вставала непреодолимой преградой.

Огромного дистилляционного аппарата не получалось.

Иногда он впадал в отчаяние: решения нет. Не оттого ли ничего не осуществил Рамсей?..

Отчаяние вытеснялось упорством и верой, не слепой, а умной верой: человеческая мысль находит то, что ищет...

В эти дни он повел Татьяну Николаевну под землю.

Во время короткого свидания — одного из свиданий, когда Палька переходил от бурных надежд к бессильной ярости, — она попросила его передать записку Липатову.

— Так, — мрачно сказал Палька. — Нашли курьера!

— Зачем же? Гермеса! — очаровательно улыбаясь, поправила Татьяна Николаевна. — Против Гермеса вы не возражаете, надеюсь?

Так она ставила его на место и сама оказывалась высоко над ним — в мире, где люди с детства знают тысячи никому не нужных вещей. Он мстил ей тем, что разыскивал в энциклопедии всю чепуху, которой она козыряла, и при случае показывал, что знает больше, чем она.

Расставшись с Татьяной Николаевной, Палька без стеснения прочитал записку.

«Липатушка (ведь так Вас называют?), завтра муж уезжает в Ростов, и у меня будет несколько свободных дней. Не поведете ли

Вы меня послезавтра утром в шахту, как обещали? Жду Вас в 9 часов утра».

Т. Н.

Муж уезжает. Великолепно!

Он помчался на шахту и получил два пропуска на послезавтра. Потом завернул в библиотеку и заучил все, что написано в энциклопедии про Гермеса. У божьего рассыльного оказалась нагрузка по совместительству — низводить души и в подземное царство. Очень кстати!

В назначенный час он застал Татьяну Николаевну и серой кофте, в простых чулках и старых туфлях без каблучков.

— Куда вы собрались? В туристский поход?

Татьяна Николаевна была раздосадована появлением Пальки и держалась без обычного апломба: чувствовала себя дурно одетой.

— Собираюсь в шахту. С Липатовым.

— Так где же эта старая лисица?

— О-о!

— Уж не об этом ли была записка? Так вот она. Я забыл передать.

Татьяна Николаевна рассердилась. Палька впервые видел ее по-настоящему сердитой — ишь как рассверкалась молниями!

— Ну, не злитесь. Раз уж вы собрались, я вам покажу шахту не хуже, чем Липатов.

— Держу пари, вы прочитали записку!

— А вы думаете, Гермес как действовал? Он же не курьер, а вестник богов! Покровитель путешественников! А по его дополнительной профессии он прямо-таки обязан вести вас под землю.

Она распахнула глазищи и перестала злиться. Конечно, знает этого Гермеса понаслышке. Дамское образование!

— У вас грехи есть?

— Грехи? Найдутся.

— Так пойдемте, я низведу вашу грешную душу в подземное царство.

— О-о! Вы основательно проштудировали энциклопедию! Я сдаюсь.

Как назло, у компрессорной им встретилась Катерина. Черт ее дернул выйти подышать воздухом! Катерина настороженно-иронически оглядела спутницу брата, круто повернулась и ушла.

Татьяна Николаевна не знала, что в нарядной их заставят переодеться в шахтерки, но это не смутило ее, а обрадовало: любят женщины маскарад!

Палька не понимал, как ей удалось выглядеть изящно в неуклюжей робе и брезентовой шляпе. Она и держалась молодцом, даже когда клеть понеслась вниз, будто проваливаясь в мокрую темноту, — побледнела, но не позволила себе испугаться.

Пальку веселила мысль, что он натянул нос Липатушке и что Липатушка сегодня же узнает об этом. Однако теперь не Липатову, а самому Пальке предстояло «приобщать к производству» свою даму, и это было стыдно, потому что вокруг трудилось много знакомых. Что Липатов! Сегодня же весь поселок будет обсуждать забавную новость...

Возмещая себе предстоящие неприятности, Палька решил помытарить как следует ненаглядную. Обычно гостей водили по наиболее благоустроенным штрекам, не заставляли карабкаться по стойкам и ползать по низким ходкам, но Палька повел Татьяну Николаевну так, как водили когда-то его самого, — без снисхождения. Пусть узнает, что такое шахтерский труд! Остановившись с нею в проходе, где сверху дождем лилась вода, он нарочно заговорил про обвалы и взрывы, про то, как обрываются клетки и забуриваются вагонетки, про суровое братство шахтеров, никогда не покидающих товарищей в беде... Начав рассказывать из озорства, чтобы напугать ее, он сам увлекся и впервые увидел профессию горняка такой мужественной и романтической.

Когда они прижались к стенке, пропуская вагонетки с углем, Татьяна Николаевна ухватила за его руку.

— Может, довольно? — подобрел, предложил он.

— Что вы, мы ж еще ничего не видели! — ответила она. — Я хочу побывать там, где были выбросы газа. Это далеко?

Пальке совсем не хотелось туда, он сказал: очень!

— Так пойдете скорей!

Чертыхаясь про себя, он расспросил, как пройти, и повел Татьяну Николаевну вниз. Спускаться по стойкам было неудобно и утомительно, Палька отвык: в последний раз он спускался в шахту полтора года назад, когда студенты помогали ликвидировать прорыв. Но Татьяна Николаевна быстро приспособилась и скользила со стойки на стойку, как акробатка. Откуда это у нее?

Они оказались в самых глубинных выработках. Влажную и жаркую духоту пронизывали струи холодного воздуха, нагнетаемого насосами вентиляции. Слышно было, как посвистывает воздух и как шуршит уголь, летящий по склону из лав.

— Здесь и сейчас работают? — шепотом спросила Татьяна Николаевна.

— Да, — таким же шепотом ответил Палька. Он забыл притворяться. Он думал о Вове, который погиб где-то здесь.

И она подумала о Вове.

— С вашим другом... это случилось здесь?

— Где-то тут, Точно не знаю.

— Павел Кириллович... То, что вы говорили тогда, и степи, возможно?

Она была серьезна и бледна, на щеке темнело угольное пятно. Расширенные глаза, уже подведенные угольной пылью, смотрели в глубину узкого туннеля, уходящего в темноту. Он поглядел туда же не своими привычными, а как бы ее глазами и увидел мрачную глубину с поблескивающими гранями угля, движущиеся огоньки ламп; огоньки тлеи в пыльном тумане, как будто в них иссякает накал; почерневшие и местами вспученные стойки и верхние бревна напоминали о том, что над их головами нависает тысячетонная толща земли... Ее глазами он увидел знакомых и незнакомых людей, с будничной простотой делающих свою работу. Они наваливались на рукоятки отбойных молотков, ловко подрубая уголь по кливажу. Они нагружали вагонетки. Они гнали вагонетки по рельсам, пригнув головы, чтобы не разбить их о балки кровли. Они перекликались и перешучивались, с насмешливым любопытством оглядывали хорошенькую гостью и отпускали на ее счет игривые замечания. Знали ли они, что в какой-то злой миг навстречу пробивающемуся в глубь пласта отбойному молотку может неожиданно прорваться сокрушительная струя скопившегося в пустотах подземного газа? Знали ли они, что грозное давление земной толщи и размывающая сила грунтовых вод в каком-то непредвиденном усилии могут опрокинуть крепления и обрушиться на головы людей?.. Знали. И все-таки ежедневно спускались сюда и шесть часов подряд рубали уголь. Их почерневшие лица с ослепительными, отчищенными углем зубами были обычными лицами работающих людей, разве что глаза особенно зорки да временами заметишь, как приклонился человек ухом к стене, вслушиваясь в шорохи и гулы земных недр...

Палька охватил все это глазом, сердцем, мыслью и понял, что породило вопрос его спутницы, и с небывалой силой почувствовал огромность задачи, так дерзко принятой им на себя.

— Это будет! — ответил он.

И сразу ему захотелось походить по шахте одному, без Татьяны Николаевны. Походить одному и свободно пофантазировать, как оно будет, наглядно представить себе еще неведомый гигантский дистилляционный аппарат, в глубинах земли пожирающий уголь и подающий по трубе на-

гора непрерывный поток газа...

Но Татьяне Николаевне вздумалось попробовать, как «рубают» уголь. Молодой забойщик с нагловатыми глазами снисходительно учил ее держать отбойный молоток. Вокруг сгрудились шахтеры, пересмеиваясь и давая советы. До Пальки доносилось: «Подывиться пришла...». «Оставим ее в бригаде чи нет?» Молодой шахтер без предупреждения включил воздух, и Татьяну Николаевну так тряхнуло, что она чуть не выронила молоток. Шахтеры засмеялись.

Пальке хотелось поскорее прекратить эту сцену, но Татьяна Николаевна засмеялась вместе со всеми.

— Оставить меня чи нет — это и от меня зависит. А я бы искала бригаду, где парни повежливей. — И пояснила: — Я не из любопытства. Я жена и помощница профессора Русаковского, он сейчас занимается выбросами газа.

Теперь никто не смеялся. Нагловатого парня оттолкнули. Татьяне Николаевне подали молоток, помогли направить пику в пласт. От старания вытянув губы, Татьяна Николаевна налегала на рукоятку. Она торжествующе вскрикнула, когда от пласта отвалился большой кусок угля. Потом отдала молоток — «Тяжелый!» — виновато улыбнулась всем и начала расспрашивать шахтеров о том, что ее интересовало. Держалась она простодушно, с незнакомой Пальке товарищеской повадкой. Ей отвечали серьезно и охотно — жена того самого профессора! Незаметно роли переменялись — спрашивали шахтеры, а Татьяна Николаевна отвечала как могла. Оказывается, она кое-что понимает.

Почему же с ним она никогда не говорит серьезно и дружелюбно? Почему с ним держится так, что у него язык не поворачивается рассказать ей о своих терзаниях, поисках, неудачах?.. Неужели и теперь она не поймет, что к нему нужно относиться серьезно, что она нужна ему гораздо больше, чем ее почтенному супругу, будь он неладен!

Вот она говорит о предупреждении выбросов газа. Конечно, эти работы очень важны, но ведь не они определяют будущее!

Стоя в сторонке, он смотрел на поблескивающие навесы подрубленного угля, ждущие последних толчков молотка, чтобы обрушиться дробящейся массой. Дробящейся! Нигде и никогда не применяли нераздробленный уголь... А он применит. Но как?

Он смотрел на осторожные движения людей в этом черном подземном царстве труда и осознавал, что все его газогенераторы — вздор, бездарные выдумки. Поставь где-то здесь, в глубине земли, самый совершенный газогенератор, организуй конвейерную подачу раздробленного угля от лав к

его всасывающей пасти... Все равно нелепость! Процесс горения угля при высоких температурах в соседстве с работающими людьми?..

Значит, я шел по неверному пути — механически копировал надземный процесс. А надо оторваться от имеющихся образцов и найти совершенно новое решение. Но как? Какое?..

Убежать бы отсюда, остаться наедине с бумагой и карандашом! Но Татьяна Николаевна никогда не простила бы ему такого побега, а мальчишеская мысль о Липатушке заставляла быть начеку — уйдешь, а Липатушка прознает, и прибежит, и еще, чего доброго, найдет способ доказать, что знает шахту лучше Пальки и умеет водить гостей более удобными ходами...

Липатов ворвался к нему в тот же вечер.

— Друзья так не поступают! — закричал он от порога. — Вот что я пришел тебе сказать!

— Стоило тащиться для этого по жаре!

— Я говорю серьезно. И если ты думаешь отшутиться...

— Я не знал, что это имеет для тебя такое значение, — сказал Палька. — Ты — женатый человек, она — чужая жена. Я думал, тебе просто неловко в рабочее время отвлекаться на подобные забавы. Начальник, семейный человек — с чужой женой...

И он уставился на Липатова насмешливо вызывающе, всем своим видом говоря: вот и попался! Ничего подобного я не думаю, а поди-ка выкрутись!

— Ну, знаешь!.. — багровея, вскричал Липатов. — Это уже чересчур! — и хлопнул дверью.

Палька догнал его у калитки.

— Липатушка, да ты что? Из-за ерунды...

— Ерунда или нет, но мне противно иметь дело с подобной змеей! — выкрикнул Липатов, дергая калитку, которую Палька придерживал ногой. — Ты мне больше не друг, и говорить мне с тобой не о чем!

— Прекрасно, — дрогнувшим голосом сказал Палька и распахнул калитку. — На черта мне дружба, если она летит из-за дурацкой записки.

Он вернулся к себе расстроенным. Может ли быть, что эта дружба действительно оборвалась? Да нет! Но все же... Интересно, откуда и что он узнал? Может, он был у Татьяны Николаевны? Выдала она историю с запиской или не выдала?..

Он помчался в гостиницу выяснять. Так он себя убеждал, втайне надеясь, что удастся провести у нее вечер. Муж в Ростове. Она скажет: «Мужа нет, поскучаем вместе...»

Дверь приоткрыла Галя.

— Мама устала и легла спать, — злорадно сообщила она. — Велела не будить. Только если папа позвонит, тогда разбудить.

Палька ушел спотыкаясь — он всегда терялся перед неприкрытой ненавистью этой скуластой девчонки.

Рабочее настроение было вконец испорчено. Но он не любил поддаваться дурному настроению и упорно возвращал себя к невеселым утренним выводам: все, что намечено до сих пор, решения не дает. Метод копирования машины порочен.

Зря ли потрачено время?

Нет, не зря.

Отрицание одних методов — это уже шаг вперед, к открытию нового метода. Отрицание привычного толкает в неведомое.

Неведомое представало черной толщей угля и серебристыми баллонами газа, черт знает каким способом извлеченного из глубин земли. Где-то посередине, между толщей угля и баллонами, маячило решение...

В таком настроении он и примчался к Саше Мордвинову, узнав, что Саша его разыскивает. В таком настроении он просидел потом добрую половину ночи в лаборатории. Единственным итогом ночного бдения был подробный и придирчивый анализ всего отвергнутого — «что отвергаю и почему». Если бы не сумятица чувств, вызванная разговором с Сашей о Татьяне Николаевне, он был бы совсем счастлив этим итогом. В любви такой ясности не было. И он понимал: ясность для него губительна, лучше оставить все так, как есть...

Проспав до полудня, он снова поехал в гостиницу.

Татьяна Николаевна взволнованно ходила взад-вперед по комнате и сразу, не здороваясь, сообщила, что пропала Галя. Ускользнула чуть свет (швейцар говорит, еще восьми не было) и до сих пор не вернулась.

— Прибежит, — сказал Палька, — проголодается и прибежит.

— Сама знаю, что волноваться нечего, — согласилась Татьяна Николаевна. — Но куда она помчалась, дрянная девчонка?

Он заговорил о вчерашних впечатлениях. Ненаглядная была невнимательна, поглядывала то на часы, то в окно. Затем она перестала скрывать волнение и перестала заботиться о том, как выглядит, — лицо ее стало простым, милым, беспомощно-растерянным.

— Ну, вот что, — сказал Палька, смело обнимая Татьяну Николаевну и отрывая ее от окна. — Нечего терзаться! Пошли искать!

— Куда? — воскликнула она с отчаянием.

— Я знаю куда.

Пока они ехали трамваем, Палька загадочно отнекивался от ее расспросов. Ему хотелось сказать, что эта противная девчонка вечно болтается с мальчишками и мало похожа на девочку из хорошего дома. Но он промолчал: пусть ломает голову, как и почему Палька сумел найти ее сокровище.

Они долго бродили по степи. Пальке нравилось слушать, как Татьяна Николаевна выкликает дочку — звучным голосом, на все лады. Галя не откликнулась, но возле Дубовой балки началось движение: маленькие фигурки перебегали с места на место и приподнимались над травой, разглядывая, кто тут бродит и аукает.

Галя появилась неожиданно и совсем рядом. Она ползла к ним по траве, толкая перед собой колючий шар перекасти-поля. Голубая лента, которой полагалось красоваться на ее голове изящным бантом, была грубо повязана через лоб, удерживая торчащие во все стороны ветки. Такие же ветки были запиханы под лямки платья и за пояс, скрутившийся жгутом.

— Ну чего? Чего? — с досадой прошипела Галя, прижимаясь к траве, чтобы ее не заметили от балки.

Татьяна Николаевна несколько минут разглядывала дочь и вдруг расхохоталась обрадованно и звонко, повалилась на траву рядом с Галей.

— Ты мне всю разведку испортишь! — сердитым шепотом сказала Галя. — Вон они там, у балки. А наши кольцом охватывают. Видишь, перекасти-полей сколько? Это наши.

— Я ж волновалась, дурешка! Не могла предупредить с вечера! И ты же голодная!

— Ничего я не голодная, у Кузьки хлеба краюха, мы поели. И ты уходи, ведь все испортишь!

— Знаешь что? — воскликнула Татьяна Николаевна. — Ты лежи, а мы пойдем к балке, как будто тебя ищем, и поглядим, сколько там народу, а на обратном пути тебе скажем. А?

Галя вспыхнула от удовольствия. Потом нахмурилась и исподлобья оглядела неприятного человека, который стоял и глазел на них.

— Нет. Это нечестно. Я сама.

— Чтобы через час ты была дома!

— Через два. Мамочка, через два!

Татьяна Николаевна поднялась, отряхнула платье, взяла Пальку под руку.

— Пойдемте, будто гуляем. Разведку не подводить!

— А вы мне понравились, — сказал Палька, когда они отошли от Гали на достаточное расстояние. — Я ждал: будет материнская нотация, ругань и

слезы. А вы сами не лучше Гали.

— В детстве я была главной озорницей в озорной компании. Я и сейчас озорница, когда удается.

— Ой ли? А ну, пятна! — Палька шлепнул ее по руке и отскочил.

Они гонялись друг за другом, как ребята. Татьяна Николаевна бегала легко и быстро. Пальке никак не удавалось догнать ее.

— Я ж в институте в стометровке рекорды брала! — посмеиваясь, кричала она издали. — Где вам, медвежонок!

Многоголосый крик прервал их игру. Стая мальчишек мчалась в атаку на неприятелей, засевших в Дубовой балке.

— Разведка удалась, — сказала Татьяна Николаевна, прислушиваясь к гомону голосов.

— А я вас поймал!

Палька схватил ее и крепко поцеловал, прежде чем она опомнилась. Ее ладошка уперлась в его грудь, легонько отталкивая. Но губы не сопротивлялись, не прятались.

Когда она, опомнившись, выскользнула из его рук, он бросился ничком на выжженную колючую траву.

У него бешено прыгало сердце и кружилась голова. И он боялся взглянуть на ненаглядную.

Но она сказала смеющимся голосом:

— Это нечестно! Вам надо поучиться у Гали честным правилам игры.

И Палька, приподнимаясь, с облегчением ответил:

— Нет, честно! Я поймал — мое право!

Однако держался смирно и глядел себе под ноги.

Всем своим поведением Татьяна Николаевна старалась внушить ему, что случайный поцелуй ничего не изменит. Он понял ее старания и, пригнув голову, брякнул:

— Все равно я от вас не отстану.

Она пустила в ход все женские уловки, погладила его по руке, лепетала какие-то ничего не значащие слова.

— Нет! — сказал Палька. — Не увертывайтесь. Я еду с вами.

— Скоро вернется Галя.

— Тогда я приду вечером.

Татьяна Николаевна знала: следует сразу и решительно положить конец его притязаниям. Она сама себе сказала: «Вот теперь перешло». Но вместо решительных слов пробормотала:

— Сегодня я буду купать Галю. После этой разведки...

— Я приду позже. Не весь же вечер вы будете купать ее!

Она помолчала и вдруг скороговоркой произнесла:
— Завтра вечером. В девять.

Весь день, и ночь, и новый день он чувствовал на губах тот единственный поцелуй. Катерина, конечно, сразу поняла, что с ним что-то произошло, но ни о чем не спрашивала, только хмурилась. Палька угадывал ее мысли, по ему было все равно. Он стремился к своему счастью, назначенному на девять часов вечера, и ни о чем другом не мог думать.

Все встречные, кажется, понимали, куда он мчится с таким безумным лицом и почему на нем ослепительная рубашка и самый нарядный галстук.

Швейцар в гостинице и рассмотреть не успел промчавшегося метеором молодого человека, а тот уже взлетел по лестнице.

Самой жуткой была минута (о, какая долгая, невыносимая минута!) у двери после короткого стука в ожидании певучего: «Войдите!»

Певучий голос прозвучал, *она* была дома, *она* не обманула...

На ней было то воздушное, длинное, до пят, одеяние, в каком он застал ее однажды утром. Сегодня она была еще прекрасней: ее лицо светилось лукавством, радостью, нежностью и бог знает чем еще, и все это предназначалось ему, ему одному!

Сердце заколотилось так, что весь гостиничный номер заполнился громким тук-тук-тук.

И в эту минуту зазвонил телефон.

— Да. Здравствуйте. Нет, узнала, — говорила Татьяна Николаевна в трубку, блестящими глазами разглядывая Пальку. — Да, приехал. Ночью. Нет, забегал пообедать и снова помчался на заседание. Я думаю, скоро. Хорошо. Передам.

Палька не сразу понял ужасный смысл ее ответов. А она уже шла к нему, улыбаясь.

— Что же вы стоите у двери, Павел Кириллович?

Он отвел ее попытку прикрыть веселой вежливостью свое черное предательство.

— Приехал ваш муж?

— Да, ночным поездом, — как ни в чем не бывало уточнила она.

— И вы об этом знали еще вчера!

Он не спрашивал, он утверждал тоном следователя.

Ее легкие руки взлетели и легли на его плечи. Сколько раз он мечтал, что когда-нибудь почувствует ее руки на своих плечах — но, господи, не так! Не так!

— Ну и что же, друг мой?

Он скинул ее руки грубым движением.

— И вы мне назначили именно сегодня вечером...

— А почему же нет? Ну что вы чудите, Павлик? Разве вы покушаетесь на мое семейное счастье?

Его охватило злобное отчаяние, он выкрикнул:

— Да, покушаюсь! И вы это отлично знаете!

Сам испугался и добавил тише:

— Ну вот, я вас предупредил. По крайней мере честно.

Она шутливо охнула, силой усадила его в кресло и самым веселым тоном начала заговаривать зубы:

— Вы бы видели, как разозлился Липатов! Он встретил меня на улице, когда я возвращалась с шахты. И, как ястреб, ринулся к вам. Наверно, вызывать на дуэль? Или бить? Как тут у вас принято?

Палька натянуто улыбался, готовясь встать и уйти. Но уйти он не успел: уверенная рука открыла дверь, вошел муж.

Сквозь боль и стыд, неловко поднявшись и не зная, куда деть себя, Палька воззрился на этого ненавистного мужа. Профессор был изящен и почти молод — вряд ли ему стукнуло сорок. Он не был красив, но его скуластое, с неправильными чертами, дотемна загорелое лицо было примечательно своей необычностью. В темных глазах с очень яркими белками вспыхивал и переливался свет — казалось, в них рождаются и сменяют друг друга очень интересные, еще не высказанные мысли.

— Прости, что запоздал, — сказал профессор и поцеловал руку жены. — К счастью, тебе не давали скучать. — Он приветливо обернулся к Пальке. — А вы аспирант Светов? Мне говорили о вас. Как это вышло, что мы до сих пор не встречались?

— Китаев его просто не пустил к тебе, — быстро объяснила Татьяна Николаевна, помогая Пальке справиться с собой. — Павел Кириллович, изобразите, как он вам ответил!

— Ну вот еще...

Не то что изображать других, он и себя-то не мог изобразить таким, каким хотел казаться, — сильным и гордым. Он чувствовал себя обманутым простаком и одновременно вором, пойманным на месте замышленного преступления. Из этой пытки был один выход — бегство. Но как убежать?

Профессор заметил смущение аспиранта и привычно старался рассеять его:

— Сегодня утром я беседовал с Мордвиновым. Это ваш друг, не правда ли? Он меня очень заинтересовал.

— Чем?

Палька наострил уши — что бы там ни было, такой разговор упустить нельзя.

— Сосредоточенный и точный ум, — взвешивая слова, определил Русаковский. — Начитан больше, чем можно было ждать. И, что особенно отрадно, нет узости, которая так легко создается специализацией. — Он неторопливо подумал и добавил: — Из таких вырабатываются настоящие ученые. Я завидую академику Лахтину и скажу ему об этом при встрече.

— Мордвинов — самый умный и образованный из нас, — с душевной щедростью объявил Палька, но тут же ухватился за мысль, взволновавшую его самого: — А насчет узости... Простите, Олег Владимирович, но вы сами, наши руководители, куда вы нас толкаете? В узенькие переулочки специализации! Тут стенка, там стенка, а всей ширины — четыре метра! Смотришь на стариков — у них же вся химия в голове! С ее отраслями и боковыми линиями! Одна мудрая голова — целый мир! А ведь и они когда-то начинали? Их тоже направляли? Академик Лахтин тоже был учеником, но... Менделеева!

— Да, — согласился Русаковский. — Однако сейчас такие науки, как химия и физика, до того разветвились, разрослись, так глубоко проникли в смежные области, что узкая специализация неизбежна. Чтобы узнать хотя бы главное во всех ответвлениях, нужна целая жизнь. Вы рискуете унести свое приобретение в могилу, так и не успев поработать. А ведь знание не самоцель, а средство.

Он говорил сильным голосом человека, давно привыкшего точно излагать свои мысли. А Палька отвечал сбивчиво и, чувствуя это, все больше горячился:

— Двигать науку, не охватив ее? Ее движения в целом? Или нас готовят, чтобы мы исполняли, разрабатывали чужое, открытое другими? Как говорит Китаев: «Частные выводы, молодой человек, в конечном итоге являются тем удобрением...»

Незаметно для себя Палька привычно передразнил Китаева. Татьяна Николаевна поощряюще засмеялась — она то появлялась с тарелками и вазочками, то снова исчезала, мимоходом оглядывая мужа и поклонника.

— Нет, не так! — резко возразил Русаковский. — Растить научных работников на таком приземлении задач нельзя. И вы не поддавайтесь, если

хотите работать в науке. Но будем говорить прямо. Масштабы применения науки сейчас таковы, что нужны десятки тысяч специалистов — не всезнаек, не энциклопедистов, а добросовестных отраслевиков...

— ...Неспособных двигать науку вперед! — вставил Палька.

Во-первых, в каждой отрасли науки идет движение, стремительное и крайне интересное. Во-вторых, на этой массы научных работников будут выделяться и выделяются умы крупные, с широким диапазоном. Кто ж их удержит в узких пределах?

Татьяна Николаевна позвала к столу, но Палька уже вцепился в профессора:

— Чтобы создать новое, нужен масштаб! Нужно охватывать всю науку. И даже технику! Занимаешься химией угля, а тебе нужна технология и теория газогенерации, и механика, и черт в ступе!

Он прикусил язык, но профессор одобрительно улыбнулся.

— Бывает, что и без черта в ступе не обойдешься, это верно. Но тогда берешь и знакомишься с чертом сам. Сам! И с его ступой тоже! — Он потянул аспиранта за руку. — А пока пойдете к столу, хозяйка приглашает.

Эти слова вернули Пальку к мучительной правде. Да, она тут хозяйка профессорской семьи, жена большого ученого, женщина, принадлежащая вот этому сильному, интересному человеку. Ее легкие руки спокойно расставляют закуски и рюмки, подают хозяину бутылку вина и штопор. Четвертой за круглый стол садится начисто отмытая, по-отцовски скуластая девочка с огромным бантом в зачесанных кверху волосах — их дочь, исподтишка посматривающая на гостя. Девочку раздражают отношения, существующие между мамой и неприятным гостем, который постоянно крутится возле мамы. Ей смешно, что сейчас этот гость сидит перед папой и ведет себя неуклюже, неумело. И она торжествует: папа здесь, папа самый главный.

Палька ощущал и свое нелепое положение в этом семейном кругу, и свое неумение управляться за столом, и недоброе внимание девчонки. Его подавляло превосходство соперника, которого он до сих пор считал старым, скучным мужем. И все-таки ему было интересно и хотелось использовать неожиданную встречу: Палька был жаден до умных людей.

— А я думаю, узкие переулочки мешают талантливым людям по-настоящему расти и открывать новое!

Он выпалил это громко, вызывая и оттолкнул тарелку с салатом.

— До некоторой степени мешают, во всяком случае, затрудняют, — задумчиво откликнулся профессор. — Но вот вы все время говорите: новое.

Открывать новое, создавать новое. Это довольно абстрактно. А новизна в науке всегда конкретна. Вы имеете в виду что-то реальное?

— Может быть, и да, не в этом дело! — не очень вежливо ответил Палька. — Кого бы вы ни взяли в истории науки, каждый, кто открыл что-то новое, — гигант!

Русаковский добродушно покачал головой:

— Знаете, молодой человек, если уж заглядывать в книгу истории прогресса, важнее прочитать в ней другое: эта книга писалась и пишется не только яркими одиночками, но усилиями многих малоизвестных ученых и даже практиков. Что такое гениальное открытие? Это результат многолетних исследований, труда и неудач. Годами идет накопление данных, создаются предпосылки, выясняются направляющие и определяющие положения. Само развитие науки подготавливает новый скачок, требует его, прямо-таки взывает к ученым: реши, найди! И вот на груде накопленных знаний и предпосылок вырастает новое открытие, поворачивающее весь ход научного мышления. Вдумайтесь, как часто открытия совершались почти одновременно разными учеными в разных странах. Значит, открытие «носилось в воздухе», назрело в результате достигнутого уровня...

— Это ясно! — опять-таки без лишней вежливости перебил Палька. — Но поймать то, что носится в воздухе, может только талант с широкими знаниями!

Русаковский быстро переглянулся с женой, как бы соглашаясь с ней в какой-то забавной оценке молодого гостя, и терпеливо ответил:

— Так ведь талант — понятие сложное. Химической формулы не выведешь. Я знал одного юношу, поражавшего всех несомненной талантливостью. А из него ровно ничего не вышло. Ум и способности были, но не оказалось главного — целеустремленности. А вот академика Фаворского в юности считали неудачником, его обогнали сверстники, над ним посмеивались, даже советовали идти в оперетту, благо у него был хороший голос и ему сулили большие деньги. А этот «неудачник» упорно шел к цели и к двадцати пяти годам сказал свое, новое слово в области изомерных превращений — вы, конечно, знаете, — а к тридцати пяти годам стал химиком мирового значения.

Профессор разлил по рюмкам вино и был, видимо, не прочь закончить серьезный разговор, по Палька не отступал:

— Ну и что же? К чему вы ведете?

— К тому, что на пороге науки надо сбрасывать, как туфли у порога мечети, честолюбие и жажду славы, — сказал профессор и снова быстро

глянул на жену.

— В мой огород? — грубовато спросил Палька. — Так вам меня обрисовали?

— Вас обрисовали с большой симпатией, но честолюбие я нюхом чую. И не осуждаю, а только... предупреждаю. В истории науки самое гениальное открытие — лишь одна страница. И вписывают эту страницу люди, обуреваемые единственной страстью — найти ускользающую, непознанную истину. Только так — найти истину. Самую малую! Рентген вовсе не собирался потрясать мир открытием невидимых лучей. Он просто заметил, что фотопластинки, несмотря на черную обертку, засвечиваются вблизи от разрядной трубки. Замечали это и другие. Но другие заботливо отодвигали фотопластинки, а Рентген спросил себя: почему? Почему? — вот что двигает познание, а не мечты о перевороте в науке.

— Согласен! — вскричал Палька. — К черту мечты о славе! Но можно ли искусственно ограничивать свои интересы и весь свой век копать в «частных выводах»?

— Это уж вы полемизируете с Китаевым, а не со мной, — улыбаясь, заметил Русаковский. — Я стараюсь не ограничивать, а расширять интересы моих сотрудников. Но, вступая в науку, надо сказать себе раз и навсегда: «Подарков от нее не жду, а жизнь посвящаю без остатка. Если повезет открыть новую частичку истины, — значит, я большой удачник».

— Так надо стремиться к удаче! Браться за главное! — выкрикнул Палька, размахивая вилкой. — Надо свободно искать и определять, что же ты — именно ты! — хочешь и можешь сделать! А нам утверждают аспирантскую тему еще до того, как мы сами поймем, что нас интересует. А потом поди-ка перемени!

— Однако вы свое нашли и переулочек вас не удержал? — вмешалась в беседу Татьяна Николаевна и подняла рюмку. — За ваш успех, Павлуша!

Русаковский тоже чокнулся с Палькой и спросил, что это такое, за что он охотно, но вслепую пьет.

— О-о, очень интересная идея! — воскликнула Татьяна Николаевна, уверенно завладевая разговором. — Я никогда не выдаю друзей... даже мужу. Но я увлечена идеей Павла Кирилловича, верю в нее... Не будем смущать изобретателя, Олег Владимирович, он сам расскажет тебе, когда захочет.

Ее глаза смеялись.

«Не выдаю друзей... даже мужу». Палька густо покраснел: намек был ясен.

Профессор погрозил пальцем жене:

— Выдавать не выдаешь, а смотри, как смутила молодого человека! Ничего, Павел Кириллович, если есть интересная идея, не робейте. Ухватитесь за нее и работайте. Химия сейчас — царица наук, двадцатый век — век химии. За какую проблему ни возьмись — в ней все ново, все перспективно. Она проникает и в физику, и в биологию, и в космогонию, и в десятки отраслей промышленности, в сельское хозяйство, в строительство... С каждым годом химизация производства будет идти все быстрее и объемней. Быть химиком сегодня — значит стоять в самом центре научного и технического прогресса.

— В самом центре?

— Конечно! Вот вы говорили о механике и черте в ступе. Механики сейчас решают десятки своих проблем с помощью химии, а черт в своей ступе тоже, вероятно, смешивает разные элементы для какой-нибудь чертячьей химической реакции?

Татьяна Николаевна рассмеялась и подбавила Пальке салата и вина, но Палька не замечал ее забот.

— Если химия проникает во все науки — значит, тем более химик должен быть исключительно широк?

— И конкретен! Вот вы химик по углю. Пока уголь просто сжигали в топках, химия казалась почти ненужной. Но именно химики научили человечество извлекать из угля смолы, масла, бензол и сотни химических продуктов, от аммиака до карболовой кислоты, от взрывчатки до лаков, украшающих мебель. Химия извлекла из черных глыб угля белые кристаллы нафталина и вязкую массу гудрона, устилающую шоссе. Если не ошибаюсь, больше трех сотен химических продуктов из одного угля!

Татьяна Николаевна потихоньку зевнула и предложила выпить за химию.

— Признайся, этим тостом ты хочешь от нее отделаться! — пошутил Русаковский. — Она тебе порядком надоела!

Татьяна Николаевна кивнула головой. Палька возмущенно поглядел на нее и, азартно чокнувшись с профессором, продолжал:

— Все это я знаю. Знаю и то, что уголь научатся перерабатывать под землей. Даже очень скоро научатся! Но возьмите то, что сделано химиками в области угля. Оно же сделано потому, что большие умы, гении, открыли новые законы, установили механизмы и законы химических реакций, научились получать тела заданных свойств и структуры. Чистая наука, да? Так кто же будет двигать ее, если новые кадры разбросаны по переулкам?

— А чистой науки нет! — сказал Русаковский и зачем-то положил свою большую ладонь поверх пальчиков Татьяны Николаевны. — Есть

теоретическая мысль, основанная на теоретических исследованиях, но и они всегда целенаправленны и находят свое подтверждение в практике. Химия родилась из первобытного костра и первых превращений, открытых с помощью огня. Веками человек бился над познанием вещества. Теперь настала эра его покорения. С феноменальной быстротой идет покорение, овладение, превращение одних веществ в другие, создание синтетических и искусственных веществ!

Оборвав свою речь, Русаковский похлопал ладонью скучающие пальчики жены и ласково предложил:

— Может, пойдешь спать, Танюша? У тебя усталый вид.

Палька удивленно пригляделся — да, ее лицо потускнело, веки тяжело опускаются... Но Татьяна Николаевна встрепенулась, распахнула глаза, сделала милую гримаску:

— Поневоле заскучаешь! Неужели вам за целый день не надоест ваша царица наук?

Она не скрывала досады. Лукавая затея — свести поклонника с мужем — обернулась против нее. Как двое одержимых, они говорят о превращениях веществ и, конечно, о веке химии! Татьяна Николаевна давно привыкла к тому, что живет в веке химии, но сильно подозревала, что физики считают его веком физики, а электрики, еще более узко, — веком электричества.

— Я бы предпочла жить в век рыцарства, — открыто зевнув, сказала она. — Женщине тогда было много веселей.

— Ничего подобного! — с улыбкой возразил Русаковский. — Я бы все равно разыскал тебя и женился, а в те времена я бы стал, конечно, алхимиком и сутками напролет пытался получить золото из разных сплавов, болтал о философском камне и трех элементах.

— Но меня мог бы похитить рыцарь, предпочитающий турниры и любовь!

— Деточка, рыцари никогда не мылись, и от них пахло лошадиным потом. Вряд ли тебе понравилось бы.

Оставив свою ладонь на руке Татьяны Николаевны, Русаковский сам вернулся к прерванному разговору:

— Вы правы только в том, Павел Кириллович, что в отраслевых институтах есть опасность измельчания исследований, ослабления теоретической мысли...

Пальке мешала рука профессора, которая легонько поглаживала руку ненаглядной. Мешали и слова о рыцаре, предпочитающем любовь. «Похитить»... легко сказать! И может ли быть, что это — намек?

— По такая опасность, — продолжал профессор, — может подстеречь и академик-теоретик, и целый коллектив, если там захиреет страсть познания и расцветет спекулятивный дух.

Палька вскинулся:

— Что вы имеете в виду?

— Немедленный результат и стремление к нему во что бы то ни стало.

— Позвольте... Поиски немедленного результата вы называете спекуляцией?

Это было непосредственно важно, это ранило Пальку в самое сердце.

— Конечно! — убежденно подтвердил Русаковский. — Ажиотаж осуществления не должен вторгаться в естественную медлительность научного исследования.

— По-вашему... осуществление не дело ученого?

— Разумеется! Наука открывает практике перспективу и дает направление, а сама идет дальше по пути познания.

— А если я что-то новое открыл, я все это брошу и займусь другим, и пусть осуществляют без меня?

Русаковский снисходительно улыбнулся, отпустил пальчики жены и сделал такое движение, будто собирался встать, заканчивая разговор. Но не встал, а шутливо спросил:

— Да что же это за таинственное открытие? Татьяна Николаевна уже стала вашей союзницей... Я заинтригован!

До сих пор Палька оберегал свой секрет даже от друзей. Но слова Русаковского о спекулятивном духе рассердили его, и он раздраженно выпалил:

— Подземная газификация угля — вот что! Вещь, которая перевернет всю промышленность, всю технику!

— А-а! — с улыбкой протянул Русаковский. — Во всяком случае, это один из перспективных аспектов использования угля. Я слышал, что такая задача поставлена и пока не решена. Или это уже запоздалые сведения? Открытие состоялось?

Краснея, Палька поспешно пояснил:

— Никакого открытия еще нет. Думаю. Ищу. Задача трудная.

Русаковский серьезно кивнул и поднялся.

Палька вскочил, поняв обидный сигнал.

Ненаглядная спокойно сидела за столом, лениво бросив на скатерть свои холеные руки.

— Что ж, желаю успеха, — вежливо сказал профессор. — Для химика это интересная задача.

И он отпустил Пальку, как отпускал аспирантов и студентов, когда больше не о чем говорить с ними.

Палька выбежал из гостиницы и привычно поглядел снизу на светящиеся окна номера люкс, на колыхнувшуюся штору, по которой прошла женская тень. Он был благодарен ненаглядной за этот вечер, начавшийся так оскорбительно. Он отмахнулся и от снисходительной профессорской усмешки, и от простого способа, каким профессор выпроводил его. Он был переполнен мыслями, рожденными беседой. Чистой науки нет?.. И в то же время поиск немедленного результата — спекуляция? Эра покорения вещества... Царица наук... И «ажиотаж осуществления не должен вторгаться в естественную медлительность научного исследования»?..

Над всем этим звучала одна веская фраза: «Для химика это интересная задача».

Для химика.

Не для горняка, не для специалиста по газогенераторам, не для механика... для химика!

Сунув руки в карманы, он размашисто зашагал вдоль трамвайных рельсов, отдыхающих до утра.

Из темноты выплыли терриконы, сросшиеся, как вершины Эльбруса, — сейчас они были совсем черны, только местами розовато тлели угли, подсвечивая дымок.

Грозными дымами и полыханием отсветов открылся Коксохим.

Рядами освещенных окон определились корпуса Азотно-тукового.

Ни одного огонька в домах. Добрые люди давно спят. Или работают в ночной.

Для химика...

Конечно же для химика! Как я не понимал раньше? Именно и только для химика!

У него было такое чувство, будто он долго плутал в потемках, а его вывели на свет, в таинственный и ясный мир химических реакций и превращений, где ему предназначено найти и показать людям еще одно простое и только в первые мгновения удивительное чудо.

Придвинув лампу к кровати, Олег Владимирович перелистывал одну из аспирантских работ, а Татьяна Николаевна расчесывала перед зеркалом свои длинные, упругие волосы.

— Даже в волосах угольная пыль, — недовольно сказала она, отряхивая гребень. — Неужели мы и август просидим в этой дыре?

— Ты же знаешь, Танюша, я не люблю ввязываться в практические дела. Но после этой аварии я просто не мог отказаться. И в наркомате просили...

— У Светова там погиб лучший друг.

Содрогаясь, она вспомнила черные недра шахты и ужас, который испытала, представив себе, что страшная тяжесть земной толщи нависает над ее головой. Потом, уже с улыбкой, припомнила хитрость Светова и обиду Липатова... Поиски Гали, и беготню по степи, и неожиданный поцелуй... И свое лукавое обещание «завтра в девять»... Кто мог думать, что Светов так быстро оправится от смущения, вцепится в ее мужа и затеет длиннющий спор! Нет, перед Световым она не чувствовала себя виноватой. А перед Олегом? Когда-то давно она сказала мужу: «Ну да, я кокетка! Но ты же знаешь, это никогда не перейдет...» С тех пор она проверяла себя: перешло или не перешло? Если совесть подсказывала, что «перешло», был один способ освободиться от чувства виновенности — признаться хотя бы наполовину.

— Как он тебе понравился?

— Славный парень. Задира. Из таких часто вырабатываются неплохие работники. Но ты с ним кокетничаешь, рыжок! Знаешь ты это... или невзначай?

Она подвинулась, чтобы в зеркале увидеть мужа. Конечно, ласково и насмешливо улыбается. В первые годы замужества эта улыбка обижала ее — не ревнует! Потом она не то чтобы примирилась, но поняла, что с этой нежной снисходительностью, полной доверия, ей уютно и удобно жить.

— Кажется, знаю, — протянула она. — Мне он нравится — такой самоуверенный, заносчивый воробышек. Перышки дыбом.

Она в зеркало шаловливо улыбнулась мужу и продолжала признаваться его отражению:

— Тут как-то Галя пропала из дому, он мне помог найти ее. В степи, с мальчишками... вся утыканная ветками, ползет на животе в разведку! Я даже рассердиться не сумела, такой смешной у нее вид был. А Светов — знаешь, он ужасно увлечен своей подземной газификацией! Представь себе: встречаю его в степи, он кидается ко мне, будто мы с ним родные, хватает меня за плечи, целует, бормочет сумасшедшую чушь про какого-то Кузьмича и ребенка какой-то Катерины, про станции с кафельными полами... Я перепугалась, думала — он пьян. А он, оказывается, прочитал статью Ленина об этой газификации и в такой восторг пришел — переворот! Техническая революция! Угольной пыли не будет, дыма не будет! И все сделаю я!.. Как ты думаешь, Олешек, может у него что-нибудь

выйти?

— Этого никогда нельзя сказать заранее.

— Очень хочется, чтобы ему удалось.

Татьяна Николаевна тряхнула волосами и начала заплетать их. Неприятное ощущение, что ее кокетство перешло за допустимую черту, исчезло. Признание в том, что Светов поцеловал ее, проскочило незаметно. Отражение мужа в зеркале было все таким же спокойным. О-о, да он продолжает одним глазом просматривать аспирантскую работу!

Скользнув в постель, Татьяна Николаевна протянула руку через узкий промежуток между кроватями и прикрыла рукопись:

— Спать пора, профессор! Ты же опять вскочишь ни свет ни заря!

— Этот аспирант назначен на завтра, — сказал Олег Владимирович, снова раскрывая рукопись. — Я недолго...

— Так отмени на послезавтра! Нельзя же так изматываться.

Это говорилось по привычке — Татьяна Николаевна отлично знала, что рукопись он дочитает, консультацию не отменит и жить иначе не сумеет, даже если захочет. Устроившись поудобнее, она смежила веки и улыбнулась. Шорох переворачиваемых страниц не мешал ей, а убаюкивал.

— Танюша!

— Да-а?

— Может быть, тебе все-таки поехать с Галинкой в Сухум, не дожидаясь меня? Я закончу и приеду.

— Интересно, что ты будешь делать без меня? Пропадать?

— Пропадать.

Теперь стало совсем хорошо. Она с ним, его верная, заботливая помощница, он без нее не может, она жертвует ради него отдыхом в Сухуме, морским воздухом, морем... А потом мы поедем все вместе... Расстроится Светов, когда узнает, что я уехала?.. Галинке нужно вернуться в Москву к началу школьных занятий. Или написать в школу и запоздать на месяц? Ох, как это будет хорошо — жара и свежесть моря... Полежать на солнце, а потом — в воду! Сперва кажется холодной, стоишь, не решаешься, а потом — раз! Кинулась прямо в волну, а она теплая-претеплая, плывешь и не замечаешь, как плывешь, — лежишь на волне, а она покачивает... покачивает... покачивает...

неквалифицированному читателю представление о важности проекта — цитаты из статьи Ленина открывали и закрывали каждый ее раздел. Зерном проекта был «метод взрывов», он был изложен вдохновенно, тут Всеволод Сергеевич Дал волю чувству — пусть и другие увлекутся красотой великолепного технического решения!

Горя нетерпением, он позвонил Арону.

— Все готово! — кричал он излишне громко. — Придумал девиз — «Дружба»! Понимаешь, Арон? Что делать — везти самому или высылать почтой?

— Никакого девиза не нужно, — вполголоса ответил Арон, и Катенин будто увидел обычную ироническую усмешку друга. — Высылай надежной оказией. Не на конкурс, а прямо в комиссию. Я предупрежу и обеспечу внимание. Бери карандаш и записывай адрес...

Чертежи и документы паковали в дорогу всей семьей в картон и кальку. Надежной оказией был почтенный, непьющий сослуживец Катенина, но и ему много раз повторили: не потерять, не помять, вручить немедленно...

Через несколько дней позвонил Арон:

— Дружище, все идет чудесно. Алымов прямо-таки вцепился в твой проект, весь Углегаз взбудоражен. Знаешь, твой метод взрывов — просто здорово!

Неделю спустя пришла телеграмма:

«Просим середине месяца приехать Москву обсуждение
проекта тчк телеграфьте выезд забронируем гостиницу тчк
Углегаз

Олесов Алымов»

Майор сбегал за шампанским. Все смотрели, вылетит ли пробка. Пробка вылетела, как снаряд.

— Будет грандиозный успех, вот увидишь! — восклицала Люда. — Я и не знала, папка, что ты у меня такой умный.

Она подняла бокал над головой.

— За грандиозный успех!

— За твою молодость, Сева, — шепнула Екатерина Павловна.

У Катенина и без шампанского кружилась голова. Жизнь начинается сначала, только нет ни безумия молодости, ни ее сил, ни ее обольщений. На пятом десятке прыжок в неизвестность...

Люда играла сумасшедшее попури из всех известных ей маршей, с импровизированными переходами и вариациями. Это было бесшабашно, но талантливо, веселило и тревожило Катенина: с тех пор как Люда с шумным успехом выступила в гарнизонном клубе, в ее музыкальных занятиях стало меньше ученической старательности, больше показного блеска. С особым рвением Люда отрабатывала броские, выигрышные концовки... под аплодисменты...

— Да, она увлеклась, — признавала Екатерина Павловна. — Но что делать, у нее в натуре много артистизма!

Кончив громоподобным аккордом, Люда заявила, что пора обсудить все дела, связанные с поездкой папки в Москву, и тут же взялась купить новые галстуки и билет... нет, билеты!

— Как хочешь, папунька, я возьму два! Я поеду с тобой! Тебе нужна помощь, забота... Толечка! Папунька! Умоляю — два!

Катенин виновато взглянул на майора. Майор побледнел, покраснел, растерянно развел руками. А Люда ринулась в эти руки, как в объятия, помурлыкала в ухо мужу, потом бросилась к отцу — и вдруг независимо выпрямилась:

— В конце концов, я музыкант! Мне необходимо послушать хороших пианистов, побывать в консерватории... Неужели я так и буду прозябать безвыездно в провинции?

Галстуки она купила сама, билеты покупал майор — два билета в международном вагоне.

На вокзале стало очевидно, что Люду совсем не огорчает разлука с мужем, но ни у кого не хватало духу осудить ее, так непосредственно восхищалась она роскошью отдельного купе, путешествием, переменой...

— Мамочка, умоляю, заботься о Толе! — закричала она, когда поезд тронулся. — Корми его, пожалуйста, у него нет денег, я его вытрясла дочиста!

— Какой ребенок еще! — смущенно сказала Екатерина Павловна и взяла майора под руку.

— Пусть немного развлечется, — печально сказал майор.

А Люда в это время прыгала по купе, пробуя зажигать разные лампочки.

— Боже, как хорошо! Какая я счастливая! И какая умница, что поехала с тобой!

— Твой муж очень добр, Люда, но...

Он же с мамой остался! — перебила она и подтянулась на руках, чтобы разглядеть устройство верхней полки. — И вообще, папка, не порти

мне удовольствие!

В Москве, забросив вещи в гостиницу, они наскоро позавтракали и расстались — Люда пошла посмотреть город, а Катенин помчался в заветную комиссию — Углегаз.

Новое учреждение занимало несколько комнат в первом этаже старого, запущенного дома. Оно уже обросло всеми отличиями солидного учреждения — новенькой вывеской у входа, гардеробом, бухгалтерией и бюро машинописи (где пока сидела одна машинистка), диваном в приемной и табличкой «Не курить», на которую никто не обращал внимания. Но от входной двери на посетителя веяло неустановившейся жизнерадостной молодостью — гардеробщица была трогательно приветлива, все охотно объясняли, как пройти к начальнику товарищу Олесову; не было ни скучных лиц, ни безнадежных телефонных звонков.

Немолодая, полная секретарша расторопно раскладывала стопками какие-то бумаги, но сразу оторвалась от своего занятия:

— К Дмитрию Степановичу? Пожалуйста. Как сказать ему?

— Моя фамилия — Катенин.

— Катенин?!

В состоянии взволнованного ожидания, томившем Катенина, все, что произошло после этого возгласа, показалось ему горячим вихрем. И секретарша, и еще какие-то люди налетели на него с приветствиями и рукопожатиями, а потом его буквально внесли в дверь кабинета, и за его плечами раздался многоголосый крик:

— Дмитрий Степанович! Встречайте! Приехал!

Лучащийся гостеприимством толстяк засеменял навстречу Катенину, протягивая обе руки. Боковым зрением Катенин видел, что в дверях толпятся люди.

Толстяк в обнимку подвел Катенина к креслу, раскрыл коробку папирос, несколько раз спросил, удобно ли было ехать и хорош ли номер в гостинице. Катенин не успел ответить, потому что толпа от двери все-таки вдавилась в кабинет и окружила его. Толстяк всех представлял и рекомендовал гостю, но Катенин никого не мог ни разглядеть, ни запомнить.

— Пошумели, и хватит, — сказал наконец Олесов, — теперь, товарищи, дайте нам поговорить. Лидия Осиповна, посторожите!

Секретарша засуетилась, поторапливая остальных, спросила Катенина, не принести ли чайку, и плотно прикрыла дверь.

— Итак... Всеволод Сергеевич, правда? Вам приходилось бывать в

Москве? Может, хотите машину — поглядеть столицу?..

Как ни был доволен Катенин, тут он почувствовал раздражение.

— Я не за тем приехал, Дмитрий Степанович. В Москве я бывал не раз... Скажите же наконец, что с моим проектом.

Олесов всплеснул руками.

— Разве вы не видите? Ваш приезд — общий праздник!

— У вас много проектов?

— Ваш проект у нас первый, — торжественно сказал Олесов. — Первый и пока единственный!

— Ну и...

— Ему обеспечено самое заинтересованное внимание!

— Ну и...

— Мы привлекаем целую группу авторитетных консультантов. Ваша записка перепечатывается, чтоб можно было разослать ее. Сразу после совещания, я уверен, приступим к опытным работам. Вы к нам надолго?

— Я взял отпуск на неделю. Вы телеграфировали — обсуждение... Я надеялся...

— Так оно и есть! — воскликнул Олесов. — Проект смотрели очень многие, обсуждение, по существу, почти подготовлено...

— Кто именно смотрел?

Олесов назвал несколько фамилий. Некоторые из них были Катенину знакомы понаслышке: профессор Вадецкий, профессор Граб, работники наркомата Бурмин и Стадник... В числе первых был назван Арон Цильштейн, как восторженный энтузиаст подземной газификации вообще и данного проекта в частности.

— А что говорят о проекте другие?

— Да ведь двух мнений быть не может, Всеволод Сергеевич! Проект интересен и, по-видимому, удачен. Только не торопите нас, дорогой! Вы пока осмотритесь, отдохните...

— Какие высказывались возражения или сомнения? — гнул свое Катенин.

Всю дорогу он мысленно готовился к сегодняшнему разговору. Ни пылкая встреча, ни общие заверения не устраивали его. Он знал уязвимые места проекта, предчувствовал, что крупные специалисты найдут и другие. Авторское самолюбие было удовлетворено сверх ожидания, мозг инженера требовал внимания к существу дела.

Но именно на это Олесов был неспособен.

После нескольких попыток завести разговор по существу Катенин понял, что перед ним милейший представитель той категории работников,

которые осуществляют общее руководство, не вникая в технику дела, но стараясь обеспечить себе проверенных консультантов. Стало ясно, что в проекте Олесов прочитал только пояснительную записку. Постепенно выяснилось и то, что он не очень-то кипучий организатор...

Зато среди сотрудников молодого учреждения Катенин быстро почувствовал нескольких людей, изучивших проект и увлеченных им всерьез. Одни из энтузиастов, совсем еще молодой инженер, вызвался проводить Катенина до гостиницы.

— Меня зовут Голь, такая дикая фамилия, — сказал он, когда они вышли на улицу. — Федор Федорович Голь. Но вы меня зовите просто Федей, меня все так зовут. Мне страшно повезло — кончил институт и сразу попал сюда. Мы как Робинзоны, правда? И я вам хочу сказать: ни на кого не рассчитывайте, Всеволод Сергеевич, а всего добивайтесь порешительней!

Юноша был так симпатичен, что Катенин решился спросить, что такое Олесов и кто тут вообще главный.

— Алымов! — ответил Федя Голь, блеснув глазами. — Он помчался в Донбасс — знаете зачем? Добывать участок угольного пласта для опытных работ! Ах, какой человек! Будь он сегодня на месте, все завертелось бы.

— Он кто, главный инженер?

— Он заместитель Олесова. И даже не инженер. Как ни странно, он работал в наркомате на проверке писем трудящихся... что-то в этом роде. Ему попало письмо кавалеристов, — вы ведь слышали, что именно кавалеристы первыми напомнили о статье Ленина?.. Он увлекся, загорелся, сам добился этой комиссии и пошел сюда работать.

— А кто по специальности Олесов?

— Славный дядька, — хмыкнув, ответил Федя и покраснел. — Вы не думайте, я не смеюсь, он именно славный дядька. Впрочем, по специальности горняк. В наркомате был помзавом или замзавом чего-то.

— Я, кажется, не познакомился с главным инженером?..

— А его и не было, — морщась, сообщил Федя. — Назначен Колокольников, из НИИ. Этаким академический барин.

— Кто же в комиссии знающие люди?

Федя расхохотался.

— Вы один! Откуда знающие люди в деле, которого еще нет!

У входа в гостиницу он придержал Катенина за рукав.

— Я с корыстной целью провожать пошел. Вам пока все равно кого... а я вас не подведу! Шахты я знаю, газогенераторные процессы изучил, сейчас изучаю взрывное дело... Всеволод Сергеевич, возьмите меня на

опытные работы!

— Вы уверены, что они начнутся скоро?

— Конечно!

Ясная вера Феди Голь окончательно утешила Катенина.

Но в последующие дни утешительного было мало. Повидать Арона не удалось, дома он почти не бывал, его жена приглушенным голосом сказала, что он очень занят в связи с проверкой партдокументов. Помолчав, она еще тише сказала: «У Арона неприятности, вы понимаете?» Катенин знал, конечно, что после убийства Кирова идет проверка рядов партии, что поставлена задача очистить партию от разных оппозиционеров и замаскированных врагов, что в связи с проверкой начались исключения и даже аресты... Но какое это могло иметь отношение к Арону?

Как бы там ни было, поддержка Арона отпала.

Катенин уходил в Углегаз с утра, как на службу. Его встречали радушно, но перепечатка проекта затягивалась, готовые экземпляры понемногу отсылались авторитетным людям, а те неохотно соглашались «между делом» просмотреть их.

Стараясь успокоить нетерпеливого автора, Олесов несколько раз доставал для него машину из наркомата, и Катенин катал Люду по Москве. Люда огорчалась, что почти все театры закрыты, но все-таки накупила билетов на разные спектакли и на два концерта. Однажды, устав от безделья и разочарований, Катенин отказался идти в театр и дал ей в спутники Федю Голь. Потом заволновался: не вздумает ли она кружить голову Феде? Но Люда насмешливо фыркнула:

— Это же детский сад! Щенок с висячими ушами!

И показала, какие бывают у щенят висячие уши.

Мужу она посылала открытки с видами столицы, отца старалась развлечь, а сама откровенно радовалась, что их пребывание в Москве затягивается.

Катенин с надеждой ждал концерта Софроницкого — Люда услышит одного из лучших пианистов страны и потянется к серьезной работе...

— А что мне надеть? — спросила Люда после обеда и начала перебирать платья. — Он, папка, я надену вот это!

Она переделалась за дверцей шкафа и вышла в длинном вечернем платье, которое «на всякий случай» прихватила с собой.

— Оно слишком бальное, Люда, ты не находишь?

— Пустяки, папа. Оно такое чудное! Мне идет, да?

Она крутилась перед отцом, сияя от радости.

В дверь громко постучали, и сразу кто-то нетерпеливо задергал ручку.

Люда открыла дверь и отпрянула: не замечая ее, в комнату ворвался очень высокий, худой человек с маленькими сверкающими глазками, устремленными на Катенина. Этот человек шел прямо к Катенину, как замороженный, — он, наверное, столкнул бы Люду с дороги, если бы она сама не отскочила.

— Всеволод Сергеевич Катенин! — провозгласил он и с ходу схватил Катенина своими длинными руками, но не привлек к себе, а отстранил, чтобы разглядеть получше. — Всеволод Сергеевич Катенин! — упоенно повторял он. — Я Алымов.

После долгих рукопожатий он дал усадить себя и закурил, но все это — не сводя с Катенина влюбленного взгляда маленьких глаз, сверкающих из-под набрякших век. Узкое, худое лицо его было некрасиво и странно не соответствовало восторженной, энергической речи.

— Понимаете, уехал на неделю, а тут сразу все завалили! — говорил он, размахивая руками. — Это я послал вам телеграмму, я велел, чтобы в два дня все было перепечатано и разослано и чтоб все прочли быстро. А они, конечно, печатают вразвалочку: свехурочных испугались! И со спецами всякие церемонии — «пожалуйста» да «будьте любезны»! Воображаю, как вы разозлились! Я уже разгромил все учреждение, говорил со всеми спецами. Заседание будет послезавтра утром!

Люда подошла поближе, смущенная тем, что о ней забыли. Алымов уткнулся в нее тем же сверкающим взглядом и несколько секунд молча разглядывал ее, не понимая, откуда тут взялась молоденькая женщина в слишком нарядном платье.

— Моя дочь Людмила.

Алымов вскочил и долго тряс ее руку, но Люда отлично видела, что он смотрит сквозь нее, как сквозь стекло, что для него сейчас существует только Катенин.

И действительно, выполнив долг вежливости, Алымов сразу вернулся к тому, что его занимало:

— Проект ваш просто замечательный! Я не специалист, но я заставил мне все объяснить, и, по-моему, это превосходно! А вот насчет организации опытов я хотел вас спросить...

И начался разговор, в котором Люда не могла участвовать. Но ей было интересно слушать напористый голос Алымова и рассматривать его некрасивое, худое, нервное лицо. Она с удовольствием представляла себе, как этот неумный человек «громил учреждение» ради проекта ее отца. Проект попал в надежные руки — вот они, эти руки, длинные, сильные, с нервными пальцами, — пальцы барабанят по столу, теребят папиросу,

соединяются и разъединяются, их концы желтоваты от табака.

Катенин тоже приглядывался к человеку, сидевшему в такой стремительной позе, будто вот-вот вскочит и куда-то помчится. Его немного корбило от громкого голоса этого человека, от пренебрежительного слова «спецы», которым Алымов называл почтенных ученых, — Катенин сам был «спецом», только менее авторитетным. Если бы я его встретил независимо от моего проекта, думал Катенин, я бы сказал, что он мне не нравится, в нем есть что-то наигранное. Как обманчиво внешнее впечатление! Ведь вот и Федя Голь, и Арон считают его душой всего дела. Так оно и есть. Он даже не инженер. Но именно он влюблен в эту идею, именно он осуществит мой проект: разгромит все преграды, растормошит всех спецов... и осуществит!

— Знаете, сейчас я впервые поверил, что мой проект будет реализован! — взволнованно признался Катенин.

Люда решила, что пора выступить на сцену самой.

— Папа, я закажу чаю.

— Вот за это спасибо! — воскликнул Алымов. — Я столько сегодня кричал, аж в горле пересохло!

Он грубовато и самодовольно захохотал. Катенин подумал, что напористая грубость Алымова — защитное средство от пренебрежения более знающих, но менее активных людей.

— Мы сегодня идем на концерт, — снова вступила в разговор Люда. — Как жаль, что мы не знали!.. Мы бы вас пригласили с собой.

Алымов снова посмотрел на нее, на этот раз именно на нее, как таковую, — хорошенькую, слишком нарядную женщину.

— А я поеду с вами. Неужто не найдем одного билета?

— На Софроницкого? Я в день приезда еле-еле купила. — Она многозначительно поглядела на отца. — Прямо не знаю, как быть.

Катенин равнодушно отвернулся.

— Почему ты не предложил ему свой билет? — сердитым шепотом спросила Люда, когда они расстались с Алымовым у консерватории, так и не достав третьего билета.

— Да ты что, Люда? С какой стати?

— Феде отдал, а тут пожалел? Он так относится к тебе... И от него ведь все зависит, папа!

— Так ты обо мне хлопчешь?

Они вошли в зал, недовольные друг другом. Но уже через минуту праздничная атмосфера зала подчинила обоих. Катенин с облегчением заметил, что Люду рассматривают не потому, что она чересчур нарядна, а

потому, что хороша. Люда тоже заметила это.

— Гляди орлом, папка! Все думают, что ты мой супруг!

Двери закрылись. Над сценой дали полный свет.

Стихли голоса. Где-то слева возникли рукоплескания, их подхватили во всем зале, и Катенин увидел высокого тонкого молодого человека, который вышел из-за тяжелой занавеси и скованными шагами, потупясь, зашел через сцену к открытому роялю.

Пианист сел, подвигался, устраиваясь удобно, потер пальцы и опустил руки на колени. Исподлобья покосился на ряды слушателей, откуда доносились сдерживаемые покашливания и шепотки. Катенин тоже покосился с возмущением на тех, кто нарушал тишину, но в это время раздался ясный, сильный звук — руки пианиста коснулись клавиш.

«Какой чудесный инструмент рояль», — подумал Катенин, как будто он впервые слышал звуки рояля.

Софроницкий играл сонату, хорошо известную Катенину, — Люда выступала с нею в дивизионном клубе. Но разве это та самая соната? Катенин и не догадывался, что она содержит в себе такое богатство звуков, такую прозрачную чистоту и такую глубокую, страстную силу. Катенин узнавал каждую фразу, каждый звук — и в то же время слушал словно впервые. Знакомое сочетание звуков открывалось по-новому.

Он оглянулся на дочь. Ее пальцы слегка двигались; Катенин понял, что Люда мысленно играет. «Как хорошо, что она тут! — подумал он. — Ей это так важно! Может быть, наша поездка решит не только мою, но и ее судьбу».

Мысли о дочери не мешали ему слушать — нет, он слушал за двоих и за двоих решал, что только так и стоит играть, только это и есть искусство. Техника у Софроницкого безукоризненна, но ее как бы вовсе не существует, настолько она освобождает его от трудностей исполнения, позволяя раскрыть самую душу произведения. Иногда он наклоняется над клавишами и даже шепчет что-то, будто выманивая звуки, но чаще устремляет взгляд куда-то вверх и вбок, на что-то невидимое публике, словно сверяясь, соответствует ли то, что выходит из-под его пальцев, тому прекрасному, что ему дано увидеть и понять. Пусть то, что он играет, было когда-то создано другим человеком — он поет по-своему, это — его создание, его мир. И он открывает свой мир всем, кто умеет слушать: вот он, богатый, чистый, тревожный, неповторимый мир звуков, войдите в него, приобщитесь к волшебству.

Катенин вошел в этот мир целиком. Он удивился бы, если б понял, что не только слушает, но и продолжает жить, то есть думает о своем. Но он

продолжал жить чище, горячей и напряженной, чем обычно, потому что подлинное искусство никогда не уводит от жизни, а пробуждает в душе человеческой лучшее, что в ней заложено. Все мелочи существования, все повседневные помыслы и расчеты улетучились. Огромным стало то, что Катенин долгое время не донимал и открыл совсем недавно, — творчество. Может быть, оттого, что он знал: человек, написавший эту потрясающую музыку, был несчастлив и пробивался через горе утрат, через чудовищную для музыканта глухоту, через все бедствия одиночества и нищеты к великолепному счастью творчества, — может быть, именно поэтому Катенин не поверил сейчас надеждам, разгоревшимся во время встречи с Алымовым. Он увидел: впереди борьба, разочарования, поиски, удары, и если успех, то выстраданный, нелегкий, — но ощутил себя ко всему готовым, свободным от корысти и честолюбия. «Как хорошо, — думал он, — как удивительно хорошо, что это счастье пришло ко мне!»

Последний звук долго-долго трепетал в полной тишине. Обычные человеческие рукоплескания разрушили волшебство.

— Да хлопай же, папка, ну как тебе не стыдно!

Раскрасневшаяся, веселая (почему веселая?!), Люда изо всех сил хлопала в ладоши, устремив навстречу пианисту немигающий, ждущий взгляд.

— Людмила, перестань! — строго сказал Катенин и взял ее под руку. — Пойдем!

— Как он хорош, папа! — прошептала она возбужденно.

— Он больше не выйдет, пойдем.

— Какая у него техника, папа! Ты помнишь, как он сыграл это место?.. — Она напела фразу, проведя в воздухе, как по клавишам, быстрыми пальцами.

— Тебе захотелось играть? — с пробудившейся нежностью спросил он. — Играть вот так, как он?

— Ой, куда мне! Но знаешь, папка... — Она прижалась к плечу отца, таинственно улыбаясь. — Если сказать правду... больше всего мне хочется пойти к нему!

— К нему? Зачем?

— Ах, боже мой, это нетрудно объяснить. Я пианистка, приехала в Москву совершенствоваться, мне понравилась его трактовка... да мало ли что!

— Ты с ума сошла!

— Не ворчи, папунышка, не становись скучным! Я не девочка. И потом у нас, музыкантов, все это проще. Я уверена, он будет только рад. Он такой

милый!

— Ну, ладно. — Внутренне сжавшись, он покорно протискивался за нею к буфету. — Что ты будешь пить, лимонад?

Как только стал известен день и час заседания, Катенин начал готовиться к схваткам с возможными оппонентами. Разговор с Ароном мог бы успокоить его, но Арону, видимо, было не до чужих волнений. Он сам заехал в гостиницу, как всегда, бодрый и оживленный, но на этот раз бодрость была нервной, оживление искусственным. Арон пошутил с Людой, сослался на сумасшедшую загрузку и через несколько минут уехал. Катенин вышел проводить его в коридор гостиницы.

— Арон, у тебя неприятности?

— Ты Блока помнишь? — вместо ответа спросил Арон. — «И вечный бой. Покой нам только снится». Вот это оно и есть.

— Что-нибудь серьезное?

Арон молчал, поглядывая на Катенина сквозь прищуренные ресницы.

— Я, конечно, беспартийный. И, может быть, не имею права...

— Ты за событиями в Испании следишь? Пятая колонна — слышал, что это такое? Притаилась и гадит исподтишка. Ты спрашиваешь, серьезное ли. Само время очень серьезное. Фашизм прет напролом и ползет по-змеиному. Кто может поручиться, что и у нас не действуют агенты пятой колонны?

— Но...

— А вот это «но» приходится иногда доказывать. И бывает всего труднее доказать, что ты не верблюд.

— Я только не понимаю, как в отношении таких, как ты... Арон невесело усмехнулся.

— Я бы тоже хотел все понимать. — И, взбодрившись: — Ну, до скорого! Не дрейфь! Все покатится как по маслу.

В назначенный час никого еще не было, кроме главного инженера Колокольникова — представительного мужчины в каких-то необычных очках с очень толстой оправой. Колокольников сразу предупредил, что начинает работать с понедельника и только тогда сумеет ознакомиться с проектом, «что, впрочем, не беда, так как изучили его весьма авторитетные специалисты!»

Авторитетные специалисты съезжались медленно. Празднично сияющий Олесов встречал их у дверей и вел прямо к стендам.

— Прошу познакомиться с чертежами.

Когда консультанты, проходя вдоль стендов, переговаривались между

собой о посторонних делах, Катенин холодел и терял надежду. Когда кто-нибудь из них задерживался и начинал рассматривать чертежи, Катенина бросало в жар. Все казались очень важными и не обращали никакого внимания на автора проекта. Арона еще не было. Главный энтузиаст Алымов куда-то исчез.

Но вот появился Арон — свежесбрившийся, благоухающий одеколоном, улыбочивый. Если присмотреться, можно было заметить, что он осунулся и несколько взвинчен, но гораздо заметнее было то, что с его приходом чинная скука ожидания кончилась. Арон был со всеми знаком и как будто со всеми дружен, он умело втянул Катенина в общую беседу.

— Сейчас мы за вас ка-ак примемся, изобретатель! — шутливо посулил Арон, и все заулыбались.

Так они и расселись вокруг длинного стола — с улыбками на лицах. Только два человека не поддались воздействию Арона: маленький сидящий профессор Вадецкий, который заносчиво вскидывал голову на тонкой шее, подпертой тугим, накрахмаленным воротничком, да массивный, угрюмый работник наркомата Бурмин, которого Федя Голь почтительным шепотом определил: «Мамонт». Про Вадецкого тот же Федя шепнул: «Злыдня». К удивлению Катенина, Федя окрестил Глазетовым Гробом изысканно-вежливого профессора Граба, успевшего пленить Всеволода Сергеевича приветливыми улыбками и полным отсутствием важности, — а ведь Граб был крупнейшим ученым, перед ним заискивал и Вадецкий.

В последнюю минуту (Олесов уже начал вступительную речь) в кабинет быстрыми, энергичными шажками вошел немолодой сухощавый человечек с примечательными глазами, которые сверкали как бы впереди него, подобно фарам, оповещающим о приближении автомобиля.

— Стадник пришел! — обрадованно шепнул Федя.

Катенин помнил, что Стадник — один из ответственных работников наркомата, но не знал, почему его приход так важен. Стадник не сел к столу, а направился к стендам и начал изучать чертежи один за другим, то кивая головой, то непонятно морщась и выпячивая узкие губы.

Поздравив собравшихся с обсуждением первого проекта, Олесов спросил, хотят ли члены комиссии выслушать доклад.

— Зачем? — быстро откликнулся профессор Граб и глянул на часы. — Было бы экономней прямо приступить к обсуждению.

Катенин собирался возразить, но члены комиссии поддержали Граба, и Всеволод Сергеевич с тоской сообразил, что долгожданное заседание, которое было для него судьбой, для всех остальных всего лишь одно из

многих заседаний. Вероятно, они относятся к проблеме подземной газификации угля с интересом, иначе зачем бы им входить в комиссию! — но у каждого в его научной деятельности встречается немало интересных проблем, гораздо более близких...

— Суть ясна, — добавил Граб. — Я проект просмотрел. Считаю его интересным.

Все ждали, что последует продолжение, но Глазетовый Гроб, обаятельно улыбнувшись Катенину, вынул из портфеля пачку бумаг и углубился в чтение.

Арон сжато, не вдаваясь в подробности, оценил достоинства проекта, подчеркнув оригинальность метода взрывов.

— Теперь дело за испытаниями в природных условиях!

Катенину задали несколько второстепенных вопросов, но подробно ответить ему не удалось.

— Понятно же! — сказал Граб и снова зашелестел бумагами.

Затем дверь распахнулась от толчка, и Алымов, непривычно согнувшись, ввел под руку крупного старца с патриаршей бородой. Старец прошел к дивану, стуча массивной палкой, вытер платком лицо и сказал неожиданно высоким голосом:

— Извините, запоздал. И вовсе не мог, да вот Константин Павлович выкрал меня и увез, аки полонянку.

Это был академик Лахтин, одно из светил, в чьем сиянии тускнеют даже такие звезды, как профессор Граб; тот, не долистав, поспешно сунул бумаги обратно в портфель.

Выступавший в это время Вадецкий замер на полуслове. Лахтин уселся на диване и, отдуваясь, прикрыл тяжелыми веками свои голубые смешливые глаза. Вадецкий торопливо закончил речь, избегая четких определений. Катенин с трудом уловил, что Вадецкий «мало верит» в возможность подземной газификации угля, хотя и признает необходимость попыток в этом направлении, что он приветствует удачный замысел проекта, хотя и не уверен в «конечной результативности».

Стадник оторвался от чертежей и вперил в лицо Вадецкого свои глаза-фары;

— Можно просить вас уточнить свое мнение специалиста относительно данного проекта?

Академик Лахтин отчетливо хмыкнул, не поднимая век.

Вадецкий слегка покраснел, но ответил благодушно:

— Вы прослушали, Арсений Львович, я с самого начала присоединил свой голос к положительной оценке Андрея Андреевича и Арона

Борисовича. Желательно провести испытания.

Стадник кивнул головой, взглядом нашел Катенина и произнес задумчиво, как бы адресуясь к нему одному:

— Да, да, конечно. Нужны испытания. Нужно *начать*. Но... — И в упор: — Товарищ Катенин, неужели никак нельзя обойтись без подземных работ?

Профессор Граб досадливо пожал плечами.

— Я пробовал, — сказал Катенин, вставая. — Мне удалось свести подземный труд шахтеров до минимума...

Он сделал шаг к стендам, чтобы пояснить на чертежах, как пойдет процесс, но его остановил голос профессора Граба:

— Да ведь понятно!

Вадецкий, обернувшись к академику и сохраняя на лице вопрошающее выражение, сказал тем не менее вполне убежденно:

— Проект потому и хорош, что не выходит за рамки возможного. Расчеты на полную ликвидацию подземного труда пока совершенно беспочвенны.

«Мамонт» Бурмин перекрыл его голос веселым басом:

— Шахтеры под землю идти не боятся, был бы уголек!

Стадник так стремительно обернулся к нему, что Катенину показалось — сейчас он бросится на Бурмина.

— Шахтеры и обушком уголь рубали, — быстро сказал он. — Однако мы с вами предпочитаем врубовую машину и мечтаем о горном комбайне! Если брать задачу подземной газификации во всем объеме, как брал ее Владимир Ильич Ленин, то конечная цель — ликвидация подземного труда людей. Это не только техническая, но и гуманистическая задача — избавить людей от самого тяжелого и опасного труда!

Стадник помолчал, вздохнул и задал новый вопрос:

— Товарищ Катенин, я, может, не понимаю, но скажите: неужели нельзя, *никак* нельзя обойтись без предварительного дробления угля?

Катенин понимал, что Стадник заметил уязвимые места проекта, и готов был отвечать откровенно, чтобы вызвать наконец большой разговор по существу дела, однако Колокольников поднял ладонь, удерживая Катенина, и мягко сказал Стаднику:

— Вы не совсем знакомы с вопросом, Арсений Львович. Конечно, нельзя. Достаточно ознакомиться с обычным газогенератором...

— Но у Ленина написано, что уголь газифицируется в пластах, — напомнил Стадник.

— В мечте Рамсея! — бросил Вадецкий. — В мечте, которая не

осуществилась.

Необычно смирный Алымов, сидевший, как часовой, возле дремлющего академика, впервые подал голос:

— Я думаю, никакие разговоры не заменят реального опыта. Проект ценный, надо испытывать. — Поначалу тихий, его голос вдруг окреп, в нем зазвучали громовые раскаты: — Не понимаю побуждения тех, кто пытается притормозить его принятие к проверке!

«Мамонт» Бурмин всем корпусом тяжело повернулся к нему и сразу так же тяжело отвернулся. Стадник сжал губы в узкую, гневную полоску. Глаза-фары уткнулись в Алымова, чтоб испепелить его.

Но в эту минуту академик Лахтин закричал и поднялся, грузно наваливаясь на палку.

— Хочу сказать к сведению моих коллег, — с язвительной усмешечкой начал он. — Идея, которую увлекся мой английский друг Уильям Рамсей, почитавший себя учеником и последователем Дмитрия Ивановича Менделеева, — идея эта поистине величественна и принадлежит самому Дмитрию Ивановичу, что, без сомнения, легко вспомнят мои коллеги, знающие труды нашего великого соотечественника. И еще я хочу сказать...

Он запнулся и покраснел. Всем стало неловко: старик явно забыл свою мысль.

— Менделеев? Очень интересно! — воскликнул Алымов и кивнул в сторону Феди Голя: — Сегодня же разыскать.

— Да, Менделеев! — повторил академик и укоризненно ткнул пальцем в сторону Феди. — Стыдно, молодой человек! Нужно знать самому, а не дожидаться, пока старики напомнят произведения, коим следует считаться общеизвестными!

Отчитав таким деликатным образом всех присутствующих, Лахтин развеселился и вспомнил ускользнувшую мысль:

— Наш уважаемый автор — простите, запомятовал фамилию! — создал первый проект. И молодец! Для чего же собирать такой синклит? Опыты ставить надо! Работать надо! А я пообедать не успеваю, — тем же требовательным тоном добавил он, — с комиссии на комиссию. Фигаро здесь, Фигаро там...

Он повторил последние слова уже в дверях, почти выпевая их высоким старческим голосом.

С минуту все смущенно улыбались, потом «мамонт» пробасил, что пора «подводить черту», а профессор Граб небрежно сказал, беря под мышку портфель:

— Осталось сформулировать.

Алымов энергично диктовал решение, размахивая кулаком над головою секретарши. Лидия Осиповна записывала такой скорописью, что перо подпрыгивало в ее руке. Катенин улавливал главное: «Одобрить», «Испытание в природных условиях», «Развернуть»... Как стихи, прозвучали сухие слова: «Смета на опытные работы», «Открыть финансирование»...

А затем Катенина поздравляли, как именинника, и Арон потянул всех обедать в ресторан. Отказались только профессор Граб, торопившийся на коллегую, да «мамонт» Бурмин. По телефону вызвали в ресторан Люду. Пировали долго и весело. Вадецкий превратился в приятнейшего застольного оратора и ухаживал за Людой, Алымов азартно пил и шумел на весь зал, а Стадник подсел к Катенину и, обнимая его, говорил ему в самое ухо:

— Я эту мечту люблю! Для меня она живая, понимаешь? Тормозит не тот, кто ищет совершенства, а тот, кто сразу кричит «ура». Я хочу ее увидеть, понимаешь?

Охмелевший Катенин соглашался и твердил свое:

— А я-то готовился драться! Драться!

Было уже поздно, когда Алымов отвез Катениных в гостиницу и на прощание, разом протрезвев, властно сказал:

— С утра примем меры, чтоб вас отпустили к нам насовсем. Послезавтра едем в Донбасс.

Отоспавшись, Катенин пришел в Углегаз и узнал, что уже зачислен в штат. Алымов носился из наркомата в банк, из банка в Госплан, из Госплана в Совнарком, и снова в Госплан, и снова в банк... Иногда он брал с собой Катенина, ошеломляя его буйной энергией и громким голосом.

— Папа, в Донбасс мы едем вместе! — заявила Люда, с восхищением наблюдавшая неутомимую деятельность Алыпмова.

Катенин отрезал с несвойственной ему властностью, навеянной Алыпмовым:

— Нет. Ты поедешь домой!

— Ну, папка! Это так интересно, я...

— Никаких разговоров! Сегодня же беру билет и телеграфирую Анатолию Викторовичу.

Люда рассердилась и расплакалась.

— Когда ты волновался, я была нужна тебе! А когда началось самое интересное, ты меня гонишь!.. Как ты изменился, папа! Ты зазнался. Да, да, ты зазнался от успеха!

Он страдал, видя ее заплаканное лицо, но не сдался.

Люда уехала за час до отъезда отца и Алымова в Донбасс. Алымов провожал ее. Люда понимала, что он это делает ради ее отца: Алымов прямо-таки влюблен в него! Даже тут, на вокзале, Алымов продолжал говорить о каких-то пологих пластах. Но с подножки вагона Люда послала отцу воздушный поцелуй, глядя на Алымова. Алымов засмеялся и тоже послал ей воздушный поцелуй, и это снова был момент, когда Люда почувствовала, что существует для него сама по себе, помимо отца.

— Славная у вас дочка, — сказал Алымов и продолжил без паузы: — Теперь самое главное, не теряя времени, обдумать, с чего мы начнем завтра.

Игорь и Никита вскочили в поезд и остались на площадке, продуваемой из двери в дверь шальным дымным ветром. Было тепло и душно, но от сквозняка и бессонной ночи обоих познабливало.

— Пойдем в вагон, — изредка предлагал Игорь.

Никита дергал плечом и продолжал стоять столбом. За два часа он не произнес ни слова. Брови сведены, губы сжаты. Рассвет озарил его угрюмое, повзрослевшее лицо.

— Ну чего ты отчаиваешься? — сердито сказал Игорь и обхватил плечи руками, чтобы немного согреться. — Случилось так случилось. Сам виноват. А казнитья нечего. Жизнь на этом не кончена. Схватим воспаление легких, вот тогда будет каюк.

У Никиты запрыгали губы.

— Как я домой приду, думал ты? — еле слышно сказал он.

Да, об этом думал и сам Игорь, и его отец, — Матвей Денисович даже письмо написал родителям Никиты. Но чем поможет письмо, когда нежданно-негаданно войдет в дом Никита и скажет: «Выгнали...»?

— Что было, простят, — строго сказал Игорь. — А вот что дальше будет, от тебя зависит.

— Ты-то хоть мораль не читай, — буркнул Никита и вдруг, отвернув лицо от Игоря, торжественно произнес: — «Она не ведает обмана и верит избранной мечте...» Читал ты такой стих?

Игоря даже знобить перестало, так он обрадовался, что нарушено двухчасовое молчание.

— Не помню. Постой-ка... Если бы ты все прочитал, а то по двум строчкам... Откуда они?

— Про Татьяну — знаешь такой стих?

— Ну как же, — пряча усмешку, сказал Игорь. — Пушкин.

— Пушкин?!

После этого Никита опять долго молчал.

Поезд бежал по рыжеватой степи, а земля продолжала поворачиваться вокруг своей оси, подставляя солнышку широкий бок с донецкой землей, с зелеными островками садов, с дымящими трубами заводов, с шахтными постройками и терриконами. А с площадки вагона казалось, что солнце выглядывает, как бы заигрывая, из-за черной остроконечной горы наваленной породы, что оно неумоимо пробивается сквозь дымы, сквозь угольную пыль, пропитавшую всю округу, — пробивается для того, чтобы все стало веселей, и разгладились сведенные брови Никиты, и ясные утренние мысли пришли на смену путаным ночным.

— На какую попало работу я все равно не брошусь, — сказал Никита. — Что, я плохо бурил? Буровые работы искать буду. Свет клином не сошелся на нашей экспедиции.

Игорь отметил про себя слово «нашей». Да, прирос парень. Уезжал — сердце отдирает. Оставить бы его... Впрочем, суровое решение отца — уволить — Игорь признал верным, хотя до последней минуты надеялся, что отец нелепо накричит на Сторожева, на Липатову, на самого Игоря и решит неожиданно, диковато, но мудро. У отца так случалось...

Прежнее решение отца — послать Никиту передовым на новые точки — Игорь до сих пор считал мудрым. Восемь дней Никита крутился там один: снял комнаты под жилье, нанял подводы, нашел питьевую воду возле будущих буровых точек, подрядил поварих, купил сена для тюфяков...

К приезду группы даже ужин был готов — и какой! — вареники с вишнями. В сарае, приспособленном под столовую, столы были накрыты домоткаными скатертями, а среди тарелок с хлебом, помидорами и кавунами стояли две бутылки с настоянной на вишнях водкой.

— А это откуда? — строго спросил Игорь.

— А это от меня лично с товарищеским приветом, — ухмыльнулся Никита и выглянул из столовой. — Вторая машина скоро? Вареники перепреют.

Теперь Игорь ругал себя толстокожим идиотом, а тогда... тогда он начальственно осматривал свое «хозяйство» и даже не подумал, ради кого затеяны и вареники, и настойка, ради кого щеголяет Никита в белой вышитой рубашке.

Вторая машина подкатила в густых клубах пыли. Первым лицом, вынырнувшим из рыжей пелены, было хорошенькое лицо коллектора Сони.

— Вот и мы! — закричала она своим жеманным голоском, протягивая руки. — Принимайте, Никитушка!

Никита сдвинул брови (совсем как сейчас в поезде), резко повернулся и пошел прочь.

Простить себе не мог Игорь, что не догадался пойти за ним и шепнуть доброе слово! Ну что стоило догнать его и рассказать, как просилась Лелька в группу, как умоляла Липатову послать ее вместо Сони, как гордилась успехами Никиты!.. Вероятно, следовало солгать, что Лелька послала привет, хотя на самом деле она ожесточенно ругалась до последних минут, а потом ушла в кернохранилище и так грохнула дверь, что тяжелый замок соскочил с кольца. Можно было и не лгать, а рассказать все как есть и про ругань, и про замок и добавить, что Лелька обязательно приедет через недельку... Не догадался! Разыгрывал из себя начальника, с упоением размещал людей, а потом уселся за ужином во главе стола и, как последний болван, набросился на вареники и на все прочее...

Очень довольные приемом, изыскатели и первую, и вторую порцию настойки выпили за Никиту, за то, чтобы он всегда был их передовым. Еще и тут не поздно было обнять Никиту за плечи и шепнуть ему на ухо несколько слов. Но миловидные хозяйки все подваливали вареников, и все казалось Игорю так хорошо и весело... Он как-то вдруг заметил, что Никита уже пьян и буйно весел. Зачем понесло к нему Соню, Игорь не понял. Положив руку на его плечо, она что-то лопотала с кокетливыми ужимками. Никита крутым разворотом всего тела смахнул ее руку:

— Уйди, стерва!

Соня попятилась, испуганно раскрыв рот. Никита с перекошенным от злобы лицом пошел прямо на нее:

— Вон! Вон отсюда, засоха несчастная!

Соня побежала, громко визжа.

Все повскакали. Одни возмущались, другие пытались урезонить Никиту. А Никита стоял, сам ошеломленный своим поступком.

Еще можно было уладить дело, заставить Никиту извиниться перед Соней, отругать его в своей среде... Но случилось так, что в это время Матвей Денисович позвонил по телефону — узнать, как устроилась группа. Девица с почты увидела в окно Соню и позвала ее, а Соня, всхлипывая, рассказала Матвею Денисовичу о случившемся. После этого Игорю пришлось подтвердить рассказ Сони. Хулиганство — это слово было произнесено и соответствовало истине.

Когда Игорь вернулся с почты, в сарае шел дым коромыслом. Многие ушли, но оставшиеся — Никитины дружки, а с ними местные молодухи —

начали пир сначала. Игорь попытался прекратить кутеж, но Никита с пьяной ухмылкой заявил, что «территория тут вольная», время нерабочее, Соня получила по заслугам, потому она и есть стерва, а пьет он на свои кровные, заработанные... Он выгреб из кармана и кинул на стол все деньги, какие у него были:

— Гуляю и буду гулять до утра! Угощаю всех, понял?!

На исходе этой ночи отчаявшийся что-либо сделать Игорь увидел скачущую по степи Ранетку — рабочую лошадку экспедиции. Ранетка мчалась так, как ей не случалось, наверно, со времен ее далекой молодости. Возле Игоря лошадка остановилась, тяжело дыша и роняя в пыль хлопья пены, с нее соскочила Лелька. Лелька бросила Игорю поводья, взглядом сказала: «Эх ты, шляпа!», — но произнесла лишь одно слово:

— Где?

Удивительно, эта девчонка ни на миг не запнулась, увидав Никиту в обнимку с двумя пьяными молодками. Подошла, потянула за рукав:

— Пойдем!

Позволила Игорю показать, где устроился жить Никита, но помощь его отвергла, сама довела, сама втолкнула по лесенке в дом.

Игорь присел на лавочку у ворот. Он был недоволен собой и удивлялся, какая, оказывается, бывает сумасшедшая любовь и как трудно руководить людьми со всеми их отношениями и характерами...

— Вот дурачина шальной! — доносился из открытого окна голос Лельки. — Ложись, горюшко мое, дай сапоги сдерну! Надо ж так нализаться, дурья твоя башка!

Слова были неласковые, а голос ласкал.

Никита что-то бормотал. Голос Лельки становился все тише. Игорь понимал, что следует уйти, но так сильна была усталость после пережитых волнений и такое ясное занималось утро, что подняться никак не мог.

Он очнулся от грохота и звона. Что-то упало и разбилось в доме, там, за окошком. Смутные звуки борьбы, приглушенные голоса, яростный выкрик Лельки:

— Как ты смеешь! Как смеешь! Поганым таким!..

Опять что-то грохнуло. Стукнула дверь. Заскрипели ступеньки крыльца.

Мимо Игоря, не заметив или не пожелав заметить его, быстро прошла Лелька. Отвязала Ранетку, погладила по остывшей, влажной шерсти, взобралась на спину лошади и медленно поехала той же степной дорогой, какой прискакала час назад..

Потом у Игоря хватало неприятностей. За два дня в центральной базе

экспедиции не забыл о Лельке и не видал, встречалась ли она с Никитой. Получив расчет, Никита накануне отъезда долго писал письмо, мусоля карандаш и перечеркивая слова. А ночью, когда вышли, чтобы поспеть к поезду, их догнала Лелька.

Игорь пробовал заговорить — разговора не получилось. Отстал — все равно те двое молчали как немые.

До поезда оставалось четверть часа. Лелька подсчитала, что ей придется бежать обратно, иначе опоздает на работу. Помолчали.

— Я тебе всю правду написал. Я не хотел по-подлому, — вдруг сказал Никита, и губы у него затряслись.

— Я знаю. — Лелька обняла его и поцеловала в губы. — Ты жди. Жди! — добавила она и, не прощаясь с Игорем, побежала обратно.

Никита и Игорь смотрели, как удаляется ее темная фигурка по мутно белеющей дороге — бегом, бегом, бегом...

Игорь зашел в дом первым, Никита остался на улице. Кузьма Иванович прочитал письмо Матвея Денисовича про себя, сказал: «Так!» — и начал собираться на работу. Потом спросил: «Где же он?» Узнав, что на улице, усмехнулся: «Стыдно на глаза показаться?» И ушел.

Зато мать схватила Игоря за руку и подробно допросила, что и как случилось. По-настоящему встревожила ее не выходка Никиты и не увольнение с работы, а то, что тут замешана любовь. Кто она, та девушка? Чего от нее ждать? А когда вошел Никита, обняла, заплакала и начала кормить и сына, и его товарища.

Игорь пробежал весь день по делам экспедиции, а к вечеру снова зашел к Кузьменкам. Мать кивнула наверх — там Никитка.

В комнатке под крышей было жарко, Никита открыл обе двери и сидел за столом в трусах и майке. На столе, связанные, лежали те книги, что Никита увез с собою прошлый раз, таскал с места на место, да так и привез назад. Сам Никита читал Пушкина.

— И почему это я раньше красоты не понимал? — задумчиво проговорил он. — Вот бывает другой человек — и малограмотный, и сиротой рос, а понимает. Я только песни любил.

Не понимал... любил... Задумываться стал Никита?.. Игорю хотелось спросить, как он собирается жить дальше, но Никита и сам заговорил об этом:

— Отец в шахту гонит, а я не хочу. Я ж буровой мастер. Говорят, в геологический техникум таких, как я, в первую очередь принимают. Если семилетка есть.

— А у тебя есть?

— Документ есть, а знаний нету. Готовиться буду. Палька Светов подсобит, я думаю. Вместе когда-то в школу бегали.

Знакомое имя напомнило Игорю девушку с горячими карими глазами и мягкой речью, таившей в каждом слове девичью поощряющую смешинку. Сестра Светова? Кажется, да. Катерина. А что, если зайти к Павлу и повидать ее? Пригласить в кино или погулять? Отец надавал поручений дня на три, вечера как-то скоротать нужно...

— Сторожев думает: выгнали, так и пропал! — говорил Никита. — Я себя не выгораживаю, а только рано он на мне крест поставил. Я еще покажу ему Никиту Кузьменко!

— Покажешь, если не сорвешься. — И, не сдержавшись, спросил. — С Лелей-то как у тебя?

Никита счастливо улыбнулся и ответил пословицей:

— Суженого на коне не объедешь.

Игорь подумал не о нем, а о себе: бывает же на свете такая любовь, почему ж у меня не было? Гулял с девушками, изменял, влюблялся и остывал, а где-то, значит, и меня ждет суженая, которую не объедешь?

От Никиты Игорь завернул к Световым, спросил Павла, а глазами поискал Катерину. Мать не знала, когда придет Павел.

— Я в садочке подожду.

Ему нравилось само слово «садочек» и нравились здешние молодые садочки, тонкие ветви, склоняющиеся под грузом яблок, жужжание пчел, пряный запах паданок. В этом крае, где господствовал черный цвет угля, свежесть недавно посаженных деревцев была особенно радостной.

— Яблочком угоститесь, — сказала вдогонку мать.

Игорь сорвал и надкусил яблоко, обошел первую яблоньку и вдруг увидел прямо перед собой очень стройные загорелые, женские ноги. Стоя на табуретке и пристроив плетенку между ветвями, Катерина обирала яблоки.

— А я думаю: чьи это прекрасные ножки прямо с неба спускаются? — весело заговорил Игорь. — Здравствуйте, Катерина!

Она оглянулась, сухо сказала:

— Здравствуйте.

— Не узнали?

— Узнала. Держите плетенку.

Она подала плетенку, оправила платье и осторожно спустилась, нащупывая босой ногой землю. Игорь с удовольствием смотрел на узкую ступню, искавшую опоры, на крепкую фигуру, в которой все

привлекательно. Однако вид у Катерины был хмурый, на Игоря она даже не взглянула. Стояла, отвернув красивое, равнодушное лицо.

— Что вы такая сердитая, Катерина? Или я не вовремя?

Катерина не ответила и впервые глянула ему в лицо. Станный это был взгляд — темный, глубокий и очень выразительный, только не понять было, что он выражает. Она стояла совсем близко, в простеньком платье, сбившемся у пояса, босая, с небрежно закрученной косой, — обыкновенная дивчина, собиравшая яблоки со своих четырех яблонек. А смотрела издали, будто с другого берега.

— Я вашего брата жду. Можно мне посидеть с вами?

— Сидите. Только мне яблоки обобрать нужно.

— Так вместе веселее!..

Она молча пересыпала яблоки в большую корзину и, повесив на локоть плетенку, пошла к третьей яблоне. Игорь переставил табуретку, предложил свою помощь.

— Лезьте, если не упадете, — равнодушно разрешила Катерина. Скрестила руки под высокой грудью и молча наблюдала, как Игорь снимает яблоки, изредка подсказывая: там еще одно!

Игорь припоминал, как легко и весело было с нею в прошлый его приезд, как сама собою завязалась между ними приятная, волнующая игра и как не хотелось уезжать от нее в тот вечер. Будто подменили ее!

Игорю скоро надоело возиться с яблоками, он соскочил с табуретки и сказал, стараясь пробиться через ее отчужденность:

— Все! Поэксплуатировали — и довольно. Давайте-ка сходим в кино или в парк. Я же гость, один заблужусь.

— Не могу я, — качнув головой, сказала Катерина. — Да и брат вот-вот придет. Вы же к нему пришли.

— А мне с вами приятней.

В карих глазах мелькнул давний лукавый огонек, но и огонек был далеко — на другом берегу.

— Спасибо, мне сегодня некогда.

— А завтра?

— И завтра вряд ли пойду.

Игорь чувствовал, что настаивать глупо и обидно. Может, она другого ждет? Или другой обидел? Но уйти он уже не мог: вот такая, замкнутая и непонятная, она привлекала сильнее, чем раньше, когда сама приманивала его.

— Я вспоминал вас, Катерина. Это плохо?

— Вспоминать никому не заказано.

— Шел сюда и надеялся вас увидеть.

Катерина прикусила губу, не ответила.

— А вы ни словечка, ни взгляда. Бережете их?

Катерина принужденно рассмеялась, лукавый огонек опять блеснул издалека.

— Мои словечки уронены в речку.

— А взгляд?

— А взгляд, вот он. Так что?

И опять какая-то темная глубина приоткрылась, дохнула холодом и закрылась.

— А вот и Павел пришел.

Пока Игорь здоровался с ее братом, Катерина скрылась. Игорь долго сидел с Палькой в саду, согласился остаться к чаю, но Катерина больше не выходила, а спросить про нее Игорь не решился. Получив обещание, что Палька поможет Никите подыскать работу и подготовиться в техникум, Игорь собрался уходить. У калитки окинул взглядом дом — Катерина сидела в одном из окон, прижавшись щекой к наличнику.

О чем думает? О ком?

Шагая по темным улицам, сам над собой посмеивался. Далась мне эта девушка! Что мне она? Зачем? Это все Никита с Лелькой, их сумасшедшая любовь...

Днем он почти не вспоминал Катерину, а вечерами мрачно подавлял желание зайти к Световым. Когда сел в поезд, облегченно вздохнул — мне здесь больше не бывать, скоро в Москву, в институт. Мало ли там девушек поинтересней Катерины!

Палька своеобразно выполнил обещание, данное Игорю. — Никакой работы тебе не нужно, — сказал он Никите. — Садись и зубри, поступай в техникум. Работать пойдешь, когда начнется подземная газификация угля.

— Подземная газификация? А чего это?

— Переворот в угольной промышленности — вот что это такое. И нам будут нужны толковые, грамотные люди.

— А где она? Учреждение тут или что?

— Никакого учреждения пока нет, — сердито ответил Палька. — А будет все. Ты, главное, учись! Помочь я тебе не могу, некогда. Садись сам и рубай. Особенно налегай на химию. Она царица наук. С литературой

можешь не надрываться, она нам не понадобится. Выучи, чтоб не провалиться, и хватит.

Никите все же хотелось понять, что за подземная газификация и когда можно ждать начала работ. Родители потерпят, пока он готовится в техникум, но после приемных испытаний надо же зарабатывать. Он вспомнил Лельку, ее таинственное «Жди!» Что она выдумает? Кто знает... Но деньги в любом случае нужны.

Объяснения Пальки были пылкими, но неясными. И все говорилось в будущем времени, а Никита не знал, что ему делать сегодня. Ликвидация подземного труда — это удивило. И насторожило: замирает Палька! Но Палька с грустью упомянул Вову, а потом как-то случайно проговорился о ребенке: ребенок Вовы будет стоять у пульта управления на станции, выложенной белыми кафельными плитками...

— Ребенок?.. Вовы?..

Так Никита узнал тайну, еще не открытую родителям. Тайна растрогала его и приблизила к нему неведомую газификацию; во всем, что говорил Палька, пульт управления и кафельные плитки были единственными точными подробностями.

Никита отложил Пушкина и взялся за химию. Царица наук показалась чертовски скучной, он перезабыл все, что когда-то учил с грехом пополам, даже H_2O ... Но ко всем формулам сейчас странным образом примыкали взволнованные мысли о ребенке погибшего брата, и по-новому обострившееся горе, и жалость к Катерине, и тревожное ожидание перемен в собственной жизни...

Порой Никите хотелось ущипнуть самого себя: я ли это сижу над учебником? Да, говорил он себе, это именно я, и пусть они не воображают, что раздавили меня.

«Они» тоже присутствовали тут — механик Сторожев и стерва Соня.

Палька даже не задумался над тем, правильно ли он советовал Никите повременить с поступлением на работу. Он жил в своем выдуманном и все же реальном мире поисков и постижений. После встречи с Русаковским он вернулся к химии и терпеливо изучал химию газов и все, что могло ему понадобится. Теперь он уже не спешил немедленно найти недающееся решение; он вооружался знаниями, чтобы оно открылось ему само, когда он поймет все необходимые условия газообразования. Он заранее отказался от всяких компромиссов — процесс подземной газификации должен исключать подземный труд.

Учеба была кропотливой, часто нудной. Он просиживал в закуте за книжными стеллажами целыми днями, до закрытия библиотеки. Иногда, наскоро пообедав, он уходил на ночь в лабораторию: там хорошо думалось. Дома он закрывался на ключ, требуя, чтобы его не трогали, «даже если загорится дом». Он никуда не ходил, никого не видел. Из окна он иногда замечал Сашу с Любой, они бродили по улице, прижавшись друг к другу. Пальке хотелось позвать Сашу и рассказать ему обо всем, но удерживался: потом! С Липатушкой он так и не помирился, совесть мучила его, он решил попросить прощения, но потом! Потом, когда можно будет потратить время.

Как ни странно, ненаглядная была с ним и не мешала ему. Она сидела возле окна, когда он работал дома, и прекрасно умещалась напротив него в библиотечном закуте; отражение ее золотисто-рыжих волос дробилось в лабораторных колбах, ее неверная улыбка возникала между двумя рядами формул. Ему почти не нужно было видеть ее настоящую, настолько проще и теплее было с воображаемой.

После лукавого обмана того вечера, когда муж оказался дома, Палька не ходил к ней четыре дня, а потом отомстил ей по-своему: встретив, не позволил себе ни одного упрека, наоборот, восторженно поблагодарил за интересное знакомство и долго расхваливал ее мужа. Татьяна Николаевна согласилась один раз и второй, потом заскучала и попробовала перевести разговор, но Палька продолжал восторгаться ее мужем. Когда он наконец предложил ей пойти в кино, Татьяна Николаевна быстро согласилась и весь вечер была на редкость ласкова.

— Вы молодец, что свели меня в кино, — сказала она на прощанье. — Мой ученый супруг никогда не успевает. И с вами веселей, вы еще не насквозь пропитаны химией!

— Это не за горами, — независимо ответил Палька.

— Так будем пользоваться оставшимися днями, — загадочно сказала Татьяна Николаевна, берясь за ручку тяжелой гостиничной двери. — Адио, мио каро!

Этой итальянской фразой она и раньше пользовалась, чтобы подразнить его. Он успел узнать, что она значит, и бросил ей вслед:

— Мне больше нравится: мио каро кариссимо!

После этой встречи он вытерпел неделю, питаясь воспоминаниями и надеждами. Затем позвонил по телефону:

— Я собираюсь в кино. Взять для вас билет — или ваш супруг уже перевоспитался?

— Возьмите, мио каро кариссимо.

— Я вас жду через полчаса у цветочного киоска.

Она пришла через сорок пять минут. Но еще оставалось полчаса, чтобы погулять по вечерним улицам. Тени от листьев узорами лежали на тротуарах и слегка покачивались. Татьяна Николаевна разрешила взять ее под локоток. Теплые пальцы легли на его ладонь.

— Где вы пропадали так долго?

— Я боялся испортить впечатление. Вы бываете злая. А когда вы сидите у меня в уголку и смотрите, вы такая хорошая!

— А я часто бываю в вашем уголку?

— Частенько. И там вы никогда не злите меня и не мешаете... А я так занят сейчас, если бы вы понимали! Прямо пыль столбом и шерсть дыбом!

— О-о! То-то у вас такой взлохмаченный вид!

После его признаний она всегда пыталась спрятаться за пустяковой болтовней. Но он не хотел этого. Неделю работал как черт. Сегодня его час. Любимая с ним. Ей, ей одной он доверил все. Она должна поддержать его, должна идти рядом, как друг, как соучастник его надежд.

— Милая вы моя, хорошая, — сказал он, сжимая ее пальцы, — я у самого порога, понимаете? Ничего не открыл, ничего до конца не решил, но отбросил все, что не годится! И я его поймаю за хвост, вот увидите!

Она сумела оценить его увлеченность. Кто знает, бредит ли он попусту или действительно стоит на пороге большого успеха? Он занимал ее мысли; ей не хватало его, когда он пропадал надолго. Но ее пугала доверчивая неустойчивость Пальки; она терялась оттого, что он без спросу превратил ее в соучастницу, поверенную и возлюбленную. Он видел в ней только то, что хотел найти в ней, все остальное просто отметал, как помеху.

— Все вы, мужчины, таковы, — шутливо вздыхая, сказала она. — Вы стремитесь к женщине только для того, чтобы сделать ее свидетелем ваших побед.

— А как же?! — воскликнул Палька. — Я хочу, чтобы вы все знали и радовались, когда я поймаю свою судьбу. Как же иначе? Зачем же иначе любить?!

Была в этом признании такая беззаветность, что Татьяна Николаевна дрогнула от радости, испугалась и, защищаясь, кокетливо вздохнула:

— А в результате слушаешь кучу непонятных вещей!

Он даже не заметил, что признался в любви. Ее слова и тон обидели и удивили его.

— Разве я вам рассказывал скучно и непонятно?

Она постаралась поставить его на место, чтобы вернуть себе привычное спокойствие.

— Существуете не только вы...

— К черту других! Тем лучше, если вам с ними скучно!

— Я этого не сказала.

— Вы это думали. И я очень рад! А теперь пойдете в кино, а то опоздаем. Вы знаете, как я вас называю?

— Как?

— Ненаглядная. Понимаете? Не-на-гляд-на-я...

Она чуть усмехнулась. Должно быть, слово показалось слишком простым.

— Не дошло? — небрежно спросил Палька.

— Вы очень смешной, Павлуша. Такой сердитый воробышек.

Он хотел ответить ядовито, но не мог. Стало так обидно, так горько, что остроты не шли на ум. Боже мой, думал он, зачем она все уничтожает, все губит вздорными словами?

В фойе кинотеатра она болтала о пустяках. Он смотрел в ее любимое лицо, ловил переливы света в ее волосах. Ненаглядная! По-прежнему глядишь — не нагладишься. Но обман рассеялся: чужая. Ни вдохновения, ни участия не жди.

Фильм был плохой, похожий на многие другие фильмы. В иное время Палька смотрел бы снисходительно: он любил кино. Но в состоянии душевного прозрения, посетившего его в этот вечер, он холодно отмечал заимствованные приемы, приевшиеся ситуации: авторы фильма использовали *готовое*, фильм струился по привычному руслу, можно было заранее сказать, что сейчас случится и чем все кончится. Некоторое время Палька развлекался, отгадывая. Вот мчится белогвардейская конница, а по дороге идет старичок. Сейчас его полоснут шашкой. Полоснули. Пулеметчик ранен, сейчас героиня ляжет к пулемету. Легла, стреляет. Сейчас начнется пожар. Начался. Только что ветра не было, деревья стояли неподвижно. А сейчас рванет ветер. Рванул, деревья закачались, гнутся под ураганом...

Как это происходит? Один человек открывает новое, находит в искусстве, в науке, в технике то, чего не было до него. Другие устремляются вслед и *повторяют*. Когда за что-то берешься, память торопливо подсказывает *известное*. Оно легкое, оно никого не покоробит и борьбы не вызовет. Спокойно. Прилично. Китаев одобрит. А я не хочу! Не хочу!

На экране весело — не страшно, а весело — горели макеты домов. Палька вспомнил, как однажды в поселке горел вот такой же, но настоящий дом. Огонь полз, кидался, отступал и снова кидался. Трещали и корежились

балки. Дом сопротивлялся, огонь брал его с бою. А рядом с домом обгорали яблони, лопались от жара налитые яблоки, шипели и стонали свежие ветви...

Палька с досадой смотрел на легкомысленный пожар, бушевавший на экране. И вдруг острая мысль скользнула в его мозгу, кольнула, задержалась, развернулась... Пожар! Подземный пожар! Уголь — нераздробленный, цельный уголь горит в пласте. Эти страшные подземные пожары, раз начавшись, продолжаются иногда месяцы, годы... Чтобы потушить такой пожар, засыпают и плотно замазывают все входы, все щели... Для пожара только и нужно — воздух. Да, да, да! Пласт угля. Канал, по которому струится воздух... И начальный возбудитель огня.

До чего же просто! Надо возбудить искусственный пожар, обеспечив подачу воздуха и вытяжку газа. Но будет ли горючий газ или один дым? Это зависит от подачи воздуха, значит, нужно только рассчитать! Правильно рассчитать, какие условия нужны для химического процесса. Газообразование будет зависеть от дозы подаваемого воздуха. Или кислорода? Боже, до чего просто! Но каналы для подачи воздуха и вытяжки газа... они потребуют предварительных подземных работ, первоначальной проходки? Или можно обойтись бурением с поверхности?..

Нет, я дурею! Это слишком просто! Если бы это было так просто, все давно додумались бы!..

Кто сказал: «Все гениальное просто»? всю жизнь воспринимаем привычные понятия и в кругу привычного ничему не удивляемся. Кому придет в голову удивиться, что электрический звонок звонит? Но кто-то первым открыл, что с помощью электричества можно звонить! Сотню лет назад дана идея газогенератора. Принцип. Потом совершенствовали то одно, то другое. Но принцип остался неизменным. Сто лет уголь дробили, значит, я в новом, подземном газогенераторе нужно дробить. Я повторял привычное. А новое решение — вот оно! Стоило только выскочить за пределы привычных понятий...

...А вдруг это неверно? Вдруг это чепуха, и никакого газа не получишь, только дым?

Да нет, почему же? Два отверстия с поверхности в глубину, соединенные узким каналом. По одному — сжатый воздух или кислород, по другому выходит газ.

Нужно немедленно зарисовать, прикинуть так и этак на бумаге... Отстраниться от наброска, представить себе, как оно выйдет на угольном пласте...

Палька вскочил и увидел себя в темном зале под расширяющимся

столбом света, падающим на мерцающий экран, где кто-то в кого-то стрелял. Сзади шипели: «Сядьте!» Татьяна Николаевна вскинула глаза:

— Вы что?

— Я подожду там.

Он побежал, пригнувшись, по проходу.

В фойе толпилась публика. В пустом коридорчике у билетной кассы уборщица подметала пол.

Палька притулился у закрытого окошка кассы и принялся лихорадочно зарисовывать в блокноте схему процесса так, как она ему померещилась.

Уборщица ворчала, но он не отрывался от чертежа. Когда метла задевала его за ноги, переступал с места на место.

— Який же ты упрямый, голубь! — сказала уборщица. — Своего угла нету, что в кинe пишешь?

Палька ответил не глядя:

— Придумал! Можете вы понять? Придумал!

— Ну придумал, а барышню свою куда девал? Все уже домой пошли.

— Как пошли?!

Палька ринулся к выходу. Последние зрители, закуривая, выходили из кинотеатра. Он выбежал на улицу и помчался к гостинице, заглядывая в лица женщин. Он никак не мог вспомнить, какое на ней платье, какие туфли, кидался к каждой стройной женской фигуре... И вдруг увидел Татьяну Николаевну. Она шла своей легкой, размашистой походкой и так отличалась от всех женщин, что он удивился — как он мог принимать за нее других!

Некоторое время он шагал почти рядом с нею и по ее склоненному профилю, по сжатым губам понял, что она злится. Хотелось по-мальчишески испугать ее, взять под руку, рассмешить, а потом рассказать ей все-все, что сейчас открылось ему... Но умиловать ее будет трудно, придется долго объясняться. А времени для этого нет.

Татьяна Николаевна остановилась у цветочного киоска и выбрала две розы. Продавец любезничал с нею, она улыбнулась и сказала: «Спокойной ночи!» Легким, веселым шагом взбежала по ступеням подъезда... Гордая! Скрывает свою злость перед продавцом, перед швейцаром и перед мужем. Это уж точно!

Несколько лепестков упало на ступени. Палька нагнулся, как бы завязывая шнурок на ботинке, и поднял их. «Доказательство, что проводил!» Даже самому себе не хотелось признаться, как приятно сунуть в карман эти оброненные ею лепестки.

В лаборатории все стояло на местах, как будто ничего не случилось.

Палька открыл ящик своего стола и в упоении разорвал на клочки все, что нагородил за последнее время. Все к черту! Решение — вот оно! Ясно, убедительно, до предела просто.

Да, но это только идея. Ни одного расчета, ни одной формулы. Что тут нужно? Физика, химия, горное дело, математика. Нужно бурить... Как? Нужно дутье... Какое? Нужно горение определенной температуры и силы. Какой именно?.. Все это нужно понять, определить, рассчитать.

Я еще ничего не знаю. Я еще не начал.

Он растерялся: открытие, казавшееся таким великим и простым час назад, даже несколько минут назад, отодвинулось в дальнюю даль. И путь к нему один — огромная, длительная, методическая работа. Каждый пустяк — груда книг, чертова пропасть проблем и проблемок. До первого примитивного опыта уйдет уйма времени. Ошибки, поиски, исправления... Сколько же времени до светлого зала с кафельными плитками?

Год? Два? Пять?..

Но это невозможно!

Спокойно, Палька! Спокойно. Запишем главное, что нужно проделать для того, чтобы решение стало технически обоснованным проектом.

Он записывал — сперва четким почерком отличника по чистописанию, потом торопливыми каракулями. Заполнил страницу, перевернул, заполнил вторую. С ума сойти! И это только подступы...

Через час он мужественно сказал самому себе, что он невежда в большинстве вопросов, какие надо решить, ему понадобятся годы, чтобы справиться с ними. Позволят ему заниматься этим и только этим? Китаев взорвется... Наплевать! Буду сидеть как проклятый. Пойду на выучку к кому угодно, в шахты, на Коксохимзавод, к буровикам... Это что! Но сроки! Сроки!

Чудесное открытие, сулящее промышленный переворот, будет лежать в столе, пока Павел Светов учится и доучивается, думает и додумывает?..

Ну нет!

Он побежал наверх, в общежитие. Саши не было дома.

Палька написал на клочке: «В любой час ночи спустись в лабораторию, очень важно!!!» Положил записку на стул, стул поставил посреди комнаты.

Спускаясь по лестнице, он думал о Саше с необычным, восторженным уважением. Саша — самый ученый, у него ум исследователя. Аналитический ум. И он педантичен, он ничего не упустит, ни о чем не забудет.

Ноги привели Пальку к дому, где жил Липатов. Дурацкая ссора, до

того ли теперь! Липатушка — горный инженер, опытный практик и все ходы-выходы знает. Достать, добиться, заручиться поддержкой, двинуть по партийной линии...

Липатушки не было дома. Где болтается до полуночи этот старый черт? Куда они все разбегаются по ночам?

«Липатушка, у меня для тебя срочная записка от общей знакомой. Я в лаборатории. В любой час ночи приходи обязательно!»

Свернув листок трубочкой, Палька сунул его в замочную скважину и подмигнул самому себе: то-то старый греховодник помчится среди ночи за несуществующей запиской!

Сторож долго ворчал спросонок, прежде чем впустить Пальку в институт. Палька пробовал вернуться к деловым размышлениям, но не мог. Сколько недель он мучился, мечтал и снова мучился один! Теперь его трясло нетерпение, ему были необходимы Саша и Липатушка — оба сразу, немедленно.

Липатов вошел и от двери угрюмо буркнул:

— Ну, давай. Что за срочность?

Не вставая, Палька выдвинул ногою стул.

— Сядь, Липатушка. Отдышись.

— Слушай, ты! Или давай записку, или... опять фокусы?

Он еще ничего не знал, он не мог знать, что вся их ссора — дребедень, вздор. Он жил в мире, где еще ничего не изменилось.

Палька ринулся к нему, обнял, силой повалил на стул.

— Липатушка, чертушка, не злись! Неужели нам ссориться?

— Тогда не надо было... — ожесточенно начал Липатов.

— Не надо было! Каюсь! Ка-аюсь!.. А теперь забудем! Тут такое дело!..

— Знать ничего не хочу! Давай записку или...

— Никакой записки у меня нет, — перехватывая руки Липатова, сказал Палька. — Я должен был тебя выманить, потому что...

Липатов рванулся и отбросил его, но Палька отскочил к двери и стал перед нею, раскинув руки.

— Ты Ленину веришь?

— При чем здесь Ленин? Ты мне...

— Читай!

Все еще загораживая дверь, он схватил с полки книгу и развернул ее перед носом Липатова. Липатов недоверчиво проглядел начало, потом потянул книгу к себе и стоя прочитал статью. Снял кепку, сел и перечитал.

— Да, — пробормотал он. — Ну и что?

Палька отошел от двери, достал условия конкурса и положил их перед Липатовым. Липатов и это прочитал, уже заинтересованный. Впервые без злости поглядел на Пальку.

— Ну и что?

— А теперь смотри! — заговорил Палька, захлебываясь. — Я бился как сумасшедший! Ты понимаешь, все данные твердят: надо предварительно дробить уголь. Газогенератор, знаешь? Но я подумал: век химии! Да? Раз век химии, то не может быть! Сто лет считали! А я все откинул! Откинул!

Выговорившись, Палька показал схему. Липатов долго разглядывал ее, потом сказал:

— Знаешь, похоже. Очень похоже.

— Надо немедленно начинать работать, Липатушка. Немедленно. Тебе, и мне, и Сашке. И сделать мировой проект. А?

— Я-то зачем? Ты и сам сделаешь.

— Дурень, ты погляди, сколько тут возни! А дело-то какое! Его надо двигать на полный ход! Это ж революция! Экономика высшей стадии!..

Войдя в лабораторию, Саша Мордвинов застал друзей за столом, они что-то писали или подсчитывали. Оба какие-то встрепанные. И эти встрепанные дружки потащили его к столу и заговорили разом, один размахивал томом Ленина, другой какими-то скрепленными листками.

— Спятели вы, что ли? Или спирту хлебнули?

— Спирт — это идея! — воскликнул Липатов. — Но спирт после. Палька, давай по порядку!

Оба нетерпеливо ждали изумления, восторгов или, на худой конец, одобрительного слова. Но Саша все прочитал и перечитал, потянулся к наброскам, рассмотрел их, прищурился, буднично спросил:

— Сжатый воздух? Или кислород?

Палька признался, что сам еще не знает.

— А каналы бурением?

— Даже если обычной проходкой, и то хорошо, это ж самая малая часть работы, — вставил Липатов, оправдываясь, будто он был автором идеи.

— Бурением тут сложно, — в раздумье сказал Саша. — Расчеты еще не делали?

— Расчеты мы будем делать вместе. Не сумею я один. — Палька самолюбиво покраснел и добавил: — Может, и сумею, но проканителюсь.

Саша размышлял, покачиваясь и не глядя на друзей.

— Погоди, погоди!.. — вдруг пробормотал он. — Подземные пожары... Честное слово, об этом есть у Менделеева! Да, да, да! Я еще прочитал и подумал: интересная мысль... У меня и карточка должна быть. Пошли ко мне!

Палька побежал бы, но Саша шел неторопливо, а Липатушка задержался в лаборатории, крикнув, что догонит.

У Саши было множество карточек с выписками. Карточки стояли в картонных коробках в каком-то сложном порядке. Пока Саша перебирал карточки в одной из коробок, Палька из-под его руки прочитал аккуратную надпись: «Прогнозы». Это было похоже на Сашу. Палька написал бы «Мечты!» или «К выполнению!»

У Пальки зудели руки, зудел язык, было нестерпимо сидеть молча и смотреть, как Саша методично перекидывает карточки двумя пальцами.

— А вот и мы! — от двери крикнул Липатов.

Мы — это был он сам и спирт, похищенный в лаборатории из тайников Федосеича.

— Не нашел? — вскользя поинтересовался Липатов и начал рыться в холостяцком хозяйстве Саши.

— В тумбочке есть мензурки, — через плечо бросил Саша и вдруг взволнованно выдернул карточку. — Вот она! Целых две выписки!

Замер с мензурками в руках Липатов, замер, открыв рот, Палька.

Саша прочитал торжественным голосом:

— «Много слышал я про пожары каменных углей. Один случился в самом Кизеле, но успели затушить, просто преградивши доступ воздуха из всех отверстий. Другие же пожары не могут потушить годами. По поводу этих пожаров каменноугольных пластов мне кажется, что ими можно пользоваться, управляя ими и направляя дело так, чтобы горение происходило как в генераторе, то есть при малом доступе воздуха. Тогда должна происходить окись углерода, и в пласте должен получаться „воздушный“, или „генераторный“ газ».

Липатов шумно восторгался, а Палька совсем притих, только спросил пересохшими губами:

— А вторая?

— «Настанет... такая эпоха, что угля из земли вынимать не будут, а там, в земле, его сумеют превращать в горючие газы, и их по трубам будут распределять на далекие расстояния».

— Это же то самое! — закричал Липатов. — То самое!

— Первое написано в восемьсот восемьдесят девятом году, в связи с Уралом, — уточнил Саша. — А второе еще раньше, в восемьсот

восемьдесят восьмом году, в статье «Будущая сила, покоящаяся на берегах Донца».

— Мы ж ее читали студентами, — пробормотал Липатов, — и вот поди ж ты — не углядели.

Палька молчал. Ошеломленно, почти испуганно. Несколько десятилетий великая идея гения ждала его!

Липатов разлил спирт, поднял мензурку.

— Ну, дружки, за подземную газификацию угля!

— За подземную газификацию угля! — сказал Саша, вставая.

— За подземную газификацию угля! — шепотом повторил Палька.

Выпили. Палька стоял, сразу побледнев. Липатов налил по второй.

— А эту за что?

— За дружбу! — выкрикнул Палька. — За дружбу, за успех, за химию, за промышленный переворот... За все!

— За все! — мечтательно подтвердил Саша.

— За все так за все! — сказал Липатов и опрокинул в горло спирт. — По третьей, что ли?

— Нет! — твердо сказал Палька. — Сейчас надо работать!

— Сейчас надо спать, — поправил Саша. — И вот что, друзья. Мне до отъезда три недели осталось. Что успеем, то успеем. На три недели я — ваш.

— Да в три недели мы горы свернем! — закричал Палька с хмельным восторгом.

— Не заносись, Палька. Только начнем сворачивать.

— И то не худо, — рассудил Липатов.

— Я у тебя ночую, ладно? — Палька уселся на койку и подсунул подушку под спину. — Ох, ребята, до чего ж это все...

Липатов привалился к его плечу, толкнув кулаком в бок.

— Тут главное — выработать точную систему работы, — сказал Саша, присаживаясь на край койки.

Рассвет застал друзей вместе.

— И если разрешить проблему продольного бурения по заданному направлению... — говорил Саша.

— Утро уже! — удивился Палька, заметив бледный отсвет на стекле, и, сладко зевая, подошел к окну.

Мглистый туман еще лежал на улицах города. Акации в сквере напротив общежития казались черными, а верхушки пирамидальных тополей уже ловили свет утра. За таинственными впадинами раскрытых окон во всех домах стояла сонная тишина. Тускло поблескивали железные

крыши, серыми пятнами расплывались черепичные. Горизонт обозначался то одиночными, то выстроившимися в ряд заводскими трубами и бесчисленными черными холмами терриконов. Между двумя из них в желтоватых слоистых дымах выползало неяркое солнце.

— У-у-у-ух, здорово! — воскликнул Палька, набирая полную грудь прохладного, припахивающего дымком воздуха, а вместе с ним всю неохватную радость существования. Но радость вдруг как бы споткнулась. Он повернулся к друзьям и совсем тихо проронил: — А Вовка-то... не дожил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РЕШЕНИЯ

1

Недавно прошел сильный дождь, и земля дымилась, а если взглянуть вверх — видно было, как слоится воздух, пронизанный испарениями. Большие капли набухали на листьях и падали: звонко — на камни, мягкими шлепками — на землю. Дорожки раскисли, а перед самой калиткой разлилась огромная лужа.

Кузька таскал камни, пытаясь замостить лужу, ему помогала Галинка — за последнюю неделю она совсем прижилась в доме Кузьменко, вернее, в сарае, что стоял в глубине двора.

Люба бродила по вязкой дорожке взад-вперед, взад-вперед. Она не могла заставить себя уйти на веранду, где сидели родители с Липатовым и Катериной. Мать то и дело выглядывала в сад:

— Не идут?

Она спрашивала обо всех троих, но Люба понимала, что сердцем она ждет одного — Никиту...

Конечно, Никите пора бы вернуться. Еще утром он должен был держать последний экзамен — русский устный. Сегодня же вывесят отметки за сочинение. От этих двух отметок зависит, примут ли Никиту в вечерний техникум, и даже большее — закрепится ли он на добром пути или, не попав на учебу, махнет на все рукой...

Люба волновалась за брата, но то, что решалось сегодня у Китаева, было для нее неизмеримо важнее.

Кое-как перебравшись по камешкам через лужу, она вышла за калитку и глядела вдоль улицы, в сторону трамвайного кольца. Улицу всю обмыло дождем — ни мусоринки. Посередине ее, где и всегда-то струился жидкий ручеек, теперь бежал настоящий ручей, мутный от глины.

Красный трамвайчик прибежал из города, замер на закруглении рельсов и будто вытряхнул из себя пассажиров. Пассажиры разошлись кто куда, почти все были знакомы Любе, но не было тех, кого она ждала.

Трамвайчик убежал, позвякивая. Потом прибежал другой и тоже вытряхнул пассажиров — опять не тех...

Люба поежилась от сырости и вдруг беспощадно спросила себя — ну а

чего же я жду? Чего я хочу? Она знала, чего хочет Саша, помогла ему принять решение и даже под его диктовку написала текст телеграммы на имя академика Лахтина — убедительной телеграммы, объясняющей причину задержки аспиранта Мордвинова и необходимость месячной отсрочки... Китаеву расскажут, какие опыты нужно проделать в институтской лаборатории и как будет хорошо, если проект пойдет от имени института. Китаев согласится включить проект в план научных работ и, конечно, подпишет телеграмму... Саша будет в восторге, о Пальке и говорить нечего! Ну — а я? Я — хочу этого?

Нет, со вчерашней ночи ей больше всего хотелось убежать в какой-нибудь закут и выплакаться — не сдерживаясь, навзрыд. Откуда же взялись силы быть спокойной и уверять Сашу, что все устроится? Это — любовь?.. Но тогда почему Саша не подумал о ней, пренебрег свадьбой и поездкой в Москву, о которой они так мечтали? Он-то — любит?..

Ей пришлось перебрать в памяти все, что подтвердило ей — да, любит, любит! Просто он такой и другим быть не может. И безумие с этой газификацией не могло не захватить его, раз оно захватило даже отца и маму, даже совсем чужую девочку Галинку. Особенно с того дня, когда решили провести в сарае хотя бы небольшой опыт, не дожидаясь, пока в институте кончатся отпуска и ремонт лабораторий. Деловая, веселая суматоха затянула и Катерину, приходившую в сарай прямо с работы, и Никиту, который по первому зову бросал учебник и прибежал подсобить — подручным «в одну лошадиную силу», как говорил Липатов. Кузьку теперь и не прогнать со двора, а Галинка заплакала, когда мать хотела увести ее...

Посреди сарая выросло странное сооружение, похожее на печку-буржуйку.

Кусок угля — его тут называли «целик» — привезли с шахты. С шахты отец с Липатовым таскали и нужные инструменты. Палька проникал в кладовую, куда сложили лабораторное имущество, и под носом у Федосеича уносил оттуда и трубки, и реактивы, и даже стащил баллон сжатого воздуха. Цемент и кирпичи откуда-то раздобыл Никита. Проволоку разыскала у себя в компрессорной Катерина.

Кусок угля обложили кирпичами, обмотали проволокой и обмазали для герметичности глиной с цементом, предварительно просверлив в угле скважинки и вставив туда трубки. Возились больше недели: все время чего-то не хватало и что-то выходило не так. «А что, если...» — начинал кто-нибудь из трех друзей, и обсуждение этого «если» продолжалось, пока сообща не находили решение. Но тут возникало новое: «А что, если...»

Вчера опыт провели. Сколько было подготовки и волнений! А

получилось все очень просто. Электрической искрой разожгли внутри угольного целика горючее — щепки и паклю, смоченные керосином. Немного погодя Саша сказал, что «процесс» начался и нужно ждать. От нечего делать пробовали экзаменовывать Никиту, но по поводу запятых, где они нужны, а где не нужны, вышел спор, так что Люба запротестовала:

— Вы мне Никиту с толку собьете!

Потом Липатов закурил и поднес спичку к газоотводной трубке — и на конце трубки вспыхнуло нежное голубое пламя. Все закричали «ура», Палька сунул в пламя конец проволоки, который быстро раскалился, — Люба не знала, проверяет он что-то или просто наслаждается тем, что вот — горит... Но тут раздался грохот, похожий на выстрел, голубое пламя сникло и погасло, а печка треснула и начала распадаться на части.

— Кузька, воды! — закричала Кузьминишна.

— Это очень интересно, — сказал Саша. — Показатель превосходный, верно, ребята?

Трое друзей, обжигая пальцы, долго копались в треснувшем куске угля, чему-то радовались и находили какие-то ошибки. Потом они гуськом прошли наверх, в комнатку Вовы, где теперь была у них «теоретическая часть», — там они искали решений в книгах и в собственных головах, отчаянно споря и куря так, что из окошка валил дым. Когда они впервые забрались туда, Кузьминишна проплакала половину ночи, а потом вспомнила, что хлопцы голодные, понесла им хлеба и неуверенно предложила согреть борщ, оставшийся от обеда. Три изобретателя закричали: «Вот это идея!» — и в два часа ночи уплели по тарелке борща, а затем снова спорили до зари...

Вчера после полуночи Саша спустился вниз поискать Любу — в последнее время никто в доме толком не спал, кроме Кузьмы Ивановича. Люба сидела на веранде и слушала, как Никита, чертыхаясь, уточнял правописание имен существительных в родительном падеже множественного числа.

— После шипящих, черт их подери, буква «мягкий знак» не пишется: нет рощ, нет дач. И после окончания «ен» с беглым «е» (вот еще какое — беглое!) тоже, к счастью, не пишется: песня — песен, бойня — боен.

— Исключения! — строго напомнила Люба и вскочила, увидав Сашу.

— Исключения составляют барышни, — ухмыляясь, ответил Никита. — Они с мягким знаком. Существа нежные.

— Повтори исключения на «мя», — приказала Люба и выскользнула вслед за Сашей в сад.

Он обнял ее, Люба прижалась щекой к его плечу и снизу вверх

поглядела в его напряженное лицо.

— Любушка, тебе не надоело мучиться со мной? — услышала она его шепот и быстро ответила:

— Нет! Нет! Только скажи сразу...

— Пласт загорелся и дал газ, процесс может идти в целике, понимаешь? Вот что мы доказали сегодня! Все остальное — дело расчета. Нужна серия опытов в лабораторных условиях, нужно разработать весь процесс и обосновать его теоретически... Повезти с собою протоколы испытаний, анализы газа...

— Ну? — поторопила Люба.

Саша крепче обнял ее и твердо сказал:

— Сегодня стало ясно, что подземная газификация возможна. И я не имею права бросить дело на полпути.

Вот оно, вот! Она смутно знала это с самых первых дней.

— Мне очень трудно, Любушка. И мне страшно, что тебе надоест и ты пошлешь меня к черту.

— Не пошлю.

Он целовал ее — словами не сказать было всего, что хотелось. Потом она спросила ровным голосом, как же будет с аспирантурой и на сколько придется задержаться.

— Недели на три, самое большое — месяц, — ответил Саша, и Люба поняла, что он уже все решил без нее.

Одна мелочная мысль крутилась в Любиной голове — девчата в поселке знают об ее отъезде, теперь они узнают, что свадьба отложена из-за какого-то опыта. Как они поймут это? Что будут болтать между собой?

— А ребята никак не могут... без тебя?

— Понимаешь, Любушка... все затянется. Есть вопросы, в которых я сильней. Так же как Палька и Липатов — в других. Бросить — измена.

Он произнес это слово жестко. Он все обдумал заранее.

— Только бы ты поняла и не сердилась...

— Я все понимаю, — сказала Люба и заглотнула слезы.

— Племя, бремя, темя, пламя, знамя... — бубнил Никита, сердито поглядывая в темноту сада, где скрылись влюбленные.

Они пришли побледневшие, торжественные. Уходя наверх, Саша задержал Любину руку и поцеловал ладонь.

— Давай суффиксы уменьшительно-ласкательные, — непримиримо потребовала Люба, заглядывая в учебник.

— Цыпочка, — буркнул Никита и зевнул. — Вот чертовня! — с ненавистью добавил он, но ответил и про суффиксы.

Это было вчера ночью. А сегодня утром Люба написала ту телеграмму. И когда Саша уезжал к Китаеву, пожелала удачи...

Еще один трамвай прикатил из города. Битком набитый людьми. Люди потекли струйками во все стороны. И опять — не те...

Катерина осторожно перебралась через лужу и остановилась рядом с Любой.

— Ну чего маешься? Придет твой Сашенька. Ты на себя погляди — какое у тебя лицо.

Люба не могла поглядеть на себя, но подбородок ее задрожал.

— Ох, Любка, и дурная же ты! — без всякого сочувствия сказала Катерина. — Не знаешь ты ничего. Ни счастья, ни горя.

— Я, кажется, никому не жалуясь...

— Вот и я такая была, — продолжала Катерина, не глядя на подругу. — О себе думала, со своим самолюбием нянчилась. А человека не поняла. Чего он хотел — для меня делал, а не со мной. Не со мной! Не доверял моей дружбе... Задушила бы себя! — с ненавистью прошептала она. — Горло бы себе перегрызла!

Помолчав, она уже ласково обняла подругу:

— Ну, жди, выглядывай дружка. А я пойду проволоку размотаю. Небось сегодня же начнут печку переключивать.

Первым явился Никита — возбужденный и подвыпивший. Подхватил на руки сестру и перенес через лужу, у сарая опустил на землю, торжественно поклонился отцу.

— Принимай, батя, студента!

— Причастился уже? — скрывая радость, проворчал отец.

— Так ведь на радостях! И всего-то двести грамм.

Приняв поздравления, он рассказал:

— Надо же, выпало это самое исключение на «мя»! Оттараторил, как пулемет. На разборе предложения запутался — из-за этого вышла тройка...

— А сочинение? Сочинение? — торопила Люба.

— Удовлетворительно, — уклончиво ответил Никита, — с запятыми там... будь они прокляты, эти закорючки!

На самом деле с сочинением получилось обидно. Он выбрал тему «Мой любимый литературный герой» и написал о Татьяне Лариной. Писал он уверенно, в сочинении можно было избегать трудных слов и писать короткими фразами, с одними точками. Тройку ему действительно поставили, но сочинение читали вслух в учительской, и преподаватель, пряча насмешку, спросил потом Никиту:

— Вы пишете: «У нее были серьезные недостатки: легкомыслие и доверчивость». Почему вы ей приписали такие недостатки?

Никита смутился, но ответил независимо:

— Такая у меня точка зрения. Имею я право понимать по-своему?

— Имеете право, — согласился преподаватель. — Но можно ли писать: «У нее не хватило характера. Любя Евгения, позволила отсталым родителям продать замуж за толстого генерала...» — Он странно фыркнул и закашлялся, весь покраснев, а потом, махнув рукой, поздравил Никиту с зачислением в техникум.

Что они там нашли смешного? Никита и сейчас думал, что у Татьяны не хватило характера подождать, ведь Евгений в конце концов полюбил ее! Вот Лелька ни за что не пошла бы замуж за нелюбимого, Лелька говорит: когда любишь — и муку примешь, а не любишь — и счастья не надо.

Рассказывать о своей обиде Никита не стал, приняли — и ладно.

Очень довольная, Кузьминишна обняла сына и шепнула на ухо:

— Порадовать, что ли?

Он сразу понял, сунул руку в карман ее передника, выхватил конверт и отошел под сирень — читать. Кузьминишна одним глазком следила — аж загорелся весь! Знать бы, к добру или не к добру?..

Лелька писала:

«Если ты сумеешь приехать с Липатовым, тебя встретят хорошо. Соню угнали за тридцать километров с Сысоевым, все остальные поминают тебя добром и жалеют. Приезжай, Никитушка, а то до зимы не увидимся, меня не отпустили, да и дело не бросишь Ц. т. м. р.

Твой Лу...».

Он понял значение букв и понял подпись. Лучик — так он ее назвал в ту единственную ночь.

— Иван Михайлович, я поеду с вами на воскресенье, — сказал он громко, чтоб услышали родители.

Мать страдальчески улыбалась — и возражать нечего, и страшно: только-только наладился Никитка... Куда она повернет его, та девушка?

— Может, и мне поехать, повидать Аннушку? — вслух подумала Катерина, а глазами сказала Кузьминишне: «Поеду, присмотрюсь, моему глазу верить можно».

С тех пор как старики узнали, что она ждет ребенка, не было для них

человека желанней и любимей — за Катериной ухаживали, ее мнение было решающим во всех семейных делах.

— И я поеду! — заявил Кузька.

— И я, — прошептала Галинка, сама не веря, что это возможно.

Липатов готов был согласиться, но тут все смешалось, и сама поездка отодвинулась далеко-далеко.

В раскрытой калитке остановился Саша Мордвинов.

— Китаев отказал, — сквозь зубы произнес он. — Палька помчался в институт, но совершенно зря.

Перешагнул лужу, бросил на ходу Липатову:

— Вернется Светов, будем решать.

И пошел с Любой на веранду.

В саду наступило молчание, прерываемое бормотанием Липатова:

— Ну, Китаеву это еще аукнется! Говорят: коли ты тово, так и я тово, а коли ты не тово, так и я не тово...

Тяжело вздыхая, Кузьминишна поглядывала на веранду, где шел очень значительный разговор. Теперь, когда с Никиткой все решилось, сердце Кузьминишны могло вместить и горе дочери, — а горе было, горе и стыд. Шутка сказать, жених свадьбу откладывает, и все из-за этой печки. Хорошее дело — ничего не скажешь. Да только сбыточное ли?

Странно, на веранде горевал Саша, а Люба в чем-то горячо и даже с улыбкой убеждала его. Потом Саша зарылся лицом в ее ладони, забыв о том, что из сада все видно.

— Пойдемте подразберемся там, — смутившись, сказал Липатов, и все потянулись за ним в сарай.

Через минуту зазвенели удары молотка — Никита выпрямлял проволоку. Галя и Кузька приспособились держать ее, чтобы Никите было удобней.

— Дядя Никита, что же теперь будет? — шепотом спросила Галя.

Ничего толком не понимая, она испугалась, что из-за непонятого отказа Китаева — болтливового старичка, которого мама за глаза называла «занудой», — вдруг прекратятся чудесные занятия в сарае.

— Что нужно, то и будет, — неохотно ответил Никита.

— А дядя Саша уедет?

— Не знаю, Галя. Откуда мне знать? Я бы не уехал.

Тут озлился Кузька. Никите хорошо рассуждать — «я бы...» Что такое Никита? А Саша — ученый. Его приняли к самому главному академику. Не явится в срок — возьмут другого.

— Конечно, поедет! — выкрикнул он, ожесточенно стукнув молотком

по неподдающейся извилине проволоки. — Неужели работу терять? У него и права нет остаться, раз не позволили.

Липатов, вздохнув, поддержал Кузьку, как равного в разговоре, — да, такое место Саше второй раз не представится.

— И Люба уже документы послала в московский институт, — напомнила Кузьминишна.

— Да что, свет клином сошелся на вашем Китаеве? — сказал Кузьма Иванович. — Старая перечница он, хоть и профессор! Ты бы зашел, Иван Михайлович, к преемничку своему — неужто не уважит?

Липатов поморщился. Когда уходил из института на шахту, сам предлагал Алферова на свое место — секретарем парторганизации. А вот ведь что получилось!

— Алферов там... — невнятно пробормотал он — и вдруг оживился, засмеялся. — Ну, я к нему ключ подберу. Когда у нас городской актив? Во вторник? Я ему там подсироплю!

На веранде до чего-то договорились. Оба встали, подержались за руки, потом Люба пошла ставить самовар, а Саша сбежал с крыльца и остановился в дверях сарая.

— Что ж, будем работать! — через силу бодро сказал он. — Решили так: остаемся до конца опытов, Лахтину напишу сам. Поверит — и без Китаева разрешит. Не поверит — тогда хуже. — И, не желая продолжать разговор, взял паяльную лампу. — Кузька, давай трубки. Да не эту, вон ту подай.

От волнения хватая не то, что нужно, Кузька с обожанием служивал Саше и напряженно думал: почему Саша с Любой так порешили? Ведь потом Сашу могут и не принять! Почему академик вот так, за здорово живешь, поверит Саше — Китаев же не поверил! Значит, Саша сильно надеется на печку, несмотря на то, что она взорвалась?

Сунув в трубу горящие щепки, Люба ждала, пока угли разгорятся, и говорила Катерине, смущенно топтавшейся возле нее:

— Не воображай, что я жертвую собой. Решили, потому что иначе не выходит.

Обе разом обернулись, услышав скрип калитки.

Палька Светов лихо перескочил через лужу и помчался к сараю, победно размахивая руками:

— Живем! Телеграмма послана! Все в порядке, Саша!

В тот день, отправляясь вместе с Сашей к профессору, Палька несколько не волновался. Конечно, старик поворчит, но не откажет. Мало

ли они затевали — еще студентами — всяких дел! Когда ходили ради заработка на Metallургический грузить доломит, занялись с Сашей и Липатушкой придумыванием механизации — Китаев ворчал, но в общем одобрил. Во время практики на коксовых печах они увлеклись проблемой использования тепла кокса, выдаваемого из печи, — целый месяц возились с этим, а потом делали дымовые шашки нового типа, пользуясь отходами коксового производства. Китаев ворчал, но не мешал. Как же он может возразить против действительно важного, огромного дела?..

Профессор жил на окраине Донецка, в собственном домике с образцовым фруктовым садом, заложенным еще до революции. Заправляла всем хозяйством толстая и властная домоправительница профессора Дуся. Она угрюмо сказала, что профессор отдыхает, а будить — не ее власть. И ушла в дом, оставив Сашу с Палькой в саду. Из окон она подозрительно поглядывала, не стащат ли они с дерева грушу. Все знали, что Дуся уже много лет живет с Китаевым и помывает им как хочет, что Китаев побаивается ее, а она его — нисколько. Но при посторонних Дуся держалась покорной служанкой, и друзья остались в саду, поддразнивая Дусю тем, что подходили к деревьям и щупали груши. Пошел дождь, а Дуся будто и не заметила, даже в окно выглядывать перестала. Наконец Китаев вышел на крыльцо — в домашней блузе-распашонке и цветистой тюбетейке. Он воскликнул: «Что ж вы в дом не вошли?», усадил гостей на веранде и крикнул Дусе, чтобы принесла груш посочнее (Палька был уверен, что груш не будет, — Дуся считала баловством угощать профессорских учеников).

— Нуте-с, — выполнив долг вежливости, протянул Китаев.

Палька и Саша рассказывали по очереди, стараясь не замечать брюзгливых гримас профессора. Они не знали, что у Ивана Ивановича второй день неладно с желудком, что он тревожно прислушивается к его зловещему урчанию и с трудом воспринимает рассказ учеников.

Ядовито усмехаясь, он пожал плечами и сказал, что крайне удивлен. Крайне удивлен! Ну, Павел Кириллович молод и легкомыслен, но как мог Александр Васильевич не разобраться в том, что наукой давно доказано, — без предварительного дробления угля...

— А у нас шел процесс в целике и получился газ! Горючий газ! — перебил Палька.

— Но вы, кажется, сказали, что установка взорвалась?

Впрочем, чтобы поскорее кончить разговор, Китаев согласился провести опыты в институте, когда кончится ремонт. И посоветовал привлечь студентов, так как даже бесперспективные опыты для них

полезны. Все складывалось как надо. Но тут до сознания Китаева дошло, что его любимейший ученик, лично им рекомендованный академику Лахтину, собирается ради этих вздорных опытов...

— ...манкировать моей рекомендацией? Ставить меня в глупое положение перед академиком Лахтиным?!

Он так рассердился, что забыл о тревожном урчании в желудке, забыл и о своем принципе «невмешательства». Обычно в спорных случаях он мелкими шажками бежал в партком, требуя партийных установок, так как считал, что «ученый в наше трудное время должен прежде всего ладить с комсомольско-партийной прослойкой». Но в данном случае он остался непреклонен.

— Стыдно! Безответственно! — кричал он срывающимся голосом. — Пойти на поводу у мальчишки! Перечеркнуть свою научную карьеру! Нет, я вашим убийцей не буду!

Саша выждал, пока он утомленно затих, и сказал с беспощадной прямоотой:

— Именно вы, Иван Иванович, убиваете мое научное будущее. Я все равно останусь, потому что уехать сейчас было бы подлостью. Ваша телеграмма откроет мне возможность прийти к Лахтину через месяц. Без вашей телеграммы он может не принять меня. Я не ждал от вас такой жестокости и... косности.

Китаев побледнел, но не отступил. Вероятно, он опасался, что академик посчитает его легкомысленным. Чем суровее возражал Саша, тем больше Китаев сердился и даже вслед, выскочив под дождь, продолжал кричать:

— Вы не останетесь! Не допущу!

В институте шли приемные испытания. Алферов заседал в приемной комиссии, Пальке с трудом удалось вызвать его.

— Ну что за пожар? — со вздохом спросил Алферов.

Сели в коридоре на скамью. Мимо них, почтительно приглушая шаг, проходили взволнованные новички.

Алферов откинулся на спинку скамьи с видом усталого и доброжелательного человека, раз навсегда отрекшегося от забот о самом себе. Волнуясь и сбиваясь, Палька изложил суть дела.

— Идея, конечно, заманчивая, — протянул Алферов. — Я бы сказал — прогрессивная. Но объясни мне, товарищ Светов, видишь ты отличие нашей науки от науки буржуазной?

— Вижу, конечно! — радостно откликнулся Палька. — Им никогда с

этой проблемой не справиться, это и Ленин пишет, что только при социализме...

— Да я не о том! В буржуазных странах каждый за себя, — продолжал Алферов. — Частное предпринимательство. Бизнес. А у нас — планирование. Коллективность.

— Вот мы и хотим...

— А вы разводите анархию и частное предпринимательство. Что за спешка? Тему еще не утвердили, институт ничего не знает, а вы — как частники! Тишком, в каком-то сарае...

— Да товарищ Алферов! Это же какое дело! Лениным завещанное! Всесоюзный конкурс ради пустяка не объявят!

— И так-таки вы трое все решите?

— Мы уже решили!

— Ну, Светов, зачем же бахвалиться? Сам говоришь — Китаев против. Если бы ваше решение было научно обосновано...

— Китаев стар и консервативен!

Алферов утомленно провел рукой по морщинистому лбу.

— Ох, Светов, мало у вас скромности. Мало. Партия нас учит прислушиваться к старым специалистам, а вы...

Палька с горечью припомнил партийное собрание, на котором вместе со всеми голосовал за Алферова. Считалось, что Алферов — человек скромный и работающий, к тому же менее занят, чем научные работники, и общаться с людьми ему сподручнее, отдел кадров — не лаборатория. При Липатове Алферов был заместителем, Липатов хвалился, что с ним не пропадешь — все протоколы и ведомости в порядке! Липатова отпускали с сожалением, но тогда никто не задумывался над тем, как много воодушевления и тепла вносил Липатов в жизнь партийной организации, а поэтому никто не ждал, что при Алферове что-либо изменится. У Алферова было два конька — бдительность и дисциплина. Что ж, все признавали — и то, и другое нужно. С ним скучнее? Что правда, то правда! Липатов был требователен, но он говорил: «Давайте сделаем так...» Алферов говорит: «Вы должны сделать то-то...» Все понимали, что должны. А с Липатовым — хотели... Впрочем, и теперь про Алферова говорили: «Он все-таки работающий и скромный...»

— Плевать мне на скромность! — выпалил Палька. — Лучше нахальство, чем бескрылость! И насчет отличия науки — не в том оно! Там — бизнес, а у нас — польза социализму.

Будущие студенты издали с любопытством прислушивались к возбужденному голосу Пальки. Алферов досадливо морщился, он терпеть

не мог беспорядка.

— Не стоит горячиться, — сказал он, вставая. — Кончится отпуск, мы включим вашу тему в план — пожалуйста, переворачивайте технику. Прикрепим вам научного руководителя, отпустим средства. А Мордвинов числится за Москвой. Даже формально я не имею права обращаться к Лахтину, поскольку Мордвинов уже не наш, да и тема не утверждена. Вы должны понимать, что дисциплина...

Палька уже не злился — ему стало скучно, до зевоты скучно. Обдумывая, как теперь быть, он рассеянно слушал назидательную речь Алферова.

— ...вместо того чтобы оправдать доверие, которое вам оказали, выдвинув вас в аспирантуру... Помните, скоро начнется обмен партийных документов и суждение о каждом коммунисте будет основываться...

К счастью, Алферова позвали в приемную комиссию.

Выбежав из института, Палька заметил, что все еще держит в руке листок с текстом телеграммы, которую некому подписать. Простой росчерк пера мог спасти Сашу, одна подпись — Китаев...

Пальке представилось: в невообразимо прекрасном Академическом Институте седовласый Ученый Секретарь докладывает еще более солидному и седовласому Академику, что вновь зачисленный аспирант Мордвинов не прибыл в срок и поэтому... Но тут Академику подают телеграмму — «аспирант Мордвинов выполняет чрезвычайно важную государственную задачу...». «Надо уважить просьбу профессора Китаева», — говорит Академик и пишет на телеграмме: «Разрешить»...

Так могло бы быть...

Почему могло бы?

Будет!!!

И как мне раньше не пришло в голову! Плевал я на этих сухарей! Пока хватятся, все будет сделано!

Не терзаемый никакими сомнениями, Палька опрометью бросился на телеграф.

Много позднее, вспоминая этот вечер, никто не мог понять, почему так легко, без расспросов, приняли сообщение Пальки. Оттого ли, что всем очень хотелось поверить? Или Палька сумел отвести расспросы, хвастливо заявив: «Все дело в подходе! Надо уметь...»

Как бы там ни было, все шумно обрадовались и с новым жаром взялись за работу. Делали то же, что полчаса назад, — но молотки выстукивали победный марш, проволока послушно выпрямлялась, трубки

сразу входили в скважины... Палька дурачился, затевал возню с детьми — и даже Галинка смотрела на него, как на героя.

Пожалуй, серьезнее всех в этот вечер была самая маленькая участница опыта. Она плохо понимала, в чем отказали Саше и не отказали Светову, но она поняла, что начатое дело будет продолжаться благодаря Пальке...

Она ненавидела этого Пальку, хотя он относился к ней добрее всех, придумывал для нее работу и провожал до трамвая, если уже стемнело. Почему? Из-за мамы?.. Мама несколько раз приезжала за нею и сама застревала тут. Старики Кузьменко уважительно говорили с мамой и спрашивали о здоровье «вашего супруга», то есть папы. Не любила маму только сестра Пальки, она дулась и говорила колкости. Почему?

Галинке стыдно было и неудобно, когда приходила мама. Все держались иначе, чем обычно, и мама тоже — голос у нее был не домашний, слишком оживленный, и улыбалась она неестественно — совсем так, как улыбалась иногда перед зеркалом, стараясь не морщить лицо.

Приходы мамы нарушали жизнь пленительного мирка, где все много работали и много смеялись, громко спорили, ругались и постоянно что-нибудь переделывали, где не было старших и все подчинялись одному командиру — Решению. Решение было существом таинственным и увертливым, оно «не давалось», его искали в верхней комнатухе, куда Галинка пробиралась для воспитания храбрости, — комнатуха принадлежала покойнику. С дрожью поднимаясь наверх, Галинка замирала на темной лестнице и слушала, как спорят три человека, ищущих Решение, — лохматый Липатушка, симпатичный Саша и Палька. Она продолжала ненавидеть Пальку, но втайне восхищалась им, потому что он часто «хватал за хвост» это самое Решение, и все скатывались вниз по скрипучей лесенке — в сарай, где сразу начиналось «столпотворение вавилонское». Что такое столпотворение и почему оно вавилонское, ни Галинка, ни Кузька не знали, но означало оно, что всё переиначивают, разбирают и собирают, что-то припаивают и подтачивают, топчась вокруг печки.

По-настоящему Галинка привязалась только к Никите. Он самый сильный — его зовут, когда нужно что-нибудь поднять или передвинуть. Он веселый и простой — когда он тут, кажется, что детей не двое, а трое. С Галинкой он разговаривает как с равной и называет ее «подружкой». Мама говорит — типичный рубаха-парень с чубчиком. Галинке нравится его чуб — не чубчик, а волнистый светлый чуб, спадающий на изогнутую бровь. Нравится и глаз под этой бровью — подмигивающий, яркий.

Удивительно хорошо вечерами в сарае. В саду темнеет, потом вылезает в небо луна — с каждым днем она все позже вылезает и становится все ярче и круглее. А в сарае горит керосиновая лампа — уютная, потрескивающая внутри. Все предметы и люди отбрасывают на стены смешные тени, особенно смешная тень у печки — напоминает носорога. Сидишь в уголке и знаешь, что давно пора домой, мама будет ругать, а папа скажет, что отправит ее в Сухум, а то «совсем одичала здесь»...

В этот вечер Галинка никак не может уйти. Все сегодня особенно дружные и добрые. Звонко повизгивает напильник в руках Липатова. Никита сверлит отверстия в глыбе угля — брови нахмурены от старания, сверло шипит и подвывает, но и этот звук Галинке нравится. Люба и Катерина наматывают проволоку и тихонько поют:

Мы простимся с тобой у порога,
И, быть может, навсегда...

Помолчат, потом снова начинают:

Мы простимся с тобой у порога...

— Да проститесь наконец, девушки! — кричит Палька. — Сколько можно?

Все смеются. А Палька начинает припаивать к трубке «колени» и зовет Галю подержать трубку. Кузьке завидно, он подходит и тоже держит.

— Вырасту — буду работать в подземной газификации, — говорит он. Теперь Галинке завидно, что он высказал это первым.

— И я!

Ей нравится название — подземная газификация. Важное название. «Ты где работаешь?» — спросят инженера Галину Русаковскую, а она гордо ответит: «В подземной газификации». Да, но к тому времени не будет ни этого сарая, ни этой печки, а будут станции с кафельными плитками, как в ванной. Неинтересно...

— Нет, я буду делать что-нибудь другое, — говорит Галинка и представляет себе какой-то другой сарай и какие-то другие, диковинные сооружения. — И поеду туда, где еще никто не был.

Она краснеет — Палька перестал паять, и очень внимательно смотрит на нее.

— Правильно, Галя! — говорит он по-товарищески. — Знаешь, кем тебе надо стать? Изыскателем!

Галинка не знает, что это такое. Спросить — или не спрашивать? Выручает Кузька, у него вопросы всегда вылетают без задержки.

Палька продолжает пяять и вразбивку, между делом, объясняет, что такое изыскатель. И вдруг выясняется, что Никита был изыскателем и жил в палатке, пока его не уволили из-за стервы Сони.

— Я был мастером по бурению, — говорит Никита, пошевелив бровью. — Вот как сейчас, только скважины в сто раз больше. А теперь кончу техникум и буду геологом. То есть тем же изыскателем, только в сто раз умней.

— И я буду геологом, — решает Галинка и представляет себе, как она карабкается по горам рядом с Никитой и он называет ее подружкой и хвалит ее, потому что она ничего не боится. — Не Гео, а геологом-изыскателем. А папа мой Гео. Химик.

Саша отрывается от какого-то сложного подсчета.

— У твоего папы самая умная специальность из всех Гео. Все Гео идут по поверхности, а он забирается в самую сердцевину, можно сказать — в сто раз глубже, чем все остальные Гео.

Галинке приятно, что у папы такое умное Гео, но все-таки папино Гео скучное, папа все время сидит за столом, значит, сам ни в какую сердцевину не забирается. Изыскатель — это куда интересней. Если бы удалось убежать на воскресенье в экспедицию!

Но тут раздается далекое:

— Га-лин-ка! Га-лю-у!

Так мама оповещает о себе.

Палька пятерней приглаживает волосы и мчит за калитку. Когда он возвращается с мамой, у него чужой, неестественный вид и нелепый смешок, он суетится и норовит задержать маму здесь. На маме одно из самых красивых платьев и туфли с высоченными гранеными каблуками, она садится на виду и палочкой счищает с них налипшую грязь. Палька смотрит на ее туфли и забывает на полуслове, что начал говорить.

Галька забила в темный угол сарая и насупилась. Она видит, как вся подобралась Катерина — вот-вот скажет что-нибудь злое. Липатов начинает издали разговор о поездке. Галя боится — если он скажет о Галиной просьбе и мама не разрешит, потом уж никто не согласится взять ее.

И вдруг все оборачивается чудом, настоящим чудом!

— И мы с вами! — восклицает мама. — Олег Владимирович давно

мечтает навестить Митрофанова, это же его друг. Едем! Едем! Олег Владимирович возьмет в институте машину!

Галинка задыхается от восторга. Если поедут мама и папа, ее тоже возьмут — это само собой разумеется. Хватит ли места в машине для Кузьки? Ну вот, теперь и Палька увязался!..

— Интересно, — говорит Саша. — По-видимому, нам торопиться некуда? Все решено, можно отдохнуть?

Липатов смущен. Палька недовольно бормочет:

— Я тебе, кажется, устроил отсрочку.

И тут выступает вперед Катерина.

— Дуришь, Саша. Посмотри, на кого вы похожи! Себя заморил и Любу заморил. Сколько ночей мы тут провозились? А ведь и мне, и Любе, и Липатушке — с утра на работу! Не спим, не дышим. Как хочешь — в субботу закрываю сарай на замок.

Люба бросается к ней на шею и неожиданно начинает плакать. Саша растерянно топчется рядом. Кузьма Иванович говорит:

— Довели девку, изобретатели!

Теперь Галинка боится одного — хватит ли мест в машине. Но мама сегодня прямо удивительно добрая!

— В институте есть крытый грузовик, — вспоминает она. — Фургон со скамейками. Когда я была комсомолкой, мы ездили в таком на воскресники — копать траншеи для водопровода.

Кажется, все поражены не меньше, чем Галинка, — мама была комсомолкой и копала траншеи для водопровода!

— Олега Владимировича, как профессора, мы посадим в кабину. А сами — в кузов! И всю дорогу будем петь песни!

Мама смеется, увидев изумленное лицо Пальки.

— Пошли домой, Галя! Ты совсем отбилась от рук.

Улица — вся голубая. Луна очень яркая и кривая — как арбуз с подрезанным бочком.

— Нет, не надо провожать нас. Мы с Галей прогуляемся и помечтаем вдвоем при луне.

Галинка злорадно желает Пальке спокойной ночи. Забирается под мамину руку и шагает рядом с нею, прижимаясь к ее теплому боку и прислушиваясь, как тихонько шуршит на ней шелк.

— Тебе никогда не кажется, Галюнька, будто все кругом — незнакомое, как во сне, и ты — уже не ты, а кто-то другой?

— Иногда, — неуверенно отвечает Галинка, и тотчас ей начинает казаться, что этой дороги она никогда не видала и она — уже не она, а кто-

то другой.

— Посмотри, у луны одна бровь выше другой и глаз прищурен, видишь?

— Как у Никиты. Подмигивает.

Мама смеется и крепко обнимает Галинку. Идти так неудобно, зато приятно.

— А ты знаешь, дочка, что жить — замечательно хорошо?

После этого мама молчит до самого трамвая. Улица голубая, небо голубое и мама — голубая, незнакомая, очень любимая.

2

Отец, слава богу, совершенно устранился, характеристику написала Липатова. Практика кончалась, через несколько дней — в Москву!

Игорь с удовольствием предвкушал встречи с товарищами — у каждого куча впечатлений. И есть чем погордиться перед ними. Думал он и о встрече с матерью — она собирается в Углич к больной сестре, но ждет его возвращения, чтобы «наладить» сына так же, как она всегда «налаживает» отца после очередной экспедиции. Приятно и лестно. Нужно будет поскорее написать содержательный отчет о практике, немедленно приняться за диплом и защитить его с отличием. А там — самостоятельность где-либо на гидростройке, обязательно — на большой, где есть масштаб, где можно развернуться! Честолюбие? Ну и пусть! Чувствую я, что могу? Чувствую. Отец опытен и умен, а делал массу ошибок, тут недосмотрит, там забудет. А я все примечал — и ему подсказывал. Я знаю, как нужно. Так и дайте мне проявить себя!

В характеристике записано: «...умение применить свои знания... организаторские способности... справлялся с заданиями в сложных условиях... заслужил уважение подчиненных и товарищей...» Такую оценку не каждый приносит с практики.

Подписи еще не было — перед тем как подписать Липатова всегда проводит назидательную беседу.

Аннушка была в кернохранилище — готовила образцы пород для отправки в центральную лабораторию. Она брала кусок камня или затвердевшей глины, зачищала ножичком и передавала Леле Наумовой, которая сидела рядом с ней на корточках. Леля ловко пеленала образец марлей и опускала его в ведро, стоявшее на примусе. Готовые образцы выстроились на скамейке в ряд, поблескивая застывшим парафином.

Когда вошел Игорь, Леля поднялась и, еле кивнув, вышла. Игоря поразила ее сухость, а еще больше — то, что она тут делала: подготовка образцов не входила в обязанности коллектора.

— Обидел девушку — и зря, — сказала Аннушка, освобождая место на скамье для Игоря. — Было бы невозможно — ну, тогда другое дело. Но всего на три дня... неужто не нашел бы, кем заменить ее? А у девчонки все планы рухнули. Сам ведь знаешь — любовь. Трудная любовь. И девка трудная. Зачем поперек становиться?

Игорь примирительно пошутил — экспедиция не загс, а начальник группы — не сват.

— Да ты садись, — сказала Аннушка и уселась напротив Игоря, сложив на коленях маленькие руки с набухшими венами. — Потрудился ты не плохо, но... Вот ты говоришь — не загс, не сват. А ведь если придется тебе руководить людьми — без этого не обойдешься. Иной раз и сватом, и братом сделаешься, мужа с женой судить придется, ссоры друзей улаживать... Этого ты пока не умеешь. А без этого ты не руководитель.

— На меня люди не обижаются.

— В твоей группе у одной Лели нужда была в помощи, ее одну ты и обидел. А ведь она золотой коллектор! Без таких, как она, у самого прекрасного начальника не пойдет дело.

— Учту, — сдержанно ответил Игорь, чтобы не разводить долгих разговоров. Черт его дернул отказать Лельке в пустяковом отпуске!

— Небось думаешь — по-бабьи рассуждаю? Нет, Игорек, по-партийному рассуждаю и — по-шахтерски. Когда человек работает, на душе у него должно быть спокойно. Ну, и хватит об этом! — сама себя прервала Аннушка. — Теперь о Сторожеве. Ты с ним не ладил, да с ним и нелегко поладить. Ворчливый человек, желчный, придирчивый. Но механик он прекрасный, над техникой трясется. А ты с ним цапался из-за каждой мелочи! Сквалыгой обозвал!

— Так ведь по делу. Из-за жалкой трубы...

— Знаю, что не без дела. А только цапанье и делу помеха. Человек больной, его щадить надо.

— Да что у нас, ясли? Санаторий для неврастеников?

— Нет, Игорек, обычный коллектив. Небольшой коллектив, работающий в трудных условиях. Вот отец твой это хорошо понимает.

Аннушка вздохнула и совсем тихо сказала:

— Ты и отца не бережешь. А это — стыдно.

Игорь изменился в лице, хотел ответить и — промолчал. Не может он с подчиненной отца обсуждать его недостатки! Никто не знает, как ему

горько и больно...

Аннушка деликатно отвела взгляд, размашисто подписала характеристику. Не возвращаясь к началу разговора, уточнила с Игорем все его деловые удачи и промахи, — оказывается, она заметила многое и сейчас, подписав официальную оценку его работы, на словах дополнила ее другой, более подробной.

— Это — по-большому счету, — сама определила она.

Когда позднее его спросили, получил ли он все, что полагается, Игорь с иронической усмешкой ответил:

— Сполна!

Проповедь Липатовой испортила удовольствие от письменной характеристики. И задела. Будь это кто-нибудь другой, Игорь отмахнулся бы. Но Липатову он уважал. Она была требовательна и тактична — если заметит упущение, никогда не сделает замечания при всех, а отчитает с глазу на глаз и тут же объяснит, как следовало поступить. Или это и есть то, чего, по ее мнению, не хватает Игорю?..

Есть о чем подумать. Товарищи говорили про него: «Игорь — правильный парень». Без насмешки, хотя порой с раздражением. Игорь отвечал: «Да, правильный. Ненавижу людей, у которых принципы и поступки не в ладу». У него они были в ладу. Он хорошо учился. Не пьянствовал. Девушек не обижал: случалось, поступал жестковато, но без подлости. В дружбе был открыт, весел, для товарищей ничего не жалел. Считал себя идейным комсомольцем и презирал тех, кто живет без убеждений. В институте считали, что уж кто-кто, а Игорь Митрофанов будет настоящим гидротехником, из тех, кому далеко шагать. И вот — первая самостоятельная работа. Всего-то — две буровые вышки, полтора десятка подчиненных... Кажется, справился блестяще, во всяком случае — намного лучше, чем Сысоев, второй практикант. А вот оказалось — одно не сумел, другое упустил. Задание выполнил, а с людьми — осечки. Липатова ни слова не сказала о Никите, но Игорь сам понимал, что Никита — его проигрыш. Взял под свою опеку и — проморгал. Сторожев с его характером — вопрос иной. Подыгрывать его капризам — увольте. Попадется мне такой — или обуздаю, или... Да нет, обуздаю! Начальнику это легче. И понять его горькую душу постараюсь, если работник ценный, — придется. Доброты, что ли, во мне мало? Вероятно. Нет, что за сантименты? Почему надо быть добрым? Надо делать дело и требовать, чтобы люди делали его как можно лучше.

Остальное — женские штучки. Разгульная Лелька влюбилась, а мне на три дня остаться без коллектора?! Ничего с ней не случилось. Успеет

любовные дела уладить. Это и отец говорил — пусть поскучают.

Отец?.. Легко говорить — не бережешь. А если я вижу, что он увлекся химерой, а дело запускает? По-сыновьи покрывать его промахи? Нет уж!

— Игорь! Иго-ре-ек!

Отец... Что опять стряслось?

— Игорек, к нам едут гости! Русаковские и Липатов с целой компанией! Выводи рыдван и мчись на станцию, тащи угощение!

Отец сияет. Профессор Русаковский — его слабость.

— На сколько душ заготовить харч?

— Я не разобрал точно, только там и дети, и твой Никита, человек восемь, на грузовике едут.

— На грузовике?..

Игорь вспомнил жену профессора. Красоточка. И веселая. Даст бог, отец ударится в философию с мужем, а жена предпочтет погулять...

Как всегда, когда у него рождалось желание поухаживать, Игорь чувствовал прилив энергии. И все ладилось. Рыдван сразу завелся. В чайной нашлось приличное вино и кое-что из закусок. На базаре купил уток и кучу всякой зелени, кавуны, персики. Сам заказал поварихе завтрашний обед — рассольник с потрохами и утка с яблоками. Для экспедиционных условий — шик!

— Действительно, организаторские способности! — сказал отец.

К ужину тоже хватило всякой снеди. Игорь сам накрыл стол в палатке отца, откуда вынесли койки.

— Папа... Никиту, конечно, не считать? Пусть с Лелькой?

Отец вскинулся, хмуро поглядел на сына.

— Именно — считать. С Лелей. Вдвоем.

— Ты себе представляешь — Русаковские... и Лелька!

Отец жевал губами — признак сильнейшего недовольства.

— Олег Владимирович — умнейший человек, — сказал он. — Поживешь — узнаешь: чем больше человек, тем проще ведет себя. А жена его... — он опять пожевал губами. — Она будет рада таборной обстановке. И почему я должен думать, подойдет ли ей компания, а не наоборот — подойдет ли она к компании?

Игорь засмеялся. Резонно! Пусть будет табор как табор. Подговорить бы Лельку спеть свои залихватские песенки!..

Вышли встречать гостей за пределы лагеря, в степь. Аннушка надела белую блузку, распушила свои начисто отмытые, светлые, выгоревшие за лето волосы — они разлетались цыплячьим пухом вокруг ее обветренного, дочерна загорелого лица.

В стороне, на старом кургане, охватив колени руками, неподвижно сидела Лелька. В красной кофточке и сандалиях на босу ногу, надвинув на глаза широкополый бриль, она не отрываясь смотрела в ту почти неразличимую точку горизонта, где должен показаться грузовик.

И вот он появился.

Переваливаясь на ухабах размытой дороги и оставляя за собой хвост бурой пыли, он медленно приближался, а на нем приближалась песня, которую разнес по всей стране рабочий паренек Максим из недавно появившегося фильма:

Крутится, вертится шар голубой,
Крутится, вертится над головой...

Матвей Денисович тяжело побежал навстречу.
Грузовик остановился.
В фургоне азартно заканчивали песню:

Вот эта улица, вот этот дом...

Первым соскочил Липатов и заспешил к Аннушке. За ним выпрыгнул Никита, через головы встречающих сразу приметил неподвижную фигуру под брилем — и перестал петь. Палька гаркнул над его ухом:

Вот эта барышня, что я влюблен!

И спросил, подмигивая:

— Она, что ли?

Никита не ответил. Всю дорогу посмеивался шуточкам насчет предстоящего свидания, а тут оробел. Не побежал к кургану, протянул руку Катерине:

— Вылезай, не бойся, я приму.

Игорь подходил не спеша, приглядываясь, что за компания приехала. Никита... стесняется, чудак! Какая-то женщина. Палька Светов. А вот и красоточка. Хороши ножки, ничего не скажешь!

Он ускорил шаг и вдруг остановился, густо покраснев.

Перед ним, отряхивая пыль с жакета, стояла Катерина.

Черные косы по-новому закручены вокруг головы — высоко поднятым венцом, отчего вид у нее еще более величавый. Статная, с пышной грудью и боками, с твердо поставленными ногами. Ни в позе, ни в движениях — никакого кокетства: смотри, если хочешь, я сама по себе. Еще похорошела и опять неузнаваемо изменилась.

Игорь не нашел слов, чтобы приветствовать ее. Молча поздоровался с нею и с другими, молча пошел рядом с Катериной...

Никита отстал. Когда Катерина оглянулась, он уже сидел на кургане, но не возле девушки, а на почтительном расстоянии. На губах Катерины промелькнула улыбка — и тотчас отразилась на лице Игоря.

— Любовь, — сказал он.

Она впервые взглянула на него с живым интересом, но интерес относился не к нему, а к той парочке.

— Девушка — хорошая?

Игорь ответил словами, которые удивили его самого:

— Если любовь настоящая — значит, и человек хорош.

— Я хочу познакомиться с нею.

После этих слов Игорь настойчиво звал Лелю с Никитой ужинать, но они смутились и убежали в столовую, где скоро началось веселье. Из палатки начальника было слышно, как хохочет молодежь, а потом донеслась песня — девичий голос выпевал слова задорные, смешные, но звучало в этом голосе ликование.

— Лелька поет, — сказал Игорь.

Катерина рассеянно прислушалась. Она ела мало, смеялась редко, думала о чем-то своем. За столом господствовали Матвей Денисович и профессор, они спешили наговориться после долгой разлуки.

Русаковская держалась сдержанно. Нетрудно было заметить, что Палька Светов совершенно присох к ней, но теперь это только обрадовало Игоря. С помощью Пальки он уговорил обеих женщин поехать после ужина купаться.

— И мы! И мы! — закричали дети.

Это решило вопрос о профессоре и Матвее Денисовиче — для них мест в машине не хватило.

Выводя рыдван, Игорь думал о том, что посадит Катерину рядом с собой, — и злился на себя и на нее. Наваждение какое-то! И что мне она? Зачем? Шахтерская мадонна!

Как нарочно, в небо выползла чуть скошенная, рыжеватая луна, и сразу все стало прекрасным — и палатки лагеря, и неоглядная степь, и уходящая вдаль дорога, еле заметная среди степной глади.

Катерина сидела рядом с Игорем. Широко раскрытые глаза, плотно сжатые губы. Не заговори с нею — сама и не подумает.

— Какое у вас лицо, такими, как вы, пишут мадонн, — сказал Игорь и про себя усмехнулся — она, должно быть, и не знает, что такое мадонна. Как она поведет себя — притворится, что поняла? Или промолчит?

— А я никогда не видела мадонн, — просто сказала Катерина. — Я ведь поселковая, шахтерка. Какие они — мадонны?

— Красивые и строгие. Как-никак божья мать.

— Лестно, — усмехнулась Катерина. — Шахтерская мадонна!

Игоря бросило в краску.

За их спинами, уместившись вдвоем у косого оконца, Галя и Кузька пытались разглядеть, где они едут, и принимали колодезные журавли дальнего села за буровые вышки. Притиснутые друг к другу в тесноте и полумраке, Палька и Татьяна Николаевна без умолку болтали между собой и с детьми, пока их руки разговаривали по-своему — Палька находил и сжимал руку ненаглядной, рука то решительно отталкивала его, то покорно замирала, то шутливо выскользывала из его пальцев и тут же снова попадала в плен...

Над запрудой разлив воды чуть покачивался, серебристыми змейками обозначая несильное течение. Темные деревья подступали вплотную к воде, только на изгибе реки образовалась неширокая отмель. От этого естественного пляжа наискось тянулась по воде лунная дорожка, дробясь в беспокойном водяном гребне, перебегающем через верх плотины.

Первыми бросились в воду ребята. Кузька сразу поплыл саженьками, вздымая фонтаны сверкающих брызг. Игорь и Палька у самого берега учили плавать Галинку, украдкой выглядывая своих спутниц — что они там замешкались?

Татьяна Николаевна подбежала к воде и остановилась, пробуя ее кончиками пальцев. В изящном купальном костюме, каких в Донбассе и не видывали, — она знала, что ее разглядывают, и нарочно медлила. Пальке хотелось потянуть ее за руки, затеять возню, да смущала сестра. Но вот Катерина твердой походкой прошла мимо Татьяны Николаевны и, не раздумывая, бросилась в воду. Ненаглядная осталась одна. Было бы нелепо не крикнуть ей: «Трусиха!» — и не выбежать за нею...

Игорь и не глядя видел статную фигуру, так просто, без жеманства вошедшую в воду. Действительно мадонна! Ее величавая голова высоко поднималась над водой, — наверно, не хочет замочить косы.

Игорь поплыл рядом.

— Как вы тихо плывете. Наши парни всегда на скорость плавают,

брызги до неба.

— Мне приятней с вами.

— Со мной? А ну, давайте!

Она нырнула и исчезла. Чуть колебалась гладь воды — луна покачивалась на ней, дразня обманными бликами. Игорь не умел плавать под водой и не знал в какую сторону плыть.

Катерина вынырнула далеко сбоку, засмеялась и поплыла против течения, прочь от Игоря. Игорь догнал ее.

— Косы замочили.

— Не беда, высохнут.

— А меня зачем бросили?

— Почему бросила? Плыли бы за мной. Или не умеете?

— Я бы вот так плыл и плыл рядом с вами, Катерина.

— И долго проплыли бы?

Он не успел ответить — она снова нырнула, показалась у самой плотины, поманила его и ушла под воду. Он поплыл наугад, а она уже вышла на берег, растерлась полотенцем и ушла за кустарник — одеваться. Игорь тоже вышел и все поглядывал искоса на ее белеющее тело, на взлетающие над кустами руки...

Уже одетая, Катерина села на берегу и распустила косы.

Игорь сел рядом. Густые волосы спадали на ее плечи и спину, одна мокрая прядь легла на грудь, приоткрытую низким срезом сарафана. Игорь зажмурился. Разум требовал — остановись! Но справиться с собою не удавалось.

— Катерина, меня тянет к вам. Не знаю, нужно вам или не нужно, но что есть, то есть.

— Ну зачем вы? — с досадой сказала Катерина. — Так хорошо было.

— А стало хуже?

Катерина начала заплетать косы. Игорь смотрел, как ловко ее пальцы перехватывают и свивают мокрые пряди. Одна коса повисла плетью. Потом — другая. Потом руки взлетели и точно уложили косы венцом, энергично протыкая их шпильками.

— Я не знаю, — вдруг сказала Катерина с грустным недоумением. — Не знаю. Только не надо.

Она была права. Игорь сам не понимал, что такое на него нахлынуло. Почти незнакомая, из незнакомой среды, недобрая и неприветливая девушка со странно изменчивыми настроениями... Скажи она: «И я полюбила вас» — что он будет делать с этой любовью? Но желание дотронуться до нее было так сильно, что он взял ее руку, заранее

догадываясь — сейчас она выдернет руку. И она выдернула ее, нахмутив брови.

— Я полюбил вас, Катерина. Что мне делать с этим?

— Вы ж меня не знаете совсем. И обо мне ничего не знаете. Как у вас быстро все!

— Я сам удивлен, — сердито отозвался Игорь. — Но, к сожалению, это так.

Катерина внимательно посмотрела на него и сказала другим, печальным и добрым голосом:

— Что ж, буду помнить.

Встала и пошла к воде звать детей — пора ехать!

Палька уплыл с Татьяной Николаевной на другой берег. Катерина вздохнула и стала выкликать их — пора ехать! Скорее, скорее уехать от этой серебряной воды, от этого лучащегося неба, уехать, остаться одной, закрыть глаза и уши...

Когда они возвращались в лагерь, рыдван зачихал, зашипел и остановился. До лагеря оставалось километра два. Татьяна Николаевна решила идти с детьми пешком, с ними пошел и Палька. Не спрашивая, хочет ли она остаться с ним, Игорь попросил Катерину посветить, пока он разберется, что случилось. Они говорили только о диковинной машине, собранной Игорем. Ему хотелось, чтобы Катерина похвалила его, но она спросила, сколько времени он провозился, и усмехнулась, узнав, что больше месяца. Когда мотор кое-как заработал, сели и поехали.

Игорь не пытался заговаривать с Катериной, только радовался, что она еще тут, рядом, и он сможет видеть ее весь завтрашний день. Что будет потом, он не знал.

Они уже приближались к лагерю, когда Катерина заговорила сама:

— Я очень любила одного человека. Он погиб. В шахте.

Пристыженный, Игорь мгновенно припомнил тот первый вечер у Кузьменок и молчаливого парня, что крутился возле них и показался таким незначительным... брат Никиты! И как же я, болван, не догадался! Почему не расспросил о ней, вместо того чтобы некстати приставать!.. Но ведь что случилось — случилось, а жизнь продолжается, и она...

Будто угадав его мысли, Катерина сказала еще суровей:

— У меня будет ребенок. Я должна вырастить его ребенка. Ничего другого я не хочу. Вот вы заботитесь — косы намочила. Мне приятно. Но у меня этого никогда не будет, чтоб кто-то заботился. Мне нужно быть как камень. Вот и все. И ради бога, не говорите ни слова.

Все, кто видел, как Аннушка Липатова благоустраивала свою палатку, как она мило охорашивалась перед встречей с мужем, — все радовались за нее и старались ничем не помешать. В экспедициях такие события ценят.

Когда Липатовы под ручку прошли к себе, молодежь из соседних палаток так и брызнула во все стороны и воспользовалась чудесной ночью, чтобы подольше не возвращаться домой.

Все способствовало любовной идиллии. Но идиллия была начинена взрывчаткой накопившихся обид и вот-вот могла взлететь на воздух — стоило только запалить фитилек. Оба старательно обходили взрывоопасные вопросы, чтобы не портить радость свидания. Липатов твердо решил отложить серьезный разговор на завтра, и если сама собою вплелась в его нежные речи подземная газификация угля, то лишь потому, что тема была безопасной и счастливой.

— Ты увидишь, от нашего проекта начнется громаднейшее дело, — говорил Липатов, положив голову на колени Аннушки и снизу вверх глядя в ее милое лицо. — Ребята еще сами не понимают, какая это штука! Не на месяцы — на годы труда! — И добавил: — Скоро нам понадобятся геологи — вот тогда ты сможешь найти себе постоянное важное дело дома!

Аннушка не представляла себе работу геолога в условиях подземной газификации — это же совсем иной характер изысканий, наверно?

Робкий огонек коснулся фитиля, и фитиль начал тлеть — то ли разгорится, то ли погаснет.

— Подучишься немного, изменишь профиль, — мирно сказал Липатов и чуть дунул при этом на тлеющий фитилек. — Все равно пора кончать с кочевой жизнью.

Аннушка прикрыла фитиль ласковой ладошкой.

— Конечно. Так грустно жить врозь, я ужасно соскучилась без тебя и без Иришки! Я так мечтаю об отпуске! Вероятно, в ноябре или декабре. И по крайней мере на два месяца.

Ладошка неосторожно соскользнула с фитиля, и пламя занялось.

— В декабре? Я с ума сойду до декабря! — воскликнул Липатов. — Не могу я так больше! Как собака в конуре!

— Два-три месяца, Ванюша! Они пролетят быстро. Если мне удастся заняться обработкой материалов дома...

Но Липатов уже раздувал пламя протеста:

— А ты знаешь, что я мужчина и не могу жить таким монахом? Палька

смеется — муж-заочник! Я... я... я за женщинами начал ухаживать! Вот!

Он сидел перед нею — взъерепенившийся, с подчеркнута грозным, преступным видом.

— Мне очень больно, Ванюша. Очень. Я не ждала, что ты... Но ведь у нас обоих — свое дело, я никогда не связывала тебя, никогда не покушалась...

— Покушалась! — рывкнул Липатов — и вся идиллия взлетела на воздух. — Покушалась с первого дня! Я сидел один, как дурак, пока ты училась, пока ты ездила черт знает куда! Я лишен ребенка! Лишен жены! Лишен домашнего уюта! Ты покушалась на главное — на семью! Какая, к черту, семья? Нет у меня семьи! Я брошен, ребенок брошен, придешь домой — пусто, грязно, хоть кричи, хоть напивайся! Да, да, сижу один и пью! И сопьюсь! Уже спиваюсь! Вот!

— Да как же ты? — пробормотала Аннушка, с ужасом глядя на него, потом отстранилась и сказала своим непреклонным голосом: — Знаешь, Ваня, если ты начал пить, я к тебе совсем не вернусь. И дочку не привезу. Зачем мне... пьяница?

Пламя сразу сникло. Чуть тлели последние головешки семейного бунта.

— Да какой же я пьяница, дуреха! — сказал Липатов и потянул ее к себе. — Что ты вообразила?

— Ты же говоришь — спиваюсь, ухаживаю за женщинами...

— Так это ты меня вынуждаешь!

Она обняла его, поцеловала, пригладила его взъерошенные волосы, — и сразу он стал ручным. А она старательно заглаживала остатки бунта, взывая к другому, покладистому и сознательному человеку, существовавшему под оболочкой обиженного мужа.

— Я ведь горжусь тобой, Ванюша! Горжусь, что мы построили семью на полном равенстве, на взаимопонимании... Я всегда говорю нашей молодежи...

— Но нельзя так годами, — жалобно вставил он. — Семья — а дочка брошена одна... — С последней вспышкой угасающего бунта вырвалось — ...у этой старой дуры!

— Тетя Соня — старая дура?

— Не знаю, может, она и умная, но ты бы слышала, как Иришка ругается во дворе с мальчишками!

— Иришка ругается?

— Еще бы! Безнадзорный ребенок, брошенный матерью!

Аннушка всхлипнула и прижалась к мужу.

— Ну хорошо, это ужасно, все брошены. Но что же мне — оставить экспедицию, обмануть доверие, стать домашней хозяйкой? Коммунистке, геологу с неплохим опытом — все бросить сейчас, когда вся страна... когда геология, как никогда...

— Нет, конечно, — испуганно пробормотал Липатов — тот, второй, сознательный и самоотверженный Липатов, который когда-то клялся не стеснять свободу комсомолки Аннушки и давно внушил себе, что строительство социализма требует жертв «по семейной линии».

— А знаешь, Матвей Денисович скоро поедет с докладом в наркомат, и вопрос о передвижке нашей реки...

Так Аннушка увела разговор с опасного направления в привычное русло, где всякий бунт ударялся в обкатанные, непроницаемые берега.

Матвей Денисович увел из лагеря — ото всех подальше — своего друга, перед которым не боялся выглядеть сумасбродом.

Стоя посреди освещенной луною степи, Матвей Денисович палкой чертил карту — вот Сибирь и ее громадные реки, сбрасывающие воды в Ледовитый океан, вот палимая солнцем, безводная Средняя Азия, вот Тургайское плато и узкий гребень Тургайских ворот — взорвать этот гребень или проложить туннель, и массы воды потекут в пустыни... Задача — грандиозна, потребует значительного труда и средств, но только в ней — решение для безводных пустынь, жаждущих влаги, да и для Каспийского моря — вы знаете, как быстро мелеет Каспий?

— Интересно, что такая дерзкая идея возникла именно теперь, — задумчиво сказал Русаковский. — И в науке, и в технике сейчас — бесстрашное время. Человек подошел вплотную к управлению природой и даже к изменению ее. В химии мы уже на пороге такого владения веществом, когда мы будем создавать по своей воле и потребности все материалы, какие нам нужны, и в том качестве, которое желательно. Перспективы безграничны. В механике можно предвидеть всеобъемлющее распространение автоматике — тут тоже перспективы захватывающие. Полеты в стратосфере — технически решенная вещь. Принципиально решены и полеты в космос. Вероятно, возникает и бытовая авиация — нечто вроде авиавелосипеда. Физика уже сейчас по своей подготовленности может поставить задачу создания искусственных облаков, искусственных дождей. Можно предвидеть, что будущие тепловые установки будут питаться теплом земных недр, теплом, извлеченным с двадцати — тридцатикилометровой глубины. Неважно, сегодня это будет решено или через несколько десятилетий, важно, что такие задачи уже в

пределах возможностей науки.

— А поворот рек в новые русла? — нетерпеливо перебил Матвей Денисович. — Тут и научных затруднений не предвидится, тут все опирается на уже решенные научные и технические задачи! Дело в экономике, в организации...

— И в своевременности, — вставил Русаковский. — Пока что это — прекрасная мечта.

— Мечта? Нет! Народнохозяйственная необходимость и целесообразность.

— Но ведь не сегодня же? — осторожно напомнил Русаковский. — Пока что мы лихорадочно торопимся индустриализировать страну и, как я понимаю, усилить оборонную мощь. То, что строится в эти годы, — только основа для настоящего экономического подъема. Ваша идея — идея далекого будущего.

Он подумал и твердо посоветовал:

— Разработайте ее. В тех общих чертах, какие нужны для ощущения целого. И опубликуйте.

Матвей Денисович развел руками:

— Хо-хо! И только-то? Нет, милый, я не только опубликую, я ринусь в бой, в драку, чтоб осуществить ее!

— Осуществить? Теперь?

— Пусть не теперь, но эта идея должна войти в перспективу развития страны как неотъемлемая часть!

— А вы не думаете, Матвей Денисович, что задача признается общественно необходимой только тогда, когда созрели условия для ее реализации?

— Э-э, нет, Олег Владимирович, вы не учитываете особенностей социалистического хозяйства. У вас пассивная точка зрения: когда созреет, тогда и займутся. Это — самотек. Я — за то, чтобы подсказывать жизни, торопить жизнь! Мечтатели? Конечно! Но мы — организаторы воплощения мечты. А это совсем особая категория мечтателей. Наши мечты — это предвидение.

— Наука вся — предвидение, — улыбаясь горячности друга, сказал Русаковский. — Но путь у нее один — разрабатывать догадку, обобщать и анализировать данные, доводить ее до тех, кто идет за нами, — если хотите, открывать семафор новому течению мысли. Но не бросаться в борьбу! Я могу разработать десять ценных мыслей, но, если я попытаюсь осуществить хотя бы одну из них, — на девять других у меня не хватит времени.

— Что же мне, разработать и положить в стол?

— Опубликовать в научном журнале, наконец — в молодежной прессе, и считать, что вы свое сделали.

Матвей Денисович в ярости взмахнул кулаками.

— И это говорите вы! Вы! Человек вечных исканий!

Вдали возник пучок света, бледного в сиянии луны, но живого, движущегося.

— Наши возвращаются, — с облегчением сказал Русаковский и двумя руками дружески разжал стиснутые кулаки Матвея Денисовича. Не отрывая глаз от далекого света, он заговорил вполголоса, с необычной для него мягкостью:

— У меня есть ученик — Илья Александров. Илька, как мы его называем. Когда я думаю о том, что мне удалось и удастся сделать в науке, я говорю себе: нашел и ввел в науку Ильку Александрова, это мне зачтется. Он уже — настоящий ученый. С самой ценной чертой — дальновидением. У него всегда новые идеи, и многие из них опережают общее движение — вон как тот пучок света. Каждая из его идей — клад для практики. Он их разбрасывает, дарит, роняет на ходу, не возвращаясь... У него шестнадцать научных работ. Ему двадцать четыре года. Я его очень люблю, но, если бы он вздумал взяться за осуществление сам, ввязаться в промышленность, я б ему шею свернул. Это было бы преступлением против науки.

Далекий пучок света вдруг погас.

Русаковский молчал, вглядываясь в серебристый туман, безразлично укрывший место, где недавно шла машина.

— Рыдван забастовал, — объяснил Матвей Денисович и с горячностью возразил: — Преступление против науки? А если это будет благодеянием для родины, для миллионов людей?!

— Разве наука не для того же? — с неожиданным раздражением ответил Русаковский. — Я не могу противопоставлять. Есть общественное разделение труда и разумная трата сил.

— А жизнь? Куда вы денете в этой разумной схеме простую человеческую жизнь и ее пределы? И желание *увидеть* то, что вам дорого?

— Это уж область психологии, — процедил Русаковский и заставил себя отвести взгляд от одной точки, растворившейся в лунном тумане. — Иногда и мне хочется чего-то такого — быстрого. Но я знаю: ценой большого труда ученый стал ученым. Он — общественное богатство. Все свое время он должен тратить с максимальной пользой в той сфере, где он нужней всего.

— Это как-то слишком расчетливо.

— Я это называю целенаправленностью, — отчеканил Русаковский и прислушался — неподалеку возникли детские голоса.

Матвей Денисович сложил ладони рупором:

— Э-ге-гей!

Их было всего двое. Двое ребят. Галинка с размаху кинулась к отцу. Она дышала часто и громко. Волосы — мокрые, хоть выжимай.

— Я научилась нырять! И плавать под водой. Метра два проплыла, вот Кузька скажет. Метра два, верно, Кузь?

— А где мама?

Галинка неохотно мотнула головой.

— Они что, у машины остались?

— Игорь остался. С Катериной, — исподлобья глядя на отца, угрюмо сказала Галинка. — А мама пешком идет. С этим... Побежали, Кузька! — позвала она и первая помчалась к лагерю.

— Может, пойдём навстречу? — предложил Русаковский и тут же удержал себя: — Впрочем, она не одна, да и светло.

— Конечно, с нею Павел, — не задумываясь, подтвердил Матвей Денисович, торопясь вернуться к прерванному разговору. — Допускаю, что вы правы в отношении крупных талантов. Но я, Олег Владимирович, не светило, я самый что ни есть практик, один из миллионов. Мне наплевать на экономию сил. Я вместе со всеми работаю на будущее. И чувствую себя в луче света, устремленном вперед, а луч имеет свойство расширяться в пространстве и охватывать все больший круг...

— Но сила света при этом ослабляется, — сказал Русаковский, незаметно увлекая друга навстречу двум людям, потерявшимся в степи.

— Ага! Широкий круг — и многое в дымке, контуры неясны! — с торжеством подхватил Матвей Денисович. — А я хочу увидеть, хочу по контурам угадать будущее! Определить, что и как! Вы скажете — самолет создали тогда, когда наука смогла решить проблемы полета машины тяжелее воздуха. Но ведь был Икар! Была легенда, мечта! Полет мысли опережает любой другой полет иногда на столетия. Были безумцы, которые привязывали к спине крылья и прыгали — и разбивались. Я — этот безумец. Мне пятьдесят два года. Времени осталось не так уж много.

Два человека — два силуэта — определились в лунном тумане. Они приближались рука об руку, светлый шарф Татьяны Николаевны отлетел концом на грудь ее спутника, как бы соединяя их.

— Э-ге-гей! — излишне громко закричал Матвей Денисович. — Что там у вас случилось?

Два силуэта разделились, Татьяна Николаевна быстро пошла на голос,

концы шарфа вились за ее спиной, как крылья.

— Вот вы где, философы! — сказала она. — Небось говорили о науке все время, пока мы ездили, купались, плавали, ломали машину... Ах, какая ночь, Олешек! А вода теплая-теплая.

Светов тоже подошел и стоял рядом с нею. Русаковский внимательно оглядел его — как он молод, невыносимо молод!

— Вы еще не наговорились? — спросила Татьяна Николаевна и запахнула плечи шарфом. — Я пойду уложу Галинку.

— Вы хотели послушать песни, — напомнил Светов.

Она прислушалась — в лагере пели. Песня доносилась издалека и потому казалась особенно красивой.

— Если Галя скоро заснет, я приду. Ну, философствуйте, не буду вам мешать.

Она прощально улыбнулась мужу, свободно положила свою руку на руку Светова — и они ушли. Русаковский и Матвей Денисович еще долго видели два силуэта и разлетающиеся концы светлого шарфа.

— Иногда мне бывает жаль, что я не способен к прыжку, — печально сказал Русаковский. — Может быть, в этом самая большая красота — совершить прыжок в будущее хотя бы с риском сломать ноги. Но химия — наука точная и кропотливая. Сна готовит опору для смелых прыжков... но прыгают другие. Те, кто пользуется нашими выводами. А мы — мы и есть работяги, чернорабочие прогресса.

Они чуть не наткнулись на парочку. Девушка спрятала лицо, а парень поднял голову и недовольно поглядел — кто тут бродит некстати? Матвей Денисович узнал Никиту и поспешно свернул в сторону.

— Женщинам нравятся люди, способные к отчаянному прыжку, — сказал Русаковский. — Наш брат, работяга, для них скучноват. В давние времена женщины предпочитали не мудрецов, а рыцарей. Времена изменились. Но изменилась ли женская психология?

Русаковский говорил полушутливо, и Матвей Денисович заставил себя улынуться. Он не знал, что ответить. Он думал о печальном подтексте этого рассуждения. Всегда казалось, что Русаковский слеп и доверчив, слишком погружен в науку и многого не видит, не замечает. Да нет же, видит, замечает все...

— Я высказал вам свод возражения, — заговорил Русаковский, как бы продолжая мысль, и Матвей Денисович не сразу понял, что он вернулся к разговору, прерванному появлением Татьяны Николаевны. — Но я не стану вас отговаривать. Если хотите, я вам завидую. Однако пойдёмте поглядим, уснула ли наша ребятня. Галя очень возбуждена — и сегодня, и все

последнее время.

Когда он вошел в палатку, где их поместили, Галинка лежала одна и не спала. Олег Владимирович присел на койку и поцеловал ее.

— Почему ты не спишь, рыжок?

Галинка прижалась к нему и передохнула так громко, будто удерживала плач.

— Ты что, Галинка?

— Ничего.

— Боишься одна?

— Я вообще ничего не боюсь, — сказала Галинка и тряхнула головой, как бы откидывая тревожные впечатления вечера. — Я решила, папа! Я буду изыскателем.

— Очень хорошо. Но почему ты так решила?

Отец спрашивал серьезно, он никогда не оскорблял ее снисходительностью.

— Потому, — убежденно сказала она, — что они всегда первые. Пришли, поставили палатки и начали.

— Это очень интересная профессия, Галя. Но у нее есть свои неудобства. Тебе почти не придется жить дома...

— А я не хочу жить дома.

Руки отца, обнимавшие ее, дрогнули. Галинка прижалась к ним, ей хотелось заплакать и в слезах избавиться от злобы и отвращения, которые находили на нее каждый раз, когда она с ревнивой наблюдательностью подмечала беглые слова и взгляды украдкой, которые мама старалась скрыть.

— Папа, расскажи мне что-нибудь, чтоб я заснула.

— Ну, какой я рассказчик!

Он пригляделся во мгле палатки — личико ее печально. Поцеловал ее влажные волосы, рыжеватые, как у матери.

— Я вас завтра же отправлю к морю, рыжок. Тебя и маму. Большого рыжика и маленького.

— Да! Отправь. Завтра?

— Завтра. Там много зелени, не то что здесь. Цветут олеандры — это такие деревья в крупных розовых цветах. Ты никогда их не видала. И другие деревья — на них растут мандарины. Сейчас они еще зеленые, потом пожелтеют. Ты увидишь море. Там прежде всего и больше всего — море. Знаешь, какое оно?

— Какое?

— Оно такое большое, что степь перед ним — маленькая. Ты

приедешь, выбежишь... Вот послушай: «...над самым обрывом застынешь — и вот в разрывах тумана сверкнувшее море все сердце простором тебе захлестнет». Это написал один поэт. О море. Маме очень нравились эти стихи, когда мы в первый раз поехали с нею к морю. Вот послушай еще: «Смеется, и плещет, и возится море, и пенит крутую лазурь на бегу. О, как оно звало тебя и кипело, как билось и плакало в брызгах навзрыд!»

— А почему плакало? — сонным голосом спросила Галя.

— У него тоже свои горести, у моря. Вот когда буря. Мчится, мчится ветер, цепляется за горы, за деревья, а потом как вырвется к морю, как разгуляется на его просторе, как начнет гонять волны...

Он рассказывал неторопливо — не ей, себе. Галя уже спала, стиснув его палец. Он выпростал палец, разделся и долго лежал, стараясь не прислушиваться, и не ждать, и заснуть во что бы то ни стало, но сон не шел, и все отчетливее звучали в тишине запоздалые шаги, тихие голоса, позвякивание умывальника — последние звуки замирающей до утра жизни. За откинутым пологом темнело — луна уходила за горизонт.

Ее светлый шарф казался не серебряным, а синим, когда она остановилась у входа, прежде чем войти.

— Олешек, ты спишь?

Он плотно смежил веки и постарался дышать размеренно, как во сне. Она постояла над ним, над Галей, еле слышно разделась и прилегла на скрипучую койку так осторожно, что койка чуть вздохнула. «Виновато вздохнула», — усмехнулся Олег Владимирович, послушал еще ничем не нарушаемую тишину — и заснул.

Ночь пришла — длилась — начала отступать, а Никита и Лелька так и не покинули степь. Степь была их домом, небо простиралось над ними крышей — когда-то еще будет над ними другая! Она была снисходительна к ним, эта крыша, — щедро одарила лунным светом, потом укрыла теплым мраком, в котором таинственно и приманчиво колыхалось расплывчатое пятно далекого костра; они все поглядывали на костер — вот и другие гуляют, не спят... и не заметили, когда погас костер. Небо стало нежно-зеленым, и пошли по нему легкие отсветы, сперва несмело, потом все ярче, и вот уже на полнеба раскинулась заря, и по сияющему небосводу неторопливо поплыло желтое облачко — круглое, оно постепенно вытягивалось и загибалось кверху, уже не облачко, а ладья с надувающимся парусом; затем наплыла целая стайка таких же, и все устремились наперегонки, вздымая желтые паруса, — быть ветру и на земле, определила Лелька и поежилась от предутреннего холода.

Никита смотрел, как отражается заря в глазах Лельки и как розовеет ее побледневшее лицо. Никогда еще он не понимал так ясно, что им не жить врозь. Если бы она согласилась переехать в Донецк!..

— Тебе легко говорить — уйди, — рассуждала Лелька. — Я бы, может, и ушла, да как таких людей обидеть? Матвей Денисовича! Анну Федоровну! У меня же, кроме них, никого во всем свете.

— А я?

— Ты, ты... — блаженным голосом пробормотала она, но закончила весьма недоверчиво: — А кто ты такой есть? И куда мы с тобой денемся?

— Поступишь куда-нибудь. Что, устроиться негде? С руками рвут людей! Общежитий сколько угодно, и комнатку снять можно...

Из уютного гнездышка его теплых рук она смерила Никиту колючим взглядом:

— И кто ж в той комнатке жить станет?

— Как — кто? Ты!

— Сам надумал — или советчики помогали? — Она невесело засмеялась. — Здорово! Ты у папы с мамой за пазухой, а мне — полюбовницей твоей на людях ходить? Невелика честь!

— Так ведь... Ну что я сейчас могу? Вот найду работу, стану на ноги...

— Тогда и приглашай.

— А пока, значит, не нужен? Тебе, видно, не больно скучно без меня? Не торопись?

— В комнатку на отлете? Да, не спешу.

Она высвободилась из его рук, искоса презрительно оглядела его.

— Герой героем, а родителей боишься! И этой твоей Катерины. Подумаешь, королева! Ей ручку подаешь — осторожно, не оступись! — а меня прячешь? Не компания?

— Так ведь ты сама...

— А что мне — набиваться в подружки? Или к твоим родителям разбежаться с приветом: здрасте, я вашего непутевого незаконная жена!

Никита вскочил, рванул с земли и с силой тряхнул пиджак.

— Видно, такая у тебя любовь — до первой трудности! О себе думаешь — законная или незаконная, вроде как в царское время. А того не ценишь, что я зубрил, как черт, целый месяц ради нашего уговору...

Лелька лениво поднялась, потянула к себе пиджак, закуталась в него. Только что сердилась, а теперь — улыбается. Многозначительно, будто знает что-то неведомое Никите.

— До какой трудности моя любовь — еще увидишь, жизнь длинная. А что ты родителей боишься — так я не боюсь. И Катерины твоей не боюсь.

Все равно — мой.

С восходом солнца подул сильный горячий ветер, закрутил над степью пыльные смерчи. По небу в два слоя надвигались облака — нижние, ржаво-серые, тяжело ползли, а верхние победно светились и легко обгоняли их, и каждое летело как бы стоя, завихряясь на верхушке. От облаков по степи мчались тени — лиловые на желтизне выгоревших трав. Несмотря на ветер, становилось душно.

Матвей Денисович готовился с утра показывать работу экспедиции, но гостей за ночь словно подменили: Олег Владимирович «закрылся на десять замков», держался безразлично-вежливо и ни к чему не проявлял интереса. Татьяна Николаевна не отходила от мужа и украдкой позевывала, Катерина сразу после завтрака куда-то скрылась, а Липатов брякнул напрямик:

— Ну, куда бежать по пылище и духотище? Может, просто отдохнем?

Но тут взвился Палька. С утра он был в возбужденно-счастливом состоянии и как бы отсутствовал — смотрел мимо людей шалыми глазами и в разговорах не участвовал. Но, оказывается, слышал их. Теперь он набросился на Липатова: для чего же мы ехали? Я, во всяком случае, приехал ради бурения, тут опытные мастера, от них узнаешь куда больше, чем по книгам! И ведь условились!..

— Что верно, то верно, раз приехали посмотреть — надо посмотреть! — с ледяной веселостью сказал Русаковский. — Танюша, если ты предпочитаешь отдохнуть...

— Вот еще! Раз ты пойдешь... — поднимаясь, сказала Татьяна Николаевна и взяла мужа под руку.

Матвей Денисович на ходу отменил принятое было решение начать с поездки на буровую вышку — он заботился лишь об одном человеке, а этого человека могли оживить не зрительные впечатления, а пища для ума. И действительно — когда они вошли в темноватое, прохладное кернохранилище и лабораторию, где робеющая перед известным профессором Аннушка старательно показала все, чем богата, — Олег Владимирович заинтересовался геологическими разрезами, а через минуту у них завязался оживленный разговор. Палька вынужденно помалкивал, но слушал и, когда мог, вставлял вопросы, чтобы извлечь из двух специалистов все возможное — впрок так впрок. Зато на буровой он вырвался на первый план и прямо-таки вцепился в старшего бурового мастера, совершенно не думая о том, интересно ли другим. Ему нужно было разобраться в технике бурения, понять возможности и недостатки оборудования. Он мысленно осуществлял подземную газификацию, и ему

предстояло бурить скважины — не только вот такие, вертикальные, но и наклонные, и продольные, а если обычный буровой станок не мог этого сделать — тем хуже для станка, надо создать новый, более совершенный!..

Другие скоро отстали, а он совал нос во все механизмы, лазал на верхнюю площадку, где свинчивали трубы, и все время слышалось его нетерпеливое: «А если...» Иногда он замечал, что возле его локтя неотступно торчит любопытная скуластая физиономия Галинки, но ему было не до нее.

А Галинка с упоением лезла туда же, куда он, и слушала, наострив уши. Ей нравилось в экспедиции решительно все, даже пыльные смерчи, гуляющие на степном просторе. Ее пленили камни и куски глины — перенумерованные, с этикетками на боку, расставленные Аннушкой в строгом порядке, — не камни и не глина, а образцы «пород», которые «залегают» в глубинах земли. Ее завораживали таинственные названия — морена, гнейсы, аркозовые песчаники... Подумать только! — в каких-то «отложениях» находят окаменевшие остатки панцирных рыб, которые когда-то плавали здесь, потому что здесь было море! А потом море почему-то ушло, и рыбы перемерли. Что за панцирные рыбы — вроде черепах или совсем другие? И куда ушло море? И как узнают про рыб и про моря, которых давно нет? Это и есть Гео. Папино самое умное Гео... Еще больше ей понравилось на буровой вышке. Никто не мешал ей взбираться по шатучей лесенке на самую верхнюю площадку, где рабочий поднимал из глубины земли «свечу» — несколько соединенных вместе труб. Лебедка понемногу вытягивала их из скважины, и рабочий отвинчивал трубу, чтоб она не уперлась в небо, перевинчивал хитрую головку с гольцом на следующую трубу, лебедка и ее вытягивала... Трубы назывались штанги. «Как в футболе, — сказал рабочий, — только тут зевать уж никак нельзя!» Хитрая головка называлась вертлюг, наверно потому, что она вертится, когда ее навинчивают, а кольцо — серьгой; оно и вправду напоминает мамины серьги, только эта серьга была большая, через нее пропускали стальной трос.

Гале казалось, что штанги будут ползти и ползти — из самой сердцевины земли. Но очередная труба повисла в воздухе, вытащив за собою трубу потолще, а на ней — наконечник с зубьями. Рабочий, что стоял внизу, стукнул по толстой трубе и вынул из нее колонку породы — керн, а девушка в брезентовой куртке уложила керн в ящик и что-то написала на ящике. Галя скатилась вниз, чтобы поглядеть керн, — это оказался невзрачный камень, исцарапанный зубьями «бура». Затем свечу начали снова свинчивать и опускать в скважину. Закрутился движок,

разгоняя приводные ремни, от ремней закрутился вал станка, от вала — свеча. Галя представила себе, как зубастый бур, крутясь, скребет и прогрызает камень, медленно углубляясь в него и вбирая внутрь трубы колонку керна. Буру всячески помогали — засыпали в трубу черные горошины дроби, чтоб они перетирали камень, заливали туда воду, чтоб она охлаждала металл...

Силища! Но нет, — оказывается, этот Палька еще недоволен и хочет, чтоб свеча шла и вбок, и как-то «продольно», и мастер соглашается, что тогда станки надо более умные.

— Что ж, будет потребность — придумают.

Как будто ничего особенного не сказал этот седеющий мастер в перепачканном мазутом комбинезоне. Но, может быть, оттого, что рядом с напористым Палькой он был так невозмутимо рассудителен, Галя поразилась его ответу, и ей вдруг приоткрылось что-то очень большое и общее. Она не могла бы высказать ее словами, но мысль была яркой и волнующей — не только в сарае Кузьменок, вокруг взрывающейся печки, не только у папы в институте, где они «колдуют» с Илькой Александровым и Женей Труниным, — нет, и здесь, в степной экспедиции, где будут поворачивать в новое русло речку, в которой Галя вчера купалась, и на этих буровых, и везде-везде, все время что-то создается, меняется, замышляется и рождается... И она сама растет для того, чтобы принять в этом участие — где-то, где всего интересней.

Когда на обратном пути Матвей Денисович обнял за плечи Галю и Кузьку и начал рассказывать им почти невероятный план поворота крупнейших сибирских рек, Галя даже не удивилась, ей только показалось, что, может быть, именно в этом — самое интересное и если стать изыскателем — то для тех изысканий в Сибири. Положив блокнот на колено, Матвей Денисович с уже привычной точностью начертил им карту Сибири — папа давно научил ее разбираться в карте, но та, напечатанная карта была неживая, горы, реки и равнины были нарисованы раз и навсегда, а набросок Матвея Денисовича шевелился, как живой, — реки текли в обратную сторону, горы взлетали на воздух.

— Я поеду с вами, когда вырасту, — почему-то шепотом сказала она, и Матвей Денисович ответил вполне серьезно: «Договорились!» — и пообещал в Москве показать ей много интересного, и предупредил, что она должна хорошо подготовиться, потому что изыскания будут ой-ой-ой!

И Галя ощутила торжественность — как в тот день, когда ее приняли в школу.

Катерина с утра чувствовала себя дурно — давил зной, угнетал ветер. Она полежала в палатке, но там нечем было дышать. Хотела выйти — по лагерю кругами бродил Игорь, поглядывая в ее сторону. Ну зачем он? Ведь все сказано. И не нужно было ехать. Знала же, что не нужно! Приглядеться к этой Лельке? Подумаешь, повод!..

Вон она прогуливается с Никитой — ломается, в волосах цветов. Вчера, когда она сидела на кургане, Катерине почудилось в ней что-то милое, а теперь видно — ломака. Подчеркнуто смеется, говорит излишне громко, чтобы все слышали — вот она я!

Лелька увидела Катерину у полога палатки, нарочно подошла поближе, начала вырывать свою руку из руки Никиты:

— Ступай, ступай, некогда мне. Как идти к Матвей Денисовичу, зайдешь. Пусти, ну!

Вошла в соседнюю палатку, что-то замурлыкала. Все — игра.

Катерина выглянула — Никита ушел, Игоря тоже не видно. Присела на узкую скамеечку возле палатки, спиной к ветру. Куда деться от этого горячего пыльного ветра? Скорее бы домой. Но еще предстоит обед — даже думать о нем тошно. Целое сборище, шум, гам...

Лелька вышла с шитьем и уселась рядом, неумело орудуя иглой. Губы сложила бантиком, мизинец отставила — спектакль.

— Извините, пожалуйста, можно в Донецке купить прошивки?

Вопрос — нарочно, чтоб завязать знакомство. Ну что ж... Пожав плечами, Катерина спросила, что она шьет. Оказывается, блузку со складочками. Складочка пошла вкось, нитка запутывается узелками...

— Дайте-ка сюда. Вот так надо.

Выдернула нитку, заложила складочку ровно, приладила ногтем, прометала.

— Некогда мне шить-вышивать, — независимо сказала Лелька. — Профессия не позволяет. Стирать, полы мыть, гладить — это я могу.

Ишь как отрекомендовалась! Уж больно просто понимает... невеста! А невеста завистливо наблюдала, как ловко Катерина прометывает складочки, и вдруг совсем тихо спросила:

— У вас мама есть?

— Есть.

— А у меня никого. Как дурной гриб — одна на свете.

Катерина внимательно поглядела на девушку, — может, и не ломака? Да нет, с чего бы при первом знакомстве жалкие слова говорить? Вот сидит, ветер бросает ей в лицо пыль, а она и не отвернется, глядит исподлобья... Чего-то ждет? Добивается? Осторожно, чтоб перевести разговор на Никиту,

Катерина возразила:

— Почему же одна? У вас друзей, наверно, много. Вас любят...

— Любят, да! — с вызовом согласилась Лелька и, не удержавшись, спросила: — Вы ихнюю семью знаете? Его папа и мама... добрые?

Об этом Катерина никогда не задумывалась. Доброты она не искала, не нуждалась в ней. А эта девушка нуждается? Или надеется на доброту стариков, чтобы войти в семью? Мало они настрадались, так еще и это!..

— Они лучшего сына потеряли, — сурово сказала она. — А Никита — сами знаете, от него радости мало. Так что не у них доброты искать, Никите самому пора к родителям доброту проявить.

Лелька побагровела. Намек ясен — не лезь в семью, никто этого не хочет, и Никите не позволят.

— Вам, конечно, видней, что им нужно, — кротко, но с затаенным гневом сказала она. — Я в семейных делах мало понимаю. Бессемейная, скитаюсь как то перекасти-поле. А только чего достигла — все сама! И какая ни есть, а свое счастье держу крепко!

Катерине понравилась ее решимость. Пусть девушка диковата, злюка, зато характер сильный. Тут бы и начаться настоящему разговору — но Лелька резко потянула к себе шитье:

— Давайте, чего вам зря руки трудить. Как умею, так и ладно.

Вскинула голову и ушла в палатку, что-то там уронила или бросила в сердцах — и запела во весь голос, с надрывом:

Десять я любила, девять позабыла,
А-а-ах, одного лишь забыть не могу!

Позднее Катерина слышала, как пришел к ней Никита, и они долго спорили, и Лелька закричала: «Ах, не останешься? Ну-ну, езжай!» А к обеду у Матвея Денисовича она явилась позже всех, в шелковом платье, с цветком в неумело завитых волосах.

Она ли на всех подействовала, или ее взвинченное состояние было сродни состоянию многих собравшихся, — но с первых минут за столом возникло нервное веселье. Русаковский сам себя объявил тамадой и произносил шуточные тосты за всех присутствующих, дурачился Палька, а Татьяна Николаевна, с утра такая смиренная, как из плена вырвалась. Игорь, весь день бродивший мрачной тенью, стал шумно весел и через стол так смотрел на Катерину, что она и не глядя чувствовала...

Матвей Денисович был простодушно доволен удачным приемом

те ботинки новые
Исходили вдоль и по-пе-рек...

Никита стоял над нею, чуть подрагивая плечами и губами в такт песни. Ему было стыдно, жарко и как-то необыкновенно хорошо оттого, что Лелька — *его* и не скрывает этого ни перед кем, и что такие люди приняли ее в компанию, и слушают ее, и не осуждают, а столичная профессорша даже подпевает. Он понятия не имел о том, что у Лельки вышел неприятный разговор с Катериной и она бросает сейчас вызов всем грядущим осложнениям. Его прямо-таки ошарашил неожиданный поступок Лельки, когда она оборвала песню и громко бросила через стол Катерине:

— Чего смотрите? Думаете — с улицы да в порядочный дом? Не набиваюсь!

Этого еще не хватало! Побелев, Катерина сказала:

— А я о вас совсем не думаю.

И отвернулась.

— Очень забавная песенка, я не слыхала такой, — будто и не заметив этой Лелькиной выходки, говорила Татьяна Николаевна. — Спойте еще что-нибудь, Лелечка, у вас это прелестно получается.

— Так ведь иначе и платить не стали бы, я ж с этого жила! — все так же вызывающе ответила Лелька и запела неожиданно низко, почти басовито, с грозными интонациями:

Не смотря ты на меня в упор,
Я твоих не испугаюсь глаз —
Не в первый раз их вижу!

Коль

У нас окончен раз-го-вор! —
Оборви его в последний раз,—
А там хоть брось, хоть брось —
Жалеть не стану!

Я! — таких, как ты,—
еще до-ста-ну!

Ты же, поздно или рано,
Все равно ко мне придешь!

Песня понравилась, но теперь и до Матвея Денисовича дошло, что Лелька — на крайнем взводе.

— Ай, Леля! — добродушно сказал он. — Первый наш работник, умница — да еще и певунья.

— В полевых условиях и такая хороша! — ответила Лелька, налила себе остатки вина, залпом выпила и запела, паясничая, новую песенку, про то, как «идет мальчишечка, двадцать один год...»

Она заметила, что Игорь подает знаки Никите, почувствовала и настороженную тишину, окружающую ее. Она не знала, что лицо ее пылает и голос звучит уже не весело, а истерически, что за нее по-доброму испугались. Прервав песню на полуслове, она вскочила и с хохотом закричала:

— Что, презираете? А я, может, лучше иных чистеньких! Вас бы в такую яму, в какой я с детских лет трепыхалась, — может, и не вылезли бы! Может, захлебнулись бы! Вам легко!.. Вам...

Перед нею оказался побледневший Никита, он с силой сжал ее локти:

— Перестань!

— А-а! — закричала она, отталкивая его. — Струсил? Думаешь, осудят? Ну и пусть... и пусть...

Она подняла над головой гитару и протолкалась к выходу.

— Поди за ней, успокой, — приказал Матвей Денисович Никите. — Ох и хорошая она девушка! — добавил он, обращаясь ко всем. — Досталось ей от жизни, это верно...

Игорь поморщился — любит отец преувеличивать! Небрежно пояснил: — Беспризорщина! — и через стол сказал одной Катерине. — Простите, что так вышло.

— Я хочу выйти, мне душно, — пробормотала Катерина и беспомощно огляделась — посадили в дальнем конце палатки, нужно всех поднимать, чтобы пройти.

А дышать стало нечем. Оглушительный звон забился в ушах. Окружающие ее лица качнулись и начали медленно запрокидываться, увлекая ее с собой.

Часом позднее гости собрались уезжать. Только Никита отбился от компании — сообщил, что остается еще на два дня, и увел присмирившую Лельку в степь.

После ее выходки и обморока Катерины веселье расстроилось. Катерину отнесли в палатку, поручили заботам Аннушки. Палька был до крайности удручен — он понимал, чем вызван обморок, и боялся, что

другие тоже поймут.

— Что это с ней? — огорченно допытывался Матвей Денисович. — Может, от вина — или духота сегодняшняя?..

Игорь злился на простодушие отца, Палька густо покраснел. Но тут Татьяна Николаевна подошла к Пальке, положила легкие руки на его плечи и сказала торжественно:

— Ваша сестра, Пальчик, замечательная женщина. Потерять так трагично любимого человека и решиться родить и воспитать ребенка — это героизм.

Игорь с восторженным изумлением выслушал эту маленькую речь. Затем он постарался уйти незамеченным и пошел бродить возле палатки, где лежала Катерина. Все, что он вдалбливал себе прошлой ночью и сегодня, разом отошло. Пусть дико, пусть нелепо, пусть все будут удивляться и насмехаться...

Внутри палатки звучали голоса — Катерина как ни в чем не бывало разговаривала с Аннушкой.

Время уходило. Татьяна Николаевна позвала детей одеваться в дорогу. Шофер опробовал мотор.

— Анна Федоровна, — позвал Игорь, подходя к откинутому пологу палатки, — вас ждет Иван Михайлович.

Как только Аннушка ушла, он смело окликнул Катерину.

Она вышла уже в жакете и платке, накинутом на голову от пыли. День угасал, и тусклый обнажающий свет подчеркнул бледность ее лица, темные круги под глазами, желтоватые пятнышки на лбу и щеках. Черные глаза ее холодно и недоброжелательно смотрели на Игоря.

— Ну что?

— Не надо, — настойчиво сказал он и взял ее безжизненную руку. — Вы не можете быть как камень, это чепуха. Вы самая прекрасная женщина из всех, каких я встречал. Может быть, из всех, какие есть на свете.

— Ну уж, — насмешливо протянула Катерина, но в глазах ее загорелись огоньки, и бледное лицо снова стало юным.

— Я вас люблю. Я не могу и не хочу — без вас. И ребенка... вырастим.

Ее взгляд метнулся к его лицу, растерянно ушел в сторону, опустился к земле. Рыжая пыль крутилась у их ног, перекатываясь с места на место верткими змейками.

Обнажающий трезвый свет выделял каждый камешек, каждый колышек, и Катерина разглядела, что один из колышков расщеплен. Вряд ли он долго продержится.

— Вы должны выйти за меня замуж, Катерина.

— Должна?

Гнев поднимался на смену растерянности и невольной радости. Скажи пожалуйста, как благородно! Пожалел. Благодарителствует.

— И как же вы это себе представляете? — жестоко, с издевкой допрашивала она. — Сейчас вы меня за себя возьмете? Или подождете, пока я последние месяцы дохожу? Домой, к мамочке, отвезете? Или с собой на новую работу рожать потащите?

Губы ее прыгали, грудь тяжело вздымалась. Она вскинула глаза, полные слез.

— Спасибо, Игорь. Только не будет этого!

И быстро, почти бегом, направилась к грузовику.

И вот они уезжали.

Катерину посадили в кабину к шоферу, Русаковские сидели рядком в глубине фургона, Галя — под рукою отца. Палька устроился у самого выхода. Счастье, волнение и боль переполняли его так, что он не смел оглянуться.

Липатов был печален — еще раз все вышло по-Аннушкиному, еще раз он остался ни с чем.

А на дороге, глядя вслед удаляющемуся облаку пыли, стояли трое — Аннушка, Матвей Денисович и Игорь.

Аннушка вытерла нечаянную слезинку, а Матвей Денисович, по-настоящему заметивший в эти сутки только Русаковского, восторженно сказал:

— Какая он светлая голова! Знаешь, Игорек, он одобрил мою идею и советует написать статью.

Как все очень увлеченные люди, Матвей Денисович извлек из спора и запомнил только то, что его устраивало.

Игорь нетерпеливо вздохнул — еще и это! Как слеп и наивен отец! Он и сегодня ничего не заметил, ничего не понял, для него существуют только его химеры...

А Катерину увезли, — наверное, навсегда. Вот уже и пыльное облако улеглось, вот уже не видно темного пятнышка машины — степь, тишина и быстро надвигающиеся сумерки.

Странно, ему начало казаться, что и сильное, потрясшее его чувство уплывает туда, в сумеречную пустоту, вместе с Катериной. Как будто оно не могло существовать отдельно от Катерины. Как будто его примчал и умчал громоыхивающий фургон.

И осталось лишь тупое удивление перед случившимся.

Жизнь стала «жизнью на колесах».

Катенин метался между Донбассом, Москвой и Харьковом, стараясь везде поспеть и ничего не упустить.

Километрах в ста от Донецка, возле шахты Алексеевская-2, им выделили участок угольного пласта. Началось строительство опытной станции. Алымов оказался истинным чудом, — потрясая мандатом и «беря на бас» всех больших и малых начальников, он буквально вырывал все, что нужно. Страна испытывала острую нехватку рабочих рук и строительных материалов, — а тут через неделю подвезли кирпич, бревна, цемент, появились рабочие, заложили первые здания. Угольный трест со скрипом, но выделил проходчиков, они уже прошли первые метры шахты. Буровики подвозили оборудование, геологи «привязывали» к земле будущие скважины...

Пока Алымов шумел, Катенин с выделенными в помощь инженерами уточнял проект. Сколько вопросов возникало! Прекрасная идея — равномерными взрывами разрыхлять уголь, — но каков должен быть размер взрывных снарядов и какими веществами начинять их? Принцип подземных выработок ясен, но как их крепить? Как добиться их герметичности, чтобы нагнетаемый воздух не расходился по трещинам породы, а получаемый газ не сгорал под землей, а отсасывался по трубе на поверхность?

Весь инженерный состав Углегаза работал над отдельными проблемами, были привлечены и научно-исследовательские институты. Заседали эксперты. И везде требовалось участие Катенина.

Профессор Граб, вечно куда-то торопясь, консультировал проект. Выслушает вопросы и сомнения, вскользь обронит умный совет, поглядит на часы — и исчезает, приветливо кивнув на прощание:

— Желаю успеха!

В лаборатории профессора Вадецкого проводились опыты. В пределах лаборатории Вадецкий был сух, ироничен, донимал Катенина скептическими замечаниями, но после работы охотно соглашался пообедать вместе и ничего не имел против, если Катенин платил за него. Катенин помнил его речь при обсуждении проекта — увертливую, и «да», и «нет». Как ни странно, в откровенных беседах выяснилось, что таково

действительное мнение Вадецкого: опыты подземной газификации проводить нужно, но рассчитывать на успех нечего.

— Тогда для чего же?!

Они сидели в полупустом ресторане, луч осеннего солнца лежал на скатерти, снизу мягко освещая холеное лицо Вадецкого и его безукоризненно накрахмаленный воротничок.

Вадецкий усмехнулся:

— Ах, Всеволод Сергеевич, плыть против течения — утомительное занятие. Да и зачем? Сами по себе эти опыты интересны, к тому же к ним приковано внимание... — Он наклонился через стол, пронизывая Катенина изучающим взглядом умных, холодных глаз. — Оспаривать выполнимость мечты, которая уже приобрела политический характер? Вам придали комиссаром этого... Алымова. Завтра на вашей опытной станции создадут партбюро, комсомол, местком и прочее. Вы — автор, зачинатель, но дело пойдет и независимо от вас, через вас, начнется критика и самокритика; если вы завтра скажете, что разочаровались в своем проекте, вы окажетесь вредителем. А так — заработаете уважение, титул передового ученого, впоследствии — всяческие блага, вплоть до орденов. Вам это не нужно? Врете, нужно. И Алымову нужно. Вот Феденьке Голь... Ну, Феденьке пока не нужно, он — сосунок, да и надежд у него еще нет на роль первой скрипки. А появится надежда — тоже будет драть горло и лезть вперед.

Катенину хотелось грубо выругаться. Сдержался ради пользы дела. Поссориться с Вадецким — значит лишиться его лаборатории. Предложил еще вина. Расплатился за двоих. У вешалки, надевая дорогое, пушистого драпа пальто, Вадецкий с дружелюбной улыбкой сказал Катенину:

— Думаете — циник? Покрутитесь с мое! Думаете, Граб или Цильштейн верят больше? У каждого свои расчеты, своя ставка. Я просто откровенней других, потому что вы мне милы.

Вечером Катенин пересказал разговор Арону Цильштейну — они встретились в сквере перед Большим театром, домой Арон не пригласил: видимо, дома было невесело. Катенин стеснялся спросить, что мучает Арона — партийные неприятности или семейная неурядица. Что бы ни было, Арону нелегко. Привычно держится молодцом, — а глаза смотрят куда-то в пространство и видят там свое, трудное...

Впрочем, когда Катенин передавал суждение Вадецкого, глаза его стали внимательны.

— Обыкновенная сволочь! — определил Арон. — Из тех беспартийных, которые по существу — партийные, да только другой партии. Несколько лет назад они ставили ставку на вредительство, на

буржуазную реставрацию, на иностранное вмешательство. Провалилось! Теперь они приспособливаются к советскому строю, стремясь урвать для себя побольше. Энтузиасты личного процветания — при затаенной мыслишке: «А вдруг все переменится и без моего участия...»

Катенину стало неловко: что за склонность сразу добираться до социальных корней? Я ведь тоже беспартийный спец, тоже не во всем согласен с большевиками, но я принимаю главное и искренне хочу — не для себя, для родины, для шахтеров! — хочу подземной газификации.

— Между прочим, он знающий специалист, и ты с ним не ссорься, а используй, — сказал Арон и сам рассмеялся: — Что, непоследовательно? Милый мой, если булыжник — под ногами, он мешает идти, но тот же булыжник прекрасно служит в ряжах.

Затем он прищурился и спросил как бы невзначай:

— Тебе нравится Алымов?

— У него потрясающая энергия, — ответил Катенин, уклоняясь от прямого ответа, так как сам не знал, нравится ли ему этот неумный человек.

— Да, да, да, — пробормотал Арон. — Без него тебе пришлось бы туго.

Алымов летал между Москвой и Донбассом еще чаще, чем Катенин. Поездов он уже не признавал — самолет!

Олесов соглашался на все, боясь криков Алымова и — чуть что! — убийственных определений: саботаж! вредительство! преступная медлительность!

Катенин знал людей, грубых с подчиненными, но отменно вежливых с начальниками. Алымов кричал на всех и угрожал всем, что вызывало уважение. Им приходилось бывать вместе в наркомате — то у «мамонты» Бурмина, в чьем подчинении находился Углегаз, то у Стадника, который связывал Углегаз со строительно-монтажными и научными организациями.

У Бурмина Катенин терялся. Алымов и Бурмин кричали друг на друга и пускали в ход такие ругательства, что Катенин, выходя, стеснялся смотреть на секретаршу: она, наверно, все слышала через дверь. «Мамонт» был скуп и груб, кричал: «Ваша газификация для меня — дело десятое, с меня добычь спрашивают!»; он брал под сомнение любое требование опытной станции, но в трудных случаях помогал.

Стадник не выносил ругани и терпеть не мог Алымова так же, как Алымов терпеть не мог Стадника. Здесь Катенин выдвигался на первый план, подробно докладывал о ходе работ, о возникших трудностях. Стадник тут же договаривался по телефону с разными организациями, тихим

голосом настаивал на своем и старался увлечь людей важностью задачи — не только технической, но и социальной. Однако Стадник явно не верил в катенинский проект и считал его первой ступенькой — важной, но не решающей. Стадник мечтал о полной ликвидации подземного труда и досадовал на необходимость предварительного дробления угля.

В разгар испытаний взрывных снарядов он говорил:

— А нельзя ли все же обойтись без дробления пласта?

Метод взрывов — любимое детище Катенина — совершенно не нравился Стаднику, что обижало Катенина и возмущало Алымова — ловкая форма скрытого саботажа!

Стадник пытался пробудить раздумья у работников институтов и монтажных организаций — думайте, ищите, пробуйте!

— Выполняйте программу работ и не лезьте со своими домыслами! — требовал от тех же людей Алымов и говорил Катенину: — Я этого Стадника выведу на чистую воду! На кой черт он сеет сомнения? Одной рукой помогает, другой тормозит!

Катенину самолет не оплачивали, он ездил поездом и на денек застревал в Харькове — принять ванну, насладиться уютом и безусловной верой всех домашних в скорое торжество «метода Катенина».

Дома он попадал в атмосферу иных забот — Люде предстояло выступать на отчетном концерте учащихся в присутствии руководителей города и столичных музыкантов. Люда играла помногу часов в день, ее усердие радовало Катенина.

В столовой расположилась портниха — Люде шили для концерта длинное платье из воздушной материи. Катенина призывали на примерки в качестве арбитра — не велик ли вырез? Хороши ли будут искусственные цветы у пояса? Катенин любовался дочерью, а в остальном поддерживал мнение жены.

Однажды, когда Катенин блаженствовал после ванны, Люда впорхнула к нему в только что законченном платье:

— Ну как? Хороша?

Да, она была хороша, но платье было ни при чем, ее красило оживление.

— Знаешь, папка, — сказала она и осторожно присела на диване рядом с ним. — С этим концертом у меня связаны во-от какие планы! Я должна всем понравиться, всех покорить.

— Покоришь, если хорошо сыграешь.

— Ну да. Но понимаешь — важно, чтоб захотели выдвинуть именно меня.

— Куда?

— В консерваторию — вот куда! И тебе, папка, пора позаботиться о квартире. Хватит тебе скитаться по гостиницам!

— Мне самому трудно, но маме жалко оставить тебя. Конечно, нам нужно обосноваться вместе. В Москве ли, в Донбассе ли...

— Вот именно — вместе! — воскликнула Люда. — И конечно, в Москве! Если мне удастся показать себя на концерте... В общем, мой план — Москва!

— Позволь... а Анатолий Викторович?

Люда покосилась на отца, невесело рассмеялась:

— Любите вы, мужчины, закабалить женщин! Если я поеду учиться в консерваторию... Конечно, я буду приезжать на каникулы, а он — в командировки... Ох, папка, ты должен помочь мне перебраться в Москву — только там есть широкое поле...

Когда он заспорил, она снисходительно потрепала его волосы.

— Ты старомоден, папунышка, этакий наивный чеховский интеллигент!

Он уехал в Донбасс расстроенным.

Его не встретили — забыл послать телеграмму. До строительства было километров семь. Катенин пошел пешком, оглядываясь, не нагонит ли его попутная машина. Нагнал грузовик с крепезными бревнами.

— Товарищ начальник, подвезем!

В кабине сидела женщина из конторы буровых работ, — Катенину помогли забраться на бревно, где беспечно лежали грузчики. И вот оттуда, с этой трясущейся вышки, обдуваемой ветерком, он увидел все по-новому, свежим глазом — и давно знакомую Алексеевскую шахту, и нарядное здание недавно открытого клуба, и кварталы новостроящихся двухэтажных домов, оттеснивших хибары стародавнего поселка, — как все хорошеет вокруг, как отстраивается Донбасс!.. Грузовик обогнул по вновь накатанной степной дороге дубовую рощу — и перед Катениным открылась картина строительства его опытной станции.

Первой бросается в глаза широкая, приземистая башня газоохладителя — градирни; обшитая досками, еще не потемневшими от дождей и пыли, она возвышается посреди степного раздолья, как хозяйка. Рядом с нею легка и изящна узкая башня скруббера, призванного очищать будущий подземный газ — да! да! будущий подземный газ! — от смол и других примесей. К скрубберу успели подвести трубы — по ним потечет горячий газ. Широкое ребристое колено трубы, напоминающее выгнутую до предела гармошку, окружено легкими подмостями, — на подмостях стоит человек со щитком на глазах, рассыпая вокруг себя огненные брызги.

Градирня, скруббер, массивные трубы, брызги сварки придают степному пейзажу новые, индустриальные черты.

Еще несколько зданий строится или намечается. Барак компрессорной уже под крышей. Стены котельной только-только наметились — каменщики выкладывают первые ряды кирпичей. А насосная почти готова — девушки-маляры в низко повязанных платках обмазывают наружные стены глиной, как украинскую мазанку. Окна не застеклены — Алымову никак не удается раздобыть стекло.

Все это закладывалось и строилось понемногу, хотя и быстро. Проводя целые дни на площадке, Катенин не замечал изменений, а сейчас охватил взглядом целое — и почувствовал, что этот кусок затоптанной степи с неказистыми постройками — это уже воплощение ею мечты. И нет теперь места родней.

Грузовик на полном ходу пронесся мимо скруббера и градирни — а Катенин увидел за ними поднимающийся остов копра с лебедкой, и первый невысокий отвал породы, и простенькую яму будущего шахтного ствола...

Из ямы по лестнице-временке выбрался перемазанный глиной Федя Голь, заорал во всю силу молодых легких:

— Сюда, сюда сгружай!

Грузовик круто осадил возле места, указанного Федей, Катенин чуть не слетел с бревен. И тут-то его заметил Федя.

— Всеволод Сергеич! — просияв, вскричал он. — Вот здорово, что приехали!

И Катенин, обняв его на радостях, окончательно переключился на тот особый жизненный строй, которого у него не могло быть ни в Москве, ни в Харькове. Ах, какая это была удивительная жизнь! Иногда ему казалось, что он снова молод. Он сладко спал на жесткой раскладной койке в закуте конторы, громко называемом «кабинет начальника». Он ел когда и как придется, забыв о всяких желудочных неприятностях, случавшихся дома. Если хотелось побеседовать с кем-нибудь без помех, уходили в рощу и садились на пеньки или на траву; в дождливую погоду укрывались в компрессорной, где было тихо и пусто, потому что компрессор еще не прибыл, и разговаривали под шум дождя за незастекленными окнами.

Жизнь была удивительно хороша потому, что здесь не было скептиков — ученых и неученых, здесь азартно работали и незатейливо отдыхали. Вечерами заливалась гармошка, в облаке степной пыли плясали землекопы. По субботам молодежь уходила «на Алексеевку» в клуб. В дни получек не обходилось без пьяных, возникали драки. Катенину приходилось укрощать буянов, но и это ему нравилось, потому что его появление действовало

отрезвляюще, он ощущал свой авторитет и власть.

Впервые в жизни ощущал он и свою близость к рабочим людям. Запросто подсаживался к ним, беседуя о чем придется, иногда подпевал песне, иногда молчал, никому не мешая. Над ним сияло звездами огромное небо — такого огромного неба он никогда не видал, такое видишь только в море или в степи.

Смолоду не глядел он вот так в ночное небо, не подтягивал песне, не лежал на траве. Да и такой увлеченности трудом он тоже, кажется, никогда не знал...

— Вот здорово, что приехали! — повторил Федя. — У нас сегодня такая радость! Я сейчас позову чудесного парня — Ваню Сидорчука! Представьте, тот самый кавалерист, что начал всю историю с письмом кавполка! И вот — разыскал нас!

При слове «кавалерист» в воображении Катенина возникли брюки с лампасами и развевающаяся бурка — он видал конников только в кино. И не сразу понял, что это и есть кавалерист Сидорчук, когда от копра, шагая немного вразвалку, к ним подошел курносый, стриженный ежиком, широколицый паренек в голубой футболке с белой шнуровкой.

— Да я же шахтер с Кадиевки, — сказал Сидорчук, улыбаясь безбрежной улыбкой и по-украински мягко, с придыханием выговаривая «д» и «г». — Умирающая профессия — коногон! Отслужил срочную — и вот подался до вас. Большая охота поглядеть на эту самую подземную газификацию.

Затем он рассказал, сидя в дубовой роще напротив Катенина:

— До службы я больше гулять любил, а в армии читать приохотился. И так меня забрало — что, да как, да почему. И вот у Ленина наткнулся на ту статью. Название заинтересовало — «Одна из великих побед техники». Взялся читать — так то ж о нас, о шахтерах! Ребятам рассказал, многим понравилось, особенно кто с Донбассу. Ведь это подумать только — без подземных работ хотят уголек использовать! А тут политбеседа. Ребята шепчут — спроси. Я спросил. С того все и пошло... А когда письмо послали — кто о чем, а я все размышляю: неужто с нашего письма начнется такое великое дело? И почему о нем не слышно? Газеты начал читать все подряд — «За индустриализацию» и донецкие, все свободное время сижу в читальне, как больной, и роюсь в газетах.

— В газетах еще не было, — виновато сказал Катенин.

— Так ведь если судьба — найдешь! — воскликнул Сидорчук. — Демобилизовался, приехал домой — ну, конечно, гуляю. Завернул с хлопцами на вокзал до буфету. А там этакий длинноногий дядько шумит,

ну, прямо мать в перемать: «Сегодня чтоб отгрузить, иначе голова с плеч!» И конечно, угощает того подрядчика или агента — не знаю. Я спрашиваю хлопцев — кто такой? «Да ну его, говорят, скаженный, мотается по Донбассу и хватает, что худо лежит, — для какой-то подземной газификации...» Догулял я недельку, раз уж начал — ну и подался до вас.

С подземной газификацией он был как бы накоротке, ему казалось естественным — раз дело великое, значит, должно быть сделано, а поскольку он сам демобилизовался — тут ему и быть, где ж еще!

Он уже успел осмотреть строительство и нашел себе работу по душе — прибил к проходчикам, хотя и сказал о методе проходки:

— Тю-ю! Кустари-одиночки. Деятнадцатый век!

Его уже все знали. Девушки-маляры скалили зубы и задевали его, когда он проходил мимо, а Ваня Сидорчук добродушно отмахивался:

— Но-но, знай малой!

И улыбался Катенину — что делать, липнут ко мне девчата...

С того дня Катенин искал среди работающих вздернутый нос и голубую футболку Вани Сидорчука.

Через несколько дней приехал Алымов.

Вместе с Алымовым прибыл компрессор — Алымов перегрузил его на станции и сам примчался на подножке грузовика.

— Вырвал с бою! — рассказывал он Катенину, когда сели пить чай. — На железной дороге — саботажники, пустили малой скоростью. Я влез на тормозную площадку, на каждой станции — к начальнику, накричался — аж охрип! Зато компрессор тут.

Катенин глядел на него восхищенно и благодарно.

— Олесова будем снимать, — продолжал рассказывать Алымов, с блюда жадно потягивая чай. — Не годится он — размазня! Говорил с Бурминым, убедил. Только Бурмин тяжеловат на подъем, недаром «мамонтом» зовут — пока раскачается!

Катенин нередко досадовал на Олесова — не конкретен, мягок, плохой организатор. Но, как все люди, выдавшие на своем веку много начальников, он боялся перемен: недостатки Олесова известны, как воздействовать на него — изучено, а человек порядочный, доброжелательный. Поди знай, кого назначат на его место!

— Не прогадать бы.

— Прогадаем, если выжидать станем. Знаете, кто метит на это кресло? Стадник!

Катенин припомнил неудобные вопросы Стадника, его недоверие к методу взрывов. Но это были недостойные, мелкие соображения, и Катенин

отогнал их. Стадник — энергичный работник, преданный идее подземной газификации. Как он говорил в тот вечер, на банкете: «Я хочу ее увидеть, понимаешь?..»

— Отпустят его из наркомата?

Алымов бешено сверкнул глазами.

— Отпустят — да только не туда! У него губа не дура! Кто он такой? Десятая спица в колеснице. А тут — сам себе начальник, слава, ордена! Я про него кое-что узнал. Приемный сын дьякона — вот он кто. Хоть и был у него батько бедняком и солдатом империалистической войны, а рос — у дьякона. На шахту пошел, когда дьякона прижали. В партию пробрался, а там и в руководящие кадры! Ну, ничего. Я уже меры принял.

Катенин побледнел. Ему стало страшно и стыдно.

— Что насупились? — усмехнулся Алымов и налил еще чаю себе и Катенину. — Не задуряйте свою голову. Это не ваша забота. Ваша забота — провести опыт и победить.

— Мне кажется, Стадник человек честный, — запинаясь, возразил Катенин. — Он, в общем-то, наш большой доброжелатель. Правда, кое-чего он не понимает... не принимает...

Алымов сжал вздрагивающую руку Катенина своими сильными, цепкими пальцами.

— Всеволод Сергеевич, ну что вы разволновались? Вы — талант, вы — технический ум, ваше дело — изобретать, а внешнюю политику оставьте мне. Такие люди, как вы, на все смотрят идеалистически, попросту говоря — наивно. А жизнь сложнее и грубее, мерзавцев побольше, чем идейных. Каждый рвет себе. Вы вот откровенничаете с профессорами — то не решено, это не получается. А вы знаете, что Граб уже внес в комиссию свое предложение — вариант вашего метода? Что Вадецкий вместе с Колокольниковым тишком разрабатывают свой проект и тянут Олесова в соавторы?

Катенин заволновался. И Граб, и Вадецкий — знающие, опытные люди, у них превосходные помощники, отлично оборудованные лаборатории, широкие возможности... Пока он тут кустарничает с несколькими молодыми инженерами, не имея ни лаборатории, ни свободных денег, пока он наивно доверяется экспертам-консультантам... они мотают на ус недостатки его проекта и полным ходом разрабатывают лучшие варианты?!

— А вы... Константин Павлович, вы видели их предложения?

Алымов встал и покровительственно потрепал Катенина по плечу.

— Доверьтесь мне, Всеволод Сергеевич. Я за вас — и не позволю

ущемить ваши интересы. Ни Олесов, ни Стадник не смогут нам пакостить — это уж будьте уверены.

Он налил себе еще чаю и, стоя, жадно выпил. Глаза его лихорадочно сверкали из-под набрякших век.

Катенин сидел ссутулившись. Снаружи доносились оживленные голоса — монтажники с Федей Голь влюбленно ходили вокруг компрессора и обсуждали, как лучше организовать монтаж и наладку. Повизгивал пневматический молот — в шахте дошли до твердых пород и начали дробить их. Жужжал сварочный аппарат — сваривают швы на газоотводящей трубе. Девушка-маляр выкрикивала частушку:

Трехкопеечные парни
Завсегда ломаются!

Шла обычная трудовая, милая сердцу жизнь. Где-то там работает и Ваня Сидорчук, первым спросивший: «А что у нас делается по той статье Ленина?» — Ваня Сидорчук, для которого удача подземной газификации будет огромной, быть может, самой большой в его жизни радостью.

«А для меня? — спросил себя Катенин. — Для меня тоже! Ведь не для почестей, не для денег, не для личного благополучия я все затеял. Я не хочу „рвать себе“. Если Вадецкому или Грабу удастся найти какие-то лучшие решения, я охотно поделюсь с ними всем, что удача может принести. Поделюсь?.. А если они хотят не какой-то доли, а всего? Отстранить меня и добиться самим? „Вам это не нужно? Врете, нужно“. Я верил Олесову, а он связывается с Вадецким против меня? Я поверил Стаднику, а он ловко саботирует?.. Да может ли это быть?!

Рядом стоит и жадно пьет четвертую чашку чая мой главный помощник и руководитель — Алымов. Действительно ли он знает о людях что-то такое, чего не вижу я? Что-то более низменное и глубинное, руководящее их поступками?.. А я — интеллигент-идеалист?.. „Ты старомоден, папунька, этаким наивный чеховский интеллигент...“»

— Ну что, никак не переварите новости? — грубовато-ласково спросил Алымов и закурил. Курил он так же, как пил чай, — жадно.

— Неприятно все это.

А надо ли все это «переваривать»? Зачем вникать во всякую ерунду — кто приемный отец Стадника, и с кем якшается Олесов, и кого там нужно снимать, и кто хочет что-то «рвать себе»?! Алымов говорит — я за вас, доверьтесь мне. Ну и пусть он делает все, что нужно. А я буду работать.

Работать! И не буду путаться в побочные дела. Видимо, жизнь действительно сложнее и грубей. Это понимает даже моя дочь. Каждый тянет в свою сторону. Добивается своего. А чего добивается Алымов? Он поверил в меня? Добивается моего успеха? Ну и хорошо!

— Константин Павлович, вы сказали — довериться вам. Вот я и хочу... Хочу думать только об опытной станции, готовить проведение опыта, решать технические вопросы...

— И правильно! — поддержал Алымов. — Валяйте жмите!

Чтобы переменить разговор, Катенин рассказал о Ване Сидорчуке. Может ли быть, что Алымов не почувствует того же, что почувствовал и Федя Голь, и сам Катенин?

Алымов почувствовал. Опять засверкали его маленькие глазки под тяжелыми веками.

— Замечательно! Сейчас же позову его!

— В конце концов, это — главное! — с надеждой сказал Катенин. — Есть же и такие — чистые, убежденные люди?..

— Ну конечно! — Алымов наклонился и прикурил от докуренной папиросы новую. — Конечно, милый вы мои интеллигент! Есть народ — чудесный, самоотверженный. А накипь — накипь мы сметем.

Он походил по тесной комнатке — длинная фигура смешно моталась взад и вперед. Похоже было, что энергия распирает его и не находит выхода.

— Вот что мы сделаем! — воскликнул он, останавливаясь напротив Катенина. — Пора выводить наше дело к народу! Я вызову сюда корреспондента газеты, мы ему тут все расскажем и покажем, сведем с этим вашим Сидорчуком... Знаете, какой это материал для газетчика?!

Катенин соглашался. Алымов опытен и деловит — мне и в голову не пришло так использовать появление Сидорчука. И вообще без Алымова я не сумел бы двинуть дело. Как быстро он получил участок, развернул стройку! И вот сегодня — компрессор...

Он снова с восторженной благодарностью смотрел на Алымова, на его горящее неукротимой энергией лицо, на костистые, цепкие пальцы, сминающие мундштук папиросы. Он вверялся Алымову — и только где-то в глубине души осталась царапина. Было жаль чего-то огромного и чистого, почему-то связанного в памяти с концертом Софроницкого; не уточнить было, что именно открылось ему на концерте, чем он был тогда богаче и счастливей, но помнил: было хорошее, и очень жаль, что его — не удержать.

Липатов привык, что всякому делу нужно прежде всего обеспечить партийную поддержку — без дрожжей тесто не всходит.

Идя на общегородское собрание партактива, он обдумывал, как вклиниться с подземной газификацией в большой и тяжелый разговор, который там наверняка развернется. Шахты района в прорыве. Давно ли — меньше года назад! — именно шахтеры взбудоражили всю страну стахановскими рекордами! Труд стал делом чести и доблести, рядовые труженики по-новому осознали свою силу, свое умение, свое место в жизни и в производстве. Теперь они знали, что многое могут, и требовали, чтобы им обеспечили все необходимое для ежедневной высокой выработки. Но организация работ не поспевала за ними, механизации не хватало, а многие руководители попросту растерялись... Да, Липатов знал по себе — трудно было не растеряться... Его участок выдержал испытание, но сколько вечеров они просидели с Кузьмой Ивановичем, обдумывая, как да что! Теперь участок — один из лучших, и о нем наверняка скажет сегодня Чубак, он это умеет: кого надо — похвалит, а кого надо — отругает или высмеет и сразу же объяснит, почему один сработал хорошо, а другой плохо, и все — с фамилиями, именами и отчествами, чтобы люди знали и на твоей удаче или неудаче научились...

Войдя в фойе нового Дворца культуры, Липатов сразу окунулся в атмосферу ожидания и некоторой праздничности — что бы там ни было, а приятно собраться всем вместе и повстречаться с товарищами, которых не часто видишь. Вот и недавние студенты, теперь раскиданные по разным шахтам и заводам, собрались тесной группой. В центре — бывший однокурсник Липатова, начальник коксовой печи Сергей Маркуша со вкусом рассказывает что-то смешное... Липатов протискался послушать.

— ...директор тянет в другую сторону, а Чубак говорит: «Прозяб я на ваших сквозняках, у тебя тут один цех парилкой называют, пойдём погреемся». Наш упирается — не стоит, мол, там душно. А Чубак говорит: «Когда мы тебя на бюро за вентиляцию ругали, ты ж уверял, что там вполне терпимо!» Ну, пришли. Жарища, дышать трудно. А Чубак стал в самом жарком месте и разговоры разговаривает. С нашего бедняги семь потов уже сошло, а Чубак — ни с места. Наш взмолился — пойдём отсюда, жарковато. А Чубак смеется: «Неужели? По-моему, вполне терпимо, я к тебе через недельку еще наведаюсь погреться, — или к тому времени вентиляцию закончишь?»

Среди общего хохота раздался смеющийся голос:

— Ну и как — будет вентиляция?

Это подошел сам герой рассказа, секретарь горкома партии Чубаков — «наш Чубак», как его звали по всей округе. Он ходил по фойе от группы к группе, — где посмеется, где поспорит, а то просто послушает, о чем люди думают. Сегодня он не мог не быть озабоченным, но держался, как всегда, — подтянут, оживлен, скор на острый ответ и шутку. Когда ему жаловались на всякие затруднения, он спрашивал: «Ну, а ты что предлагаешь? Как ты сам думаешь справиться?» Если просили совета, отвечал: «А твое мнение? Давай уж вместе разбираться, я ведь не бог Саваоф!» Все это соответствовало его характеру и в то же время являлось хорошо отработанной повадкой опытного массовика, знающего, что эта повадка нравится людям и помогает руководить ими. Чубак жил на людях в счастливом напряжении всех душевных сил и, вероятно, не умел и не мог жить иначе.

Так он и докладывал — будто вел разговор с каждым слушателем в отдельности. Стоя сбоку от трибуны, весь на виду — крепкий, с крутыми плечами, широколицый и улыбчивый — он и не заглядывал в бумажку с тезисами. Сегодня Чубаку приходилось говорить людям много невеселых слов, но — странное дело! — настроение в зале становилось все лучше, увереннее. И не только потому, что причины прорыва были уточнены, а методы исправления определились, но и потому, что Чубак верил сам и заражал своей верой в общие силы. Емкое большевистское слово — одолеем! — он произносил как истину само собою разумеющуюся. А как же иначе? На то мы и коммунисты, товарищи!

И люди ощущали — да, такие мы и есть, поднатужимся и одолеем!

А Чубак вдруг поднес палец к губам:

— Тише, тише, не будем мешать товарищу Мятлеву, ему не удалось поспать сегодня ночью!

Собрание ответило таким хохотом, что задремавший в президиуме директор химзавода Мятлев подскочил и вытаращил глаза, не понимая, в чем дело. А собрание продолжало смеяться дружелюбно, от души — Мятлева любили, он был сердечным человеком и заботливым хозяином завода, — но и то было известно, что прошлой ночью погулял не в меру на свадьбе одного из своих строителей...

— Товарищу Мятлеву сегодня спится, гроза мимо него гремит, — подбавил Чубак, смеясь вместе со всеми. — Ничего, друг, и до тебя дойдет.

Уж кто-кто, а Чубак умел вовремя дать себе и другим веселую разрядку!

Липатов ждал, когда же Чубак назовет его среди лучших, ловил каждый добрый совет, чтобы применить у себя на участке, и томился душой, потому что с началом собрания подземная газификация как-то отошла в сторону, а друзьям он обещал выступить и сказать именно о ней. Но куда денешься от того, что ты — начальник участка, и перед тобой стоят ответственнейшие задачи, и тебя это все занимает и волнует, а подземная газификация решительно никому здесь не известна и пока — нечто вроде твоего побочного занятия в часы досуга?.. Но так нельзя. Чем дальше — тем больше сил и времени она потребует. Придется решать — или одно, или другое. Уйти с шахты?.. Кинуться головой в воду?..

Чубак так и не упомянул его среди лучших, и Липатов от обиды сказал себе, что обязательно уйдет, ну его к черту, работай не работай... Но тут Чубак назвал его в другой связи:

— У нас много золотых практиков и пока еще очень мало своих, нами выращенных инженеров-коммунистов. А когда сольешь опыт одних со знаниями других — вот и успех получается, как у Липатова с Кузьмой Ивановичем Кузьменко!

«Да меня и не отпустят с шахты, — с некоторым облегчением подумал Липатов. — Пока еще очень мало инженеров-коммунистов... Конечно, не отпустят! Но... бросить подземную газификацию?! Тоже не получится. Так что же? Заинтересовать ею Чубака?.. Тогда надо начать разговор сегодня же, сейчас...»

— Что задумался, именинник? — шепнул Маркуша.

— Думаю, что дрожжи надо разводить вовремя, а то и тесто не поспеет, — загадочно ответил Липатов и подтолкнул приятеля в бок. — Мой старик на трибуну взбирается — уж он скажет!

Кузьма Иванович выступать перед людьми не стеснялся, рубил сплеча все, что думает, умел походя лягнуть кого надо и похвастаться так, что похвальбы не получалось. Липатов с удовольствием наблюдал, как перекосило некоторых трестовских начальников от едких упреков старого шахтера. С еще большим удовольствием слушал он рассказ о сделанном, — а ведь неплохо! Ничего не забыл, все, что нужно, подчеркнул, слушай да разумеи! А теперь куда он клонит?

— Наша наука с большим скрипом поворачивается к производству. А нынче без науки добычь не подынешь. Сколько говорили о выбросах газа? А понадобилось большое несчастье, чтоб наука зашевелилась.

Сказал — и замолк. И собрание молчало — все тут были свои люди, все знали, что собственного сына схоронил старый Кузьменко. В сочувственной тишине Кузьма Иванович неожиданно заговорил о никому

не известной подземной газификации угля.

— Ведь это какое доброе дело для людей! Конечно, в старое время оно бы безработицей для шахтеров обернулось, а при социализме работы всем хватит, и святая задача — облегчить и обезопасить труд для нас... и для наших детей. Оказывается, умные головы давно об этом думают. И сам Владимир Ильич Ленин заинтересовался, поверил, понял, какая тут польза для рабочего класса, для социализма. А некоторые наши профессора-угольщики, слышно, не признают, не верят, не понимают. Что же это за ученые такие?

Директор института Сонин сидел в президиуме, на виду у всех. Это был жизнерадостный, весь округлый человек того возраста, когда молодость уже позади, но и до старости далеко. Все, что он делал, он делал как-то вкусно — говорил сочным голосом, будто обсасывая слова, просматривал планы научных работ так, будто читает нечто пикантное, а когда отчитывал провинившегося студента, в лице его появлялось кроткое сияние. Он умел выпить, закусить, придумать развлечения — его приглашали наперебой во все городские компании. Принимать решения он не любил, с доверчивой улыбкой передавал сложные вопросы в партком или горком, но, когда решение принимали, — выполнял с готовностью.

Сонин только что приехал из отпуска, его круглое лицо и миловидная лысинка были бронзовы от сочинского солнца. В президиуме нашлось немало знакомых, и он подсаживался то к одному, то к другому, давясь смехом и оживленно перешептываясь, — курортные впечатления были свежи, а тема собрания лично его не затрагивала.

Услыхав упрек старика, Сонин насторожился и взглядом разыскал в зале Алферова — свою правую руку; Алферова он немного презирал, среди друзей рассказывал про него анекдоты, но искренне считал, что Алферов всегда знает, как поступить, «чтоб начальство не журилось». Сейчас у Алферова было страдальческое выражение лица. Уж не он ли тут обмишурился? Надо завтра узнать, что за новая проблема возникла и кто там чего не понял...

Сонин опять перешептывался с соседями, когда слово взял Липатов.

— Кузьма Иванович совершенно правильно критиковал наш институт, — сказал Липатов и с усмешечкой оглянулся на Сонины. — Виноваты и мы, бывшие питомцы института: оторвалось яблочко от дерева. Но мы это исправляем, товарищи, в частности с подземной газификацией. Тут у нас единение полное, важность задачи всем понятна, а если один профессор и поворчал — так ведь у кого желчь во рту, тому все горько.

В зале улыбались, слушали заинтересованно. Непонятная газификация

незаметно входила в сознание. Липатов закончил с необычным для него пафосом:

— Хочу заверить партийный актив: вместе с группой научных работников института мы обязательно разработаем эту задачу, завещанную нам Лениным. Ваша поддержка — залог успеха. Известно — зачин дело красит. От имени группы обещаю — к приближающейся Октябрьской годовщине дадим Родине проект подземной газификации угля.

В зале дружно захлопали.

— Запишем! — сказал Чубаков и действительно что-то записал в блокнот.

Сонин так усиленно кивал головой, что от его бронзовеющей лысинки зайчиками метнулись отблески ламп.

— Обязательно! Обязательно!

Сосед его виновато признался:

— А я ничего не слыхал о подземной газификации. Что это?

— Не слыхал — так услышишь.

Наутро Сонин прежде всего поинтересовался новой проблемой — и не нашел ни противников, ни скептиков. Группа Светова уже хозяйничала в только что отремонтированной лаборатории. Алферов сообщил, что доклад группы стоит на ближайшем заседании парткома. Профессор Китаев не только не возражал, но с торжеством показал ответную телеграмму академика Лахтина, в которой аспиранту Мордвинову давалась месячная отсрочка для завершения важной работы.

— А мне наболтали, что вы отказались подписать.

— Если бы я подмахнул, не глядя, не проверив ценность замысла, вы первый обвинили бы меня в легковесности.

Так ответил профессор Китаев. И предложил выделить в помощь группе наиболее способных студентов.

Выделять не пришлось — вокруг Светова и Мордвинова уже роилась молодежь. Цепочка студентов, выстроившись на лестнице, перекидывала кирпичи со двора в лабораторию.

— Кирпич где раздобыли? — удивился Сонин.

— Ловкость рук! — азартно ответил Павел Светов и закричал кому-то в окно: — Достали? Поезжайте на вторую коксовую, спросите инженера Маркушу. Выбирайте самые крупные!

Сонин и Алферов выглянули в окно — со двора выезжала телега, за возницу сидел старшекурсник Сверчков.

— Куда это?

— За углем в Коксохим, — проронил Светов и закричал кому-то в

окно: — Корыто возьмите, тетя Мотря обещала!

Студент Ленечка Длинный, которого звали так в отличие от другого Ленечки с забавной фамилией Коротких, возился во дворе с глиной, которую только что принесли на носилках с обрыва Глиняной балки.

— Нам во-от так необходим кислород, — сказал Светов, обращаясь к директору. — Остальное мы все раздобыли, а с кислородом помогите, Валерий Семенович.

— Раздобыли? — повторил Сонин, приглядываясь к Светову — какой-то он взвинченный, не натворил бы дел.

— Откуда взяли лошадь? — строго спросил Алферов.

— Из Ремстройконторы увели, — блеснув глазами, ответил Светов и снова заговорил о своем: — Два баллона кислорода, Валерий Семенович! Достанете — в историю подземной газификации войдете как благодетель!

Он говорил шутливо, но за его веселостью ощущалась напряженность, словно он все время сам себя взбадривал.

— Кто вам студентов выделил?

— Так ведь на скучное надо выделять, а на интересное сами сбегаются.

— Павел Кириллович, — по-приятельски беря его под руку, сказал Сонин. — Я ваш доброжелатель и помогу чем сумею. Но смотрите... Увести да словчить — дело нехитрое. Но, поскольку тут марка института, я вас попрошу ставить меня в известность, что и где вы тащите.

— Ну что вы, Валерий Семенович! — воскликнул Светов и расхохотался. — Ни за что! Случись — поймают, дирекция ничего не знала. Неужто я ваш авторитет подрывать стану?

Он переминался с ноги на ногу — студенты кончили переноску кирпича и начали выкладывать посреди лаборатории «постель» — основание для опытного целика. А Саша засел в библиотеке. Сообразят ли они, как лучше? И принесла же нелегкая директора с парторгом так некстати!

— Насчет кислорода и всего, что вам нужно, доложишь на парткоме, — сказал Алферов наставительно. — А насчет скромности — подумай, товарищ Светов, хорошенько подумай!

— Обязательно подумаю, Василий Онуфриевич! — торопливо согласился Палька и рванулся-таки в лабораторию, уже на бегу выкрикнув с нескрываемым озорством:

— На досу-у-ге!

Все, кто работал с Павлом Световым в эти дни, заражались его

азартной увлеченностью. Он впивался в любое дело — будь то решение теоретического вопроса или добывание лошади для перевозки угля. Он был изворотлив и хитер; вдруг все забросил — точит лясы со студентами и хохочет на весь институт, но, как выяснилось, именно в это время он незаметно подвел студентов к решению перетаскивать на себе кирпич, поскольку средств не отпущено, а кирпич необходим срочно; он включился в цепочку, чтобы задать ритм, но, как только работа наладилась, незаметно удрал и помчался налаживать другое не менее срочное дело...

Там, где был Светов, всегда возникали шутки, дружеские поддразнивания, смех. Липатов прислушивался и шептал Саше:

— Пожалуй, обошлось?

Саша резонно отвечал:

— Иначе и быть не могло.

Только Катерина, часто заходившая в лабораторию по вечерам, недоверчиво покачивала головой — в веселости брата звучала слишком звонкая, вибрирующая нота.

Палька сам чувствовал эту вибрирующую на предельном напряжении ноту — вот-вот что-то внутри оборвется. Было одно средство справиться с этой проклятой вибрацией — работать до изнеможения и никогда не оставаться наедине с самим собою, потому что стоило остаться одному, из пустоты наплывало все то же, все то же...

Степь, какую он никогда прежде не видал, совершенно серебряная от лунного света, каждая травинка блестит. Искристый шарф развевается и отлетает концом к нему на грудь — прозрачное ласковое крыло, волнующий намек, невесомый мостик между ним и той, что шагает рядом. Она идет, легкая, молчаливая, и ему страшно взглянуть на нее, так она сейчас близка и необычна. Палатки лагеря остались позади, песня и костер остались позади, все, что разделяло их, — позади. Они одни в лунной пустыне — она и он. Она останавливается первая и оказывается прямо перед ним, он решается взглянуть на нее и уже не может оторваться от ее прелестного лица, такого он не видел никогда прежде, такого у нее никогда не было, не было таких мерцающих глаз, такой холодноватой сияющей кожи, таких подрагивающих губ с непонятным выражением не то ласки, не то насмешки... Он смотрит на нее, и не может наглядеться, и ничего не хочет, только глядеть, глядеть, глядеть...

Шевельнулась ли она, собираясь идти, а он испугался и заговорил, чтобы она не вздумала уйти? Никогда еще он не любил ее так свободно и восторженно, без примеси злости или досады. Он говорил ей слова простые и чудесные, каждое было выношено любовью и выражало только

любовь — он сам не знал раньше, что у него есть такие слова и такая любовь — без умысла, без желаний, без просьб. Если бы он мог в те минуты задуматься, хочет ли он чего-нибудь, он нашел бы в себе одно желание — чтобы вот эта минута длилась и длилась...

Она сама вскинула руки на его плечи и непонятно над чем тихо засмеялась, ее мерцающие глаза оказались совсем близко, ее губы — у его губ, он услышал ее шепот: «Ах, все равно, — и потом еще тише: — Пусть!»

Он и теперь не понимал, что она хотела сказать. Что ей стало все равно и что — пусть. Зато теперь он хорошо понял, что значило ее короткое слово после прощального поцелуя — в самом конце ночи, когда луна уже скрылась и степь потемнела, а они шли, сплетя руки, и он был так потрясен и счастлив, что не мог говорить и только сжимал, сжимал ее пальцы. Уже выступили из мглы очертания палаточного лагеря, когда она остановилась, поцеловала его и сказала: «Все!» И убежала...

Все! Теперь он понимал это короткое слово, это подлое свистящее словцо, которым она перечеркнула случившееся. Его раздирали отчаяние и гнев. Он был счастлив, как дурак, как самый наивный дурак! — а она уже все взвесила, рассчитала, решила... Как же так? Зачем?

Ответа не было.

Он не мог вспомнить без чувства унижения весь следующий день. Он ходил взволнованный и счастливый, не смея смотреть на нее, чтобы не выдавать их любовь, а она была такая смирененькая и держалась около мужа и только один раз, за столом, метнула на него многозначительный взгляд. И потом, в громяющем фургоне, отвернувшись от нее, чтобы не видеть ее рядом с мужем, он обдумывал, как встретиться с нею, и давал себе слово беречь ее и ни одним неосторожным поступком не набросить на нее тень!.. Он находил объяснения всему, что она делала, оправдывая ее и даже восхищаясь тем, что она живет помощницей и другом нелюбимого мужа — ради дочери и ради его научной ценности. Этот ученый муж имел на нее свои неотъемлемые права, но муж не мог приказать ее сердцу, и она полюбила другого — и он ее любовник! Любовник! Ничего грязного, ничего постыдного не чувствовал Палька в этом затрепанном слове, оно раскрылось во всей красоте первоначального смысла: любовь, тот, кто любит и любим.

Как он безумствовал всю ночь после возвращения домой! Когда-то он мечтал о ненаглядной как о своей победе, как о торжестве над ее высокомерием и коварством, но это отлетело, забылось. Он делал глупости, о которых невыносимо вспоминать, — достал из кармана лепестки,

поднятые им со ступеней гостиницы, разглаживал их, целовал их и шептал всякий бредовый вздор. Он сунул лепестки под подушку и с блаженной улыбкой глупца решил, что покажет их, когда она в какой-то счастливый вечер найдет способ прийти к нему — через сад, в окно, потихоньку от Катерины и матери. Он долго обдумывал, как это все устроить. Он видел ее на фоне окна — в светлом платье, с развевающимися концами шарфа. Он почти осязал рядом с собою ее теплое, податливое тело. Но лица уже не мог себе представить — только мерцание глаз и непонятное, незнакомое, упоительное движение ее губ.

Почему он не побежал к ней утром? Столкнуться бы с нею лицом к лицу, понять ее лицемерие, услышать ее увертки, бросить ей в лицо все, что ему открылось бы!.. А он бродил по институту, глазел в окна и казался себе очень хитрым и осторожным — он побежит к ней не раньше, чем убедится, что профессор в институте. Профессора не было. Его консультацию перенесли на конец недели, — об этом извещал листок на доске объявлений. Почему? Что там случилось, в гостинице? Может быть, она не сумела скрыть, солгать?.. Может быть, ей сейчас плохо и страшно, а он не может защитить ее, помочь ей?

В середине дня профессор заехал в институт. Машина ждала у подъезда, Палька видел в окно ее черный лакированный капот под одним из щербатых львов. Профессор вышел очень скоро, его сопровождал Сонин. Ревнивый взгляд отметил, что Русаковский кажется особенно изящным рядом с округлой фигурой директора. И сколько в нем спокойной уверенности! Вот он что-то сказал Сонину и щелкнул льва по носу, оба засмеялись, сели в машину и уехали.

Куда они поехали?

Палька промучался до вечера, а вечером решил, была не была, пойти в гостиницу. «Олег Владимирович, мы просим вас познакомиться с проектом подземной газификации...» Маленькая деловая просьба. Его будут оставлять ужинать, — нет, он ни за что не останется, он сразу же уйдет, только увидит ее, только уверится в том, что она — есть и она — любит.

Дверь номера была распахнута. Горничная выметала из него обрывки бумаги и увядшие цветы.

Палька тупо смотрел, как застревают на пороге раскисшие стебли, горько пахнущие тлением.

— Профессор Русаковский, — произнес он в беспамятстве.

Горничная обернулась. Равнодушное лицо, лишенное даже любопытства. Ему хотелось закричать.

— Профессор Русаковский, — пролепетал он.

— Уехал семью провожать, — сказала горничная и поддела метлой застрявшие стебли.

— Куда? — выдохнул Палька, уже зная правду, но еще цепляясь за последнюю отчаянную надежду.

— В Сухум, что ли, — не сразу ответила горничная, ногой подтолкнула мусор на совок и вдруг глянула на Пальку насмешливо и проницательно. — Профессор вернется, номер за ними. А вот профессорша...

И она произнесла нечто вроде «тю-тю» или «фюить»...

Хотя все его существо корчилось от стыда и боли, лицо приняло выражение холодное и гордое, голос строго выговорил:

— Передайте профессору, что приходил аспирант Светов.

Независимой походкой он спустился по широкой лестнице, по которой столько раз взлетал, обуреваемый надеждой и страстью. Швейцар, обычно провожавший его понятливой усмешкой, увидел на этот раз сдержанного, солидного научного работника с гордо поднятой головой. Тяжелая дверь навсегда захлопнулась за спиной Пальки, и нестерпимо яркая улица навалилась на него шумом, сутолокой, жарким дыханием нагретого камня, запахом угля, цветов и бензина.

Его предали.

Все ложь — любовь, поцелуи, обладание, страстный шепот.

Она сидит в самолете со своей скуластой дочкой и умным мужем, сидит и смеется про себя.

И теперь важно одно — чтобы никто не заметил, не понял, как его вероломно обманули.

Равнодушный мир дышал и шумел вокруг него, — мир, не имевший никакого отношения к тому, что с ним произошло. И в этом мире шел по улицам аспирант Светов, изображая на лице подобие жизнерадостной улыбки. Ноги привычно привели его к институту. Он прошел мимо, с ненавистью взглянув на щербатого льва. Вспомнился шуточный жест Русаковского — да ведь это ему, Пальке, дали щелчок по носу!

Он вскочил в трамвай, но там было полно молодежи — студенты с рюкзаками отправлялись за город. Они узнали Светова и поздоровались с ним дружелюбно и почтительно, а он прошел сквозь их теснящийся строй, умудренный своим горем; он шутил с ними, но сам себе казался старым, как Китаев.

У Кузьменок под сиренью сидели Саша и Люба. Отвернувшись, Палька поспешно прошел к себе. Мать гладила белье в кухне и не услышала его крадущихся шагов. Катерины, к счастью, не было. Он

остановился посреди своей комнатухи, зная, что должен что-то немедленно сделать, и не помня, что именно. Потом его будто обожгло — лепестки! Стиснув зубы, он нащупал их под подушкой, поднес к окну и остановился, не в силах разжать кулак. И тут увидел Сашу. Неестественно широко улыбаясь, Саша шел от калитки прямо к окну. Палька торопливо разжал кулак — сухие лепестки посыпались в разросшиеся заросли маттиолы.

— А я к тебе весь вечер бегаю, — сказал Саша, перебираясь через подоконник. — Ремонт закончен. Федосеич водворяет туда все имущество, надо завтра же начинать подготовку опыта. Я ждал тебя, потому что...

Он говорил безостановочно, деловым тоном, как будто кроме их проекта ничто не существует на свете. Он уже все знает? Ну что ж, пусть он увидит человека, которому наплевать, что кто-то там уехал в Сухум.

Пригнувшись, они сидели на подоконнике и обсуждали, с чего и как начать.

— Наконец-то! — раздалось под окном.

Липатушка был тут как тут. И тоже, оказывается, несколько раз заходил. У этого дружка все отражалось на лице — любопытство, сочувствие и решимость помочь во что бы то ни стало.

— В среду выступлю на партактиве и — будьте спокойны! — обеспечу поддержку, — заговорил он, разваливаясь на кровати. — Так что в четверг можем начинать.

— Начнем завтра с утра, — сказал Саша. — Завтра с утра!

Липатов, видимо, не понял, зачем торопиться. Или решил, что бедному влюбленному нужна передышка? Палька с нарастающей яростью следил за переглядываниями друзей, но тут рассердился Саша:

— Вам не к спеху, а мне второй отсрочки никто не даст.

И они вместе продолжали обсуждение. Зачинщик всего дела Павел Светов увлеченно намечал предстоящие работы, передразнивал лаборанта Федосеича, который будет брюзжать по поводу начавшегося беспорядка и беречь только что отремонтированную лабораторию так, будто в этой чистоте уж не до опытов и впредь главная задача — лелеять свежую окраску стен и полов... Все трое хохотали. Громче всех хохотал Палька, сам ощущая, что существует и такой Светов, плюющий на всякие Сухумы, Светов, увлеченный большим делом, несдающийся, шумливо веселый, Светов, у которого самолюбие пересилило отчаянно.

Таким он и продолжал жить. Азартно работал, всех вдохновлял, а поздно ночью падал на кровать и засыпал прежде, чем наплывет из пустоты то, что нужно забыть.

Процесс начался.

Внутри опытного сооружения, по-прежнему напоминавшего печку, но уже более солидную, шел процесс газификации угля в целике с помощью кислородного дутья.

Директор института перебрался в дальний угол лаборатории, как только внутри опытного сооружения начались хлопки и громыхания, — тут и на воздух взлететь недолго. Эти же молодцы года два назад во время опытов о окислами хлора устроили такой взрыв, что касторовая ванна взлетела до потолка — ее отпечаток красовался там вплоть до нынешнего ремонта. Где гарантия, что сейчас не полетят на голову кирпичи и раскаленный уголь?!

Сонину очень хотелось, чтобы опыт удался, — ведь обещали перед всем активом города, перед Чубаковым! Но характер опыта не внушал доверия. Тем более что командует парадом Светов. Вот они крутятся возле своего странного сооружения, измеряют температуру внутри него, то и дело берут анализы из газоотводной трубки, — а из трубки идет не газ, а дым! Сооружение трещит и гремит, но Светов бойко уверяет: «Ничего, не убьет!» Конечно, он рвется к славе, в его возрасте слава более заманчива, чем безопасность и спокойствие. А директору рисковать незачем, дело директора — обеспечивать и направлять, подставлять голову от него не требуется...

И от Алферова не требовалось. Алферов огибал громыхающее сооружение, держась у стены, и предпочитал находиться в той части лаборатории, где Федосеич со студентом Ленечкой Длинным производили анализы проб. Оттуда он напоминал страдальческим голосом:

— Товарищи, не забывайте о мерах безопасности!

Сонин про себя ворчал — вот и все алферовское «руководство»! Студенты пересмеивались, на минуту отходили, а потом опять лезли к самой печке, потому что весь день их лихорадило ожидание какого-то небывалого чуда. Сонин уже пытался отправить студентов вон, в лабораторию набилось слишком много народу. Но разве их выгонишь, когда Светов уверяет, что «теперь скоро!.. теперь совсем скоро!..»

Как ни странно, профессор Троицкий втянулся в атмосферу азарта и работал с ними бок о бок. Почему молодежь так любит его? На экзаменах Китаев куда снисходительней, особенно к институтским активистам. А Троицкий грубит им: «Невежды нам не нужны! Придете еще раз!» Сонин вынужден был намекнуть ему, что нельзя так лютовать, но Троицкий ответил: «Именно от активистов я особенно... э-э-з... требую и буду

требовать. Именно они должны быть... э-э-э... самыми лучшими, а не худшими. Им — руководить. Если бы я их презирал, я бы... э-э-э... спустил им, а я их уважаю и поэтому... э-э-э... лютую!» Конечно, студенты, если можно было сдать экзамен другому преподавателю, норовили попасть к другому. А Троицкого все же любили.

И вот он топтался у печки вместе с молодежью, з-экал и не обижался, если кто-нибудь по рассеянности толкнет его локтем или обратится на ты: «Давай! Отключи!» Его длинная журавлиная фигура и узкая седеющая бородка выглядели забавно и очень раздражали Китаева. Ивану Ивановичу хотелось уйти от суеты, от хлопков и громохота, он и ушел бы, но присутствие профессора Троицкого обязывало, — как-никак все затеяли ученики Китаева, и если опыт удастся...

— Как вы думаете, коллега...

— Не кажется ли вам...

Они все время обращались друг к другу, и каждый из них хотел, чтобы другой ушел...

Сонин сам просил профессоров присутствовать — в случае удачи они скрепят своими подписями протокол испытаний. Обещал заехать и профессор Русаковский, ему должны позвонить, если процесс пойдет нормально. Подпись Русаковского перевесит все остальные, когда проект повезут в Москву... Сонин представлял себе эту счастливую возможность: группа работников института — два профессора и кто-либо из молодежи... Может быть, и самому поехать? Давно не был в Москве. Повидать приятелей... Наркомат, Академия наук, столичные институты...

— Ну как там у вас? — спрашивал он из своего угла.

— Газа еще нет, — сдержанно сообщал Мордвинов.

— Теперь скоро! — легкомысленно уверял Светов.

— Ждем-пождем, чего-нибудь да будет, — посмеивался Липатов. — И не иначе как ночью. Почему так? Начинать хоть с рассвета, а самая страда обязательно к ночи!

Липатов пришел в этот день прямо из шахты, изменив своей привычке поспать полчаса после работы. Он часто позевывал, но объяснял, что зевота — нервная.

Пришли Люба и Катерина с булками и колбасой. За ними проник в лабораторию Кузька. Сонин хотел прогнать мальчишку, но Мордвинов сказал своим твердым голосом:

— Шахтерский парень, участвует с самого начала. Я разрешил ему.

Девушки раздавали бутерброды. Сонин любезничал с обеими, отдавая предпочтение Катерине: невеста Мордвинова — влюбленная кошечка, а вот

вторая... кто мог думать, что у взбалмошного Пальки этакая сестра!

— Не хотите ли выйти в коридор, Катерина Кирилловна? Нас позовут, когда начнется интересное.

— А мне и сейчас интересно, — сказала Катерина и отошла к брату. — Как дела, Павлик?

— Все в норме. Температура тысяча сто...

Момент был волнующий, но Катерина видела, что сегодня Палька впервые успокоился, прояснился. Сейчас он, наверное, не помнит ни о чем, кроме таинственного процесса, совершающегося в замурованном куске угля.

Катерина села у окна, скрестив на груди сильные руки. Вот уже много дней она проводила вечера около трех друзей, участвовала в разнообразных предварительных опытах, иногда просто смотрела и слушала. Жизнь раскололась на три части: были ночи, когда одиночество душило ее и не всегда удавалось утешиться мыслью о зреющем в ее теле существе; были рабочие будни возле компрессора, однотонные движения, привычный круг товарищей, — там она по-деловому думала о простых, хотя и нелегких вещах: как наладить жизнь, когда он родится, хватит ли ее заработка, попытаться ли все-таки продолжать заочную учебу — или не задаваться пока большими целями... Вечером, рядом с братом и его приятелями, ею овладевали мятежные желания — на нее возбуждающе действовали их мечты, в которые они запросто включали всю промышленность, всю страну и ее будущее; стоило новичку попасть сюда, и он молниеносно втягивался в неудержимый поток надежд и планов.

Вот Степка Сверчков. Она ли не знала Степку? Соседи, вместе коз пасли. Незатейливый и безотказный паренек, его избирают во все выборные комитеты и бюро, а там дают самые канительные поручения — воспитательная работа в общежитиях, подписка на заем, распределение ссуд и путевок... Здесь его тоже нагружают канительными делами — вывезти крупные куски угля с Коксохима, замуровать уголь, выхлопотать на Азотно-туковом кислороде... Он и сейчас старателен и скромнен, на славу не рассчитывает, но послушать, как он говорит об этой газификации! «Конечно, через несколько лет новые шахты закладывать не будут...», «Надо заранее учесть, что высвободятся десятки тысяч шахтеров...» Вот тебе и Степка!

Двух Ленечек профессор Троицкий называет — «Аяксы», это что-то греческое, означает — неразлучные. Ленечку Коротких Катерина знала давно — он жил у Дурной балки, в Нахаловке. Веселый крепыш, собиравшийся по примеру отца стать доменщиком. И вдруг он заявляет

самым будничным тоном, что, пожалуй, переквалифицируется на проектировщика, «потому что на основе опыта первых станций подземной газификации понадобится непрерывное совершенствование системы...»

Ленечку Длинного Катерина раньше не знала, он приезжий, сын шахтера из Макеевки. На шахтерского сына не похож. Тоненький, как тростинка, с переменчивым румянцем, с русалочьими зелеными глазами — он похож на поэта или музыканта, какими они представляются Катерине. Он самолюбив и честолюбив — когда говорили о подписях под проектом, он краснел и бледнел, разрешат ли ему подписаться. Палька говорит, что Ленечка Гармаш очень талантлив и Троицкий хочет оставить его при кафедре. Но сейчас кажется, что все чаяния Ленечки связаны с этой газификацией.

О Пальке и говорить нечего. Когда Катерина спросила его, что же будет с аспирантурой, Палька отмахнулся: «Плевал я на нее, тут дело поважнее!»

Катерина и верит им — и не верит. Она желает им успеха и заранее тоскует оттого, что эта ежевечерняя увлекательная суэта кончится... Они добьются всего, о чем мечтают... А она? Что останется ей? Чем заполнятся ее вечера? Чем же, чем же она-то будет жить?!

Сонин подкатился к ней с любезной улыбкой, но увидел отрешенное, скорбно застывшее лицо ее и в недоумении отступил.

И как раз в это мгновение раздался взрыв.

Когда позднее Люба припоминала напряженные минуты, решившие судьбу опыта, она прежде всего вспоминала сдавленный выкрик Саши: «Отключить кислород!» — и его незнакомо азартное лицо возле самой печки, по которой расползались грозные трещины.

Она вспоминала, как быстро и организованно работали Сашка, Палька, Липатушка, Сверчков, Леня Коротких и вместе с ними, отрывисто командуя, — профессор Троицкий. Палька отключал кислород, продувал опытный газогенератор сжатым воздухом, снова подавал кислород, советуясь с профессором Троицким о давлении. Остальные лихорадочно закладывали трещины цементным раствором, укрепляли стенки новым рядом кирпичей, обвязывали их проволокой, обмазывали цементом... Все это делалось почти молча, очень слаженно. Люба запомнила тишину, полную движения и борьбы. Как красив был Саша в эти минуты! Как он снисходительно усмехнулся, когда Китаев ринулся прочь! Люба много раз слышала от Саши — «наш коллектив». Теперь она увидела, что все они — действительно коллектив. И со стыдом, со стыдом и гордостью вспоминала

она, что первым, неосознанным движением бросилась к Саше, чтобы оттащить его от опасности, но сдержала крик. «Не ходи, Саша!» — так она крикнула один раз в жизни... Никогда больше она не позволит себе малодушия!

Во время взрыва Кузька находился у самой двери. На него наткнулся перепуганный старичок профессор, ринувшийся прочь из лаборатории. Мимо него прошел сердитый Алферов, выкрикивая на ходу:

— Безобразие! Нелепость! Я предупреждал!

Рядом с Кузькой остановился и веселый круглолицый начальник, пытавшийся его выгнать часом раньше, от порога спросил начальническим голосом:

— Вызвать пожарную команду или взорвете институт сами?

— Сами! — ответил Светов.

Кузька улыбнулся шутке и удивился, что начальник тут же скрылся за дверь и не вернулся. Кузька подбежал к работающим, чтобы как-нибудь примазаться к ним, но Липатов схватил его за плечо и подтолкнул в спину:

— А ну, геть на место!

А Палька Светов вдруг сказал счастливым голосом:

— Товарищи, пахнет газом!

И все стали принюхиваться, а Ленечка Длинный подбежал брать пробу.

Кузька видел, что и сестра (такая трусиха!), и Катерина помогают обмазывать кладку. Старый Федосеич спокойно возится с газоотводной трубкой. Похожий на журавля профессор Троицкий приклонил ухо к печке и вслушивается, что там происходит внутри, а Палька задумчиво говорит ему:

— Природа этого взрыва должна радовать. Накапливающийся газ соприкасается с кислородом, так?

Вынужденное безделье помогало видеть и понимать. В эти минуты Кузька открыл для себя коренные различия в поведении людей и очень точно определил, что ему нравится, а что — не нравится. Мог ли он думать, что открыл только малую долю этих различий?

Профессор Китаев постоял в коридоре, прислушиваясь, не раздастся ли новый взрыв, затем поплелся в свой кабинет, погрузился в глубокое кресло и прикрыл глаза. Его предупреждений не послушали, а вот теперь все взорвалось, и всем станет ясно, что эта мальчишеская затея — вздор. Газифицировать уголь в целике? Невежество, дичь! Получили дым и гремучую смесь. Хорошо, что не получили вдобавок кирпичом по голове! И хорошо, что он, по существу, отстранился от их затеи, что он не несет ответственности...

И вдруг он подскочил, заметался по кабинету, потом быстрыми шажками засеменял в партком.

Комната, куда недавно переехал партком, примыкала к отделу кадров — так новому секретарю было удобней руководить и тем, и другим. Чтобы не возвращаться в лабораторию, где попросту опасно и где невольно берешь на себя долю ответственности, Алферов раскрыл ведомость уплаты членских взносов и начал выписывать фамилии должников. Начал как раз вовремя — директор застал его работающим.

— Если институт не взорвут, можно считать, что мы дешево отделались, — сказал Сонин и плюхнулся в кресло. — Но хороши мы будем, если из этого ничего не выйдет!

— Если бы вы посоветовались с партийной организацией, Валерий Семенович, я бы вам порекомендовал не торопиться с обязательством, — кротко сказал Алферов. — Теперь, конечно, поздно каяться. Но не думаете ли вы, что подвергать опасности людей и здание... В конце концов, там студенты, и даже посторонние девушки, и дети!

— Но ведь там и профессора! Если они считают, что опыт ведется правильно... что есть надежда на удачу... Вы же на активе сами поддакивали, когда я взял обязательство! И сами ставили вопрос на парткоме. И обязали меня помогать им!

Алферов развел руками:

— А что мне было делать, когда вы публично обещали!

В дверь осторожно постучали. В щель просунулась седая голова профессора Китаева.

— Очень кстати! — воскликнул Сонин. — Что вы думаете, Иван Иванович, о перспективах этого взрывоопасного эксперимента?

— Так ведь химия без опасных экспериментов не развивается, — сказал Китаев и присел на кончик стула. — Все дело в обоснованности и целесообразности задачи. Идею подземной газификации вынашивал еще Менделеев, и я всецело — всецело! — за то, чтобы искать и экспериментировать...

— Вот и хорошо! — с облегчением сказал Сонин. — Как я понимаю, они рассчитывают довести опыт до победного конца. Удастся им?

— Я всецело за то, чтобы искать и экспериментировать, — продолжал Китаев, как бы не слыша вопроса, — по... на путях научно грамотных! Я не специалист по газогенерации, но ведь и первокурсник знает, что процесс газификации требует хорошо раздробленного угля, а в целике невозможен.

— Но вы же поддержали их проект? — удивился Сонин.

— Я был бы плохим руководителем молодежи, если бы априори отвергал их проекты, — не без издевки возразил Китаев, снял очки и острым взглядом кольнул директора. — А поскольку тут вмешалось мнение партийного актива... зачем мне идти наперекор этому мнению, которое я глубоко и неизменно уважаю?

— Никакого решения партийный актив не принял, — поспешно уточнил Алферов.

— Этого я не знаю, Василий Онуфриевич! — быстро ответил Китаев и уткнул острый взгляд в Алферова. — Мне сообщили — актив поддержал, директор принял обязательство, вопрос поставлен в плане смычки науки и производства... Это же установка для старого беспартийного человека, как я!

Он надел очки и сложил на коленях сморщенные короткопалые руки.

Сонин чертыхнулся про себя. Крысы уже побежали с корабля. Вот и Алферов попрекнул, и этот ядовитый старичок...

— Позвольте, Иван Иванович, — уже раздраженно сказал он. — По приезде я беседовал с вами, вы сами показали мне ответ академика Лахтина на вашу телеграмму...

— Показывал, — согласился Китаев и снова снял очки. — Да только телеграмму-то я не посылал. Ее послал за моей подписью кто-то другой. И цель моего прихода как раз в том и заключается, что в порядке необходимой бдительности... и чисто педагогической ответственности за моральный облик нашей молодежи...

— Как не посылали?

— Как — кто-то другой?

— В порядке бдительности и педагогической ответственности я просто не имею права закрыть глаза на недостойные махинации с моей подписью, — закончил Китаев, скромно опустив глаза. — Я не сыщик, чтобы проводить расследование. Но моя обязанность — предупредить руководителей института... Как хотите, но я возмущен и обескуражен! — выкрикнул он и встал, сурово поблескивая очками. — Нести ответственность за их проделки — за взрыв лаборатории... за антинаучный вздор — не считаю для себя возможным!

В лаборатории обольстительно пахло газом. Вентиляция не помогала — из трубки сочилась ровная струя горячего генераторного газа. Первая бурная радость сменилась деловым напряжением: измеряли температуры, брали анализы. Мордвинов начал писать протокол испытания. Липатов побежал звонить профессору Русаковскому. Все были возбуждены.

Человек, неожиданно шагнувший через порог лаборатории, всем показался странным. По мертвенно-бледному лицу катились капли пота, прерывистое дыхание наводило на мысль, что человек долго через силу бежал куда-то или от кого-то.

— Маркуша! — воскликнул Саша, с трудом узнав товарища по выпуску.

— Ребята, выйдите на минутку, — проговорил Маркуша.

Профессор Троицкий оглядел своего бывшего студента и шепотом сказал:

— Идите, идите, я тут займусь.

В коридоре Маркуша опустился на скамью и уронил между колен тяжелые руки с пульсирующими венами.

— Сейчас меня исключили из партии.

Потом рассказал:

— Есть у нас технолог Исаев. Месяц назад мы с ним крупно поругались, я выступил на производственном совещании, что он предельщик и перестраховщик. Моя печь полгода стахановская, а он... Ну, что об этом теперь. И вот он обвинил меня во вредительском нарушении режима печи и в том, что я продаю на сторону уголь, застревающий на решетке... Ну, тот самый, что вы у меня взяли для опыта! Так вот, будто я продал его. И деньги пустил на пьянку. У меня вчера годовщина свадьбы. Оля собрала гостей, конечно, малость выпили. И вот поди докажи, что я не вор и не пьяница!

— Но это же все знают! — вскричал Палька. — Я пойду и скажу, как было дело с этим несчастным углем!

Липатов, подошедший во время его рассказа, остановил Пальку:

— погоди, не горячись. А ты успокойся, Серега. С режимом печи у тебя были нарушения?

— Был риск, который оправдался!

Он объяснил технику дела, постепенно приходя в себя.

— Так за что же исключать! — снова воскликнул Палька.

— Возмущаться успеем, тут помогать надо, — сказал Липатов. — С углем этим вы оформляли... или как?

— Да ничего мы не оформляли! — с отчаянием простонал Маркуша. — Павел попросил несколько кусков покрупнее, прислал подводу, мы сняли с решетки кусков пять и погрузили. Вот и все. Ребята спросили — куда? Я говорю — институт просит уголь для опыта. Это и ребята подтверждают.

— Не верят им, что ли?

— То-то и беда, что они были у меня на вечеринке. Выходит — купил за выпивку.

— Так мы подтвердим документом и партийными ручательствами, как было дело.

Маркуша безнадежно поник.

— Да ты что?

— Еще одно дело пришили мне. Кругом оплевали. Не знаю, кто из вас помнит... На первом курсе было. Попалась мне троцкистская листовка насчет каких-то международных дел. Ну, не понимал я тогда в этом ничего! Смотрю — напечатано на тонкой бумажке что-то политическое. Показал ребятам в общежитии, увидели — троцкистская — и разорвали. Еще и плюнули на нее. А теперь какой-то мерзавец вспомнил и пришил распространение вражеских листовок.

— Это было при мне, я все помню, — сказал Саша и стиснул челюсти так, что заходили желваки.

Маркуша с надеждой вскинул голову.

— Подтвердишь?

— А ты что же — за подлеца меня считаешь? — ответил Саша и вдруг радостно улыбнулся. — Как же хорошо, что ты прибежал, Серега! Завтра с утра напишу, заверим в парткоме...

— Завтра с утра — уже на горком, — опять сникая, сказал Маркуша. — Прямо как на пожаре — сегодня без предупреждения вызвали, читают какое-то показание, не называя фамилии — чье... Я растерялся, отбиваюсь как могу, а мне шьют, шьют одно за другим! И эта сволочь Исаев все подогревает: «Подозрительно! Смотрите, все одно к одному сходится!»

— Формулировку какую записали? — осведомился Липатов.

— Страшную! Что-то вроде «троцкистского последыша» и еще насчет морального уровня...

Все молчали. Вот ведь как получается... Серьезное дело, в два счета не распутаешь.

Липатов обнял друзей за плечи.

— Повоюем за человека?

И потом уже по-деловому определил, что писать Пальке по поводу угля, что писать Саше о давней истории с листовкой. Тут же, зайдя в пустую аудиторию, написали. Липатов тоже написал — характеристику коммуниста Сергея Маркуши, которого знал все годы учебы. Прочитали друг другу и пошли в партком, оставив Маркушу в аудитории.

В парткоме они застали Алферова и Сонины. Алферов как-то странно

посмотрел на них и перемигнулся с директором.

Липатов объяснил, что произошло с Маркушей и почему нужно срочно, сегодня же, заверить их показания. Сонин отошел к окну, как только понял, в чем дело. Он хорошо помнил студента Маркушу и гордился стахановскими успехами молодого коксохимика. Но встывать в это запутанное дело! Еще и тебе пришьют отсутствие бдительности. Нет, спасибо. Если Маркуша прав, он сумеет доказать. Кто может поручиться, что с листовкой было так, как он рассказывает? А это не шутки, не пять кусков угля, отпущенных по-товарищески...

Услышав, что Мордвинов хочет поручиться за Маркушу, Сонин оглянулся, чтобы посмотреть в лицо храброго человека — безрассуден он или просто не понимает, чем это грозит ему самому? Нет, видимо, понимает. Взволнован, И это он делает сразу после взрыва, когда при желании можно обвинить его самого в чем угодно!

— Заверить сегодня я не могу, — мрачно сказал Алферов.

Он весь сжался, как только услышал имя Маркуши. Маркушу он не только знал — когда-то, при переводе студента из кандидатов в члены партии, Алферов дал ему рекомендацию и выступал на собрании с самым лестным отзывом. Тогда его пленила биография студента — сын горнового и откатчицы, три года работал на заводе, окончил вечернюю школу, был комсомольским активистом, в институте учился отлично... И вот поди-ка — история с листовкой! Кто мог думать? А что, если начнут копать в институте и найдут протокол того собрания?..

Помертвев, Алферов сказал ледяным тоном:

— Сейчас нерабочие часы. Печать закрыта. И мне нужно посоветоваться, стоит ли вам давать такие непродуманные показания, когда и без того...

Первым взорвался Палька:

— Что «без того»? Что не продумано?

— Маркуша — наш товарищ, и мы его знаем! — отчеканил Саша.

Алферов подошел к Сонину и что-то шепотом спросил, Сонин кивнул. Алферов медленно вернулся к столу и не сел, а оперся руками на стол в позе суровой и торжественной.

— Товарищ Светов, попрошу вас выйти на десять минут.

Палька заерепенился, но Алферов повторил еще суровее:

— Товарищ Светов, вам предлагают выйти на десять минут.

Подчиняетесь вы партийной дисциплине?

Когда Палька, чертыхаясь, вышел, Алферов спросил, кто дал разрешение на постановку опасного опыта и кто визировал план

испытаний. Это было похоже на допрос. Саша ответил, раздражаясь, что Алферов и Сонин сами помогали организовать опыт и дело не в формальной визе...

— А кто у вас отвечает за проведение опыта?

— Вот, ей-богу, нашел к чему цепляться! — усмехнулся Липатов. — Ну, хочешь, я отвечу? И чего ты глядишь, будто глотком подавился? Что мы — вредители? Поджигатели?

Но Алферов и слушать его не хотел.

— Я вас очень уважаю, Иван Михайлович, но в данном случае вы — постороннее лицо и отвечать за институтские опыты не можете. Я спрашиваю о служебной ответственности.

— Да товарищ Сонин! Валерий Семенович! Уйми ты своего Онуфриевича, чего он тут следствие развел! — все еще не веря в серьезность происходящего, полушутливо воззвал Липатов к директору.

Сонин обернулся от окна, лицо его перекопилось.

— Следствие и нужно, — задыхаясь, сказал он. — Кто вам подписал телеграмму, посланную академику Лахтину? Кто?!

Наступило молчание.

В памяти друзей возник тот вечер в сарае Кузьменок, появление торжествующего Пальки, его уклончивый ответ: «Все дело в подходе. Надо уметь...»

— По-моему, кто-то из руководителей института, — неуверенно сказал Саша.

— Кто именно? — настаивал Алферов. — Вы же не могли не знать, к кому обращался ваш приятель!

— Я не знаю, — ответил Саша. — По-моему, он был и у вас?

— И я ему отказал так же, как профессор Китаев.

Друзья переглянулись: неужто Палька послал телеграмму сам? Это на него похоже. Ну и заматают же его теперь, беднягу!..

— Значит, не знаете? — продолжал Алферов. — И вы хотите, чтобы мы поверили! Три закадычных друга, один совершает подлог ради второго, никто не проверяет, не интересуется...

Саша поднялся с места.

— Ни в какой подлог я не верю. И без Светова разговаривать об этом не считаю возможным.

— И я тоже, — сказал Липатов. — Экой ты человек, Онуфриевич! С тобой натошак не стоворишься.

Алферов открыл дверь в отдел кадров.

— Прошу вас выйти через эту комнату.

Липатов сплюнул с досады. Когда они вышли из отдела кадров, Пальки в коридоре не было — Алферов поторопился ввести его к себе, не позволив друзьям встретиться.

— Товарищ Светов, кто подписал телеграмму за Китаева?

— Я, — улыбаясь и краснея, признался Палька. — Может, и нехорошо, но что было делать? И ведь Китаев потом хвастался, что выпросил у Лахтина отсрочку! Значит, правильно?

В дверях появился Саша Мордвинов.

— Василий Онуфриевич, дело идет о поступке, совершенном ради меня. Я требую, чтобы мне разрешили присутствовать.

— На парткоме! — сказал Алферов, вытесняя его в коридор. — На парткоме разрешим и выступать, и защищать, если сможете.

Мордвинов придерживал дверь, не давая закрыть ее.

— Чего ради вы начали этот допрос? Понимаете вы, что сейчас идет важнейший опыт? Что мы нужны там?

— А заступиться за троцкиста — время нашлось? Опыт не помешал?

Саша побледнел и перехватил руку Алферова, нажимавшую на дверь.

— Маркуша не троцкист, а наш товарищ, которого мы с вами рекомендовали в партию. Как вам не стыдно, Алферов!

У Алферова отвалилась нижняя губа.

— За телеграмму мы ответим, — продолжал Саша. — И оправдаемся большим делом, честью института. Пошли, Палька!

Палька не поднялся. Уйти вот так, ничего не решив? Маркуша ждет их, надеется на помощь, а помощи не будет. «Защищать троцкиста...» Черт знает что! Алферов затеет нудное дело, измотает всех — и это в то время, когда идет решающий опыт... Ведь газ получен! Газ! А помеха-беда подошла с совсем неожиданной стороны... Что тут придумать? И куда делся Липатов? Не мог Липатушка просто уйти, когда такое заварилось. Значит, он что-то придумывает, как-то выручит?..

И Липатушка выручил.

Грохот шагов по лестнице, потом по коридору заставил всех насторожиться. Наверху, в лаборатории, явно что-то произошло.

— Товарищи! Товарищи! — издали закричал Степа Сверчков. — Товарищи, газ пылает факелом! Приехал профессор Русаковский! Поздравляет с победой!

Все заспешили наверх. Из газоотводной трубки вырывался сильный и ровный язык пламени — голубой с желтовато-розовыми прослойками.

Профессор Русаковский читал протокол испытаний. Он приветствовал вошедших:

— Знаете, интереснейший получился опыт!

Троицкий подошел с протянутыми руками к Саше и Пальке.

— Поздравляю с успехом, талантливые вы ребята! И все по очереди пожимали руки Мордвинову, Светову, Липатову и друг другу. И Сонин пожимал. И Алферов.

— Надо позвонить в горком партии, вот Чубак обрадуется! — напомнил Липатов, невинно улыбаясь Алферову.

— Немедленно сам позвоню! — подхватил Сонин. — Покажите-ка мне анализы. И протокол. Где протокол? Попросим Олега Владимировича поставить и свою подпись.

— Подпишут все присутствующие, — добавил Алферов. Кто-то вспомнил:

— А Китаев? Где Китаев?

Студенты уже зубоскалили: сбежал, думал — взорвемся! А голубой факел горел и горел, отбрасывая на лица людей нежные отсветы.

Палька присел на подоконник, чувствуя себя и бесконечно усталым, и счастливым, и совершенно выбитым из привычной колеи. Этого часа он нетерпеливо ждал. Каким он оказался трудным, этот час!

По лаборатории прокатился смешок. Сперва тихий, приглушенный. Потом прорвался уже несдерживаемый смех. Хохотал Липатов. Заливисто, со вкусом смеялся Сонин. Смущенно хихикал Алферов...

Прижмурив глаза, профессор Китаев осторожно заглядывал в лабораторию — не взлетела ли она на воздух.

Теперь — в Москву! Скорей, скорей в Москву!

Оформляли проект. Попутно проводили опыт за опытом, отрабатывая отдельные проблемы — метод розжига, дутье, регулирование процесса. Так уж вышло, что главным советчиком оказался профессор Троицкий. Китаев как будто не обижался, частенько заходил поглядеть, что делает молодежь, был ласков и нотаций не читал. Друзья подозревали, что в минуту растерянности после взрыва Иван Иванович пожаловался в парткоме насчет телеграммы — и теперь ему стыдно. К счастью, Алферов и Сонин о злосчастной телеграмме не вспоминали. Протянув дней пять, Алферов даже согласился заверить показания, и, хотя показания не успели к заседанию горкома, где подтвердили исключение Маркуши из партии, — Маркуша подал апелляцию и приложил к ней три важных свидетельства.

Стоило ли поминать прошлое, когда нужно поскорее оформить проект и отвезти его в Москву?!

Первый тревожный сигнал подал профессор Троицкий:

— Я хочу сказать вам... э-э-э... до меня дошло, что есть намерение послать с проектом... э-э-э... так сказать, старшее поколение и кого-либо одного из вас. Я польщен уважением к моей персоне, но считаю это... э-э-э... принципиально неверным.

Друзья ошеломленно молчали. Им даже в голову не приходило, что вместо них может поехать кто-то другой.

— Так вот, молодые люди, действуйте! — сказал Троицкий. — Что касается меня, то я... э-э-э... категорически отказался.

Друзья поспешили к Сонину.

— Как будет оформляться наша поездка и чем поможет институт?

— Ну как — чем? — жизнерадостно откликнулся Сонин. — Всем! Всем, чем можно! Институт верит в проект и считает его своей гордостью! Вот только... — он на секунду замялся. — Взвесить надо, милые мои, кого послать. Чтоб авторитетней было. — Лицо его кротко сияло, голос источал дружелюбие. — Я даже подумывал, не поехать ли самому. Знаете, в разных инстанциях имя и звание действуют этак... магически.

Он подмигнул и рассмеялся.

— Наибольшие основания ехать с нами у профессора Троицкого, — сказал Липатов строго. — Все дело в том, сколько человек может послать институт. Три автора — вне сомнений. Кто сумеет лучше нас обосновать и защитить проект? А если вы располагаете средствами послать большую группу...

— Бухгалтерия! Бухгалтерия! — воскликнул Сонин. — Я раб своей бухгалтерии и сметы! А в общем — обсудим.

Приближался срок отъезда, а решения все не было. В субботу праздновалась свадьба Саши и Любы. Как и было сговорено, у Кузьменок собрались ближайшие друзья и Любины подружки. Кузьма Иванович достал из погреба две бутылки вишневой настойки, припасенные для этого случая. И он, и Кузьминишна держались молодцами, но вечером накануне свадьбы оба старика долго сидели в заветном месте — на скамейке под сиренью. Сидели рука в руке, молча. Глядя на них, заплакала Люба, а Кузька засопел носом и перемахнул через забор — подальше от переживаний.

Посторонних никого не приглашали. Сонин сам надумал поздравить молодых. Его машина прокатила по поселку, привлекая общее внимание, и осталась ждать у калитки Кузьменок. Появление такого важного гостя

смutilo Кузьминишну, но Сонин быстро освоился, и вместе с ним ворвалось в дом веселье, — он один то ли не слышал, то ли забыл о недавнем несчастье, и потому держался так непринужденно, как не могли держаться другие: любезничал с Любиными подружками, произносил красноречивые тосты и пел под гитару неаполитанские песни.

Часов в десять хлопнула калитка, и Кузьминишна увидела на дорожке маленького старичка в шляпе и с большим букетом. Чудится ей, что ли? Она слегка захмелела от вишневки, от незнакомых песен Сонины, от тоскливого предчувствия, что после веселья дом опустеет.

— Гляди-ко, гости повалили! — воскликнула она и распахнула дверь.

Иван Иванович церемонно поздравил жениха и невесту, вручил покрасневшей Любе букет и флакон духов, а Саше немецкий справочник, о котором тот давно мечтал.

— Незванный гость легок. Что есть, то и ладно! — закричал Липатов, придвигая к профессору уцелевшие закуски. — Ну, Иван Иванович, дернули по первой за молодоженов!

Иван Иванович «дернул» и даже рассказал — слишком длинно и обстоятельно — анекдот про попа, который всегда пил «по первой». И тут же начал объяснять, что именно смешно и почему. Потом выпил «по второй», раскраснелся и азартно закричал: «Горько!»

— Ох и получит он трепку от Дуси, когда приползет на карачках! — посмеивался Палька.

В час ночи Сонин собрался уезжать. Решили, что в его машине поедут и Китаев с Липатовым. Перед отъездом Иван Иванович как-то сразу протрезвел и отвел в сторону Сашу.

— Вот ты и муж, Александр Васильевич! Я произношу это слово не только применительно к сегодняшнему событию, по в его старинном значении — взрослый мужчина. Еще Пушкин говорил... Вернее, Марина Мнишек... — Китаев слегка запинаясь и горячо дышал в лицо Саше. — Помнишь? «...я слышу речь не мальчика, но мужа». Ты не мальчик, но муж, Сашенька, и я горжусь тобой, ты — мой ученик, и я передал тебе все, что мог. Горжусь, и люблю, и надеюсь на тебя.

В приподнятом и блаженном настроении свадебного вечера Саша сделал то, что не сделал бы в другое время, — он обнял и поцеловал Китаева. Его умилили сухонькие стариковские плечи, дряблые, морщинистые щеки с колючей щетинкой — он навсегда прощался со своим первым учителем и ясно ощутил, что в эту минуту от него отходит завершённый, очень светлый период жизни и этого периода жаль, несмотря на то, что новый день сулит только счастье. Он думал — родной город,

институт, профессор Китаев, приятели студенческих лет... А это отходила юность.

— Я вам очень благодарен за все, Иван Иванович. За все!

Китаев снял очки и заглянул Саше в глаза:

— Ценю, Сашенька, ценю. Нас, стариков, нынче не балуют. Но я не ищущу благодарности, я хочу помочь. Тебе, Александр Васильевич, и вам всем, потому что искренне люблю и Светова, как бы взбалмошен он ни был, и Ивана Михайловича — как-никак все вы прошли через мои руки.

Объяснение явно затянулось. Саша оглядывался, высматривая, где Люба и не заскучала ли она без него.

— Конечно, молодая жена привлекательней старого профессора, — хихикнул Китаев и взял Сашу за рукав. — Скажу коротко. Мы должны поехать вместе. Мы должны разговаривать в Углегазе в качестве представителей института...

Саша старался не вникать в настоящий смысл этого предложения. Ему не хотелось вникать.

— Мы так и решили, Иван Иванович. Наш проект называется «Проект группы работников Института угля».

— ...в качестве представителей нашего института, точнее — кафедры химии угля, — закончил Китаев и заискивающе улыбнулся Саше. — Пойми, дружок, здесь мы знаем и ценим вас. Но в столице ваша святая троица будет выглядеть недостаточно авторитетно — три юнца из провинции! А если на проекте будет стоять имя научного руководителя... если мы явимся вместе...

Сашу передернуло. Он вдруг ощутил холодную сырость, вползавшую из сада в открытую дверь.

— Иван Иванович! — с мольбой пробормотал он, еще надеясь, что Китаев опомнится и устыдится.

— Я и к Лахтину пошел бы с тобой, Александр Васильевич, — продолжал Китаев, придерживая Сашу за рукав. — В последнее время было много неприятных разговоров в связи с твоей отсрочкой. А если бы я сам повел тебя к академику, сомнения окончательно отпали бы...

Саша решительным движением высвободил рукав.

— Я не могу решать без товарищей, — сказал он, глядя в глаза Китаеву, — но мое личное мнение, Иван Иванович, я выскажу сейчас: вы не захотели работать с нами, когда мы вас просили. Вы отстранились. А в трудную минуту — даже отвернулись. Зачем же теперь... — Он вспомнил все, что связывало его с этим человеком, и с болью воскликнул: — Ну зачем вы так, Иван Иванович!

Китаев молча жевал губами.

Выделяясь светлым пятном на темной дорожке, от калитки шла Люба. Сейчас она подойдет к ним, и тяжелый разговор прервется...

Китаев потянулся к Саше и сказал отчетливым шепотом:

— А телеграмма-то была подложная. И о ней знают.

Саша отшатнулся. Он будто впервые увидел лицо Китаева — с брюзгливыми морщинами, с колючими глазками.

— Валерий Семенович ждет вас, — сквозь зубы напомнил Саша и крикнул в сторону калитки: — Липатушка! Помоги Ивану Ивановичу сесть в машину!

Друзья освободили молодоженов от дальнейших мучительных объяснений — к директору пошли без него. Сонин вызвал Алферова и обоих профессоров — Китаева и Троицкого. От имени авторов говорил Липатов — Палька уверял, что Липатов лучше всех умеет «ставить вопросы». И Липатов поставил вопрос ясно: есть три автора. Три автора считают, что участие профессора Троицкого и студентов-старшекурсников Сверчкова, Гармаша и Коротких дает им право подписать проект в качестве соавторов. А ехать должны те, кто знает весь проект в целом и потому лучше всех сумеет защитить его. Конечно, если поедет профессор Троицкий, будет хорошо и полезно.

— А я считаю... э-э-э... что вы справитесь сами, — сказал Троицкий и бросил молниеносный насмешливый взгляд в сторону поникшего Китаева. — Вы молоды, но... э-э-э... когда же и бороться за свою идею, как не в молодости?!

Палька наслаждался этой сценой, а Липатов следил за другими лицами и сказал без особой связи с происходящим:

— Я думаю, и городской комитет партии нас поддержит, если потребуется.

Алферов переводил взгляд с директора на Китаева, с Китаева на директора. Он знал деловую хватку Липатова и не хотел ссориться с ним. Не хотелось ему обижать и Китаева — им вместе работать. Как быть? С одной стороны, успех прославит институт, важно отстоять проект в Москве, для чего пригодится авторитет профессора. С другой стороны, три молодых питомца института, три коммуниста... тоже неплохо! Для обоих случаев сами собой слагаются превосходные формулировки... Какую же выбрать?

Сонин тоже посматривал на Алферова — бурчал-бурчал, все уши прожужжал разговорами о злополучной телеграмме, о ненадежности трех юнцов... чего ж теперь отмалчивается? А Липатов, чего доброго, обратится

в горком... Чубаков его уважает как передового начальника участка... Э, будь что будет! Он безмятежно улыбнулся.

— Да о чем говорить, товарищи? Дорогу молодости — кто же возразит? Это прекрасно — молодежь творит! Молодежь дерзает! Зачем сковывать ее силы? Мы должны закалять ее, приучать к самостоятельности, так нас учит партия — верно, Василий Онуфриевич? Три подросших сокола вылетают из родимого гнезда. Крылья окрепли, а? Счастливого полета!

— Если подойти с этой точки зрения, — смиренно сказал Китаев, — я первый голосую за самостоятельность и свободный полет моих учеников. Откинем сердечную тревогу и желание поддержать их в полете. А если... если есть еще какие-либо, так сказать, соображения... Ну, это меня не касается.

— Конечно, — вполголоса подтвердил Палька.

Потом все завертелось — получали командировки, деньги, заказывали билеты, Липатов с боями добивался отпуска, Саша и Люба укладывали чемоданы...

И вот впереди — Москва!

Москва! Четырех провинциалов закрутил многотысячный прилив командировочного, ищущего работу, транзитного и всякого другого люда, ежедневно прибывающего в Москву. Толкотня, расспросы — как куда проехать, поиски любого временного жилья, штурм переполненных трамваев и автобусов, наивные попытки сразу все рассмотреть и запомнить...

Москва была старая, как на известных картинах, — с маковками церквей, с узкими переулками и тупичками, с деревянными домишками, осевшими между каменными зданиями, с ломовыми телегами, гроыхающими по булыжникам, с тесными торговыми рядами и книжными развалами прямо на тротуарах. И в то же время Москва была совсем новая, казалось, она стронулась с места, как и вся страна. По улицам и переулкам, колесо к колесу, спешили автомобили, поражая глаз сочетанием самых старых, уже смешных, и самых новых — первых отечественных — моделей. Раздвигая и оттесняя мелкоту, мчались по всем направлениям грузовики, неся на себе пахучие доски, песок, громоздкие ящики с надписями: «Не кантовать!», розовый кирпич, царственно вознесенные бетономешалки и многое другое, потребное стройкам. Стройки были тут же, в городе, — целые участки улиц обнесены заборами, изрыты траншеями. Над крышами торчали подъемные краны. Впритык к

старым домишкам поднимались стены многоэтажных корпусов. На двух — и трехэтажных домах нарастали этажи. Расширялись улицы, пробивались широкие магистрали, рушились древние стены, мешающие сегодняшнему размаху жизни, черная вязкая масса асфальта заливала проспекты, передвигались дома и бульвары... Старинный город переустраивался на современный лад. Как символы этого нелегкого переустройства тут и там поднимались вышки второй очереди Метростроя. Горделиво, походочкой вразвалку шли сквозь толпу девушки в побуревших комбинезонах и широкополых брезентовых шляпах, заломленных назад, — героини столицы, метростроевки; были они кокетливы, как все девушки, из-под полей шляп выбивались завитки вошедшего в моду перманента, — но главное кокетство этих девушек было именно в том, что они метростроевки, потому и по улицам ходили, не сменив рабочей одежды, потому и походочка вырабатывалась особая, независимая — знай наших!

Пока что четверо друзей понятия не имели, где находятся уже открытые станции первой очереди и куда можно на метро проехать. У них был адрес, данный Аннушкой Липатовой, и они долго добирались трамваями до деревянного дома в тупичке, где предприимчивая хозяйка потайно сдавала приезжим койки. Хозяйка была сухопарая, в пенсне, с узелком жидких седеющих волос на макушке. Допросив друзей, кто они и через кого узнали адрес, она ругнула фининспекторов и похвасталась тем, что ее сын строит Магнитогорский комбинат, — комнату сына она и сдает. В доме нещадно скрипели и качались под ногами половицы, в столовой висел портрет господина с бородкой, в стоячем воротничке с отогнутыми уголками. Было странно, что отсюда кто-то уехал строить Магнитогорск... В сумрачной комнатке, куда их ввела хозяйка, половину окна закрывали черные ветки дерева, а прямо за деревом поднималась кирпичная кладка нового дома. Три койки и диван стояли по стенам, образуя узкий проход.

— Что до меня, я пойду ночевать к приятелю, — развязно сказал Липатов. — Хочешь со мной, Палька? Парень свой: и устроит, и угостит.

Только вечером выяснилось, что никакого приятеля нет. Но это было вечером, а сейчас Палька ухватился за приглашение, чтоб не стеснять молодоженов. Впрочем, ночь казалась очень далекой — еще только начинался день, и в этот день им предстояло войти в таинственное учреждение Углегаз...

— Прежде всего — помыться и подшустриться! — скомандовала Люба. — Вы же небритые-нечесаные, мятые-перемятые! Саша, пойди разузнай, нельзя ли поставить утюг.

Хозяйка надела нитяные перчатки, чтобы развести огонь в паровом

утюге. Сухо предупредила, что готовить можно только в те часы, когда у нее топится плита, так к как дров в обрез. Но, когда ее спросили, каким трамваем проехать в район Ильинки, она просияла и отвергла все старые средства сообщения — только в метро, прямо с соседней площади до станции Дзержинская! Она хвасталась метро, как своей собственностью, ее распирала гордость.

Люба сразу начала наводить уют — как-никак это был ее первый, пусть временный, но первый семейный дом, она играла в домовитость. Было удивительно, что за каких-нибудь пять дней, прошедших после свадьбы, она успела приобрести командирские замашки! Заставила всех троих поесть, придирчиво осмотрела их костюмы, поправила галстуки, справилась, есть ли у них носовые платки и расчески. Но затем, соблазнившись прогулкой в метро и махнув рукой на хозяйство, поехала проводить их до Углегаза. На улице они взялись под руки — инстинктивное желание опереться друг на друга. И может быть, про себя каждый вспоминал слова Китаева, что в столице их святая троица будет выглядеть недостаточно авторитетно.

Где произошла перемена в их настроении? На движущихся ли ступенях эскалатора, где они обо всем забыли и почувствовали себя восторженными ребятами? Или в подземном зале, озаренном скрытым светом, их посетило счастливое чувство хозяев, вступающих в новые владения? Из метро они вышли победителями. Верили только в хорошее. Весело искали нужный им переулок и нужный дом. Сняв кепки, раскланялись перед вывеской «Углегаз». Многозначительно пообещав Любе, что приедут сразу же, сразу же...

Они вошли в свой Углегаз. Восторженно поздоровались с гардеробщицей — она принадлежала Углегазу, была частичкой этого заветного Острова Осуществления. Проходя по коридору, они заглянули в окошечко бюро машинописи — там стучали по клавишам три машинистки, которым предстояло печатать десятки чудеснейших бумаг, сопровождающих Осуществление. Какие-то люди за полуоткрытыми дверями что-то писали, чертили, говорили по телефону — скоро они станут сотоварищами... Навстречу бежала девица с белокурыми волосами в мелких колечках шестимесячной завивки. Она была как бы создана для того, чтобы первой приветствовать долгожданных авторов. Палька очень вежливо обратился к ней, но девица безразлично скользнула взглядом по его лицу и побежала дальше, неопределенно махнув рукой назад. И в сознании Пальки аукнулось китаевское презрительное «три юнца из провинции...»

В приемной под надписью: «Не курить!» молодой человек с папироской в зубах кричал в телефонную трубку:

— А я вам говорю — трубы занаряжены на этот квартал! На этот квартал! Да нет, для Алексеевской станции подземной газификации! Подземной га-зи-фи-ка-ции!

Немолодая, очень полная секретарша сдержанным голосом внушала по другому телефону:

— Надо набраться терпения, товарищ. Проект переслан профессору Вадецкому, но он очень занят, и я не могу...

Друзья смущенно переглянулись. Уже существовала какая-то Алексеевская станция — на шахте Алексеевской, что ли? Это же в Донбассе, километрах в ста от Донецка! Уже волновались какие-то нетерпеливые авторы...

Секретарша сказала, что товарищ Олесов занят, и спросила, по какому делу они пришли.

— Ах, проект! Вторая дверь налево, товарищу Рачко, на конкурс. В запечатанном конверте под девизом, — привычно оттараторила она и начала названивать по телефону, приглашая людей на совещание экспертов.

Совещание экспертов! Значит, рассматривается еще один проект?!

— Мы не хотим на конкурс! — с отчаянием сказал Палька. — Мы хотим теперь же... при нас... Мы для того и приехали...

Молодой человек, только что кричавший по телефону, дружески улыбнулся Пальке и спросил:

— Принцип газогенератора? Предварительное дробление угля?

— Нет, конечно! — воскликнул Палька.

— Нет?!

Через минуту трое друзей возбужденно беседовали с молодым человеком, назвавшимся Фейей Голь, инженером Алексеевской опытной станции. Впрочем, это была не беседа, а серия вопросов, чаще всего остающихся без ответа, потому что возникали встречные вопросы. Друзьям не терпелось узнать сущность метода, испытываемого на Алексеевской станции, а Фейя Голь жадно расспрашивал, как они добиваются газификации без дробления угля. Палька уже собирался развернуть чертежи, но Липатов решительно прижал их ладонью:

— Дойдет и до показов, а сперва — к директору.

— Как я понимаю, наш метод должен заинтересовать Углегаз, — сказал Саша секретарше. — Доложите, что приехали три научных работника из Донецкого института угля.

— Пожалуйста, если он согласится бросить дела, — обиженно

ответила секретарша.

Их приняли.

В кабинете, кроме добродушного толстого Олесова, они застали главного инженера Колокольникова — суховато-вежливый, безразличный, он пропускал мимо ушей горячие речи настойчивых авторов, покачивался на стуле и курил папиросу, заправленную в затейливый мундштук.

Письмо Сонины произвело некоторое впечатление на Олесова и оставило равнодушным Колокольникова. Зато краткое изложение принципа газификации, сделанное Сашей задело именно Колокольникова.

— Начинается! — недовольно воскликнул он. — Я предсказывал, что посыплются всякие перпетуум-мобиле. Почему нужно нарушать порядок и обсуждать проекты в обход конкурса?

Палька хотел ринуться в спор, но Липатов придержал его.

— Руководство института и горком партии придают большое значение данному проекту. Насколько мы знаем, у вас нет подобного метода газификации — в целике при кислородном дутье.

— Нет, да и вряд ли может быть, — проронил Колокольников и начал дамской шпилькой прочищать мундштук. — Во всяком случае, я не вижу причин пороть горячку. Сдайте проект товарищу Рачко, мы ознакомимся.

— Обязательно ознакомимся! — более ласково подтвердил Олесов и, желая загладить резкость главного инженера, спросил, по-прежнему ли молод и жизнерадостен Сонин. — Обаятельнейший человек! Жаль, что он не приехал лично.

Палька остро пожалел о том же, но Липатов сказал простецки:

— А он приедет, если будет необходимо. Без крайней нужды чего ж директору срыватьсь!

— Мы вполне готовы к защите проекта, — добавил Саша. — Хотелось бы уточнить порядок его рассмотрения и сроки. Мы здесь в командировке и не можем сидеть без конца. Кстати, помогите нам, пожалуйста, с гостиницей.

Палька про себя возмутился — к нему тут приплетать гостиницу! Но Липатов поддержал — да, непременно гостиницу, нам негде жить! Затем он попросил отметить командировочные удостоверения. И оказалось, что именно эти будничные дела уточнили их положение — они не какие-то пришлые люди, они командированы в Углегаз, о них должны заботиться — пока их вопрос не решится. Олесов это понял. И Колокольников понял.

— Донбассовцам нужно посодействовать, — вдруг раздобрился он. — Пойдемте к Рачко, я дам указания.

— А я позвоню насчет гостиницы, — пообещал Олесов.

По коридору, вторая дверь налево, к товарищу Рачко... Только на пути к товарищу Рачко три автора поняли, что их попросту вывели из директорского кабинета.

— Кстати, — задерживаясь у двери, проронил Колокольников. — Рачко един в двух лицах, он и наше, так сказать, партийное недреманное око! — Распахнув дверь, он с порога сказал другим, приподнято-оживленным голосом: — Донбассовцы зашевелились, Григорий Тарасович! Пригрейте молодых людей и пошлите их проект Вадецкому и еще кому-нибудь... Ну, хотя бы Цильштейну. — И он удалился, дружески помахав рукой с зажатым между пальцами затейливым мундштуком.

Рачко с чисто воинской подтянутостью знакомился с новыми авторами. Всем понравилось его круглое, ясноглазое лицо, его военная гимнастерка с двумя блеклыми полосками на воротнике — следами двух шпал.

— Значит, Вадецкому?.. — протянул он, щурясь и взялся за телефонную трубку. — Что ж, поговорим с Вадецким. — Но он не позвонил Вадецкому, а попросил рассказать сущность проекта и очень заинтересовался им, развернул их чертежи, дотошно расспросил, как и что.

— Вот такой бы разговор да в том кабинете! — заметил Липатов.

Рачко усмехнулся, задумался, потом сказал убежденно:

— Насчет Олесова — не ошибитесь. Он превосходный мужик, герой гражданской войны. А насчет технических вопросов... Да кто их тут понимает? Когда Олесов меня заманивал сюда, я испугался — ничего ведь не понимаю в этом! А он ответил: «Во всем мире нет человека, который что-либо понимает в подземной газификации, а учиться — шансы у нас равные». Вот и учимся на ходу, профессоров слушаем. А профессора... — Он внимательно оглядел трех авторов. — Вы ребята свои, коммунисты, так? Должны понимать — профессора есть разные. Есть свои, а есть и чужаки. И стремления у них разные. Первый проект легко прошел, а теперь проекты посыпались один за другим. Интересы скрестились... Ну, ладно! — Он снова взялся за телефонную трубку: — Виталий Сергеевич? Очень просим вас ознакомиться еще с одним проектом. Из Донбасса, Институт угля. Нет, решение другое. Очень интересное. Ваш? Ваш проект обсуждаем в среду. Хорошо, пришлю.

Он повесил трубку и скучным голосом сообщил:

— Взятся.

— А что за проект в среду? — без стеснений спросил Липатов.

— Проект самого Вадецкого, — неохотно ответил Рачко. — Эпидемия. Половина членов комиссии подает проекты. Я, конечно, профан, но на взгляд профана — перепевы катенинского проекта. Знаете, у одного труба

справа, у другого слева. — Он поднялся и снова внимательно оглядел трех авторов. — Аспиранты? Инженеры? Хорошо! Учитесь, ребята, учитесь все время, чтоб самим... Самим! Ох как худо, когда в сорок лет начинаешь... Ну, пошли пробивать вам гостиницу, это сейчас закавыка похуже наших экспертов!

С гостиницей ничего не вышло. Обещали послезавтра, к вечеру. В Углегазе делать было нечего.

— Ждать — вот что вам придется делать со всем упорством. Ждать! — сказал на прощание Рачко.

В самом смутном состоянии пошли три друга домой, в сумрачную комнатку. В комнатке было светло — электричество преобразило ее, старания Любы украсили ее. Колченогий столик был накрыт, в высокой вазочке стояли цветы.

— Первым делом — обедать! — сказала Люба, как бы не замечая состояния друзей. — Мойте руки и садитесь.

Она ни о чем не спрашивала. А когда они рассказали сами, прижалась щекой к Сашиному плечу и лучезарно улыбнулась:

— А по-моему, все хорошо. Ведь если бы ваш проект был единственным, — значит, само дело выеденного яйца не стоит?..

— Разумное распределение функций! — говорил Липатов. — Один проводит медовый месяц, второй изучает Москву, третий психует. На кой черт психовать втроем?

Они с Палькой с утра отправлялись в Углегаз и обходили всех подряд — от Рачко до Олесова, вынуждая то одного, то другого звонить профессору Вадецкому, который все еще не удосужился просмотреть проект. Потом Липатов отправлялся изучать Москву, у него был выработан точный план — музеи, памятники, станции метро... Кроме того, Липатов настойчиво разыскивал бывших донбассовцев, чтобы с их помощью нажимать на Углегаз. Он уже заручился обещаниями — один дружок сведет его с работником Госплана, другой — с работником Комиссии партийного контроля, третий... Но встречи пока не состоялись, двухнедельный отпуск таял... Саша ежедневно звонил им по телефону. В первый же раз, когда Палька хотел излить Саше свое негодование и уже начал: «Можешь себе представить...» — Липатов выхватил трубку и ликующим голосом продолжал:

— Можешь себе представить, Олесов стал нашим союзником! Говорят, Вадецкий заканчивает отзыв! А Цильштейн, оказывается, самый главный энтузиаст подземной газификации! Так что рубай науку и будь счастлив, Сашенька! — Повесив трубку, он зашипел на Пальку: — С ума ты спятил — Сашке настроение портить? У человека медовый месяц, у человека экзамены, а ты со своими настроениями. Он же сейчас веселыми ногами бегаёт!

Палька подчинился и перестал делиться с Сашей своей досадой, но, когда они навещали молодоженов, косился на «веселые ноги» Саши — и отворачивался, чтобы не разозлиться.

А Саша был счастлив. Не только в любви — во всем. Было удивительно, до чего удачно складывалась жизнь. В институте его встретили радушно и на второй день вручили ключи от квартиры в новом жилом корпусе Академии наук, где отныне ему принадлежала большая, солнечная и совершенно пустая комната. Телеграмма от имени Китаева «сработала» — никто не упрекал нового аспиранта за опоздание, ему разрешили сдать экзамены в течение месяца и вместе с ним наметили, что и когда он сумеет подготовить. Весь тон этого разговора пленил Сашу, он привык к школярству, царившему в донецком институте.

Через несколько дней его принял академик Лахтин.

Академик жил во флигеле института и пригласил Сашу к себе. Саша никогда не видал такой квартиры — огромной и до удивления простой. Позднее, вернувшись к Любе, он не мог вспомнить, какая там мебель и есть ли в доме прислуга. Кто-то его впустил и провел через две комнаты в кабинет, а потом из кабинета — в столовую, он все рассматривал очень внимательно, но запомнил только чистоту, книги и цветы. Нигде не было ничего лишнего, бросающегося в глаза. Книг было много не только в кабинете, но и в других комнатах и даже в коридоре; они стояли вдоль стен в гладких застекленных ящиках, поставленных один на другой, — потертые, с бумажными закладками, торчащими то густо, то в одиночку; это были рабочие книги, возбуждающие желание заглянуть в них, по закладкам изучая интересы и вкусы хозяина.

В столовой его ждал академик — точно такой, каким он представлялся Саше, — с белоснежной бородой, в традиционной черной шапочке, из-под которой разлетались венчиком седые волосы. Тут же находились две пожилые дочери академика; они хозяйничали за столом и ненавязчиво расспрашивали Сашу, откуда он приехал и чем думает заниматься. По разговору Саша понял, что дочери тоже научные работники, по разглядеть и запомнить их он не мог — с первой минуты встречи с Лахтиным он

утратил способность замечать других.

Федору Гордеевичу Лахтину подходило определение «старец». К этому определению Саша постепенно добавлял — «величественный», «мудрый», наконец, «лукавый», он ни разу не улыбнулся про себя, хотя старец забавно повязал салфетку вокруг шеи, а говорил высоким голосом и зачастую невнятно, проглатывая слова.

Впрочем, академик говорил мало, а слушал так настороженно, будто за короткими ответами прослушивал возможности нового работника. Временами Лахтин как бы забывал про Сашу, предоставляя его дочерям, но Саша ловил молниеносные зоркие взгляды, то одобрительные, то удивленные, то смешливые. Удивление академика вызвали слова Саши о том, что он задержался из-за проекта подземной газификации. Насмешка промелькнула при упоминании профессора Вадецкого. Саше очень хотелось спросить Лахтина, как он относится к подземной газификации, но было неудобно самому переходить к вопросам — Саша понимал, что сейчас он держит самый серьезный экзамен.

— Это увлекательная проблема, — сказала одна из дочерей, — но ведь она лежит, как я понимаю, несколько в стороне от ваших научных интересов?

— Если ее решать при помощи механики — да, — быстро ответил Саша, — но мы решаем ее как задачу химии. Кстати, это единственно возможное решение.

Он поймал быстрый взгляд Лахтина и с волнением замолк — не скажет ли Лахтин хоть словечко?

— Что же вы угощаете молодого человека цветной капустой? — спросил Лахтин и тоненько засмеялся. — А он, бедняжка, и ее не поспекает есть, так вы его заговорили! Ну-ка поищите чего-нибудь — для людей моложе сорока лет.

Саша смутился и начал уверять, что только-только позавтракал.

— Где? — спросил Лахтин. — Холостяцкое хозяйство? Столовка?

Узнав, что Саша женат, поинтересовался, давно ли. Услышав, что «уже полторы недели», рассмеялся и долго не мог успокоиться.

— Представляешь себе, какое у них образцовое хозяйство? — обращался он то к одной дочери, то к другой. — Неделю в Москве, полторы недели женат! — И вдруг строго спросил: — Какие у вас отношения с Китаевым?

Дочери насторожились — было ясно, что его ответу придают значение. Взвесив все, что просилось на язык, Саша сдержанно сказал:

— Китаев — мой научный руководитель.

Лахтин усмехнулся и высоким голосом пропел:

— Ай-ай-ай, какой дипломат! Знаете, если и в научном исследовании вы будете удовлетворяться подобной точностью ответа, вряд ли вы достигнете больших результатов.

Саша побледнел. Сейчас он совсем не думал о том, что его изучают. Он заново прочувствовал все, что его соединяло с Китаевым, и все, что оттолкнуло, и понял, что об этом невысказанно рассказывать походя.

— Мое отношение к профессору Китаеву сложное. Оно требует объяснений. И я не могу... — Он запнулся и с твердой решимостью докончил: — Я не хочу говорить о нем ни плохого, ни хорошего. Он мой учитель, и я ему многим обязан.

— Так, так, так, — проговорил Лахтин и занялся едой, как будто забыв о Саше.

Одна из дочерей налила ему большую чашку чая со сливками. Лахтин отхлебнул чаю, зажмурился и засмеялся.

— Не хотите! — лукаво повторил он, но сквозь лукавство проступила беспощадность. — А мне интересно понять, почему один и тот же профессор рекомендует мне своего лучшего ученика, потом присылает письмо, где берет рекомендацию обратно, а потом еще письмо... Как у него там, а? — Он поднял палец и торжественно произнес, видимо дословно повторяя текст: — «Прошу считать мое предыдущее письмо вызванным специальными общественными обстоятельствами...» Так?

Дочери весело подтвердили.

— Так что же вы там натворили? Какие такие общественные обстоятельства? А?..

Саша сказал, глядя прямо в глаза Лахтину:

— Адресованную вам телеграмму об отсрочке профессор Китаев не подписывал. Мы подписали за него.

Академик поперхнулся, поставил чашку и долго залиvisto смеялся, вытирая слезы и снова смеялся.

— Да вы, оказывается... как это теперь называют... правонарушитель?.. — Он еще улыбался, но взгляд стал пристальным. — И ради чего же сие проделано? Ради этой самой газификации?

— Да.

Академик попросил еще чашку чая и задумчиво помешивал ложечкой сахар. И вдруг сказал:

— На Урале есть у меня один дружок, Кураков Василий Иванович. Не сверстник мой, моложе, но для вас, пожалуй, уже старикан. Боевой старикан, партизанил против Колчака. А теперь заведует угольными

копиями. Так он вскрывает пласт с поверхности — там залежание неглубокое — и ведет добычу открытым способом. Кстати, за границей этот способ применяется широко и дает большой эффект в смысле дешевизны и производительности.

— Я об этом читал, — сказал Саша, настораживаясь.

— Вот я и думаю, что в деле разработки полезных ископаемых мы стоим накануне больших перемен. Недостойно эпохи — кротами в землю закапываться. Не вяжется это с гуманистическими устремлениями социализма, с самым духом его — *людей ради*. И, видимо, использование угольных залежей пойдет по двум путям. Первый — открытыми карьерами с применением мощных механизмов. Вероятно, наше машиностроение сможет в ближайшие годы создать такие машины, ибо без машин любой способ нехорош.

— Ну, этот способ возможен только там, где уголь залегают неглубоко. Он не отменяет подземную добычу... Но вы сказали — два пути...

— Второй путь — химия. Это, конечно, весьма прогрессивный путь, если удастся найти метод газификации угля в целике. Именно химия, и только химия, призвана покончить с подземными работами. Менделеев это предвидел еще тогда, когда науке и технике задача была не по плечу. Сейчас, вероятно, пришло время, а?

— Папа, — сказала одна из дочерей, глазами показывая на часы, и виновато объяснила Саше: — У папы лекция.

— Да, да, — с огорчением проговорил Лахтин и тяжело поднялся. — Интересное время наступает. Больших перемен можно ждать... Очень больших! — Он протянул руку: — Что ж, правонарушитель, приступайте к работе. Осмотритесь — встретимся.

— И ты ни слова не сказал о нашем проекте! — возмутился Палька, когда Саша поделился впечатлениями об этой встрече.

— Я не мог, потому что он член комиссии Углегаза, — сказал Саша. — Как-то нехорошо забегать вперед, пользуясь тем, что он меня принял. Путать одно с другим...

— Для пользы дела можно путать и бога с чертом, — буркнул Липатов. — А в общем, крайности пока нет...

Саше на миг показалось, что друзья чего-то не договаривают. Палька явно нервничает...

— Да уж вы не скрываете ли что-нибудь, а, ребята?

— Чудак! — сказал Липатов. — Просто нам ждать труднее, чем тебе. Особенно Пальке. Женить нам его, что ли?

Саша стыдился того, что невольно отошел от друзей. Но что тут

поделаешь? Им невтерпеж, а он не замечает бегущего времени: дни его заполнены учебой, и новыми впечатлениями, и любовью. Весь последний год он чувствовал себя счастливым, он был счастлив в дороге — так счастлив, что, казалось, счастливее и быть нельзя. Но в Москве счастье стало новым — насыщенным и веселым. С той минуты, как они вступили в свою собственную комнату и поцеловались на пороге, им было спокойно-весело. Все их радовало. В комнате был стенной шкаф, куда они повесили свои немногочисленные одежды, и оттоманка, заменившая им кровать. Из четырех чемоданов они соорудили два сиденья и стол. Возможности этого стола были безграничны: когда Люба постилала скатерку, он становился обеденным, под листом зеленой бумаги — письменным, а по утрам Люба превращала его в туалет — ставила зеркальце, перед которым она причесывалась, а Саша брился. Правда, стол качался и грозил разъехаться от любого толчка, но это свойство служило источником неистощимых шуток. Люба стала такой веселой! После тяжелого домашнего горя, после волнений последних недель она наверстывала все, что долго задушала, — песни, шалости, молодую беспечность. У них почти ничего не было для благоустроенного быта, но ей хватало того, что Саша с нею и они в Москве. В Педагогическом институте ей отказали в приеме на основное отделение, потому что она опоздала, но Люба отнеслась к этому беспечно, поступила на заочное и не спешила братья за книги.

Бродя по своей чудесной неустроенной комнате в ожидании Саши, она пела и сама с собою разговаривала, смеясь от радости. Когда Саша занимался, она сидела на оттоманке и смотрела на него. Это было изумительное занятие — смотреть, как он морщит лоб, задумчиво почесывает подбородок, шевелит губами, как он переворачивает страницы или что-то записывает, пощелкивая языком. Иногда Саша отвечал вслух на воображаемые вопросы экзаменаторов, — Люба с важным видом слушала и, прослушав до конца, подбегала поцеловать Сашу и шепнуть ему, что он очень умный и все прекрасно знает. Вначале Саша боялся, что при Любе не сможет отвлечься от желания заниматься только ею, но оказалось, что ему мешает ее отсутствие, а когда Люба тут и смотрит на него, все идет прекрасно. Он и хотел бы делить с друзьями их терзания, но не мог.

Пальке было невтерпеж. Единая страсть владела им — добиться осуществления проекта. Он не боялся никакой борьбы, никаких препятствий. Но ждать было нестерпимо. Он извелся бы вконец, если бы не возникла новая дружба.

В первый московский вечер, когда Липатов признался посреди улицы,

что никакого приятеля у него нету, Палька посмеялся, предложил гулять всю ночь по улицам, а потом припомнил, что Игорь приглашал их: будете в Москве, приходите. Разве это не достаточный повод, чтобы прийти, когда над головой — осеннее небо, а ночевать негде? Но адрес?..

— Эх, ты, провинция! — сказал Липатов. — То ж столица нашей Родины! С адресным столом и киосками Мосгорсправки на любом перекрестке! А ну, прибавили шагу!

В справочном киоске на станции метро им дали номер телефона Митрофанова М. Д., живущего на Малом Гнездниковском.

Ответил Игорь. Игорь не сразу сообразил, кто они такие, а когда узнал, что им негде ночевать, довольно кисло пригласил к себе, «раз уж больше некуда».

— Или он ждет девицу, или он обыкновенная дрянь, — сказал Липатов. — Было бы здорово плюнуть и не пойти. Но знаешь, когда бог создал Еву и сказал Адаму: «Выбирай себе жену!» — у Адама был не более богатый выбор. Шагом марш!

Игорь не ждал девицу, он заканчивал диплом, чтобы защитить его досрочно и обрести самостоятельность.

— До чертиков надоело жить под опекой предков!

Игорь устроил гостей в пустующем кабинете отца и ушел заниматься. Через час он сам заглянул в кабинет. Липатов давно спал, а Пальке не спалось. Игорь подсел к нему на край дивана.

— Ты как-нибудь приведи Любу Кузьменко с ее Сашей, — сказал он. — Мне очень понравилось у них в доме... А что твоя сестра?

Палька не знал, как ответить, пожал плечами.

— Когда она должна родить, скоро?

— Весной, кажется. Точно не знаю.

— А-а... Хороший она человек, твоя сестра.

Помолчав, Игорь заговорил о том, что бывают настоящие женщины, но их раз-два и обчелся, а вообще любовь — одна морока, нужно устраивать свои личные дела без чрезмерных переживаний и хлопот. Палька с уважением слушал рассуждения Игоря, они казались ему настоящими мужскими, но сам он так не умел — ни рассуждать, ни жить.

С того вечера повелось, что Игорь, отрываясь от работы, чтобы «размять мозги», заходил поболтать с Палькой или же Палька заходил к нему, от порога провозглашая:

— Разминка.

Ему нравилась комната Игоря. Узкая и тесная, она походила на каюту во время качки — два шкафа и стол были приткнуты к одной стене,

создавая впечатление, что комната заваливается набок. У другой стены стояла лишь неширокая тахта с неубранной постелью, а на стене висело несколько репродукций в простой окантовке: деревенский пейзаж, написанный крупными, искристыми мазками, без названия говоривший о том, что только что прошел сильный благодатный дождь; обнаженная женщина с прелестным лицом, с черной челкой, падающей на розовый лоб; глубокий двор-колодец, по которому унылым кругом бредут заключенные; совсем голубой нищий старик с таким же голубым мальчиком — картина странная и притягивающая; и еще более странная картина, от которой не оторвать глаз, — сидящий спиной к зрителю мужчина, обнаженный до пояса, мускулистый, здоровущий, с тупым затылком силача, а перед ним балансируя на деревянном шаре, — тоненькая, почти невесомая девочка с бледным личиком.

— Ван Гог, Ренуар, опять Ван Гог, два Пикассо, — называл Игорь.

Палька хотел спросить, почему старик и мальчик голубые, но не спросил, — чем дольше он смотрел, тем яснее чувствовал, что этот странный тон как нельзя более подходит к тому, что хотел изобразить художник. Что это такое? Нищета? Обреченность? Изнурение? Не спросил он и о девочке на шаре. Кто бы она ни была, эта невесомая девочка с изящными движениями худеньких рук, она была во власти грубой, тупой силы... Почему-то вспомнилась Галинка Русаковская, скуластая, крепенькая, самостоятельная, — вероятно, по контрасту. И потому, что со дня приезда в Москву томила мысль — в этом городе живут Русаковские.

Можно было спросить Игоря, здесь ли они. Но Игорь сразу поймет, кто его интересуется. И ляпнет что-нибудь такое, что будет невыносимо слышать... В Донбассе Игорь был равнодушен к Катерине. Но как свободно он спросил про нее! Сколько в нем независимости и умения устраивать свою жизнь, ничем не затрудняясь и не связываясь.

Жил он один — мать уехала в Углич к больной сестре, отец был в экспедиции. Следы одинокого хозяйничанья Игоря виднелись по всей квартире. В ванной скопились горы грязной посуды. Палька охнул, но Игорь безмятежно махнул рукой:

— Ну ее к черту! У нас два сервиза, вот я их и обрабатываю. Когда дохожу до точки, затапливаю ванну и устраиваю субботник. Всегда найдется добрая душа — помочь одинокому страдальцу.

«Добрые души» звонили часто. У добрых душ были имена — Нонна, Лидок и Кука. Палька с завистью прислушивался, как разговаривает с ними Игорь, пресекая упреки, переводя серьезное объяснение в шутку. Выражение лица у Игоря было в эти минуты холодное и снисходительное,

он никем не дорожил и ни в ком не нуждался. Иногда, услышав телефонный трезвон, Игорь кричал:

— Пожалуйста, поинтригуй с нею. А меня нет дома!

Но у Пальки не выходило непринужденного разговора со столичными девушками, хотя он старался изо всех сил.

На восьмой день Углегаз все-таки устроил им номер в гостинице. Игорь огорчился и в последний вечер поставил на стол бутылку вина, Липатов добавил от себя водки. Выпив, пели украинские песни, пленившие Игоря летом. Когда Липатушка повалился спать, Игорь снова спросил о Катерине, и на его лице появилось необычное выражение нежности и недоумения. И тогда Палька решился:

— Что Русаковский — вернулся? Очень хотелось бы привлечь его к обсуждению нашего проекта.

Игорь насмешливо скосил глаз.

— Русаковские должны приехать со дня на день. Мадам прилетала недели три назад, привозила дочку в школу. Галя иногда звонит узнать, не приехал ли мой отец. Представь себе, эта малолетняя скуластая Жанна д'Арк мечтает вместе с ним поворачивать на юг все реки, какие есть. А пока хочет в Испанию — сражаться!

Палька сам нередко подумывал об Испании — вот уже четвертый месяц там идет борьба, страшная, неравная борьба героического народа с фашистами. Со всего света стекаются туда добровольцы. Для любого парня желание естественное... Но девчонка!..

Своим снисходительно-равнодушным голосом Игорь сообщил, что был у мадам перед тем, как она снова умчалась в Сухум.

— Она устраивала мальчишник — сбор всех частей. Одни мужчины, главным образом молодые, и она как центр мироздания. Я был зван. Ничего не скажу, мило и весело. У нее есть дар...

Палька подождал продолжения, не дождался и натужным голосом спросил:

— Какой именно?

— Водить за нос всех, играть со всеми и ни с кем. Правда, этот ералаш был вполне-вполне... Я убежден, что она только прикидывается легкомысленной, а сама до педантизма верна мужу и хохочет вместе с ним над своими хахалями.

Палька сказал:

— Вероятно.

Он отлично понял, что Игорь предупреждает его — не обожгись.

Игорь с улыбкой оглядел накупившегося приятеля и предложил

познакомить его с приятными девушками.

— Не интересуюсь, — раздраженно отрезал Палька.

Она на днях вернется в Москву!.. Как поступить? Встретиться с нею? Через Игоря это нетрудно устроить. Или довести до ее ушей, что он в Москве, но категорически отказаться от встречи? Облить ее презрением... И вдруг он по-новому осознал сказанное Игорем. «Со всеми и ни с кем... Верна мужу...» Да, но с ним-то она не была такой! С ним-то она забыла и о муже, и обо всем! Да, да, забыла! Как мог он не понять эти отрывистые слова: «Все равно!» и «Пусть!»... «Все равно!» — этим возгласом она откидывала прочь верность, стыд, осторожность. «Пусть!» — она шла на все: на риск огласки и жизненных осложнений... И муж заподозрил ее, Застроил драму, срочно увез ее в Сухум! Как я мог не понять этого? Как я смел осуждать ее?!

Ошеломленный своим открытием, он не сразу заметил, что Игорь продолжает оживленно рассказывать:

— ...Представляешь, сеанс гипноза! Александров — гипнотизер. Конечно, розыгрыш, но здорово! Женька Трунин — презабавный парень, а про Ильюку Александрова говорят, что он будущее светило. Превосходные ребята, мы условились встретиться. Если хочешь, пойдём.

Палька слышал обе фамилии. Трунин и Александров — ученики Русаковского, постоянно бывают в его доме. Познакомиться с ними — еще один шанс попасть к ненаглядной. Но кем он придет в их компанию гениев? Автором непринятого проекта? Просителем, заинтересованным в заступничестве профессора Русаковского? Нет, ни за что!

Он уже лежал на холодящем кожаном диване в чужом кабинете, уже засыпал — и вдруг подскочил, растревоженный мыслью-воспоминанием. Когда-то давно — целых три месяца назад! — он жаждал личной победы и славы. Он схватился за проект подземной газификации как за кратчайший путь к самоутверждению, был во власти честолюбивых надежд... Что же случилось с ним потом, когда началась разработка проекта? Честолюбивые мечты испарились, он даже не вспомнил о них. Он, не задумываясь, привлек Сашу и Липатушку. Потом Троицкого и студентов. Ему даже в голову не приходило, что он дробит и дробит свою славу, свой успех. И это — правильно? Так и должно быть? Теперь он мечтает об успехе их общего проекта. Об успехе самого дела. Да, но все эти Вадецкие засуетились вокруг того же дела, протаскивают свое... Может быть, Вадецкий уже всунул в свой проект самое главное из чужого проекта, полученного на отзыв? Недаром их не пустили на заседание экспертов! Рачко намекнул, что у Вадецкого — перепевы метода Катенина. «У одного труба справа, у

другого слева». Метод Катенина... Что это такое? Уже готовится опыт на Алексеевне. Там предварительно дробят уголь. Но если опыт даст блестящие результаты? Для дела все равно, чья мысль... Подземная газификация начнет развиваться по методу Катенина, а не по методу Светова, Мордвинова и других. Как же тогда?

Вопрос был прямой, не обойдешь. И ответа не было. Но стало холодно до оцепенения.

Рачко сказал: «Садитесь, ребята!» — и плотно закрыл дверь.

Они сели в ряд перед его столом. Саша был еще блаженный: он только что успешно сдал самый тяжелый для него экзамен — аналитическую геометрию, дифференциальное и интегральное исчисление. Диамат он сдал в первые дни, оставалась физическая химия, в которой он чувствовал себя уверенней всего. Товарищи вызвали его в Углегаз, чтобы с его помощью «нажать» и добиться обсуждения. Он был спокойнее всех, муки ожидания прошли мимо него.

— Так вот, — сказал Рачко, стоя перед ними, — откровенность лучше умолчаний. Два наших эксперта дали отрицательные отзывы на ваш проект. Вадецкий считает его вздором. Цильштейн исключает возможность газификации без предварительного дробления угля. Он не написал, что ваш проект — вздор, но, в общем, одно к одному.

— Как же можно отрицать, когда наш метод подтвержден опытами? — удивленно возразил Саша.

— Я не специалист, — грустно сказал Рачко. — Но через меня проходят все проекты. Кое в чем я поднаторел за это время. Ваш проект меня убедил. — Он сцепил пальцы и уперся в них подбородком, стоя в позе задумчивой и энергичной. — Все остальные проекты так или иначе копируют обычный газогенератор — дробить и шуровать! Дробить и шуровать! Ваш проект откидывает обычную схему и создает условия для химического процесса. Это принципиальное отличие. И как будто правильное. Я пробовал доказать это в нашем учреждении...

Он не рассказал, чем кончилась его попытка, и продолжал рассуждать вслух, взвешивая и отбирая слова: — Может быть, специалисту труднее расстаться с укоренившимися понятиями, чем такому невежде, как я, у которого ничто не укоренилось. Надо учитывать и психологический фактор. Все поверили в Катенина и с нетерпением ждут пуска опытной установки. До окончания катенинского опыта никому не охота браться за другой. А потом...

— Авторов многовато стало? — подсказал Липатов.

— Многовато! — согласился Рачко. — Это бы неплохо, но, когда авторами торопятся стать члены комиссии и главные эксперты, — тяжеленько! Не буду скрывать — профессор Вадецкий сварганил свой проект вместе с нашим главинжем Колокольниковым. Тянули в соавторы и Олесова, для которого Вадецкий — бог, но Олесов — мужик честный и на такое дело не пошел.

— Какая же может быть объективность оценки! — вскричал Палька. — Это же...

— погоди, — остановил его Липатов.

Рачко все еще стоял, уперев подбородок в сцепленные пальцы, и слегка покачивался вперед-назад, вперед-назад. В ярком дневном свете стало заметно, как много у него седых волос.

— По счастью, я еще и секретарь партийной организации, — сказал он и улыбнулся. — Где по должности не могу, там по-партийному удастся. И отпор корыстным стремлениям мы даем. Да ведь поди докажи, где — корысть, а где — здоровая инициатива!.. А в общем, ребята, духу не теряйте. Чувствуете себя правыми — боритесь!

— Что вы нам советуете? — доверчиво спросил Саша. — Хотелось бы ускорить всю процедуру.

— Процедуру! — Рачко усмехнулся и расцепил руки, чтобы взяться за телефонную книжечку. — Вот вам телефоны: Стадник Арсений Львович... Бурмин Петр Власович... Запишите номера.

Все трое записали.

— Звоните им, пробивайтесь в наркомат, требуйте приема именем своего института. Это простейший путь. Вам сейчас важно добиться одного — чтобы из наркомата был звонок: мол, давайте обсуждайте поскорей, поскольку есть разногласия.

— Но если оба отзыва отрицательные...

— А у меня есть третий, — с ребячливой радостью сообщил Рачко. — Весьма авторитетный. Профессора Русаковского!

Палька густо покраснел. И услышал гулкое биение собственного сердца.

— Кроме того, я послал проект одному умному инженеру из Института азота. Мнения его не знаю, но... Если он объективен, а ваш метод верен, значит он должен одобрить!

От Рачко пошли прямо в наркомат. Палька не позволял себе думать об этом, но где-то внутри молоточком стучало: «Русаковские приехали, Русаковские приехали...»

Стадник принял их сразу же, хотя секретарша предупредила, что

Арсений Львович ночью улетает в Кузбасс, а сегодня очень занят. Невольно торопясь, они изложили свое дело.

— Погодите-ка, расскажите для начала, кто вы такие и откуда взялись на мою голову, — быстро сказал Стадник, ощупывая их своими глазами-фарами.

Они рассказали.

— Ну а в чем сущность вашего метода? — так же быстро спросил Стадник и всей фигурой подался вперед. Пока Саша объяснял, Стадник смотрел на него не отрываясь.

— Значит, все-таки можно! — Он радостно потер свои маленькие сморщенные руки. — Все-таки можно обойтись без подземных работ!

Затем он потянулся к телефону, но не снял трубку, а прикрыл ее ладонью и сказал быстро, четко, словно диктуя:

— Я улетаю на неделю, не больше. Вы идите к Бурмину Петру Власовичу, я сейчас подготовлю почву. Его слабость — Донбасс, шахтеры. В эту точку и цельте. От него добивайтесь основного — созыва комиссии. На комиссии — вы сами с зубами, отобьетесь.

Они встали, но Стадник спросил, тут ли Алымов, мелкими шажками прошелся по кабинету и вдруг с болью, с тоской проговорил, как бы беседуя с самим собою:

— Почему так? К днищу корабля обязательно присасывается всякая гадость! А к чему у тебя прикипит душа, там тебе и главные неприятности...

Отвечать было нечего — слишком личная нота прозвучала в этой жалобе. А Стадник уже крутил диск телефона.

— Петр Власович, тут у меня три донецких парня. Рвутся к тебе. Нет, по делам подземной газификации. Так ведь знаешь, как неискушенным парням трудно плавать в нашем столичном учрежденческом океане! Вся надежда на тебя. Хорошо, но ты ей скажи.

Он положил трубку.

— Готово. Идите к его секретарше, запишитесь на прием.

Они невольно оробели, увидав, что вместе с ними добиваются приема начальники угольных трестов и разные солидные хозяйственники, и у каждого — важнейшие дела, а секретарша норовит сплавить кого удастся в отделы. Липатов выдвинулся вперед:

— Петр Власович по телефону назначил нам прийти.

Пробились они к Бурмину только на третий день.

Большой грузный человек стоял посреди кабинета, разминая могучие коричневые руки — руки бывшего забойщика, руки, что запросто ворочают

важнейшие государственные дела. Сбычившись, Бурмин сказал, не здороваясь:

— Ну, выкладывайте, что у вас горит.

Только у Саши хватило хладнокровия связно рассказать суть дела, не обращая внимания на сердитые пофыркивания Бурмина.

— Эко вам не терпится, — прервал Бурмин. — Чего-то изобрели, и сразу дым столбом! Сдайте на конкурс и езжайте домой.

— Нет, — сказал Липатов, — пока не рассмотрят — не уедем. Мы народ упрямый, шахтерской выучки.

Против ожидания Бурмин отнюдь не подобрел.

— Шахтеры, а чушь порете. Любой кочегар знает — чтоб уголек горел жарко, мало того, что должен быть в кусках, так еще и подшуровать надо.

— Кочегару больше знать и незачем, — мирно сказал Липатов, — а вот химику такого знания мало. Да и руководителю маловато.

— Ну, ну, поучи! — оборвал Бурмин. — Сотворили в институте красивую схемку, а люди — теряй время.

— А может, не потеряете, а выгадаете? — врезался в спор Палька. — Чем опровергать с ходу, разобрались бы хоть вы!

Бурмин надвинулся на него грузным телом и ткнул его пальцем:

— А ну, доказывай!

Палька, ожесточаясь, начал доказывать. Что бы он ни говорил, Бурмин перебивал его, старался опровергнуть и высмеять. Время от времени он тыкал пальцем то в сторону Саши, то в сторону Липатова:

— А ты что скажешь? А ты?

Они долго кричали друг на друга, так что секретарша и еще какие-то люди заглядывали в щелку и с опаской прикрывали дверь. В разгар спора у Пальки сорвался голос, и он пустил петуха. Бурмин откинулся назад и захохотал. Он хохотал долго, раскатисто, хлопая себя по бокам и поглядывая на посетителей слезящимися от смеха, подобревшими глазами.

— Ай да хлопцы! И впрямь — шахтерское семя! Что ж — не растерялись, можно выпускать и к профессорам. Будь по-вашему, прикажу собрать комиссию.

Они еще не успели обрадоваться, когда Бурмин снова насупился:

— На мою поддержку не рассчитывайте. Не верю я в эту штуковину. А вы, голубчики, доказывайте свое, не робейте. Ваше дело — верить, наше — сомневаться. А без драки до истицы не доберешься.

Распоряжение о созыве комиссии было дано, а это как-никак — победа, хотелось ее отпраздновать. Можно было восхищаться трудолюбием Саши, который из наркомата помчался зубрить физическую химию, но

следовать его примеру они не могли, да и не было у них никакого дела.

— Поедем к Русаковским, — упрасивал Липатов. — Ну чего ты дичишься, чудила! Они же милейшие люди. У них дом на широкую ногу, скучно не будет.

— А ты откуда знаешь? — подозрительно спросил Палька.

— Иной гость недолго гостит, да много примечает.

Нет, идти к Русаковским Палька не мог. От нечего делать завернули к Игорю. Игорь выглядел странно: повязан женским передником, волосы стянуты резинкой, пальцы растопырены и перепачканы чем-то красным.

— А-а, вот это кто! — протянул он. — Что ж, заходите. Кстати, Иван Михайлович, тебе письмо от Аннушки Федоровны. Отец приехал! Раздевайтесь, а я — кухарничать.

Чувствовалось, что их приходом он не очень-то доволен, зато приезду отца искренне радуется.

Матвей Денисович принимал ванну. Проходя мимо двери столовой, Палька заметил, что обеденный стол накрыт не клеенкой, как обычно, а белой скатертью. Ждут гостей? В кухне топилась плита, на столе сохли груды вымытой посуды, на другом столе шла готовка, про которую Липатов сказал, что «чувствуются крупные масштабы». Пухленькая девушка с робким взглядом старательно крутила мясорубку.

— Знакомьтесь, — небрежно сказал Игорь. — Добрая душа по имени Кука.

Липатов предложил покрутить мясорубку, чем моментально воспользовался Игорь, поручив Куке нашинковать лук. Сам он аккуратно срезал верхушки отборных помидоров — по их количеству стало еще ясней, что ожидаются гости. Вероятно, следовало уйти, но Палька не мог — он догадался, кого тут ждут.

— Давай вытру посуду, — предложил он. Полотенце быстро намокло и не придавало посуде блеска. Тарелкам конца не было. Рядом, покорно шинкуя лук, шмыгала носом и лила слезы Кука.

Матвей Денисович вышел из ванной — распаренный, в восточном пестром халате, с полотенцем на голове. Пальку он не сразу узнал, а Липатова расцеловал и увел к себе — за Аннушкиным письмом.

Палька перетирал тарелку за тарелкой. И думал — вдруг Игорь не пригласит остаться?

Противень, заполненный фаршированными помидорами, ушел в духовку. Игорь начал накрывать на стол, ходил туда-сюда, не обращая внимания на Пальку и на Куку.

— Давай селедку заправлю, — предложила девушка.

— Э, нет, селедку я сам!

Палька смотрел, как Игорь растирает соус и заливает им селедку. Потом поплелся за Игорем в столовую и смотрел, как Игорь тонкими ломтиками режет булку.

— Я побегу, Игорек, — сказала девушка.

— Может, останешься?

— Ой, что ты! Ни за что!

— Погоди, подам пальто как полагается.

Палька бестактно вышел за ними и смотрел, как Игорь вежливо и равнодушно провожает девушку, а девушка смотрит на него влюбленно, ожидающе. Дверь за нею закрылась. Следовало уйти и Пальке. Он прислушался к оживленным голосам Липатова и Матвея Денисовича — говорят, смеются, а о нем и не вспомнят.

— Папа, одевайся! — крикнул Игорь.

Липатов вышел из кабинета и, улучив минуту, шепнул:

— По-моему, надо смываться.

Краснея до корней волос, Палька прошептал в ответ:

— Неудобно. Пришли, похозяйничали — и смываться.

Липатов обидно хохотнул и сказал: что ж, бывает и такая точка зрения, мы, конечно, института благородных девиц не кончали, и здесь тоже не английские лорды. После чего громко спросил:

— Матвей Денисович, по совести — уходить нам или дожидаться фаршированных помидоров, для которых я фарш крутил?

Матвей Денисович со смехом ответил:

— Кто ж от такого харча убегает? Оставайтесь.

Звонок... Нет, это не у двери, это телефон. Матвей Денисович взял трубку и, не здороваясь, закричал:

— Так что ж вы не едете? У повара помидоры перепреют! И гости ждут — томятся. Нет, из Донбасса, старые знакомые. Почему ревет? Ерунда! Берите ее с собой, раз просится.

С этой минуты всё и все будто провалились куда-то. Существовала только дверь в передней и звонок у этой двери. Вероятно, прошло много времени, потому что Липатов с Матвеем Денисовичем успели поспорить и до чего-то доспориться, потом Матвей Денисович долго и подробно о чем-то рассказывал, обращаясь и к Пальке, Палька старался изобразить внимание, но не слышал ни слова.

Звонок прозвучал как гром, как набат.

Кровь прихлынула к голове, а потом отхлынула так, будто ее совсем не стало, — ни поднять глаза, ни пойти за всеми в переднюю, ни

шевелинуться. На весь дом звякнула цепочка, щелкнул замок.

— Вот и мы! — сказал ее голос, и перестало существовать все, кроме ее голоса.

Самой страшной была минута, когда гости снимали пальто, здоровались с хозяевами и с Липатовым, смеялись чему-то и неотвратно приближались к двери столовой.

— Павел Кириллович! — пропел знакомый голос. — Рада встретить вас в Москве!

Он видел только черный шелк ее узкого платья. И носки ее туфель.

— Галя, не приставай к Матвею Денисовичу! — сказал ее голос. — Вы знаете, эта неистовая девчонка бредит преобразованием природы. Матвей Денисович настолько покорила ее, что она учится на пятерки...

— Так это ж хорошо, — с усилием сказал Палька и поднял глаза.

Перед ним была она и не она. По-иному, гладко причесанная, очень загорелая, очень тонкая в черном платье, она была совершенно не похожа на ту женщину, что стояла перед ним лунной ночью в степи и произнесла «Все равно!» и «Пусть!». Она не была похожа и на веселую озорницу, что пела в гроыхающем фургоне песни своей комсомольской юности, и на дружелюбную гостью, что приходила в сарай Кузьменок и старалась всем понравиться. Чужая, ни о чем не помнящая, уверенная в своем умении держаться в любых обстоятельствах — такую она предстала на этот раз. Новая — и по-прежнему ненаглядная.

За весь вечер он не сказал с нею и двух слов. Было жарко, в маленькой комнате надышали и закурили так, что не спасала и открытая форточка. Все хвалили поварские способности Игоря, только Палька не заметил, что ест.

— Расскажите же, Иван Михайлович, кому вы передали мой отзыв и как его приняли в Углегазе, — сказал Русаковский.

— Ну как они могут принять? С уважением!

Липатов покосился на Пальку и как ни в чем не бывало начал рассказывать, кому передал отзыв, с кем говорил...

Так и есть! Липатов сам разыскал Русаковского и добился отзыва... А ненаглядная могла подумать, что Липатов приходил с его ведома!

— Вот ты какой обманщик! — воскликнул Палька, обретя смелость оттого, что самолюбие оттеснило другие чувства. — Тишком бегал к Олегу Владимировичу!

Русаковский улыбнулся:

— А почему не прибежать? Отзыв я написал короткий. Бог вас знает, что у вас выйдет в природных условиях, но лабораторный опыт

любопытен. Я рекомендую перенести его в шахту — в конце концов, без этого нельзя ни подтвердить вашу правоту, ни опровергнуть ее.

В его словах сквозило не только сочувствие, но и пренебрежение. Он подчеркнул это, сразу заговорив о другом.

Ужин был съеден, чай выпит. Татьяна Николаевна поднялась — Матвей Денисович с дороги, Гале пора спать. Галя заупрямилась:

— Дядя Матвей обещал показать интересное.

— Но ведь не ночью же! — сказал Матвей Денисович, подталкивая ее к двери. — И давай условимся, кадрик: если хочешь быть изыскателем, капризы — долой. Поняла?

Все вышли в переднюю. Мать и дочь стояли рядом — крепенькая скуластая девочка и тонкая, очень красивая женщина с холодным лицом.

— Мы проводим вас до трамвая, — сказал Липатов.

Остановка была слишком близко. Трамвай подкатил слишком быстро — звенящий, пустой.

— Приходите, мы будем рады, — сказал ее голос.

Взгляды на секунду столкнулись. Что промелькнуло в ее зеленоватых глазах? Ласка? Насмешка? Летучее воспоминание об одной лунной ночи? Во всяком случае, в них не было ответа на его мучительный, отчаянный вопрос.

— В самом деле, приходите! — сказал профессор с подножки.

Значит, ее приглашение было не «в самом деле»? Палька видел, как она шла по освещенному вагону, выбирая место и не бросив даже короткого взгляда за окно.

— Надо будет сходить к ним, — проговорил Липатов, зевая. — До чего удачно, что я его поймал!

— Помолчи уж, старая лисица! — буркнул Палька и зашагал прочь, не обращая внимания, идет ли за ним Липатов. Пустынны, холодны, ветрены были незнакомые ночные улицы. И некуда было выплеснуть свою ярость.

Вначале все напоминало Катенину день, когда обсуждали его проект. Члены комиссии съезжались медленно и, стоя группами, переговаривались о чем угодно, только не о проекте; чертежи были распластаны на стендах, по к ним почти не подходили; профессор Граб предупредил, что торопится; Вадецкий пришел с таким брюзгливо-равнодушным видом, будто делал кому-то великое одолжение своим приходом, а сияющий, как ясное

солнышко, Арон Цильштейн появился последним — и сразу всех объединил и растормошил.

Катенин пригляделся к нему — общителен, весел. Кончились у него неприятности? Видимо, кончились. Вот только рассеянности у Арона раньше не замечалось, а сейчас — заговорит и не докончит мысль, засмеется и вдруг как-то отрешенно смолкнет... Значит, не кончились?

От рассеянности или оттого, что не считал нужным, но сегодня и Арон не вовлек в общую беседу новых авторов, и те стояли особняком, бледные, оробевшие.

«Неужели и я выглядел так же?» — подумал Катенин, с гордостью отмечая, что на этот раз члены комиссии приглашают его как своего и каждый считает нужным поговорить с ним. А новички ревниво прислушиваются...

Катенин знал, что их проект получил отрицательные отзывы Арона и Вадецкого, что Колокольников окрестил молодых авторов «вихрастыми гениями» и сегодня «вихрастых» ждет разгром. Было немного жаль их — ведь старались, надеялись... Может быть, стоит присмотреться и взять одного из них к себе на станцию?..

— Не волнуйтесь, — подходя к ним, дружелюбно сказал Катенин. — Я через это прошел — и, как видите, живой!

Двое улыбнулись, сиюсь подавить волнение, а третий, самый старший, ответил:

— Мы народ выносливый, драки не боимся!

И глянул на Катенина исподлобья хитрущим глазом.

Заседание началось. Колокольников небрежно, вполголоса, доложил, какие получены отзывы; правда, он дважды повысил голос, выделяя наиболее жесткие оценки, а благожелательный отзыв Русаковского изложил такой скороговоркой, что многие не расслышали.

— Сам Русаковский не приехал, видимо не придавая своему отзыву значения, — мимоходом обронил он и повернулся к Олесову: — Есть предложение для скорости начать с выступления рецензентов.

Все согласились. Но тут поднялся один из авторов, Мордвинов, который перед тем показался Катенину мягким до застенчивости; этот мягкий парень весьма твердым голосом попросил (просьба звучала как требование) выслушать их доклад, поскольку остальные члены комиссии с проектом незнакомы.

— Зачем? — отрываясь от бумаг, процедил профессор Граб. — Многие слышали о нем, рецензенты дадут оценку.

— Нет! — подскакивая, перебил самый молодой из авторов. — Мы

настаиваем! Категорически!

И с этой минуты заседание утратило всякое сходство с тем, первым заседанием. Благопристойная невозмутимость была взорвана напором молодых. «Мамонт» Бурмин поддержал их начальственным басом:

— Нехай обоснуют, что надумали, а там уже дело ваше.

Алымов подсел к Бурмину, что-то втолковывая ему энергичным шепотом, но Бурмин грохнул во всеуслышание:

— На то и созвали ученые головы, чтоб разобрались, а мы с вами тут не потянем.

Катенин видел, как радостно сверкнули глаза Стадника, как деликатно потупились профессора и как всех покорило оттого, что младший из «вихрастых» открыто фыркнул.

— Что ж, послушаем доклад, — миролюбиво сказал Олесов. — Кто из вас будет говорить?

— Все трое, — ответил Мордвинов, не обращая внимания на поднявшийся ропот. — Я доложу физико-химическую часть, Липатов — горную, Светов — технологию и сбойку скважин.

— Целая конференция, — буркнул Граб и напомнил, что скоро уедет.

«Однако они держатся весьма самоуверенно, — думал Катенин. — Молодость? Или они знают что-то такое, что вселяет в них уверенность?..»

Члены комиссии переглядывались. Вадецкий состроил насмешливую гримасу, Колокольников предложил ограничить время. Но тут вмешался новый для Катенина человек — круглолицый, курносый, голубоглазый, типичный русак по внешности и по плавному, слегка протяжному говору:

— Вы послушайте и, честное слово, не пожалеете: проект весьма оригинален, товарищи!

Это был эксперт из Института азота, инженер Васильев.

Не успел Мордвинов начать доклад, как дверь распахнулась от толчка — совсем как в прошлый раз — и на пороге показалась массивная фигура академика, — только ввел его Русаковский. Лахтин от порога сказал высоким голосом:

— Виноват, незваным явился. Да вот высвободилось время, и решил заехать.

Смущенный Колокольников кинулся встречать академика. Здороваясь со знакомыми, профессор Русаковский через комнату обратился к Олесову:

— Извините за опоздание, Федор Гордеич просил заехать за ним.

— И почему мне проекта не прислали? — ворчал Лахтин. — То шлют и шлют всякие вариации, а то и позвать недосуг!

Колокольников бледнел и краснел попеременно. Он не сообщил

академику о сегодняшнем заседании, сказав, что не стоит беспокоить старика по пустякам; на самом деле он боялся, что Лахтин захочет поддержать своего аспиранта. Теперь он не понимал, что произошло, — Мордвинов ли упросил своего шефа приехать? Или Рачко, непрошенный адвокат «вихрастых гениев», самовольно позвонил академику? Или Русаковский?..

Заседание возобновилось. Равнодушных уже не было, и все ощутимее делились собравшиеся на сторонников и противников проекта. Только Катенин не знал, с кем он. Смятение — вот что он чувствовал. И в этом смятении у него не было союзников.

То, что говорил Мордвинов, рисовалось Катенину совершенно несбыточным и простым до нелепости, до неприличия. Простое до неприличия решение откидывало все, что казалось несомненным и Катенину, и Арону, и большинству ученых, годами занимавшихся процессами газогенерации. Получалось так, что Катенин долго мучился, изобретал, находил сложные и остроумные решения подземного генератора, а потом пришли три вихрастых парня и сказали: «Ничего этого не нужно, чиркнем спичкой и получим газ! Зачем нам ваша механика, когда есть химия — царица наук!» Нет, и простота была не проста, вокруг нее роились сложнейшие проблемы, и Мордвинов докладывал о них, но выходило, что авторы все-таки одолели сложнейшие проблемы... Что же это такое? Господи, что это такое? Невежественный бред самоуверенных недоучек или то новое слово, что сразу перечеркивает привычные понятия?..

— Совершенная чепуха! — раздался рядом голос Арона.

— Чепуха? Ну конечно же чепуха!

Катенин помнил восторженный рассказ Феди Голь о появлении молодых химиков, будто бы нашедших способ избежать подземного труда. Он тогда же посмеялся над Федей — какая бы ни была химия, все знают, что уголь нужно дробить и шуровать, иначе равномерного горения не получится; но сердце его тоскливо сжалось — ведь Менделеев был химиком, вероятно, он мыслил будущую подземную газификацию как процесс, основанный на законах химии, а не механики... Узнав о предстоящем обсуждении диковинного проекта молодежи, Катенин примчался в Москву. Арон успокоил его — бред! Колокольников издевался — в двадцать два года кто не хочет перевернуть мир, но зачем на юношеские бредни тратить время стольких серьезных людей! Олесов сконфуженно объяснял — вмешалось начальство, находятся и сторонники, придется обсудить...

Вот они — сторонники: симпатичный инженер Васильев, солидный, уважаемый всеми профессор Русаковский... и академик Лахтин? Нет, не похоже. Седые брови Лахтина то и дело удивленно поднимаются, на морщинистом лице можно прочесть: да что они говорят? Да видано ли это?..

Непроницаемо холоден и величественно спокоен Граб. Нервно ежится и передергивает плечами Вадецкий. Катенин наблюдает за обоими с ненавистью — консультировали, вникали во все детали его проекта, а сами тишком разрабатывали свои «вариации»! И все-таки оба — крупные авторитеты. Их слово — весомое слово. И хорошо, что новый проект их не убедил. Сейчас они скажут что-то неопровержимое, и кончится смятение перед непонятной, дерзкой выдумкой этих юнцов, все станет на свои места, и опять самым главным и желанным будет предстоящее испытание принятого и одобренного метода Катенина...

— Держись, автор! — громким шепотом сказал Бурмин, подмигивая Катенину. — Под тебя подкапываются, а?

Вадецкий хихикнул и пренебрежительно махнул рукой — эти, мол, не страшны!

После сдержанной, точной речи Мордвинова доклад Липатова звучал несолидно — он говорил сбивчиво, южным говорком, пересыпанным украинскими и шахтерскими словечками, и многие слова произносил неправильно. Когда он вторично произнес «средства́» с ударением на конце слова, профессор Граб тихо, но внятно поправил его:

— Средства.

Потом Липатов сказал «наша мо́лодежь», и снова раздался голос профессора Граба:

— Молодежь, если позволите.

Липатов вспыхнул, но не растерялся, исподлобья глянул на Граба уже не хитрущим, а откровенно злым взглядом.

— Не всегда истина там, где гладко, бывает она и там, где коряво, да дельно, — сказал он с простецкой улыбочкой.

Бурмин захохотал от удовольствия.

Вадецкий похлопал кончиками пальцев по ладони:

— Bravo, bravo!

— Давайте не перебивать по мелочам! — крикнул Стадник. — Ведь интереснейшие вещи слушаем!

И снова говорил Липатов, стараясь не ошибаться с ударениями и все-таки ошибаясь. Все собравшиеся имели дело с горными работами, но тем труднее было освоиться с тем, что проект отменял их почти все, кроме

проходки первого небольшого ствола и бурения скважин.

— Здорово! Здорово! — счастливым голосом восклицал Васильев.

— На словах — здорово! — согласился Арон. — Но будет ли при этом нормальный процесс?

— Будет! — крикнул Светов. — Все проверено серией опытов и подтверждено протоколами!

Граб поднял руку, удерживая от продолжения спора.

— Нельзя ли соблюдать порядок? К тому же в лаборатории можно получить все что угодно, а под землей искусственных условий не создашь.

Светов проглотил новое возражение, но свой доклад начал с того, как проводились опыты и какие результаты получены. В окружении почтенных ученых он выглядел мальчишкой, настоящим «вихрастым», но срывающийся тенорок его излагал в стройном логическом порядке такие серьезные доказательства, что Катенин снова тоскливо сжался, почуяв за этими доказательствами странную, не совсем понятную, страшную для него правоту.

Он взглянул на Граба и сжался еще больше — ни следа обычного олимпийского спокойствия!

После докладов объявили перерыв, и в перерыве произошло то, чего тщетно ждал Катенин на обсуждении своего проекта, — члены комиссии потянулись к чертежам, и тут же, перед чертежами, разгорелись споры. Авторы отвечали на вопросы, огрызаясь на критику, доказывая и объясняя, — возбужденные, взъерошенные, с прилипшими ко лбу прядями волос.

Прикрыв глаза, академик Лахтин восседал в кресле, как монумент. К нему подскочил Вадецкий.

— Как вам нравится это ниспровержение науки?

Лахтин приоткрыл один глаз, будто его разбудили:

— А? Что?

Потом сказал:

— С интересом жду вашей критики. Но каковы петушки?!

Олесову с трудом удалось водворить членов комиссии на места; когда же все расселись, никто не хотел брать слово, и менее всех Вадецкий — его смущало присутствие академика. Выручил Арон Цильштейн — выступил первым и резко отверг проект, доказав на основе незыблемых положений науки, что процесс горения целика, если и произойдет, не даст равномерного выхода газа. Его доводы были серьезны и всем показались убедительными. После него охотно высказался и Вадецкий:

— Не скрою, я не без любопытства выслушал эту изящную утопию,

изложенную с юношеским темпераментом. Но было бы наивно рассчитывать, что из утопии можно получить промышленный газ! Нас уверяют, что в лаборатории получили, хотя при этом чуть не взлетели на воздух. Но мало ли что можно получить в специально заданных лабораторных условиях! Я готов любоваться молодым увлечением наших авторов, но с трудом принимаю дерзость их настойчивого желания заставить стольких ученых тратить время на разбор их ошибок. Что это — неуважение к науке или просто безграмотность?

— Это надо доказать, — крикнул Стадник.

Вадецкий иронически развел руками:

— Казалось бы, теперь, после почти столетнего применения газогенераторов, нет нужды спорить об основных, элементарных принципах газификации. Казалось бы, тем более нечего спорить в среде, которая признает учение диалектического материализма! А диалектический материализм говорит, что критерием истины является практика. Для каждого газовика совершенно очевидно, что без наличия подготовленного слоя топлива получить генераторный газ невозможно. При первом же испытании практикой ваши красивые построения, молодые люди, развеются как дым, и только дым вам удастся получить!

— Значит, из дыма дым? — густым басом переспросил Бурмин и засмеялся. — И сама диалектика — против?

— В истории техники часто бывало, что новые идеи встречали насмешками! — с вызовом сказал Стадник.

— И демагогией! — громко добавил Светов.

Снова взорвалась чинная благопристойность заседания — оно перестало походить на одно из многих, оно превратилось в схватку, где решалось что-то неизмеримо более важное, чем судьба одного проекта. Не все еще понимали это. Но когда взял слово инженер Васильев и своим протяжным, московским говором сказал, что безапелляционность возражений вызвана недоверием к трем безвестным авторам, а будь этот проект «освящен» знаменитым: именем, к нему отнесли бы куда уважительнее, многие притихли, как бы проверяя себя: так ли? И Арон вдруг добродушно признал:

— А конечно! Но эти ребята сами — палец в рот не клади.

— Опять отклонились от темы, — напомнил Граб, демонстративно вынул карандаш и начал править извлеченные из портфеля гранки.

Катенин приглядывался, вспоминал, сравнивал — что бы там ни было, сегодня всех взбудоражило, а мой проект ничего не нарушил, никого не зацепил... Как сказал тогда Вадецкий? «Проект тем и хорош, что не

выходит за рамки возможного...» Боже мой, как я не понял, что это обидно, что это значит — мой проект бескрылый... да, бескрылый! Стоят прочные, удобные «рамки возможного» — и в них покойно умещаются все мои новшества... А вот эти «вихрастые» сплеча рубанули по рамкам, опрокинули их и вырвались на простор. Ошибка? Чепуха? Может быть. По-видимому, они еще не нашли безусловного решения, но... но не я, а они опрокинули рамки и вышли на путь, ведущий к решению!

Катенин вздрогнул, услышав свою мысль в устах профессора Русаковского.

— Не стану утверждать, что проект уже сейчас бесспорен и осуществим. Вероятно, в нем немало ошибок и ляпсусов, но тут есть над чем работать. Авторы нащупали главное — верный принцип. Если подземная газификация когда-либо осуществится, то именно на этом пути.

Русаковский не собирался на обсуждение и не хотел ввязываться в спор, но Игорь в присутствии Татьяны Николаевны просил его помочь донецким друзьям. Было бы легче, если бы идея этого Пальки оказалась вздором, но она не была вздором. Олег Владимирович развивал в себе умение судить объективно и знал, что вечером будет приятно рассказать Татьяне Николаевне, как он поддержал ее поклонника. В глубине души он ревновал жену и убивал ревность благородством. Именно из таких побуждений он позвонил Лахтину. К удивлению обоих, выяснилось, что академика не известили о заседании, а Мордвинов и не заикнулся о том, что решается его судьба.

— Знаете, он мне все больше нравится, — сказал Лахтин, — терпеть не могу дошлых молодых людей! А что, Олег Владимирович, не поозорничать ли нам? Закатиться экспромтом, а?

— Поозорничаем! — весело согласился Русаковский. — Драматургический эффект гарантирован!

Эффектом он насладился, поддержку молодежи оказал — большего он и не хотел. Черт знает, выйдут у них или нет! Бесспорно одно — проект заслуживает серьезного испытания в природных условиях залегания угольного пласта.

Вероятно, его предложение могли бы принять без особых возражений, но Светов, которого передергивало от снисходительных интонаций профессора, тотчас неразумно накинулся на Русаковского, доказывая, что проблемы, которые тот считает недостаточно разработанными и ясными, на самом деле разработаны и вполне ясны авторам. Говорил он излишне запальчиво. Липатов дернул его за пиджак, но остановить не мог.

— Вот вам, пожалуйста! — поспешил отметить Алымов. —

Самоуверенность и полное отсутствие самокритики!

Профессор Граб холодно поинтересовался, почему проект, представленный от имени Донецкого института не подписан профессором Китаевым, не значит ли это, что научный руководитель присутствующих здесь молодых людей попросту не захотел поставить на нем свое имя.

— Он-то как раз хотел, мы не хотели! — выкрикнул Светов. — Принципиально!..

Это произвело плохое впечатление. Светов покраснел и виновато оглянулся на друзей. Липатов бросился исправлять его ошибку:

— Кому подписать, решала дирекция института при участии профессора Китаева; подписали те, кто действительно работал. А протокол опыта Китаевым заверен.

— Чему и я был свидетелем, — подтвердил Русаковский, улыбаясь смешному воспоминанию.

— Да не в подписях дело, — морщась, заговорил Граб. — Мысль в проекте довольно занятная, но я, как хотите, не могу принять весь этот проект всерьез. В самом деле, товарищи, это же не наука, а... а бог знает что! С ходу отвергаются, игнорируются все научные истины, известные сто лет. А вместо них нам предлагают... так, какие-то трубки и клапанчики, какое-то кислородное дутье прямо в пласт... И хотят, чтоб ученые санкционировали подобную галиматью!

Академик Лахтин вдруг залиvisto всхрипнул. Веки были опущены, но один глаз поблескивал из щелки — насмешливо и зорко.

Катенин видел этот живой наблюдающий глаз и старался понять — случайно старик всхрипнул или нарочно. От залиvisto звука все на мгновение примолкли, потом заспорили еще яростней. Авторы отбивались как могли. Катенин невольно восхищался ими и с горечью думал: я бы так не сумел...

— Дайте же им сказать! — кричал Стадник и тут же сам мешал им, высказывая свое.

— Вы же ничего в этом не понимаете! — кричал ему Алымов.

Немало воевал Алымов на глазах у Катенина. Но таким распаленным Катенин его еще не видел. Почему? И Стадника он никогда не видел таким взволнованным и раздраженным. Почему к спору примешалось столько раздражения?..

— Товарищи, спокойнее! Товарищи! — безуспешно зывал Олесов.

Он тоже чувствовал, что примешалось слишком много раздражения. И что речь идет не только о проекте. Оглядывая взбаламученное собрание разнородных людей, он будто наткнулся на строгий, предупреждающий

взгляд Стадника, и этот взгляд сказал ему: что же ты, коммунист-руководитель, не видишь, что ли? Не разбираешься?

Они видели. Они многое знали.

Политическое чутье и опыт подсказывали обоим, что кое-кого тут уязвляет напористое вмешательство трех провинциалов без роду без племени. Недаром Колокольников пустил кличку — «вихрастые гении». И разве только этих трех он имел в виду?.. Напор «вихрастых» грозил затопить институты, нарушал замкнутость старой научной корпорации. Для них не существовало незыблемых авторитетов. Еще недавно малограмотные, сыновья шахтеров, слесарей, батраков, они жадно хватали знания на рабфаках и в институтах, они уже проникали в аспирантуру, неся в научные учреждения какое-то бешеное беспокойство мысли, практическую сметку, неотесанную талантливость и веру в свой, новый путь. С ними было неуютно и тревожно. Им не хватало культуры, но они прямо-таки впивались в науку, а мозги у них были свежие, хватистые...

Могло ли это нравиться профессору Грабу? В прошлом акционер угольной компании, он до недавнего времени был тесно связан с буржуазными специалистами и учеными, лелеявшими в созданной ими «Промпартии» мечты о реставрации. После разгрома «Промпартии» Граб усиленно доказывал свою лояльность, любил выдвинуться, соглашался входить во все комиссии и комитеты, куда его приглашали, — старался стать незаменимым. Он и проект подземной газификации разработал для того, чтобы доказать заинтересованность, и как будто не связывал с ним особых надежд и корыстных расчетов, разве что хотел насолить Вадецкому... Профессор Граб был строг в вопросах этики и на обсуждении своего проекта подчеркивал, что сотворил некую разновидность катенинского метода, и тут же не без яда заметил, что он не любитель чужих мыслей, отчего Вадецкого прямо-таки повело... Вынужденный приспособляться к духу времени, Граб был неуступчив только в одном, наиглавнейшем вопросе — он открыто противился приему в аспирантуру вот этих самых «вихрастых».

— В вузах я их учу, не жалея времени. Но пусть идут в промышленность, в хозяйство! Работы разворачиваются огромные, специалистов не хватает, старым инженерам все труднее справляться в новых условиях — знаете, ударничество, стахановские рекорды, пятилетка в четыре года, партия, комсомол, профсоюзы... Но в науке! Нет, в науке интеллигенты первого поколения не привьются. Тут нужна наследственная культура.

И он беспощадно резал «вихрастых» на экзаменах и высмеивал на

защитах дипломов, доказывая, что данные претенденты для аспирантуры пока не подготовлены... Политику Граба понимали, но с ним приходилось считаться: в своей отрасли он был звездой первой величины.

Вадецкий был звездой поменьше, но он и действовал иначе. Многие партийные руководители искренне считали его «своим», почти коммунистом — такая у него была свойская повадка, так он демонстрировал свой энтузиазм. В научно-исследовательском институте, которым он руководил, долгое время держался директором человек невежественный, неумный, но — с партбилетом. Партийная организация дважды поднимала вопрос о снятии директора, и дважды Вадецкий прикрывал его своим авторитетом. Выгодно ему было иметь при себе такого директора? Конечно. Он вертел им как хотел... И «вихрастых» он принимал охотно, сам просматривал анкеты и требовал увеличения партийно-комсомольской прослойки. Он брал эту «прослойку» как щит, но среди людей с идеальными анкетами умело отбирал покладистых. Ему принадлежало изречение, что начальник хорош ватообразный, а подчиненный — глинообразный...

А вот эти три молодца не из глины. Ими не повертишь. Академику Лахтину они, видимо, нравятся — известно, что он с увлечением выискивает наиболее самобытных студентов и радуется, если находит задатки ученого у юноши из самых «низов». Лахтин любил вспоминать, что родился в семье дьячка и учился на медные гроши, великое революционное обновление страны полно для него глубокой и трогательной поэзии. На своем юбилее он сказал, что величайшим счастьем посчитает, если *успеет* — успеет передать свои знания рабочим и крестьянам. Тогда ему бурно захлопали, а он ни с того ни с сего рассердился и закричал, перекрикивая рукоплескания: «Да, да, рабочим и крестьянам, именно так!»

Сейчас он дремал в кресле, предоставив молодым авторам отбиваться от нападков. Олесов хотел было поддержать молодежь, но что он мог? Он был несведущ в научных проблемах, которыми тут козыряли и те, и другие. Бурмин и не собирался никого поддерживать — похоже, испытывал донецких парней на прочность. Стадник был слишком горяч, он не умел ждать, когда dosporyтся до истины без него. Его выступление в защиту проекта было пылким и сумбурным. Вадецкий с самым уважительным видом перебивал его, задавая ехидные специальные вопросы, которых Стадник не понимал. А профессор Граб снисходительно улыбнулся и проронил сквозь зубы:

— Я охотно помечтаю о ликвидации подземного труда, но ведь существуют еще и непреложные научные законы.

Подчеркнуто отвернувшись от Стадника, он обратился прямо к авторам:

— Вы молодые ученые, вам я могу напомнить: *Cum principia negante non est disputandum.*

Молодые покраснели. Над ними неприкрыто издевались, а они не могли ответить.

Академик Лахтин вдруг закричал, заворочался в кресле и открыл младенческие ясные глазки.

— Вот ведь беда! Склероз, что ли? Совсем запамятовал латынь. А ведь учил, учил когда-то... Сделайте снисхождение, переведите — чевой-то вы произнесли такое ученое?

Теперь покраснел Граб, а Русаковский с чарующей улыбкой повторил его латинскую поговорку и тут же перевел: с тем, кто отрицает основы, нечего и спорить.

— Вот оно что! — воскликнул Липатов. — Теперь понятно. Да только знаете, профессор, есть поговорки французские, а есть и русские. Например: всяк про правду трубит, да не всяк правду любит. Или: правда милости не ищет. А еще и такая есть: в гору-то семеро тащат, а с горы и один столкнет. Не знаю, которая вам приглянется, а по мне — все три к месту.

— Ох-хо-хо! — захохотал Бурмин. — Вот это подкусил.

Академик развеселился:

— Как? Как? В гору семеро, а с горы и один столкнет? Хороша пословица! Да только ведь не дадим... столкнуть-то!

Он поднялся, долго прилаживал перед собою палку, чтобы опереться повернее, и вдруг заговорил быстро, гневно, посверкивая полуприкрытыми глазками:

— Истины, известные сто лет! И это говорит, простите меня, ученый человек! Да когда столетняя давность считалась в науке непреложным доказательством? Куда же вы тогда движение мысли запихнете? За границу отдадите, чтоб потом перенять оттуда? Купить на валюту, если захотят продать?!

Рассердившись, он уронил палку и еще поддал ее ногой, чтобы не мешала.

— Сколько лет я работаю в науке, столько лет и наблюдаю: все новое рождается из отрицания давних, обветшалых истин. И если истина держится сто лет без изменений, стоит хорошенько подумать: не пора ли ее, голубушку, пересмотреть?

В тишине раздался безмятежный голос профессора Граба:

— Конечно, Федор Гордеич! Да только уверены ли вы, что данный проект открывает новейшую истину?

— Подайте-ка мне мою дубину, — попросил академик, подхватил палку, поблагодарил, заново пристроился так, чтоб опора была надежной. — Нет, не уверен, — задумчиво сказал он, — но тем более осторожно мы должны обращаться с тем, что не лезет в известные нам схемы. Вот тут кто-то... Простите, не запомнил, кто именно... — насмешливый взгляд скользнул по лицам, обойдя Вадецкого. — Один оратор упомянул всуе диалектический материализм. А диалектического мышления мы в его доводах и не обнаружили! Да, только практика проверяет истину, и только в практике закрепляется движение науки. Пока что сии молодые люди дали нам странную, но любопытную мысль, испытанную в небольших, но важных опытах. Начальная проверка удалась — это весьма обнадеживающий сигнал. Мысль еще не разработана, в их логическом построении то тут, то там белые пятна нерешенного. Но значит ли это, что нужно отмахнуться и обрушить на их молодые головы град насмешек на русском и латинском языках? Вся проблема подземной газификации пока что — белое пятно. А мы не отрециваемся диалектикой, мы думаем, ищем, пробуем. Кто знает, может быть, понадобятся целые жизни труда и поисков, чтобы решить проблему до конца.

Лахтин нащупал кресло за собою, тяжело опустился в него, коротко заключил:

— Доработать проект. Припять к испытанию. Всячески помочь.

— Правильно! — почти восторженно присоединился Вадецкий. — Помочь! Всячески помочь доработать!

— Я думаю, предложение Федора Гордеевича всех устраивает, — заторопился Колокольников. — Мы создадим авторам все условия для доработки! В Москве много возможностей для консультаций и лабораторных экспериментов. Прекрасное предложение!

Даже авторы, упоенные поддержкой академика, не сразу заметили, что Вадецкий и Колокольников ловко перенесли ударение на доработку проекта, оттеснив предложение об испытании. Но Рачко был настороже, он попросил уточнить решение «в части принятия к испытанию в природных условиях».

— Да ведь ясно, — отмахнулся профессор Граб и встал, с досадой глядя на часы. — Опоздал, катастрофически опоздал!

Вслед за ним начали подниматься и другие.

Рачко вскинул руки:

— Товарищи! Товарищи! Уточнить необходимо, без этого не дадут угольного пласта, не откроют финансирования!

Его мольба утонула в шуме отодвигаемых стульев и завязавшихся вольных разговоров. Академик, не расслышав и не поняв, чего добивается Рачко, требовал от него, чтобы вызвали к подъезду машину, которую «по каким-то идиотским правилам загнали в соседний переулок...».

Среди всего этого шума раздался властный трезвон. Саша Мордвинов протиснулся к председательскому месту и вскинул колокольчик над головой, тряся его что есть мочи. Все удивленно смолкли. И в этой тишине Мордвинов негромко сказал:

— Товарищи члены комиссии, необходима ясность. Некоторые частные проблемы мы сумеем доработать предварительно, но вы должны понимать, что лучшие и простейшие способы вырабатываются в процессе опытов. Половинчатое решение нас не устраивает. Нужна опытная станция.

— Смотрите-ка, нам уже диктуют условия! — шутливо охнул Вадецкий.

— Чего он трезвонил? — с улыбкой спрашивал академик, повязывая шею шарфом.

Катенин смущенно покачивал головой — и правы молодые люди, и уж больно дерзки... По-видимому, их требования все же не примут? Надо поспешить с пуском нашей станции! Если наш опыт даст результат, само собою отпадет вопрос о новой...

Как ни странно, противник проекта Арон решительно поддержал молодежь:

— Товарищи, давайте же сделаем логический вывод! Поскольку часть весьма авторитетных экспертов считает мысль интересной, нужен опыт в естественных условиях. Я убежден, что принцип у них ложный, но пусть испытают и убедятся сами.

— За счет государства?! — злобно выкрикнул Алымов и встал во весь свой рост рядом с Олесовым — длинный, лицо в красных пятнах. — Почему некоторые товарищи забывают, что партия доверила нам государственное дело и государственные деньги? Почему забывают, что вот-вот вступит в строй опытная станция по методу Катенина, одобренному и принятому нами же? Зачем такое распыление и замораживание государственных средств? Что за политика? Кому она служит?

Олесов втянул голову в плечи — он боялся этого неукротимого человека, он знал, что Алымов уже говорил в наркомате, что якобы он, Олесов, не справляется с Углегазом.

Бурмин положил свои громадные ручищи на плечи Алымова и надавил

ими так, что Алымов сел.

— Зачем столько шуму? — сказал он посмеиваясь. — Деньги на две-три опытные станции запланированы. Пусть ребята малость подработают, а там и станцию создадим. В постановлении это нужно отразить, как же иначе?

Все еще распаленный, Алымов подскочил к Катенину:

— Завтра выезжаем! Будем форсировать работы!

Катенин послушно кивнул, но поскорее отошел. Ему было стыдно за Алымова и страшно, что этот человек так страстно воюет за него, ради него...

— А вы когда нас порадуете? — спросил академик Лахтин, только теперь узнав Катенина.

Катенин ответил. Вокруг них сгрудились члены комиссии — всем интересно, что скажет Лахтин.

Катенин с радостью почувствовал себя в центре общего внимания. Сколько раз в течение этого бурного заседания он думал, что новый проект наносит удар по его методу, по его надеждам! Так ли это? Видимо, никто этого не считает. Ему сердечно желают полного успеха. А трех молодых авторов уже не замечают, хотя они как будто и добились своего. Какая разница между моей и их победой! Победили, а стоят одни, три взъерошенных петушка, посеревших от усталости.

Все как бы приблизилось: слышно стало, как жужжит в степи, всасывая воздух, шахтный вентилятор; через равные промежутки времени доносился глухой грохот: уголь ссыпали в бункера; иногда слышалось дробное громыхание — по расшатанному настилу моста через овраг проносился грузовик. Версты две до того оврага — а слышно.

И почти каждый день дождь, дождь, дождь. Шумно — по крыше железной; мягче — по очерету, а по дорожкам — шлеп, шлеп, шлеп, там лужи от края до края. И еще журчат потоки: один, звонкий, сбегает по трубе в бочку, другой, пришепетывая струится посередине улицы.

Нет, ничто не приблизилось, только в доме пусто, и руки делают бесшумное однообразное дело — накидывают петлю, протягивают нить, опять накидывают, опять протягивают... Голубой гарус ползет по пальцу, клубок, ворочается в кармане, смотреть почти не нужно, можно думать, и слушать, и воображать, как этот голубой чепчик уютно обтянет очень

маленькую головенку с Вовиными светлыми глазами. Можно бы и поплакать, но слез больше нет. Горе теперь не жжет и не давит, оно застыло в самой глубине холодным комком. Комок всегда тут, а мысли — о живущих.

Старик... Даже мысленно Кузьминишна называет его Кузьмой Ивановичем, но когда сердится, про себя ворчит: рехнулся старик. В его годы — с утра до ночи в шахте! Конечно, с отъездом Липатова ему трудней: заместитель неопытный. А славу участка разве он отдаст! И хочется ему, чтобы закрепились в шахте мальчишки-комсомольцы, что приехали из разных мест по комсомольскому призыву. Вот он и пропадает вечерами в бараках, где живут комсомольцы, что-то там рассказывает, объясняет, чем-то «забирает в руки» ребят. А ребята всякие — и хорошие, и похуже, ершистые и робкие, одни тоскуют по дому, другие загуляли на свободе — и для всех у него хватает терпения. Еще затеял Кузьма Иванович перемены на откатке — об этом он может говорить подолгу и с Никитой, который слушает без интереса, и с Катериной, которая принимает его затеи к сердцу.

Целый день дома никого нет, кроме Никиты. Кузька — в школе, а после школы прибежит, поест — только его и видели! Говорит, уроки готовит вместе с приятелем, с Васькой. Занимаются они, или пролезают в кино без билета, или катаются в город и обратно на трамвайной колбасе — как проверишь? Отметки у него — так себе, учительница говорит — способный, но невнимательный. Кузьминишна бранит Кузьку за тройки, но помогает скрывать их от отца, потому что Кузьма Иванович терпеть этого не может:

— Если не выучил — получай двойку и выправляй. А тройка — ни то ни се. Не совсем дурак и не то чтоб умный, в общем — Гаврюшкин!

Гаврюшкиным он называл еще Никиту, когда тот кое-как переваливал из класса в класс. Был такой снабженец на шахте — Гаврюшкин, на партийной чистке ему крепко досталось за всякие грехи. «Мы думали, он каяться будет, — рассказывал Кузьма Иванович, — а наш Гаврюшкин еще спорить начал, а потом с этаким пафосом кончает: „За лучших не скажу, но клянусь вам, товарищи, — от средних Гаврюшкин никогда не отстанет!“»

Кузьминишна и сама привыкла говорить при случае: Гаврюшкиным хочешь быть? Но верила — не хотят, не будут. И Никита другой, а уж Кузьма — подавно. Каждый день новые затеи в голове — то в экспедицию, то в Испанию бежать хотел... Вот у Вовы не было затей, один раз надумал — и напролом...

Гарус запутывался, крючок не попадал в петлю. Все сливалось перед глазами, тугой комок подступал к горлу. Заглатывала его, опять

подхватывала петлю, пропускала пить, подхватывала... Не думать! Не думать! Не думать!

И снова слушала тишину — ходики тикают на кухне, шуршит переворачиваемая страница — это наверху Никитка занимается. Откуда она взялась у него — серьезность? Все радуются, одна Кузьминишна чувствует: серьезен потому, что тоскует. Стоит почтальону подойти к калитке — грохочет по лестнице вниз. А почтальон останавливается редко, хорошо, если раз в неделю принесет зеленый конверт с каракулями той девушки. Случается, приходит письмо — да не от нее, а из Москвы, от Любушки. Тогда Никита идет по дорожке медленно, отдает письмо и ждет, пока прочитаешь, по интересуется только одним — скоро ли приедет Светов устраивать подземную газификацию...

Радость была в доме, когда Люба написала, что проект приняли. Но потом письма пошли смутные: что-то у них не ладится, Саша в институт почти не ходит, сидят день и ночь. У Липатова отпуск кончился, он выпросил отсрочку, а Пальке из института не отвечают, денег не шлют...

Кузьма Иванович сердился — несерьезно что-то! Саша — как бы на двух стульях. И Никита сидит сиднем, ожидая этой газификации!

Все чаще происходили стычки между отцом и сыном. На сына у Кузьмы Ивановича терпения не хватало. А Никита упрямо ждал Светова: начнутся, мол, буровые работы, поступлю по специальности. Кузьминишна рада бы согласиться — что плохого, если два-три месяца не поработает, неужто они сына не прокормят?

— Да что он за человек, если в двадцать два года — иждивенец? — говорил отец.

— Было бы верное дело, отчего не подождать, — рассуждала Катерина. — Так ведь может еще год пройти!

Изменилась Катерина с тех пор, как те трое уехали. Еще самостоятельней стала. Теперь она приходит в дом как своя, женского разговора избегает, зато отлично ладит с Кузьмой Ивановичем: при нем и голос, и повадка у Катерины какие-то не домашние — так говорят между собою мужчины, занятые общим делом. Кузьма Иванович не нахвалится ею — молодчина, хоть в начальники сажай вместо нашего щелкопера!

И что совсем уж странно — именно теперь вступила в партию. На собрании, когда принимали, много хорошего про нее говорили, один старый коммунист сказал: «Бывает, принимаем человека — и отказывать не за что, и радости мало, а тут рука сама вверх тянется. Не с одной учетной единицей, а с доброй прибылью, товарищи!» Вот ведь как...

Кузьминишна вместе с мужем радовалась и гордилась, что так

уважили Катерину, она все отдала бы, чтоб той полегчало в жизни, она насмерть перессорилась бы с любым, кто хоть словечко дурное посмел бы сказать о Катерине. Да, и семье, и партии — добрая прибыль!. Но в глубине души таилось смущение, даже растерянность — через полгода родить должна, до того ли теперь? О том ли ей думать?! Незаметно оглядывая статную, все еще гибкую фигуру Катерины, Кузьминишна пугалась — а может, и ребеночка никакого не будет? Может, она чего-нибудь сделала над собой, чтоб не было?..

Будь у Катерины другая мать, можно бы у нее выпросить: но с Марьей Федотовной и раньше дружбы не было, и сейчас не получилось. Обеим было неловко — не сватья и не чужие, не поймешь кто. Обе заранее ревновали друг к дружке будущего внука и по-разному относились к предстоящему событию — Марья Федотовна причитала над горькой судьбой дочери, а Кузьминишне сквозь горе мерещилась радость.

Сердясь и посмеиваясь, Кузьминишна говорила мужу, что Марья Федотовна — золотая душа, но, прости господи, настоящая индюшка: недаром у нее дети с пеленок такие нравные.

— Так они не в мать, а в батьку, — отвечал Кузьма Иванович. — А Кирька Светов был богохульник и сорвиголова.

— Оно и лучше, с ним хоть весело было!

— Уж ты скажешь...

Про себя Кузьма Иванович думал, что с такой женой, как у Кирьки Светова, не мудрено было загулять на стороне. Как никогда, ценил он теперь свою Ксюшу. Не согнулась. Живет. Вперед смотрит.

Не умел и не любил Кузьма Иванович жить кое-как, день за днем, без жизненного плана. Был у него план в шахте, был и дома. По домашнему плану получалось, что, пока Люба не доучилась, полсотни в месяц высылать нужно. По этому же плану главная забота теперь — поднять Кузьку, а уж внучонку обеспечить все решительно, не хуже, а лучше, чем сделал бы Вова.хлопот и расходов не оберешься, а работник в семье — один. Как же не возмущаться, что здоровущий — в плечах косая сажень! — Никита сидит в светелке, как барышня, и боится ручки запачкать углем! Как объяснить комсомольцам, приехавшим бог весть откуда поднимать угледобычу, что с них он требует, а сынку родному попустительствует?

Гроза надвигалась постепенно, а разразилась в субботний вечер, после бани, в самую благодущную минуту.

Началось с того, что прибежала Катерина, да не одна, с тремя студентами.

В институте заварилась каша. Палька прислал письмо, чтоб продлили

командировку и выслали денег, потом второе письмо, что помрет с голоду, но дела не бросит. У Сонины туго с ассигнованиями, но он склонялся помочь, зато Китаев начал «копать» и даже запретил оставшимся членам группы продолжать опыты. Степа Сверчков с товарищами — двумя Ленями — пошел к Алферову. Алферов уклонился от каких бы то ни было решений, но сказал, что Светов — анархист, у него будут партийные неприятности. Степа расшумелся, вышел скандал. Студенты не знали, кто послал запрос в Москву, но сегодня пришла ответная телеграмма за подписью главинжа Колокольниковова, что Светов остался в Москве самовольно, поскольку в штате Углегаза не состоит.

— Я только что была в парткоме, — сказала Катерина. — Алферов заявил, что поставлен вопрос об отчислении Пальки из аспирантуры за нарушение трудовой дисциплины. Мы пришли посоветоваться, Кузьма Иванович. Что делать?

— Это все Китаев, — с ненавистью сказал Ленечка Длинный. — Шипит, что ему не нужен фиктивный аспирант.

— Опыты мы продолжаем по вечерам, — добавил Леся Коротких, — и будем продолжать!

— Сейчас главное — чтоб Светова не закопали, — сказал Степа Сверчков. — Может, в инстанциях повыше поскандалить?

Никита явно расстроился, а Кузьма Иванович остался спокойным. Отчисление — глупость, зря горячку порют. Приедет Павел — уладит. Сам не выпутается — на то есть горком партии. Где это видано, чтоб за доброе дело преследовали?

— Да, но телеграмма Колокольниковова... — пробормотал Леня Гармаш.

Видно было, что Длинного Ленечку телеграмма не только расстроила, но и порядком напугала.

— А у тебя кишка тонка! — неодобрительно заметил Кузьма Иванович. — В жизни, парень, и не то случается, люди есть всякие, вот и пишут. А правда свое возьмет. Так что опыты продолжайте. Утрясется.

Так рассудил Кузьма Иванович. Но, когда молодежь ушла, насупился и резко сказал Никите:

— Так вот, сын. У них — дело долгое. И нечего чужими делами лень прикрывать. В понедельник придешь в шахту, оформишься.

Никита насупился так же, как отец. Некоторое время они нацеливались лбами друг на друга, вот-вот сцепятся. Кузьминишна заторопилась с ужином, но Кузьма Иванович понял ее уловку.

— Погоди, мать. Пускай сначала ответит.

Никита еще ниже пригнул голову, так что чуб совсем прикрыл глаза, и

упрямо сказал, что в шахту не пойдет. Не мог он объяснить отцу, что Павел посулил ему и Лельке не только работу, но и жилье при будущей станции; что после сообщения о принятии проекта Никита на радостях написал Лельке, чтобы готовилась к переезду, а теперь обмирал от страха, что все сорвется... Но разве такое расскажешь отцу! А Кузьма Иванович решил, что сын брезгует шахтерским трудом, и жестоко оскорбился. Слово за слово — раскричались оба. Как бы ни грешил Никита, он всегда боялся отца, а тут в запале накричал дерзостей да еще заявил, что, если отцу куска хлеба жалко, он поступит в грузчики на товарную, там и заработок больше.

— Во-во! — закричал Кузьма Иванович. — С Мотькой в компанию! Соскучился!

Мотька был дружок Никиты, гуляка и пьяница, — отовсюду выгнанный, он пристроился в артель грузчиков.

— Иваныч! — с мольбой прошептала Кузьминишна. — Может, правда, еще немного подождать...

— Улестил мать? — заорал Кузьма Иванович на сына, чтоб не кричать на жену. — Расплакался? Второй месяц жду — довольно! Для иждивенца великоват, имя мое позорить не дам!

В самый разгар спора, когда раздражение дошло до крайнего накала, на пороге появилась девчонка с телеграммой.

Кузьминишна приняла свернутый листок дрожащими руками — телеграммы казались ей вестниками беды. Разорвав наклейку, она долго не могла понять, что там отстукано на узких бумажных ленточках.

— Едет кто-то... Не разберу...

Кузьма Иванович взял телеграмму, прищурился и подальше отвел руку, чтоб прочитать мелкий текст, — и вдруг, фыркнув, кинул телеграмму Никите.

— На, встречай невесту! И то сказать, почему не жениться? Человек самостоятельный, самая пора семью заводить!

Еще только рассветало. Дымная мгла клубилась над рельсами, блестящими после дождя. Платформа была пуста. Шум поезда возник издалека и приближался медленно, как бы нехотя. Никита без всякой радости вглядывался в далекие огни, пробивающие мглу. Он так и не решил за ночь, куда вести Лельку, знал только, что домой — нельзя.

Его обдало бодрящим жаром паровоза. Окна вагонов мелькали одно за другим — сонные окна, ни одного лица за тусклыми стеклами. Скрежетнули тормоза, поезд остановился — и прямо перед собою, будто она знала, где именно он будет ждать ее, Никита увидел Лельку на нижней

ступеньке вагона — зардевшееся лицо под развевающимися на ветру волосами. Радость ударила в сердце, как в бубен, и сердце отозвалось торжественным полным звуком.

Он принял ее в протянутые руки, прижал к себе и почувствовал порыв ее тела, свежесть обветренных щек, нежное тепло ее губ. Растрепанная, с пятнышками паровозной копоти на лице — какой она оказалась близкой, чудесной! И безрассудство неожиданного приезда было такое ее, Лелькино, безрассудство...

Взять бы ее за руку, повести домой, пока ни одно сомнение не замутило ее торжественного счастья, показать ее, вот такую, неприбранную, дорожную, отцу и матери, сказать бы с гордостью — вот она, жена моя, что хотите делайте, не расстанусь! А Никита стоял, прижимая ее к себе, целуя щекочущие ресничками веки и похолодевшие виски, и не знал, на что решиться.

Поезд ушел, и перед ними раскрылась широта подъездных путей, а возле платформы, совсем близко, — чумазый смазчик, глядевший изумленно и весело.

— Здравствуйте! — сказала ему Лелька и засмеялась так блаженно, что смазчик тоже засмеялся и покачал головой.

Они вошли в вокзал и, не сговариваясь, сели на глянцеви́тую скамью.

— Подождем немного, — сказала Лелька. — Подождем.

Она не спала ночь, она предчувствовала все, что ее может ждать, и не хотела думать ни о чем, и устала именно от напряженности всех чувств.

Наискосок от них заспанная буфетчица расставляла на прилавке тарелки с винегретами и колбасами.

— А я голодная, — сказала Лелька.

Уже за столиком, когда буфетчица подала им винегрет, бутерброды и чай, Никита сообразил, что денег у него не хватит: отец совсем не давал ему денег. Чувство унижения согнуло его веселую голову. А Лелька с аппетитом ела, поблескивая крепкими зубами; он увидел милую щербинку между передними зубами и улыбку, которая продолжала гулять по ее лицу, даже когда она ела, когда она отхлебывала чай, прижав пальцем ложечку.

— Жених-то беден, — сказал Никита. — Не того жениха выбрала.

— Зато я полный расчет получила, я богатая, — отмахнулась Лелька.

Еще не поздно было, расплатившись с помощью Лельки, повести ее к себе домой — такую, как есть, растрепанную, в пятнышках копоти. Убежденность счастья так победно озаряла ее курносое загорелое лицо.

Но Лелька уже заметила растерянность своего суженого. Ее глаза расширились и потемнели.

— Так куда ж ты меня девать собираешься, жених?

Никита молчал, свесив голову.

— Звал, звал, а сунуть и некуда? — с недобрим смехом спросила Лелька, но тотчас шутливо дернула его за чуб и с торжеством достала из кармана клочок бумаги. — Вот, Анна Федоровна адресок дала, там и примут и устроят.

— Я думал, поедем к нам, — неуверенно сказал Никита.

— К ва-ам? — протянула Лелька. — А ну давай выкладывай, что там у вас.

В эту минуту она еще верила, что преодолет все.

— Да знаешь, как старики рассуждают.

— Где мне знать? Я все с молодыми!

Она поддразнивала, стараясь расшевелить его и чувствуя, что от унылого выражения его лица по капелькам утекает ее счастливое настроение.

— Что ж, пойдем по адресочку. Проводить-то не боишься?

— Глупости говоришь! — огрызнулся Никита.

Он пережил острое унижение, когда Лелька расплачивалась за обоих. И еще раз, когда она оставила его на улице и вошла «по адресочку» одна, заносчиво вскинув голову, а он топтался на улице, как чужой.

Лелька скоро выбежала, поманила Никиту в сени, обняла и поцеловала. В полумраке сеней ее глаза победно сверкали.

— Я сейчас в баньку пойду да в магазины сбегаю, куплю кое-чего, а ты заходи за мной в двенадцать. И пойдем. Все хорошо будет, Никитка, не трусь!

Он ушел приободренный. Он не видел, как меркли ее глаза, провожая его.

— Что ж девицу свою не привел? — спросил отец за завтраком. — Я и побрился для такого случая, и галстук повязал.

Да, он был побрит и в галстук, но смотрел недобро, с ехидством.

— Я ее пригласил к нам сегодня днем, — независимо сказал Никита.

— Пригласил? Ну-ну.

И отец уткнулся в газету.

В двенадцать часов Никита зашел за Лелькой — и не узнал ее. Растревоженная несбывшимися мечтами и нарастающим страхом, Лелька употребила часы ожидания на то, чтобы походить на настоящую невесту. Она купила в универмаге зеленую фетровую шляпку — первую в своей жизни. Шляпка закрывала ее чистый лоб и стискивала ее вольно разлетающиеся волосы. В парикмахерской ей подбрили и подкрасили

выгоревшие бровки. Она купила себе узкую короткую юбку на пуговицах и дамскую сумочку с блестящим затвором... Такой она и вышла — сама не своя, заносчивая и несчастная.

— Ну как они? — спросила она в трамвае.

Подбодрить бы ее Никите, сказать бы, что все обойдется. Но он не сумел. С игривой, искусственной развязностью ввел ее в родной дом и познакомил с родителями. Отец держался угрюмо, мать суетилась и ничем не помогла ни сыну, ни Лельке, по потихоньку разглядывала гостью, и этот взгляд исподтишка оскорблял Лельку. Она скинула пальто, но осталась в шляпке и тискала на коленях сумочку.

— Я ведь ненадолго, — сказала она, сложив губы бантиком.

— Вот как, — сказал Кузьма Иванович. — Слышал я, вы в экспедиции работали. Так вы теперь в отпуске или расчет взяли? И как жить думаете — у нас в городе или в другую экспедицию устраиваться?

Лельке хотелось крикнуть, что устраиваться ей не нужно, так как она приехала к мужу, а в любую экспедицию ее возьмут охотно, только скажи, она нигде не пропадет. Так было бы лучше всего, из-под нелепой шляпки проглянула бы настоящая Лелька. Но Лелька смирила гордыню. Скромно, губы бантиком, ответила, что хочет пожить в городе, «в культурном центре», потому что в палатках да в переездах девушке трудно. При этом она с ненавистью взглянула на притихшего Никиту.

Отец пошевелил бровями и спросил, как здоровье Матвея Денисовича и Анны Федоровны. Лелька церемонно ответила — ничего, здоровы и кланяются. Наступило молчание.

— Сняли бы шляпу, что сидеть, как в гостях, — страдая за сына, сказала Кузьминишна. — Пообедаете с нами.

Лелька вся потянулась к ней, в лице промелькнула настоящая, отзывчивая на добро Лелька, — но тут сердито кашлянул Кузьма Иванович, и настоящая Лелька исчезла под шляпкой.

— Благодарю вас, зачем же мне вас затруднять, — сказали губы бантиком.

— У вас тут, наверно, знакомые или родственники? — спросил Кузьма Иванович, тем самым зачеркивая приглашение к обеду.

Лелька вспыхнула. Значит, Никита и не заикнулся, что к нему она приехала? Шляпка давила ей голову, как жаркий обруч. Край шляпки нелепо налезал на глаза. Она судорожно вздохнула и увидела, что ее парадная юбочка задралась и приоткрыла коленки, и Кузьма Иванович неодобрительно поглядывает на эти коленки. Юбка была узкая, нужно было приподняться, чтобы натянуть ее пониже, но Лелька не могла

приподняться, сидела как скованная.

— Есть одни знакомые, — с трудом выговорила она. — Хорошие люди. Хозяйка беретса кормить меня. А работу по специальности я найду.

Бросаясь на выручку, Кузьминишна спросила о специальности коллектора — хороша ли она.

— Дело нехитрое, — заметил Кузьма Иванович. — Наверно, в один месяц обучиться можно?

Он опять принизил ее — только успела Лелька приободриться, рассказывая о своей работе.

Никиту наконец-то прорвало.

— Леля была лучшим коллектором экспедиции, — резко сказал он. — Ее в каждый отряд звали, спорили из-за нее.

Кузьма Иванович словно припечатал его насмешливым взглядом — и Никита опять надолго замолчал.

— Тогда зря ушли, — сказал Кузьма Иванович. — Но должен отрываться человек от своей профессии. А культурные центры... что ж, у нас много молодежи и в культурном центре живет, а кроме хи-хи да ха-ха, гулянок да выпивок, ничего не знают.

— Учиться хочется, — пролепетала Лелька.

— Это правильно, — сухо одобрил Кузьма Иванович. — Конечно, раньше не приходилось рабочему учиться, а сейчас только шалопуты неучами остаются. Хорошее дело задумали.

Как будто ничего худого не сказал, одобрил даже, а за его словами проступал другой смысл, и Лелька поняла — не люди они еще, рано им свою жизнь решать, пусть поучатся — шалопуты.

— Ну простите, что побеспокоила, — произнесла Лелька и поднялась. — Мне пора домой.

Кузьма Иванович тоже поднялся и, не задерживая ее, протянул руку. Никита побагровел. Кузьминишна растерянно бормотала, стоя между мужем и девушкой;

— Что же вы так скоро? И не познакомились толком...

Даже сквозь загар видно было, как побледнела Лелька. В неистовом порыве сорвала с головы давящий обруч шляпки, ринулась в прихожую, накинула на плечи пальто, не желая тратить время на то, чтобы всунуть руки в рукава.

— Да что же вы?.. Куда вы?.. — бормотала Кузьминишна.

— На улице росла, на базарах песенки пела, а милости и тогда не просила, и теперь не прошу.

Так сказала Лелька — отчетливо, с открытой ненавистью.

Прежде чем старики успели опомниться, она выскочила из дому и побежала к калитке. Никита бросился за нею.

Застыв в дверях, старики видели, как Никита догнал ее у калитки и пытался удержать, а Лелька размахнулась и зажатой в руке шляпкой — раз! два! три! четыре! — отхлестала его по щекам. И ушла.

Никита постоял-постоял — и поплелся за нею, как был, без пальто, без кепки.

Поздно ночью Кузьминишна услышала в саду возню и пьяные голоса. Накинув халат, выскочила на крыльцо.

— Никитка, ты?

— Принимайте своего Никитку! — крикнул из темноты хмельной девичий голос. — Бережете для себя, так вот он, тут, в лужу свалился. Берите!

Затем тот же голос с тоской попросил:

— Пошли, Мотька, пошли, ребята, ну его!..

А немного спустя, когда Кузьминишна пыталась поднять бессмысленно мычащего сына, где-то уже поодаль от дома звонкий отчаянный голос что есть силы запел частушку, подхваченную мужскими заплетающимися голосами:

Мне жених по форме нужен,
Зря меня не обнимай!
Нынче девушка без мужа
Что без номера трамвай!

Игорь отправил в Углич путаную, призывающую телеграмму — и только тогда сообразил, что не стоило добавлять матери волнений, и без того ей тяжело — тетя Надя при смерти. Однако что же делать, когда сам Игорь бессилен повлиять на отца! Вот уже неделю отец в Москве, в Управлении у него неприятности, а он уткнулся в карты и справочники, созванивается с какими-то географами, разыскивает геологов и водников, работавших в Сибири и Средней Азии, и сидит с ними допоздна. Подходя к двери кабинета, Игорь слышит возбужденный голос отца:

— ...Можно предвидеть, что в двухтысячном году у нас будет не меньше четырехсот пятидесяти — пятисот миллионов населения! И всех

надо накормить, одеть, обуть. Значит, проблема освоения пустынь неизбежно встанет в ближайшие десятилетия!..

— ...А вы знаете, что Петр Первый посылал офицера изучить, нельзя ли повернуть Амударью в Каспий по ее древнему руслу — Узбою? Он искал торговых путей, но весьма знаменательно, что уже тогда...

— ...Арало-Каспийская низменность должна быть преобразована в корне!.. В корне!..

Игорю хотелось распахнуть дверь и закричать: фантазер! Опомнись! Тебя же вот-вот с работы выгонят!

Похоже, на коллегии отцу устроили «раздрай». Он как-то ребячливо обижался на всех, кто его критиковал, и все свои беды валил на топографа Сорокина — того самого, что делал фальшивые записи в журнале работ; отец тогда правильно выгнал его из экспедиции, но ведь нужно было составить акт и послать в отдел кадров неопровержимые документы! Приехав в Москву, Сорокин быстро учуял, что это не сделано, и начал «капать». Да, наговоры Сорокина усложнили положение отца, но будь у него все в порядке — отбился бы! А в день доклада выяснилось, что он опоздал подать заявку на горячее.

Создана комиссия для разбора предъявленных отцу обвинений. Казалось бы, дерись, доказывай! А отец по-прежнему блажит со своими реками и еще, в довершение всего, тратит время на Галинку Русаковскую, которая повадилась в дом. С этой скуластой дурехой отец тоже говорит о повороте рек. Сидят, рассуждают, рисуют карты... Что он, в детство впадает?!

Игорь пробовал закрыть глаза и уши, уйти в работу над дипломом, но сосредоточиться не удавалось: он злился на отца и волновался за него.

— Папа, что же будет с заявкой?

— Подумаешь, проблема! Протолкну, без горячего не оставят.

— Почему же ты не идешь проталкивать? Знаешь, папа, ты пассивен там, где нужна энергия, и слишком активен в том, что никакого отношения к делу не имеет.

Резкостью Игорь хотел вернуть отца «на землю». Но Матвей Денисович добродушно потрепал его по плечу:

— А ты уже все превзошел и без ошибки понимаешь, где — дело, а где — не дело?

Через полчаса, дозвонившись до кого-то, он заглянул к Игорю и весело спросил, есть ли в доме какой-нибудь харч и выпивка, так как придут два географа, один из них — замечательный умница и большой выпивоха.

— По-моему, все съели и выпили вчерашние водники.

— Может, сбегаешь купить?

— Сбегаю, если ты с утра пойдешь по поводу заявки.

Отец поднял руку и со смехом сказал: клянусь! Можно было подумать, что это не у него неприятности.

Утром, когда отец отправился-таки проталкивать заявку, пришла телеграмма из Углича: «Среду похороны вечером выеду».

Игорь испытал минутный ужас — тетя Надя умерла. Перед глазами возникла оживленная, деятельная тетя Надя, какую она была в свой последний приезд, — педантично аккуратная высокая женщина в очках, отнюдь не старая, хотя ей перевалило за пятьдесят. Бегала, как девчонка, по Москве и проявляла юношеский интерес ко всему решительно — к художественным выставкам, к освоению Арктики, к стахановским методам каменщиков, к новым спектаклям, к парашютизму... Тети Нади больше нет?! Жила себе, лечила других, ничем как будто не болела, и вдруг...

Затем он подумал об отце — как сказать ему? Игорь смутно догадывался, что у отца к тете Наде какое-то особое отношение, что-то у них в молодости произошло и что-то между сестрами осталось, у мамы всегда делалось виноватое лицо, когда заходила речь о Наде. Отец расстроится. А может, хоть это вернет его «на землю»?..

Игорь положил телеграмму на отцовский стол и начал генеральную уборку квартиры, опасаясь материнского нагоняя и радуясь, что послезавтра мама будет дома.

А отца все нет...

Уже кончились часы занятий, а отец как в воду канул.

В восьмом часу он наконец появился. Игорь слышал, как он напевал, снимая пальто. Игорь нарочно не вышел, но отец сам заглянул к нему — то ли выпивший, то ли необыкновенно довольный.

— Ну что, папа, протолкнул?

Отец как будто не сразу понял, о чем спрашивает Игорь. Потом беспечно ответил:

— Разумеется!

И обнял сына за плечи.

— Как диплом, Игорек? Кончаешь?

Нужно было сказать о смерти тети Нади, но Игорь медлил огорчать отца в этом непонятно счастливом состоянии.

— Ты что так поздно, папа?

— Я обедал с Юрасовым.

— С Юрасовым?

Один из столпов гидротехники, Юрасов казался Игорю почти

легендарной личностью. Еще бы! Строил Волховстрой и Днепрострой, так или иначе участвовал во всех крупнейших начинаниях в области электрификации страны. К тому же — руководитель проекта новой гидростанции на реке Светлой, куда Игорь мечтал попасть после защиты диплома. Если бы отец замолвил словечко...

Игорь еще не решился заговорить об этом, когда отец улыбнулся своим счастливым мыслям и ласково сказал:

— Кончай скорей, Игорек! Я попрошу, чтобы тебя направили в нашу экспедицию, тебе там все знакомо, а мне будет легче...

И тогда Игорь со злобой выкрикнул:

— Нет уж, спасибо! Ты будешь заниматься прожекторами, а я — работай?!

Только на миг появилось в лице Матвея Денисовича растерянное, недоуменное выражение, затем он весь подобрался, с горечью сказал:

— Впрочем, зачем ты мне такой... щенок!

И вышел, особенно грузно ступая.

Игорь слышал, как отец захлопнул свою дверь и повернул ключ в замке. Тихо стало в квартире.

Матвей Денисович с утра нахлебался горечи, проталкивая опоздавшую заявку. Никто ему не отказывал — план буровых работ без горючего не выполнишь! — но каждый считал своим долгом попрекнуть рассеянного начальника экспедиции, а руководитель отдела изысканий ядовито спросил, о чем он вообще думает. Матвей Денисович не удержался, попробовал рассказать — о чем, но тот пренебрежительно оборвал:

— Лучше занимайтесь тем, что вам поручено!

В другое время Матвей Денисович заспорил бы, но сейчас чувствовал свою вину и, удрученный, побрел по длинному учрежденческому коридору, медля идти в следующую инстанцию, где его ждали новые попреки.

Навстречу шел Юрасов, как всегда раздражающе изящный и моложавый — никто не дал бы ему пятидесяти лет, если б его юбилей не отмечался недавно во всех газетах. Новенький орден Ленина мерцал на его синем с искрой пиджаке.

— Рад видеть вас, Матвей Денисович! — останавливаясь, сказал Юрасов. — Я думал, вы где-нибудь в Каракумах.

Вряд ли он вообще думал об этом, просто хорошо воспитан и не забыл их общую студенческую юность.

— Как здоровье супруги? — продолжал осведомляться Юрасов. — Имеете ли известия от Надежды Григорьевны?

Сквозь вежливое безразличие впервые проступила заинтересованность — Надя, видимо, навсегда осталась для него Надей; «белокрылая птица с лицом подвижницы» — так он когда-то назвал ее, прикрывая восхищение скептической усмешкой.

— Умирает Надя, — опустив голову, сказал Матвей Денисович.

Юрасов мучительно сморщился и несколько минут молчал.

— Надя — Надежда, — пробормотал он. — Надя — и смерть... невероятно! — Он покрутил шеей, будто накрахмаленный воротничок стал тесен. — Пойдем куда-нибудь, Матвей, посидим, поговорим...

Узнав, что Матвею Денисовичу нужно сперва протолкнуть заявку, Юрасов без доклада вошел в кабинет самого ответственного лица и в одну минуту, пощучивая, получил заветную подпись, затем усадил Матвея Денисовича в машину и привез в ресторан.

Не успели они войти в зал, как почтенный метрдотель с уложенными на щеках фигурными усами подбежал к столику у края фонтана, отодвинул для Юрасова стул и почтительно-дружелюбно спросил:

— Чем вас накормить сегодня, Аркадий Георгиевич? Есть недурная форель.

Предоставив Юрасову заказывать, Матвей Денисович поглядывал на него с двойственным чувством уважения и отчужденности.

В юности он тянулся к этому человеку — и не любил его. Сын крупного путейца, Аркадий Юрасов занимал в роскошной квартире отца три комнаты, в одной из которых Надя прятала нелегальную литературу, а некоторое время и гектограф. Аркадий ни во что не верил и, просматривая листовки, холодно отмечал недостатки стиля, но потом помогал Наде развозить их — мчась на лихаче, они разыгрывали веселящуюся парочку. Однажды Матвей Денисович с раздражением спросил, ради чего он рискует собой; Юрасов ответил: «По математическому и психологическому расчету, охранка доберется сюда не скоро, а кроме того, рисковать интересно».

Они были разными во всем и постоянно спорили, но возражения и насмешки Аркадия помогали Матвею утвердиться в своих взглядах. С малых лет работая и своим горбом пробиваясь к образованию, Матвей Митрофанов бессистемно хватал знания, на ходу восполняя зияющие пробелы; жадно читал он философов и экономистов, романистов и историков, ученых и публицистов, стараясь понять, почему так плохо устроен мир, и найти ответ — как жить. Тысячи умов — каждый по-своему — пытались понять и объяснить мир. Матвей увлекался то одной теорией, то другой, пока не прикоснулся к научному материализму. Философы лишь

объясняли мир, дело заключается в том, чтобы изменить его, — эти слова Маркса были для него откровением, и он ринулся в борьбу, чтобы изменить и преобразовать мир.

Юрасов скептически усмехался: «Изменить мир? Глупости! Вас сгноят на каторге, а что будет после, вы все равно не увидите». Он признавал только постепенные изменения в результате прогресса науки и техники. Он был широко образован, а если чего и не знал, то потому, что данная проблема его не занимала; но общее представление у него было обо всем — культура, воспринимаемая с детства и без особых усилий. Будь Юрасов обычным барчуком-белоподкладочником, было бы приятно презирать его. Но Юрасов был умен и талантлив, это приходилось признавать. На старшем курсе он из любопытства разработал проект — целую систему каналов, соединяющую Белое море с Балтийским, Каспийским и Азовским. Студенты были в восторге, а Юрасов небрежно закинул проект на шкаф и усмехнулся: «В нищей стране с лучинами и деревянной сохой?!» Получив диплом, он уехал за границу совершенствоваться, а потом читал в институте курс гидротехники.

Революция надолго оторвала Матвея Денисовича от его профессии. Подполье, красногвардейский отряд, комбеды, фронты... С Юрасовым он столкнулся в Петрограде уже в двадцатом году — похудевший, в потертом пальто, тот насмешливо отрекомендовался:

— Безработный инженер. Впрочем, разыскал в Публичной библиотеке старинные рецепты и делаю свечи для товарообмена, так что по-вашему — кустарь-одиночка, мелкая буржуазия.

Года два спустя, приехав в командировку на Волховстрой, Матвей Денисович встретил там Юрасова — уже в роли одного из руководящих инженеров. Юрасов, кажется, не очень верил в реальность ленинского плана ГОЭЛРО, хотя, как выяснилось, работал в одной из комиссий по разработке этого плана.

— Полюбуйтесь, преобразователь мира! — сказал он тогда. — Проектирую кабель-кран... в дереве! Металла нет, действуем топором и лопатой! Но вы бы видели, какие тут есть умельцы-плотники!

Постепенно Юрасов стал одним из виднейших гидротехников страны. Матвей Денисович не раз производил изыскания для проектов Юрасова, они встречались на обсуждениях, иногда спорили, иногда соглашались друг с другом. Но всегда в глубине души оставалось у Матвея Денисовича сомнение: что он такое, этот знаменитый теперь Юрасов? Талантливый делег? Умный, холодный специалист, признающий только блеск дерзкого технического решения?..

И вот он сидит напротив Матвея Денисовича за ресторанным столиком и, забыв о собеседнике, смотрит на сверкание несильных струй фонтана. Молчит и покусывает нижнюю губу.

— Я дважды делал предложение Надежде Григорьевне, — вдруг сказал он и посмотрел на Матвея Денисовича — знает ли он об этом.

Матвей Денисович удивленно приподнял брови.

— Самой поразительной ее особенностью было полное соответствие всех ее поступков — идеалам, — тихо сказал Юрасов. — Редкая цельность натуры. Но беречь себя она не умела. Вот и теперь, наверно, не сумела. Есть около нее близкие люди?

Должно быть, он хотел узнать, есть ли у нее муж. Матвею Денисовичу было трудно говорить об этом, он односложно ответил, что возле нее — сестра.

Юрасов снова покрутил шеей, как бы высвобождая ее из воротничка, и круто переменял разговор. Принесли рыбу и вино. Юрасов оживился, он с интересом слушал Матвея Денисовича, возбужденно и сердито излагавшего свои замыслы. Матвей Денисович сам не заметил, как заговорил о них. Чего ради? По давней привычке в споре с Юрасовым укрепляться на своем? Из желания убедиться, что этот человек и теперь неспособен загореться мечтой?

— Эко вы замахнулись, — сказал Юрасов, — и не забыли юношеских мечтаний. Помните... Чернышевского?

Это было на первом курсе, вскоре после того, как в их жизни появилась медичка Надя. «Что делать?» было ее Евангелием, Вера Павловна — идеалом. Она мечтала о служении народу, о врачебном подвижничестве где-нибудь в глуши, об идеальной любви гармонических людей. Матвея Митрофанова пленило у Чернышевского другое — в страшных потемках тогдашней России этот великий бунтарь верил, что труд станет потребностью души, что освобожденные люди превратят бесплодные пустыни в цветущие сады, по-своему направят течение рек, научатся изменять климат. Увлеченный, Матвей выдвигал гигантские проекты преобразований, дойдя до озеленения Сахары. Юрасов слушал, слушал и сказал: «Терпеть не могу беспочвенной болтовни!»

Матвей Денисович и теперь на миг запнулся, будто снова услышал этот леденящий упрек. Но нет! Мечта не была беспочвенной. Ее подготовила вся его жизнь — и те подпольные листовки, и бешеная борьба с контрреволюцией, и скитания по песчаным барханам Средней Азии, где он занимался проблемами орошения. Он видел, как поднимались к новой жизни нищие кочевники, и хотел дать им воду, изобилие, грамоту,

возможность настоящего развития... Позднее, скитаясь по стране с изыскательскими партиями, он прикоснулся к другим проблемам пустынь. Огромные сокровища лежали нетронутыми в недрах неосвоенной земли. Уголь, нефть, железная руда, редкие металлы, сера, медь, цинк... почти всю таблицу Менделеева можно там найти, и каждый элемент — в запасах промышленного значения. Но как подобраться к ним в этом безводном краю? Нет, решение должно быть кардинальным — надо менять климат, географию, экономику, быт... Комплекс проблем и комплекс крупнейших работ!

Юрасов высмеет его замыслы? Что ж, не в первый раз. Он не боялся юрасовского скептицизма. Он чувствовал за собою проверенную жизнью правду своих убеждений, смелость партии, сумевшей развернуть огромные силы народные для созидательных подвигов пятилеток. А что такое пятилетки, как не коренное и стремительное преобразование страны! Ведь и Юрасов всем своим талантом участвует в этом, крупно участвует. Он не воспринимает поэзию преобразования мира? Но он служит ей!

— Вы верите только цифрам и расчетам? Пожалуйста! Сейчас идет борьба за хлопок, мы все еще покупаем его на золото. Средняя Азия и Азербайджан могли бы завалить страну хлопком. Но где взять воду?.. Я подсчитал: три реки — Амударья, Сырдарья и Кура — могут оросить примерно десять — пятнадцать миллионов га плантаций, а земель, жаждущих орошения, не меньше двухсот — двухсот пятидесяти миллионов! Меня прямо жгут эти цифры! А в это время три полноводных сибирских реки — Енисей, Лена и Обь — сбрасывают в Ледовитый океан тысячу четыреста тридцать миллиардов кубометров воды! Бесценная для юга влага уплывает через районы вечной мерзлоты, через тайгу и тундру. А между тем...

Он отодвинул тарелки и рюмки, выложил на стол блокнот и уже привычно набросал карту.

— Вот смотрите! Длинная гряда гор и возвышенностей тянется через всю страну, как бы отрезая север от юга. И только в одном месте — в Тургае — гряда разрывается. Исследуя ложбину Тургайских ворот, геологи и топографы нашли бесспорные следы когда-то протекавшего там могучего потока. Поток промыл гигантской ширины русло, почвы хранят речные отложения. Сколько тысячелетий назад это было? Какие геологические сдвиги повернули реку на север? Как бы ни было, мы вправе прокорректировать природу, исправить ее ошибку и дать новую жизнь громадному краю! Рудники и заводы на Тургайском плато, хлопковые плантации и фруктовые сады, виноградники и бахчи на месте нынешних

песков, — вы понимаете, какое это благо!

Юрасов отпил вина из бокала и задумчиво сказал:

— Все это верно. Но вы слишком узко берете проблему. Надо ставить ее шире и перспективней.

Матвей Денисович выронил карандаш. Такой упрек он слышал впервые.

— Вы как бы отмахиваетесь от Сибири — вечная мерзлота, низкие температуры, тайга! А между тем мы еще только открываем ее богатства, и движение индустриализации будет неизбежно идти на восток — но Сибири и до Приморья. Хабаровский нефтеперегонный завод, Сахалинские промыслы, Комсомольск, Колыма — это форпосты предстоящего наступления. Так что проблему надо решать крупным планом с учетом развития и севера, и юга, и Дальнего Востока.

Матвей Денисович немного растерялся от неожиданного поворота беседы.

— Я думал главным образом о проблеме водоснабжения Средней Азии. Хотя, разумеется...

— Надо брать главное! — воскликнул Юрасов, и в его лице проступила как будто совсем не свойственная ему увлеченность. — Главное — энергетика! Рост производства электроэнергии должен опережать рост промышленности. А мы в этой области — нищие. Перед революцией Россия производила меньше двух миллиардов киловатт-часов в год и занимала пятнадцатое место в мире. В тысяча девятьсот двадцатом году... — Юрасов усмехнулся и прямо поглядел в глаза собеседника, — в тот год, когда вы меня встретили кустарем-одиночкой, производящим свечи по рецептам семнадцатого века... Да, выработка электроэнергии была тогда в четыре раза меньше довоенной, и в тот же год Ленин создал ГОЭЛРО.

Казалось бы, гидротехник гидротехнику мог не рассказывать об этом. Но, видимо, Юрасову было дорого такое сопоставление. Его загоревшийся взгляд спрашивал: ты — понимаешь? Впрочем, он тут же продолжил суховатым голосом специалиста:

— Как вы знаете, план ГОЭЛРО многим казался нереальным — в том числе и мне. Он выполнен лет семь назад, к девятьсот тридцать первому году. В данное время наметки плана ГОЭЛРО перевыполнены более чем в три раза. Но что такое сорок миллиардов киловатт-часов для нашей страны? По сравнению с довоенными двумя миллиардами — гигантский скачок, по сравнению с потребностями городов, промышленности и сельского хозяйства — голодная норма. Как ближайшую задачу мы должны осуществлять производство примерно двухсот миллиардов киловатт-часов

в год.

— Двухсот миллиардов?!

— Конечно, как минимум. Это будет уже совсем не плохо. Но действительная электрификация страны — это не двести и не триста, а примерно пятьсот — шестьсот миллиардов.

Теперь Матвей Денисович почтительно вглядывался в лицо мечтателя, перед которым сам себе показался приземленным практиком. И это — Юрасов? Что же я проглядел в нем? Чего не понимал?..

— Мы недавно подсчитали, — продолжал Юрасов. — Наши гидроресурсы в четыре раза превышают ресурсы США и в семь раз — Канады. Наши реки могут давать нам тысячу семьсот миллиардов киловатт-часов в год! Так что... лицом к энергетике, Матвей Денисович! Продумайте в вашем проекте целесообразное и широкое использование рек — сеть гидростанций — может быть, каскад, если позволят условия. От Тургая канал пойдет самотечный? Под уклон?

Некоторое время они увлеченно обсуждали подробности замысла. И замысел, многим людям казавшийся чепухой, обрел прочное место в еще более широкой перспективе развития страны. Схемы использования рек, для которых Матвей Денисович не раз проводил изыскания, оживали и занимали очередь в строю всенародных работ — сперва, вероятно, Волга, потом Ангара и Енисей, еще позднее — дальневосточные реки, и где-то в той же дали — поворот водного потока через Тургай — на юг, на юг... Сколько лет пройдет до осуществления мечты? Какая очередность будет признана самой разумной? Какие трудности и испытания встанут на пути людей, преобразующих свою землю?.. И кто из них двух доживет?..

Юрасов взглянул на часы и заторопился. Он снова стал суховатым и отменно вежливым, но теперь это уже не раздражало. Скучным и ограниченным представилось Матвею Денисовичу его многолетнее суждение об этом старом знакомце. Верил в преобразование мира, а не поверил изменению одного, притом умного и талантливого человека! Да как же он мог остаться прежним? Ему же в юности и не снился такой размах работ, такой простор для проявления энергии! Мы уже привыкли к этому размаху и часто недооцениваем силу воздействия наших идей и наших дел. Мы требуем бдительности к врагам. Но должна быть и бдительность к добру. К таким вот изменениям душ...

— Извините, вынужден поспешить, — поднимаясь, сказал Юрасов. — Ради дальних перспектив не стоит опаздывать на сегодняшнюю премьеру. Меня ждет жена.

Уже на улице, прощаясь, он сообщил как бы вскользь:

— Я сейчас ношусь с идеей перспективного планирования электрификации — а значит, и главных направлений всего прочего, — скажем, на полвека. Наверху эта возможность обсуждается. Вероятно, встанет вопрос о перспективном плане — для начала лет на пятнадцать — двадцать. Я добиваюсь создания специальной проектно-исследовательской группы — так сказать, дальнего загляда... Буду рад, если вы согласитесь войти в нее.

Проводив взглядом удаляющуюся, до чопорности прямую фигуру, Матвей Денисович зашагал домой — и как же легок был его шаг!

На вокзал они приехали врозь.

Игорь ходил взад-вперед крупными шагами, засунув руки в карманы пальто. Ссора тяготила его, но он не знал, как подойти к отцу, потому что не понимал его. Сперва он надеялся, что обида забудется, оттесненная горестной вестью. Но отец ничего не забыл, от Игоря непримиримо отворачивался. Горевал ли он о Наде? Не поймешь! Просидел вечер взаперти, а с утра опять названивал своим замечательным людям. Теперь к ним прибавились еще гидростроители и почему-то — специалисты по вечной мерзлоте. Вчера из-за двери Игорь слышал, как отец с увлечением говорил:

— Тепло юга впитает влагу и благодатными дождями и ветрами вернет ее северу. Вечной мерзлоте придется отступить!

А сейчас отец стоит, ссутулившись, горько сжав губы, — старик... Захотелось подбежать, прижаться к родному плечу, прошептать: «Прости...» Но отец заметил его наблюдающий взгляд и резко отвернулся.

Игорь продолжал вышагивать вдоль перрона, ожесточая себя мыслями о том, что стоит проявить слабость, отец в самом деле заберет его к себе, а тогда — прощай самостоятельность!

Матвей Денисович тоже украдкой посматривал на сына, стараясь не встречаться с ним взглядом. Но думал он не о давешней ссоре и не об оскорбительном выкрике сына: «Нет уж, спасибо!» Еще ночью, томясь бессонницей, он понял и даже как-то оправдал эту резкость: у парня и впрямь было в экспедиции ложное положение. Но в эту ночь мысли о сыне сплелись с горькими мыслями о смерти Нади и с обостренным ощущением ограниченности человеческой жизни. И во всех этих раздумьях присутствовал Юрасов, его советы и определившаяся возможность всерьез заняться проблемой рек.

Он почти не горевал о смерти реальной, вчерашней Нади — за время ее неизлечимой болезни он успел примириться с неизбежным. Но в памяти

ожила та, давняя Надя — Надежда, светлый огонь его нелегкой юности, девушка, которую он, сам того не ведая, обидел. Он был так уверен, что недостоин ее, так боялся оскорбить ее целомудренную строгость! Много позднее он понял, что Надя, пугливо замыкаясь, ждала, когда же он все-таки заговорит с нею, как с обыкновенной девушкой. Вспомнилось ее окаменелое лицо на свадьбе сестры и то, как она вдруг ушла и у двери сказала ему: «А мне, видно, суждена одна-единая дорога». Так она и прошла дорогой чистой и прямой как стрела.

Сколько сотен благодарных людей шагало за гробом «нашей докторши»! Сколько молодых врачей научилось у нее искусству врачевать и искусству истинной человечности! Такой огонь негасим, он переходит от сердца к сердцу.

Жизнь может быть очень большой — и все же она до жути ограничена. И отрада тут одна — то, что ты сделал, и то, что ты негасимым передал другим.

«Что же я сделал? — думал он. — Кому и что я передал? Всю жизнь прошагал рядовым, ничего особенного не сотворил, но шел — впереди, и все, что выросло за мною, в чем-то опиралось и на мой труд, на мои выводы и доводы. Исхоженные мною берега рек были необжитыми, земли — пустынными, жизнь возникала там после меня, но она возникала! Сотни людей росли около меня, в чем-то я им помог, наверно, и добрый огонек передал многим... Но мечтал все самое лучшее вложить в сына. Что же я все-таки недоглядел? Что — не сумел?.. Кажется мне — или он действительно жестковат и рассудочен? Моя ли увлеченность мне глаза застит или у него в самом деле не хватает способности увлечься, загореться — так, чтоб и повседневные заботы побоку, и ночь не спалось?..

Вот он злится на мою „нелепую“ дружбу с Галинкой Русаковской, а для меня Галинка — открытие и загадка. Когда Игорь был мальчуганом, я вечно пропадал в экспедициях. А тогда созрел вот этот, сегодняшней человек. Что-то навсегда закладывалось. Определялись грани характера. Я беспечно думал, что воспитал сына хорошим человеком только потому, что он не делал плохого, толково учился, стал комсомольцем. А в жизни сотни сложностей, когда человек поворачивается или так, или эдак, и вдруг проявляются глубинные свойства характера. И эти свойства исподволь складывались в нем... а я не замечал?

Вот — Галинка. Посмотришь — детеныш! Какие у нее могут быть переживания и раздумья? А в этой детской душе идет своя, очень важная работа. И такая же шла в детской душе Игоря, а я не заронил в нее тот самый огонь?.. Радовался — хочет быть гидротехником-изыскателем,

мечтает пойти по моему пути, передам ему свой опыт. А ради чего?

„...Ты слишком энергичен в том, что никакого отношения к делу не имеет!“ Что же для него — дело? Служба? Сегодняшнее? А все остальное — бредни?..

Вот Галинка увлеклась моим замыслом. Когда рассказываешь — слушает с приоткрытым ртом, рожица ребячья, а глаза... ох, какие глаза! Можно поручиться, что они видят то же, что вижу я, и это видение ее завораживает. Что из нее выйдет потом — кто знает! Но эти глаза уже никогда не смогут смотреть только себе под ноги...»

Матвей Денисович искоса оглядел сына — остановился поодаль, туча тучей. Ох, как было бы хорошо, если бы сын с прежней доверчивостью сказал: «Расскажи, папа, как и что ты задумал». Уж Игорю он объяснил бы все, все!.. Ему самому — не дожить, а Игорь — доживет. Возможно, Игорю выпадет счастье начинать эти гигантские работы...

Недавно Матвей Денисович рассказал Галинке о народнике Демченко, который в конце прошлого века написал книжку, где доказывал необходимость переброски рек Оби и Енисея на юг.

— Широко думал человек! Имел в виду, что поворот сибирских рек на юг повлияет на климат, смягчит суховеи. Рассчитать по-инженерному он не сумел, не знал, где какой уровень над морем. Если бы в точности выполнить его план, затопило бы всю Западную Сибирь с такими городами, как Омск, Томск и Новосибирск, и Среднюю Азию вплоть до Астрахани. Но расчет — дело инженеров. А мысль у него была верная.

Галинка молчала, задумавшись. И вдруг с трепетом:

— И я когда-нибудь умру?

Значит, рассказ о давно умершем мечтателе привел ее к открытию смертности всех живых, к страху перед ограниченностью жизни?..

— Ну, ты умрешь еще не скоро.

— А вы?

И покраснела, поняв, что вопрос бестактен. Но затем убежденно сказала:

— Я бы вас ни в какие экспедиции не посылала. Чтоб вы сидели и рассчитали, как все сделать. Чтоб ничего не затопило.

Галинка — подумала. Почему же Игорь... мой Игорь!

Игорь вдруг решительно зашагал к отцу.

— Подходит.

Вдали возникли клубы дыма и приближающееся пыхтение паровоза.

— Плохо, что мы не знаем номер вагона.

— Будем стоять здесь.

Это было не примирение, а молчаливый сговор — не огорчать своей ссорой родного, измученного горем человека.

Теперь они стояли рядом, плечо к плечу. Игорь первым увидел мать и побежал рядом с вагоном.

Она легко соскочила с подножки, передала Игорю чемодан и быстро поцеловала его, взглядом отыскивая мужа. И, увидав, пошла к нему своей напористой походкой. Лицо ее было сейчас не горестным, а тем самым оживленным и приготовленным к радости, какое Матвей Денисович знал и любил с юности — с того дня, когда к Наде приехала младшая сестра Зинаида и в течение одного часа весело, ничего не подозревая, энергичной рукой перечеркнула его идеальную любовь ради любви земной, нерассуждающей и счастливой.

— А что вы какие-то не такие? — спросила Зинаида Григорьевна после первых минут встречи и внимательно оглядела обоих. — Поссорились?

— Да нет, пустяки, — сказал Игорь.

— Ладно, разберемся, — произнесла Зинаида Григорьевна свое любимое слово и улыбнулась мужу: — Я ужасно боялась, что ты уедешь, не дождавшись меня.

О смерти Нади она не сказала ни слова. Матвей Денисович знал, что эти недели возле умирающей сестры достались ей тяжело, что горе будет долгим, но такова уж Зина — всегда обращена к жизни и ненавидит «распускать чувства». Дома он разглядел, что Зина похудела, появились новые морщинки. Но и сейчас она выглядела молодо, коротко подстриженные седые волосы не старили ее, а мило оттеняли ее круглое, розовое лицо и голубизну глаз.

Она сидела за столом, как гостя, она никогда не умела и не любила хозяйничать, но двое мужчин, ухаживая за нею, впервые почувствовали себя по-настоящему дома, при хозяйке. А хозяйка быстро разоблачила их неуклюжие попытки что-то скрыть от нее. Допив кофе, позвонила к себе в клинику и сказала, что прием больных можно назначить на завтра. Проглядела повестки, скопившиеся за время ее отсутствия, огорчилась, что сегодня вечером — сессия райсовета, которую стыдно пропустить, поглядела на часы.

— Ничего, до заседания еще восемь с половиной часов. — Погладила лоб, снимая усталость, тихо сказала: — Надя вспоминала вас обоих в самые последние часы. О тебе, Матвей, думала. И о тебе... Никак я не ждала, что у вас неладно.

В вестибюле гостиницы Палька задержался у зеркала, чтобы увидеть себя во весь рост. Из тусклой глубины на него вызывающе глянул высокий парень, особенно молодцеватый рядом с низкорослым, угловатым Липатушкой. Новая меховая шапка и новенькие желтые «джимми» были великолепны, своевольная прядь волос выглядывала из-под заломленной назад шапки. Пальто, конечно, видало виды и легковато для московского ноября, но общего впечатления оно не портит, наоборот, придает независимый вид — это вам не пижон, а настоящий мужчина. Вот галстук повязан дурно... Черт знает, как получается у Игоря свободный, красивый узел!

— Мы опаздываем, — напомнил Липатов, прилаживая поплотней старую кепчонку.

Решительно распустив узел, Палька перевязал галстук одним вдохновенным усилием — получилось почти как у Игоря. Теперь парень в зеркале стал неотразим. И сегодня вечером это должны заметить...

Игорь ждал их возле своего дома.

— Собирались, как женихи! — пробурчал он. — Отец уехал уже час назад.

Метнувшись на середину улицы, он остановил первую попавшуюся машину:

— Подвези, приятель! Шоссе Энтузиастов, новые дома. Ничего, ничего, для хорошего шофера сто верст не крюк.

Сидя рядом с шофером, Игорь болтал с ним, как с давним знакомцем. Со стороны казалось, что он беспечен. Не любил он показывать, что волнуется.

Вопреки его надеждам, мать стала на сторону отца.

— Вот что я тебе скажу, — заявила она со свойственной ей определенностью суждений. — Дети не выбирают себе родителей. Но если тебе повезло получить такого отца, надо ценить. Ты нагрубил ему и обидел его. Сам натворил, сам и проси прощения.

Поначалу Игорь уперся, а потом время было упущено. Отец избегал его, часами рассказывал матери о своих планах. Краем уха Игорь уловил, что Юрасов поддержал идею отца и даже обещал ему какую-то работу, где он сможет заняться своим проектом. Юрасов — поддержал?! Хотелось расспросить, но захочет ли отец ответить?..

Предстоящий отъезд отца ошеломил Игоря: расстаться не

помирившись? Он долго маялся, прежде чем решился попросить прощения.

— Я не сержусь, — сказал отец, не отрывая глаз от книги. — Я увидел в тебе эгоизм и душевную ограниченность, а это мне неприятно.

Игорь вспылел.

— Можно ли из-за нескольких запальчивых слов делать такие обобщения! В конце концов, если я волнуюсь, что ты забросил работу ради этих рек...

— Если мне захочется поговорить об «этих реках», — медленно сказал отец, — я предпочту говорить с кем-нибудь другим... хотя бы с Галинкой. Она понимает лучше, чем ты. А сейчас я занят. Не мешай...

Как ни странно, мать поощряла посещения Галинки и даже подобрела к Татьяне Николаевне, которую раньше называла вертихвосткой. Бывало, мать презрительно поджимала губы, когда слышала о «мальчишниках» в доме Русаковских. А на этот раз сама уговорила отца пойти:

— Я задержусь в клинике. Что тебе сидеть дома одному?

Очевидно, Игоря она тоже не брала в расчет.

Оставался один сегодняшний вечер. Отец оживится, повеселеет... Надо подойти к нему при друзьях, взять за руку и тихо попросить:

— Забудь, папа, я не хотел тебя огорчить...

К этому и готовился Игорь, болтая с шофером.

Липатов прирос к окну — за окном мелькали узкие московские улицы, полные вечерней суеты: пешеходы с детьми, с покупками, даже с собаками на поводке сновали по всем направлениям, переходя улицу под носом у тревожно гудящих машин; трамваи были со всех сторон облеплены людьми, которые бесстрашно держались за «колбасу», за выступы, за решетки или, уместив одну ногу на подножке и кое-как ухватившись за поручень, висели себе как ни в чем не бывало, да еще держали на весу портфели. На табличках под фонарями мелькали диковинные московские названия: Маросейка, Солянка, Яуза, Николо-Ямская... Потом машина вырвалась из тесноты старых улиц на широченный проспект и — за город. Потянулись заборы и склады, потом поля и обширные пространства, заполненные скрюченным железом и скелетами машин, — свалка металлолома. Домишки, видневшиеся то тут, то там, были ветхи, косы, подслеповаты. И вдруг вдали возникло сияние множества огней, и в этом сиянии обозначились, как мираж в пустыне, широко расположенные многоэтажные корпуса новых домов. Опять — Москва, опять — столица, только новая, сегодняшняя.

Липатов старался, все разглядеть и запомнить.

Палька был невнимателен, его не интересовали меняющиеся виды города, где он пережил столько разочарований и борьбы, надеялся и отчаивался, работал сутки напролет, спорил до изнурения, добивался и — добился! Весь громадный город с разнообразной и сложной жизнью сосредоточился для него в одной точке. В этой точке долго решалась и наконец решилась его судьба. Победа закреплена несколькими параграфами приказа, которым объявляется начало строительства опытной станции № 3, начальник Липатов Иван Михайлович, главный инженер Светов Павел Кириллович... Павел Кириллович, вот как. Главный инженер. Станция № 3, поскольку есть уже станция № 1 — в Донбассе, по методу Катенина, и № 2 — к Подмосковию, по методу Вадецкого — Колокольникова. Пусть будет и № 1, и № 2! Посоревнуемся. Докажем. Закончить бы поскорей формальности со всеми этими нормативами, штатами и лимитами. И — в Донбасс, на шахту Старая Алексеевка, возле которой им отвели участок пласта, хотя можно было найти более удобный, неразработанный пласт недалеко от Донецка. А впрочем, лишь бы взяться за дело!

Жизнь расширилась и стала удивительной. Сегодня Рачко бросил таинственный намек, что Мордвинова и Светова намечают послать за границу. Ух ты! За границу! На расспросы он не отвечал, отнекивался — узнаете, когда придет время. Вид у Рачко был загадочный и почему-то сердитый. Дразнит он или на самом деле кто-то вздумал дать им заграничные командировки? Интересно — куда? В Англию? А может, и в Америку? В последние годы многих инженеров посылают туда. Занятно! Павел Кириллович Светов в серой шляпе и желтых «джимми» шагает по Бродвею... Надо будет ввернуть сегодня в разговор: «Вероятно, в ближайшее время я ненадолго съезжу за границу». То-то она удивится! «Вы — за границу?!» — «Да, знаете, хочется поглядеть мир, сравнить, разобраться, что у них хорошо, а что плохо...»

Сегодняшняя встреча — еще один неожиданный подарок. Как это вышло, что она их пригласила? «Можете привести и своих донецких приятелей» — так она будто бы сказала Игорю. Игорь говорит: «Мадам обожает, чтобы вокруг нее было завихрение поклонников...» Игорь злится, потому что завтра отец уезжает, а они не помирились. Он потянул с собою друзей для храбрости. Друзья должны помочь — свести его с отцом. Как? Будет видно на месте. Во всяком случае, это прямая и важная цель. Палька не станет «завихряться» в толпе поклонников. Ему нужно только поглядеть в ее мерцающие глаза и понять, забыла она или нет. То, что было, не вычеркнешь. И быть может, она для того и позвала, чтобы в веселой суете вечеринки дать ему понять, что помнит?..

Татьяна Николаевна выбежала к ним в каком-то диковинном наряде, вокруг головы чалмой намотан пестрый шарф.

— Как раз вовремя! — воскликнула она, протягивая обе руки — одну сцапал и потряс Липатов, другую поцеловал Игорь. — Мы ставим шарады, сейчас начнется! Здравствуйте, Павел Кириллович, — она протянула ему ту руку, что поцеловал Игорь, — я слышала, вы одержали победу? Поздравляю.

Целовать ее руку он не стал — вот еще! Но, пожав, не отпустил, а сильно сжал. Она на миг запнулась, глаза опустила: скромница. Затем ее пальцы решительно высвободились и мягко оттолкнули его руку.

— Раздевайтесь, знакомьтесь со всеми и садитесь, — холодно-весело произнес ее голос. — На меня не рассчитывайте, сегодня все — сами себе хозяева, а я — на сцену!

Ее глаза строго и требовательно глянули на Пальку — и скользнули мимо. Пестрая чалма замелькала по ярко освещенной комнате, где сидело и стояло несколько незнакомых Пальке мужчин.

В переднюю выскочила Галинка с медным тазом в руках.

— Скорей, скорей, занимайте места!

Комната была превращена в зрительный зал: столы сдвинуты к стене, кресла и диваны поставлены в три ряда напротив арки, которая отделяла часть комнаты; за аркой виднелись книжные полки и массивный письменный стол профессора, но сейчас это была сцена, а сам Русаковский с помощью двух молодых людей натягивал над аркой проволоку для занавеса. На голове у него тоже красовалась чалма.

— Отрубить головы тем, кто посмел опоздать! — протяжно прокричал профессор и соскочил со стремянки.

— Я привел тебе двух гостей, о повелитель! — не растерялся Игорь и низко поклонился, пальцами коснувшись пола.

— Мой дом — ваш дом! — сказал профессор, так же кланяясь Липатову и Пальке.

Палька искоса разглядывал незнакомых мужчин; он не сомневался, что все они влюблены в ненаглядную, и от этого все казались ему самоуверенными и противными, особенно усевшийся рядом пухлый розовощекий молодой человек, с которым она только что перешептывалась.

— Обманул, — удрученно сказал Игорь. — Не приехал.

Палька не сразу сообразил, что речь идет о Матвее Дмитриевиче, он совсем забыл, что его главная цель — помирить Игоря с отцом.

Галинка ударила ложкой по медному тазу, занавес раздвинулся...

Палька готовился увидеть какую-то восточную сценку, но за занавесом

открылся столик, украшенный графином с водой. К столику подошел молодой человек — один из тех, что помогал Русаковскому натягивать проволоку. Этому молодому человеку подходило определение — паренек. Спутанные русые волосы спадали на глаза, лицо было простое, ребячливое, с мило приподнятым носом и белесыми бровками. Паренек застенчиво поклонился, тронул графин, потом переставил стакан, кашлянул и произнес запинаящимся баском:

— Тема моей сегодняшней лекции, товарищи: «Есть ли бог?»

Он налил себе воды, жадно выпил, снова кашлянул и начал говорить. Говорил он мудро, с цитатами из Библии и Корана, однообразно жестикулируя правой рукой, в то время как левая то хватала, то отпускала графин. Все было всерьез, ни одного смешного слова или оборота, но Палька улыбнулся и увидел, что все кругом улыбаются. Кто-то фыркнул. Кто-то засмеялся громко, не сдерживаясь, — и вот уже смеялись все: так верна и забавна была пародия на незадачливого лектора.

— Илья Александров, — шепнул Игорь. — Вот арап!

Под общий хохот Александров поклонился и откинул назад волосы. От этого движения изменился весь облик; теперь его определял большой высокий и чистый лоб со строгой черточкой между надбровьями да уверенная посадка головы на крепкой шее, не подпертой воротничком, — шею свободно окаймлял ворот легкой спортивной фуфайки.

Через минуту тот же Илья, нацепив длинную юбку, изображал строгую учительницу в пенсне, а Галинка — ученицу. На чертежной доске Галинка мелом написала буквы и никак не могла уразуметь, что «Б» и «А» вместе составляют слог «БА», а «Д» и «Ы» — «ДЫ».

Третьей и последней сценой был гарем, где Русаковский в чалме и купальном халате изображал капризного властелина, а ненаглядная — прекрасную наложницу.

Но вот Галинка ударила ложкой по тазу и объявила: целое!

В массивном кресле восседал желтолицый, косоглазый толстяк в китайском халате и причудливом головном уборе, утыканном длинными шпильками с елочными шарами на концах. Галинка обмахивала толстяка обыкновенным веником.

— Папа! — удивленно вскрикнул Игорь.

— Бог-ды-хан! — закричал розовощекий молодой человек, явно довольный тем, что первым разгадал шараду.

Матвей Денисович тяжело поднялся и поклонился, поддерживая рукой привязанную на животе подушку. Его подведенные углем глаза скользнули по лицам зрителей и на миг застыли, наткнувшись на призывный взгляд

Игоря. Матвей Денисович отвернулся от сына, обнял Галинку и медленно пошел за арку, а Игорь самым беспечным образом заговорил с пухлым молодым человеком, — некоторое время они болтали, не обращая внимания на сидящего между ними Пальку, пока Игорь не догадался их познакомиться. Пухлый молодой человек оказался Женей Труниным, о котором Палька столько слышал.

— Я тоже слышал о вас, — сказал Трунин. — Вы разработали проект подземной газификации угля. Это — замечательное дело. Я давно хотел узнать как следует... Мы с Александровым подумывали о подземной газификации нефти...

Через минуту Палька считал пухлого молодого человека самым симпатичным и умным из всех, кого встречал. Но тут ненаглядная позвала Трунина, назвав его Женечкой, и острое недоброжелательство опять шевельнулось в душе Пальки.

Русаковский и Александров внесли в комнату два подноса с закусками и вином. Никто никого не потчевал — гости сами подходили к столу, брали бутерброды, наливали себе вина. Палька с Игорем тоже подошли и натолкнулись на Липатова, который усилено прикладывался к рюмочке, чокаясь с Матвеем Денисовичем. На лице Матвея Денисовича еще держались остатки грима, подчеркивая немного косой разрез его глаз.

— Я тебя не сразу узнал, папа, — ласково сказал Игорь. — Чем это тебя намазали таким желтым?

Не глядя на сына, Матвей Денисович ответил:

— Пастелью.

— Здорово получилось! — умоляющим тоном сказал Игорь.

— Здорово! — подхватил Палька, не зная, как помочь этим двум людям. — Прямо-таки настоящий богдыхан.

Он был искренен, так как никогда не видал богдыханов.

— А по этому случаю выпьем! — воскликнул Липатов, размахивая зажатой в руке бутылкой. — Выпьем за отца и сына, и вы выпейте друг за друга, честное слово!

У Игоря подрагивала рука, когда он брал рюмку. Матвей Денисович был спокоен, только глаза сощурились так, что остались две щелочки.

— Что ж пить за отца и сына, лучше уж за святого духа, — сказал он и с рюмкой в руке отошел к Татьяне Николаевне. — Ваше здоровье, милый дух этого дома!

Игорь поглядел на сутулую спину отца, залпом выпил вино и пошел из комнаты.

— Ну что ты скажешь... — огорченно пробормотал Липатов и налил

себе еще вина.

— Смотри, старина, перебираешь, — предупредил Палька и заспешил к веселой группе, образовавшейся вокруг Татьяны Николаевны. Он мельком увидел, что Игорь в передней надевает пальто. Потом услышал, как хлопнула входная дверь. Но он был слишком увлечен своими чувствами, чтобы скорбеть о чужих.

Весь этот вечер его переполняло ощущение своей причастности к новому для него, удивительному миру столичных ученых, которые настолько знамениты, что охотно забывают о своей учености и позволяют дурачиться, как школьники.

В этом мире знаменитостей непринужденно вращалась Татьяна Николаевна. Очарование делало ее центром дружеского круга, возвышало ее над всеми. Седой сморщенный мужчина, в котором Палька с замиранием сердца узнал известного академика, раболепствовал перед нею, а она посмеивалась. Ее внимание было как дар: оно отпускалось небольшими дозами.

Палька смотрел на нее — и уже не верил, что та ночь в степи действительно была.

— Павел Кириллович, идите сюда!

Она потащила его за арку, в угол, где гримировались и переодевались. Там стоял полуголый Трунин — стоял, поеживаясь, и примерял боксерские перчатки.

— Раздевайтесь, сейчас вы изобразите бокс!

Палька испуганно отказывался, но рядом возник Русаковский.

— Отказываться у нас не принято. Вот вам перчатки.

Ненаглядная упорхнула в зал. Ей освободили кресло.

Она сидела там, как царица.

Трунин был весь пухленький и какой-то сдобный, с очень белой кожей. Рядом с ним Палька горделиво ощутил крепость своих мускулов и свой южный, непроходящий загар. Поймав загадочно-ласковый взгляд Татьяны Николаевны, он отчаянно смутился и от смущения воспринял свою роль вполне серьезно — ожесточенно нападал на Трунина, нанося ему увесистые удары.

Ненаглядная хохотала и хлопала в ладоши.

— Бокс! Бокс! — кричали зрители.

— Избиение младенца! — кричал Александров. — Караул, он убьет гордость нашего института!

Пока разгоряченный и довольный Палька одевался за спинкой кресла, началась следующая сцена, в которой участвовала Татьяна Николаевна.

Чтобы не пропустить ее, Палька решил избавиться от галстука — черт с ним, разве его завяжешь без зеркала!

С размаху упав на колени перед Татьяной Николаевной, Илья Александров пылко объяснялся в любви. Ненаглядная лениво слушала, покусывая цветок, а потом со вздохом произнесла:

— И ты?! Ну почему вы все влюбляетесь? Вас же много, а я одна.

Ничего не скажешь, умеет придумывать для себя роли!

Целое было — бокситы. Палька не мог представить себе, как можно сыграть такое слово. Но Русаковский, Трунин и Александров уселись втроем вокруг столика и заговорили о производстве алюминия, о теории осадочного происхождения бокситовых залежей и о разных других теориях. Трунин запальчиво сказал:

— Дело не в теориях, а в том, чтобы наиболее рационально и прогрессивно...

— Довольно! Довольно! — мелодично закричала Татьяна Николаевна. — Сели на своего конька, теперь не остановишь!

— Бокситы! Бок-си-ты! — выкрикивали остальные.

А Пальке было жаль, что интересный разговор оборвался.

Часом позднее он набрел на ту же троицу, они сидели за аркой на скатанном ковре, среди разбросанных одежд и всяких предметов, использованных в шарадах. Вероятно, они начали убирать все это — и заговорились.

Палька уже слышал от Игоря, что Александров и Трунин недавно ездили на север консультировать алюминщиков и работников бокситных разработок и привезли оттуда какую-то идею, названную ими ОРАТ. Что это такое, Игорь не знал. Сейчас разговор шел именно об этом.

Слушать чужой разговор было неделикатно, но Палька все же подошел и остановился рядом с Труниным.

— ...в конце концов, все решает одно, — говорит Трунин, — действительно ли наш метод будет новым словом в производстве алюминия.

— И почему мы должны отдавать отраслевому институту? — воскликнул Александров, обиженно надув губы.

— Потому что для фейерверка твоих идей нужно создать несколько отраслевых институтов, Илюша, — шутливо сказал Русаковский. — А пока они еще не созданы, приходится отдавать в чужие.

Стараясь вникнуть в суть спора, Палька не сразу заметил, что дверь в соседнюю комнату приоткрыта и за нею виднеется большое зеркало, а в зеркале мелькает какое-то отражение. Передвинувшись на ковре, чтобы

лучше видеть, он ошеломленно замер: в зеркале кружилась ненаглядная, развевая над головой пестрый шарф, служивший ей чалмой. Она кружилась для себя, сама собою любовалась, сама себе посылала улыбки.

Следя за танцующим в зеркале отражением, Палька уже не мог слушать. Все силы уходили на то, чтобы изображать на лице заинтересованность и не выдать себя. Чудесное видение исчезло, и сердце Пальки начало громко стучать — сейчас она выйдет, сейчас она выйдет.

— Когда мне говорят о чести института, я всегда знаю, что у одного из вас припадок дешевого честолюбия.

Это сказал Русаковский, сохраняя шутливый тон, но с внутренней серьезностью. Палька вспомнил летний разговор с профессором — речь шла о том же. Он ждал, что ответит Александров, человек с фейерверком идей.

Ответил Трунин:

— Может быть, но чертовски хочется сделать!

Александров начал убежденно доказывать преимущества нового метода. Палька плохо понимал его, потому что совсем не знал существующих методов производства алюминия, а все трое говорили на специальном языке, с лету понимая друг друга.

— ОРАТ, так мы его назвали, — сказал Трунин. — Отступить поздно. ОРАТ — Олег Русаковский, Александров, Трунин. Без вас невозможно.

Татьяна Николаевна появилась в дверях, подошла, встала за спиной мужа. Пестрый шарф мирно покоился на ее плечах.

— Согласитесь, Олег Владимирович, — сказал Илья и взял профессора за локоть. — Это же очень красиво не только с технической, но и с научной точки зрения. И очень нужно!

— Это намного увеличит и упростит производство алюминия, — добавил Трунин.

Татьяна Николаевна положила ладони на плечи мужа.

— Согласись, Олешек!

Русаковский быстро обернулся к ней:

— Почему? Тут пока одна голая идея! Разработать такую штуку не просто, внедрить — еще сложнее. Потребуется переоборудование только что построенных заводов. Кто на это пойдет?

— Если вы хорошо придумали, — может, пойдут?

Глядя перед собою мимо Пальки, она мечтательно улыбалась. Что ей грезилось? Успех? Слава? Деньги?

— Я соскучилась без донецкого сарая, — сказала она и над головою мужа улыбнулась Пальке, — я хочу, чтобы в доме что-то взрывалось и

трещало, чтобы спорили до хрипоты ночи напролет. Я буду помогать вам.

Русаковский потянул к себе и поцеловал ее пальцы. Александров и Трунин глядели на нее с обожанием.

Палька повернулся на каблуках и ушел в коридор, где было прохладно и грустно. В ушах звучало: «Я соскучилась... я соскучилась...» Он не мог болтаться среди всех этих людей, притворяясь веселым, и улыбаться ее мужу... Уйти? Вызвать ее и удрать с нею на улицу? Убежать, не прощаясь, а завтра позвонить ей?..

— Вы хотите пить, бедняжка?

Она взяла его за руку и повела в глубь коридора. Они оказались в пустой кухне. Она зачем-то достала из холодного шкафа бутылку воды, открыла ее и налила стакан. Он покорно выпил. Она стояла, чуть улыбаясь. Он обнял ее и поцеловал. Она провела ладонью по его щеке и хотела уйти, но он дернул ее к себе и поцеловал снова.

— Я должен с вами встретиться, — говорил он, с отчаянием ощущая, что она отталкивает его. — Я не могу так. Не могу! Вы должны...

Она толкнула его сильнее и освободилась.

— Ну-ну, будьте умницей!

— Не хочу быть умницей!

Она засмеялась. И смотрела на него в упор, только не понять было, что они хотят внушить, эти глаза.

— Скажите мне прямо: да или нет, — настаивал он, стараясь притянуть ее к себе, — да или нет?!

Она отвела его руки решительным движением. Ее брови надменно взлетели.

— Ну какое «да или нет»? — с досадой сказала она и оглянулась, прислушиваясь к доносящемуся из комнат шуму голосов. — Что вы вообразили? Я позвала вас, потому что думала... — Она сделала шаг к двери и снова посмотрела этим своим непонятым, внушающим взглядом. — Мне казалось, вы должны... должны сами понимать... Иду-у! — певуче крикнула она, хотя ее никто не звал, и выскользнула из кухни.

Когда он, опомнившись, заглянул из коридора в комнату, там играл патефон, мужчины стояли широким кругом, а Татьяна Николаевна вальсировала со всеми по очереди.

Ослепнув от ненависти и обиды, Палька долго искал на вешалке свое пальто и шапку. На помощь пришел Русаковский.

— Куда вы в такой час? Трамваи уже не ходят.

Он смотрел понимающе и чуть насмешливо. Палька пробормотал что-то нелепое про срочную работу и, еле простившись, выскочил за дверь.

— Никогда больше! Никогда! К черту! — выкрикивал он, стремительно шагая по пустынному темному шоссе. Его бесила мысль, что она даже не заметила его ухода, что все это сборище поклонников посмеивается над ним... И поделом! Куда полез и зачем? Чего он ждал от этой легкомысленной, лживой женщины?!

Унижался, просил, удерживал... К черту! Игорь никогда не позволил бы себе так размякнуть. Он говорит с женщинами властно и безразлично. Нужно быть таким, как Игорь. Таким, как Игорь...

Но он не умел быть таким, как Игорь.

Сквозь горечь и стыд в нем и сейчас еще дрожала нежность. Он и сейчас слышал ее певучий голос: «Я соскучилась...»

Он очутился на каком-то мосту и увидел внизу и сбоку ободренные остовы машин, тяжелые мотки ржаной проволоки и сквозные насыпи металлической стружки, поблескивающей в неярком свете уличных фонарей.

Ухватившись за перила моста, Палька долго стоял, со странным чувством боли и торжества разглядывая это кладбище. Он ни о чем особенно не думал — он внутренне собирался для решения. Наконец он взмахнул рукой и зашвырнул как можно дальше всю эту ерунду, мешающую жить. Она покатилась, больно стукаясь о железо и жалобно звеня.

Он посмотрел на свою руку — в ней ничего и не было? Как бы не так! Что-то покатилося, получая ссадины и ушибы. Жалобно зазвенело. Исчезло навсегда.

Была уже глубокая ночь, когда он заплутал в незнакомых переулках и наткнулся на цепочку студентов, — то ли с вечеринки, то ли проветриваясь после зубрежки, парни и девушки шли во всю ширину переулка и пели с увлечением, как поют только в юности. Они не собирались уступать дорогу одинокому пешеходу. Палька сам ходил вот так же, сцепив руки с друзьями, никому не уступая дорогу. И ухаживал за славной девушкой, с которой все было просто. И пел песни, и хохотал, и мечтал. И не было в его жизни обидной, горькой зависимости от чужой вероломной женщины...

Столкнувшись со студентами, он крепко ухватил и развел их руки, прошел сквозь их веселый строй, как таран.

— Смотрите, какой серьезный, — громко сказал кто-то.

— Это несчастный влюбленный, — подхватил девичий голос.

Палька круто повернулся и снова вошел в их строй, но теперь остался внутри цепи, между парнем и девушкой.

— Этот несчастный заблудился, и вы должны вывести его на путь

истинный, — сказал он и заглянул в девичье лицо — лицо было симпатичное. Палька прижал к себе руку девушки и сказал совсем уже дурашливо:

— А сердце у заблудившегося совершенно свободно, полный вакуум. Если хотите, попробуйте занять его.

— Но, но! — угрожающе сказал парень.

— Или ведите меня к гостинице, или я уведу от вас девушку!

Они вывели его к гостинице. Девушка улыбалась — милое приключение, веселый прохожий. Ей и в голову не пришло, что, шагая с ними, веселый прохожий устанавливал душевное равновесие — и установил его.

Начинало светать. Сонный швейцар приоткрыл глаз, чтобы посмотреть на загулявшего постояльца. Пустой вестибюль гулко повторял звук шагов. Из тусклой глубины зеркала выплыл странный человек в распахнутом пальто, без галстука, очень бледный. На какой-то короткий миг за ним мелькнуло видение, развевающее над головой пестрый шарф. Но видение не удержалось — и человек остался один. Странный взрослый человек, совсем не похожий на самоуверенного юношу, что несколько часов назад перевязал галстук на этом самом месте.

Люба постелила на стол новую скатерть, поставила в центре банку с цветами и огляделась. Как похорошела комната! На днях Саша привез мебель — оказалось, мебель можно было получить сразу, следовало зайти к коменданту института, Саша просто не догадался.

Нужно было готовиться к зимней сессии, но Любе никак не удавалось засесть за учебники. Ощущение непрочности не покидало ее, хотя видимых оснований не было: Саша принят в аспирантуру, домашний быт налаживается, Палька и Липатушка скоро уедут, и тогда Саша целиком отдастся учебе... Почему же кажется, что вот-вот что-то должно произойти?

— Нет, я просто нервничаю, потому что Саша забыл... — сама себе сказала Люба и посмотрела на часы. Без четверти восемь. Саша убежал рано утром — в институт, потом в Углегаз, потом на аспирантский семинар. У него загруженный день, вот и все. Можно ли обижаться, что он не вспомнил их «годовщину»? Ровно три месяца назад они поженились; отпраздновали первый месяц, второй... но, вероятно, никто не празднует

ежемесячно — всю жизнь?..

Люба заставила себя улыбнуться. Накрыла на стол. Поставить рюмки, чтоб Саша вспомнил? Нет, не надо, он расстроится. Промолчу. Или сама поцелую и поздравлю. Нет, если забыл — не поцелую. Нет, все равно поцелую.

Она включила радио. Женский голос кончал объявлять: «...из Большого зала Консерватории. Зал включим без предупреждения».

После минутной тишины в репродукторе возник неясный шум голосов, пиликанье скрипок.

Люба вздохнула. Интересно, какой он, этот Большой зал Консерватории, куда они мечтали часто ходить? Так и не были там ни разу. И в театрах не были. И в Сокольниках... Но я же знала, что с ним получится именно так. И я никогда не разочаруюсь в нем, не рассержусь на него, даже если он забыл...

Она вздрогнула от гневного возгласа басов, прозвучавшего неожиданно и сильно.

Басы требовательно повторили свой зов, свое предупреждение. Какое? О чем? И тотчас, как бы в стороне от них, вступили скрипки и повели нежную мелодию, насыщенную ожиданием. Мелодия будто кружилась в нарастающем порыве, в устремлении к чему-то желанному и прекрасному; временами она сливалась с грозными голосами басов и виолончелей, но это было не растворение одной мелодии в другой, а сближение в борьбе, противоборство. И вдруг валторна, вырвавшись из грома звуковой схватки, подняла свой звучный голос — предвестник еще далекого торжества.

Люба впервые слушала симфоническую музыку. Она не знала названий и звучаний инструментов, не знала, как достигается изумительная сложность и выразительность музыкального языка. Но сердце ее открылось для звуков. Какую победу и кому предвещал певучий инструмент, оттеснивший все другие? На чем с такой силой настаивают басы? Какая борьба и с кем... ждет ее и Сашу?

Или это только действие музыки — и им ничто не грозит, никакие испытания их не коснутся? Но почему кажется, что музыка обращается именно к ней, предупреждает именно ее? Или это всегда так, если слушаешь внимательно?..

Звуки бушевали над нею, они заполнили уютную комнату, где стол накрыт на двоих, где ей нужен только один-единственный человек. Но не о счастье говорили звуки, — они стонали и пели о борьбе, и, если временами возвращалась нежная мелодия начала, ее подхватывали и преображали другие, грозные звуки, и в комнату врывались призывные кличи труб.

Трубы заглушили знакомый щелчок замка и стук двери. Она увидела Сашу уже на пороге и бросилась к нему, взволнованная, со слезами на глазах.

— Погоди, разобьешь, — сказал Саша и вытащил из-под пальто бутылку вина. — Тащи из кармана пакет, только осторожней.

Смахнув слезу, она вытащила обернутую бумагой вазочку.

— А ты думала, забыл? Я весь день ношусь с этой вазой и так боялся разбить, даже в трамвае не поехал, а пер пешком. Любушка, ты меня не разлюбила за эти три месяца?

— Нет.

— И ни разу не проклинала меня?

— Нет.

— И не обижалась, что я не такой?

— Нет, нет, нет.

— Какая музыка! Это в нашу честь, правда?

Запнувшись, Люба ответила: «Да». Из репродуктора лилось смятение, а может, и жалоба. И призывные кличи труб. Куда они зовут, трубы?

Люба быстро выключила радио и обняла Сашу.

— Когда ты здесь, я хочу только тебя одного. Смотреть на тебя, слушать тебя. Это стыдно, что я так говорю?

— Я думал, сильнее нельзя, но три месяца назад я еще не любил, оказывается. Только в эти месяцы я по-настоящему полюбил.

— И я... Но ты скажи — почему?

— Хитрая, тебе мало? Давай нальем вина и чокнемся. Знаешь за что? За тебя — любимую и друга. Выше этого нет ничего! В эти месяцы я узнал, Любушка, что ты — друг. С тобой легко идти. Через все испытания и трудности.

Звучали ли они где-то за стеной, на улице — или ей только показалось, что снова призывно трубят трубы?

— Ты меня не осудишь, Сашок, если сегодня мы откинем испытания и трудности?

— Конечно! Они мне осточертели. За тебя, Любушка!

Когда на следующее утро Люба вспомнила незамутненную радость этого вечера, она подумала: «Хорошо, что он был. Мне легче оттого, что он был...»

Утро занялось такое ясное. Выпавший ночью снег лежал на ближних и дальних крышах, еще не тронутый копотью. Город празднично сиял.

— А я чувствую себя подлецом, — сказал Саша, и лицо у него стало жесткое, непримиримое — она знала это выражение и боялась его. — Я

должен был сказать вчера. Я как будто украл вчерашний вечер. Но ты была такая веселая... Люба! Выяснилось, что нам придется ехать. Отказаться нельзя.

— Так это ж интересно, Саша! И ты говоришь — нам... значит, меня пустят с тобой? Наверняка?

Она не понимала, почему он боялся сказать. Уже неделю шла речь об этих заграничных командировках. На год. Почетно и очень интересно. Поехать за границу, повидать разные страны...

— Ты не так поняла, Любушка. От заграницы мы отказались. Категорически. Это предложение — коварный ход Вадецкого и Колокольникова. Избавиться от нас на год, а пока...

— Постой. Так... куда же?

Он помолчал. Мысленно подобрал самые убедительные доводы и утешения, но откинул их и сказал напрямик:

— В Донбасс. Я не имею права бросить дело на решающем этапе.

— В Донбасс?!

Она хотела сдержаться. Очень хотела. Но слезы хлынули сами.

— Люба, перестань!

Его голос звучал сурово.

Значит, он даже не понимает, как ей горько?

Она ладонями стерла с лица слезы.

— Перестала! Давно пора перестать! — неистовым шепотом заговорила она. — Давно пора понять, что я для тебя — вещь, игрушка, приложение к твоим делам и планам! Еще бы! Ты в Москву — и я с тобой. Ты в Донбасс — и мне все бросать! Стоит ли думать о таком пустяке, как мое место в жизни!

Теперь ей казалось, что так оно и есть — все три месяца она ощущала его эгоизм и терпела его невнимание.

— Я мечтала стать педагогом — какое тебе дело! — не глядя на него, быстро продолжала она. — Два года учебы побоку! Ты даже не подумал, что из-за этой газификации я не поспела в институт, что я снялась с комсомольского учета и мне негде стать на учет здесь! Ты даже свадьбу отложил из-за этой газификации! Даже свадьбу! А что я вижу теперь? Стряпаю, убираю, стираю, часами жду тебя — и никакой жизни... никакой! Никакой! Никакой!

Он подавленно молчал, а она выискивала новые упреки, потому что все, что она уже высказала, было слишком страшно, — любовь отлетала, сгорала в этом потоке обвинений. Стоит замолчать — и Саша скажет: ну что ж, очень жаль, значит, мы ошиблись оба.

— Это ужасно, — сказал Саша, — что же мне делать, Любушка? Что? Я так хотел, чтобы ты была счастлива.

Люба вскинула глаза и увидела доброе, несчастное лицо человека, поверившего каждому упреку.

Она подошла и прижалась к нему, всем телом ощущая счастье быть с ним.

— Ничего не делать, — прошептала она в жесткую шерсть его пиджака. — Я же счастлива. Ты знаешь. Очень.

— Нет! — воскликнул он. — Не утешай. Я был чурбаном! Эгоистом!

— Неправда! — крикнула она с возмущением. — Это я... я!

Часы показывали половину девятого. Через полчаса начиналась лекция — очень важная для него лекция академика Лахтина. Он отмахнулся от лекции и от самого Лахтина.

— Сядем, Любушка. Вот так. Нет, не отнимай руку. Послушай. Я должен все рассказать тебе...

Он и сейчас не мог рассказать ей все. Он привык оберегать ее от повседневных неприятностей. Вот Палька и Липатушка знали все, знали даже больше, чем он, потому что сами оберегали его счастье. Им троем ясно, что в Углегазе идет глухая борьба против нового проекта, что Колокольников и Вадецкий всеми силами торопят испытание своего проекта и всячески тормозят создание станции № 3, — вот подоплека бесконечных придирок, замечаний, требований испытать в лабораториях и теоретически обосновать десятки частных, которые быстрее и проще решились бы на месте.

Когда три друга злились, Люба рассудительно говорила:

— Ну что вы ворчите, хлопцы? Почему кто-то обязан верить вам на слово? Хорошее нужно доказать.

У нее был трезвый ум — настоящая Кузьменко, шахтерская дочь.

Как объяснить ей то, что они сами улавливают только чутьем?

— Мне сразу показалось странно, когда Колокольников восторженно сообщил об этих заграничных командировках. Уж очень он радовался, уж очень соблазнял нас — заграница, Париж, вернетесь франтами! И Вадецкий поздравлял, как друг сердечный. Конечно, сперва нас соблазнило. Но мы спросили: а что же мы там изучать будем? Ведь подземной газификации у них нет, в подземной газификации мы первые. И кто же будет осуществлять наш проект? Сунулись к Стаднику, а Стадник усмехается: покупают вас на заграничную приманку, а вы не продаетесь? И мы как-то сразу поняли...

Тут Саша запнулся. То, что произошло со Стадником, мучило его

непонятностью. С первого заседания комиссии он заметил, что на Стадника насакивают Алымов, Колокольников и кое-кто еще. Он помнил горькие слова Стадника: «Почему так? К днищу корабля обязательно присасывается всякая гадость!»

Третьего дня вместе с Олесовым они пошли по срочному делу к Стаднику. Они были записаны на прием и готовились сидеть в очереди. Но приемная была пуста и безмолвна, даже телефоны не звонили. Секретарша сидела на своем месте, сложив руки на столе, и не шевельнулась, когда вошли посетители. Впрочем, вошли не все. Олесов от порога исчез, растворился в воздухе, его не оказалось потом ни в наркомате, ни в Углегазе.

Они подошли к секретарше, секретарша сухо отчеканила:

— Обратитесь к одному на заместителей.

— А что Арсений Львович — заболел?

Секретарша поглядела на них странным, осуждающим взглядом и так же сухо повторила:

— Обратитесь к одному из заместителей.

Когда они пробились к Бурмину, тот был необычно тих и сразу подписал бумагу, которую должен был подписать Стадник, — рука, выводившая подпись, тряслась, буквы прыгали.

— Что же это с Арсением Львовичем? — тихо спросил Липатов.

И тогда Бурмин закричал, что нечего лезть не в свое дело, и обругал Липатова непристойными словами, и не было в этой ругани обычного душевного веселья, которое примиряло с нею самых обидчивых людей.

Как это могло произойти со Стадником? Почему? За что?

Стадник — враг? Это не уместилось в голове.

Саша любил ясность и всегда добивался внутренней ясности, прежде чем говорить с другими, даже с Любой. Тут никакой ясности не было. Он промолчал о Стаднике.

— Обстановка такая, что нам будут вставлять палки в колеса. Будут придирааться. А помимо того, у нас куча нерешенных вопросов. Нужна повседневная научно-исследовательская работа. Мы работали втроем, дополняя друг друга. Заменить меня некем.

Он думал еще и о том, что одного из них, Пальку Светова, ждут неприятности. Пусть одобрение проекта и назначение Пальки главным инженером сглаживает его вину, но кто поручится, что в удобную минуту ему не припомнят и фальшивую подпись на телеграмме, и самовольную задержку в Москве? Даже из скупого сообщения Катерины можно понять, что Пальке не избежать осложнений... Кто же выступит в его защиту? Как

оставить его в возможной беде?

Этого он не сказал, но Люба сама обронила задумчиво:

— Да и Пальку поддержать...

Он обнял ее и приник щекой к ее щеке.

— Когда нужно ехать?

— Послезавтра.

— А как с институтом?

— Сегодня в два часа иду к Лахтину. Отпрошусь на несколько месяцев, может быть, на год.

— Комнату... ликвидируем?

— Надеюсь, что нет.

— Я начну собираться понемногу. Только бы тебя приняли потом обратно!

— Любушка, мы вернемся не позже осени, я тебе обещаю.

Дверь открыла одна из дочерей академика.

— Федор Гордеевич отдыхает после лекции, — шепотом сказала она, неохотно впуская Сашу. — Вы не можете решить свое дело с директором?

— Я уже решил с директором, но я просто не могу... не могу уехать без согласия Федора Гордеевича.

— Вы... покидаете институт?

В ее вопросе прозвучала такая обида, что Саша и сам удивился — здесь, в нескольких шагах от человека, который мог стать его бесценным учителем, собственное решение показалось чудовищным.

Пожав плечами, она на цыпочках подошла к двери кабинета и заглянула в щелку.

— Идите, он не спит.

Лахтин сидел в кресле у круглого столика и перебирал в ящике карточки. Ноги его были закутаны пледом. В ярком сиянии погожего зимнего дня его лицо выглядело особенно старым.

— Пожаловал! — насмешливо сказал Лахтин и кивком указал на кресло по ту сторону столика. — Знаю, все уже знаю, прилетел и улетел, как птица перелетная. А я вот свое хозяйство в порядок привожу. Когда жизнь длинная, чего только не скапливается! — Он поднес к глазам очки, как лорнет, не заправляя дужки, прочел запись на карточке про себя, потом вслух — «Вдохновение — это гостья, которая не любит посещать ленивых». Хорошо сказано? Или вот так: «Вдохновение — это награда за каторжный труд». Тоже неплохо. Первое сказал Чайковский, второе — Репин. И оба правы. А Дмитрий Иванович записал по-иному: «В науке-то

без великих трудов сделать ровно ничего нельзя». Ровно ничего!

Саша с жадностью поглядывал на плотные листки, хранящие сотни интересных мыслей, которые в разное время остановили внимание Лахтина. Порыться бы в них самому, не торопясь, без отвлекающей догадки, что Лахтин читает свои записи неспроста...

Лахтин вдруг засмеялся и протянул Саше карточку. Саша прочел: «Вера в авторитеты делает то, что ошибки авторитетов берутся за образцы» (Лев Толстой).

— Тоже полезная мысль. Пусть она вас подкрепит, когда я начну навязывать вам свое понимание... или — как это студенты говорят? — капать на мозги. А вот другой великий старик — Гете. Читали вы его мысли в пересказе Эккермана? Достаньте и прочитайте, недавно вышел русский перевод. Тут об искусстве, но мысль и повернуть можно, была бы умная. Слушайте. «Произведение, которое первоначально не писалось для подмостков, не годится для них, и, как бы мы его ни приспособляли к сцене, оно всегда сохранит что-то неподходящее, чуждое ей». А ну-ка, поверните это соображение на технику, хотя бы на свою подземную газификацию! Повернули? Некоторые умники схватились за газогенератор и ну его пихать под землю! — Он снова заливисто засмеялся. — Граб-то, Граб! Светило! А за ним профессор Вадецкий этаким попрыгунчиком!

Он вытер слезы, набежавшие на глаза.

— Не думайте, что я не понимаю ценности вашего замысла. Вы пошли оригинальным путем и не пытались приспособлять созданное для одних условий к другим, подземным. Ваш замысел очень близок к наметкам, оставленным Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Химия! — другого решения тут быть не может. Ценю вашу идею, особенно рядом со спекулятивными поверхностными идейками некоторых авторитетов — им бы только скорей, скорей да к славе поближе.

— Значит, вы мое решение одобряете?

— Нет, не значит! — сердито воскликнул Лахтин. — Совсем не значит! У вас, Александр Васильевич, есть данные для работы в науке. Не люблю пышных слов вроде «талант» или «призвание», но у вас что-то такое чувствуется. Не хочу преувеличивать и своего значения в науке... но думаю, что мог бы способствовать вашему развитию. К нам в институт стремятся и не попадают многие молодые люди, мечтающие о науке. Вы попали. И вот очертя голову все бросаете, рискуя своим будущим!

— Федор Гордеевич, а вы? Вы никогда не бросали... не рисковали своим научным будущим?

Их взгляды скрестились — зоркие, вызывающие. «Ишь ты, куда

замахнулся! — говорил взгляд Лахтина. — С чем сравниваешь! Да и что ты знаешь обо мне, мальчишка?» А Саша с быстрой усмешкой отвечал: «Да, замахиваюсь, сравниваю и все знаю, — знаю, как вы бросились очертя голову в революционную борьбу, сидели в тюрьме, бежали за границу, возили подпольную литературу... Вы верили и ради этого рисковали своим будущим, а ведь талант-то у вас покрупнее!»

— Я не рисковал будущим, — помолчав, сказал Лахтин. — Я хотел завоевать его для себя и для всех... для вас, в частности, для молодого племени. А вы народом нашим выдвинуты в советскую науку и бросаете ее... ради дела увлекательного, но проблематичного. Что это? Легкомыслие молодости? Жажда быстрого результата, громкого успеха?

— Честность, — сказал Саша.

— Объяснитесь.

— Без меня товарищам будет трудней. Их могут смять — обстановка такая, что надо драться. И при этом неустанно разрабатывать теоретические основы газификации. Через несколько месяцев теоретические вопросы станут главными и начнут тормозить дело, если мы запустим научные исследования.

Академик молчал, нахмутив брови. Потом спросил, подыскивая слова поделикатней:

— А вы учитываете такой момент... такую возможность, что ваши усилия... не оправдаются и вы не добьетесь... существенного результата?

Саша подумал, прежде чем ответить.

— Нет! Не хочу учитывать. Вы рисковали ради одной важной цели, мы — ради другой. Техника коммунизма — вот что такое подземная газификация. Ликвидация самого тяжелого и опасного труда. Вывести миллионы людей на солнце — вот что это такое. Вы говорите, проблематично? Нет, главное — решено. Но если окажется, что это все же не решение, значит, надо поработать еще и еще, но решить.

— Конечно, задача интересная, — протянул Лахтин задумчиво.

— Не только интересная, но и необходимая, — неуступчиво сказал Саша и замолк, потому что даже этому чудесному человеку не мог сказать всего того, что стучалось в сердце, когда он думал о подземной газификации. Ужас долгих ночей возле умирающего дяди, надрывный кашель и тяжкий хрип его забитых угольной пылью легких... Шахтерские рассказы о взрывах и обвалах, смертях и отравлениях, запомнившиеся с детства... А потом, уже в институте, — горькие раздумья над неразрешимыми проблемами спасения людей от опасностей подземного труда, от неожиданных выбросов газа, все сметающих на своем пути... И

наконец, навсегда врезавшийся в память день, когда он со спасательной группой спустился в шахту и судорожно откидывал, откидывал обвалившуюся породу... и страшный миг, когда извлекли первое разможенное тело — и он узнал Вову...

— Видите ли, мой друг, — с особой мягкостью заговорил Лахтин, — все мы склонны преувеличивать, когда увлечемся. И это хорошо, если разум способен проконтролировать увлечение. Способны ли вы на такой самоконтроль — в минуты, когда ради увлечения ломаете жизнь?

— По-моему, да, — сказал Саша.

— Попробуем заглянуть в будущее. — Лахтин прищурился, будто и впрямь куда-то заглядывал. — В наш быстротекущий век соотношения бесспорных величин меняются чрезвычайно быстро, потому что наука-то зашагала стремительно! Химия и физика вышли на передовую линию прогресса и поведут его по-своему. наших предков устраивали дрова, но развитие металлургии и железных дорог потребовало угля, девятнадцатый век и начало двадцатого ознаменовались интенсивным развитием угледобычи. Сейчас уголь в нашем топливном балансе — подавляющая величина, но за ним поспешает нефть, и усиленная разведка нефти вызовет к жизни новые и новые промысла. Заметьте, транспорт перешел на новые двигатели и новые скорости. Аэропланы, автомобили, тепловозы — они требуют новых топлив. Нефть, бензин! Вероятно, мы подойдем к использованию попутных газов, которые с выгодой используют американцы, вместо того чтобы сжигать в факелах, то есть пускать на ветер золото! Вероятно, мы научимся применять и солнечную энергию, и энергию, заключенную в атоме...

Он смолк и снова занялся карточками, не то забыв продолжить свою мысль, не то разыскивая что-то. Очки странно меняли его массивное лицо, сквозь стекла глаза казались больше и голубее, а морщины на веках резче. Саша смотрел на его умное старческое лицо и вдруг до слез пожалел, что расстанется с этим человеком, что видит его, быть может, в последний раз.

— Ага, вот оно! «Недалеко то время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой источник силы, который даст ему возможность строить жизнь, как он захочет. Это может случиться в ближайшие годы, может случиться через столетие. Но ясно, что это должно быть». Такую мысль Владимир Иванович Вернадский высказал в тысяча девятьсот двадцать втором году. Думается, теперь мы несколько ближе к решению задачи.

Саша широко раскрыл глаза. Ему не приходилось ни читать этих строк, ни слышать о возможностях извлечения энергии атома. Это было

похоже на научную фантастику.

— Помечтаем еще немного, — усмехнувшись, сказал Лахтин. — Человечество часто начинает использование природных богатств с разбоя. Ради сегодняшнего барыша само себя грабит. Так и с горючими ископаемыми — ведь если подумать, сжигание угля и нефти в топках есть варварство, так как сжигаются бесценные химические продукты, способные дать гораздо больший эффект! Но мы научаемся, пока только научаемся хозяйствовать более разумно и совершенно. Подумайте, не придет ли пора, когда мы доберемся до кипящей в земных недрах магмы, чтобы по трубам, с глубин двадцати — тридцати километров, извлечь из дарового и неугасимого котла любое потребное количество тепла?..

Саша подумал и сказал:

— Вероятно, так и будет. Когда мы технически сумеем вести бурение до таких глубин. — Подумал еще и спросил: — Федор Гордеевич... почему вы заговорили об этом со мной — сегодня?

— Да потому, мой друг, что проблем интереснейших великое множество. И вам предоставлена возможность занять свое место в развитии науки. Не опрометчиво ли бросать широкую дорогу научного творчества ради практического осуществления задачи, пусть и занятой, и весьма прогрессивной, но... не до конца решенной?

— Тем более нужно ее решить до конца! — воскликнул Саша. — Я понял ваши слова о новых топливах и энергиях. Но можно ли оставить подземный труд еще на несколько десятилетий только потому, что в будущем удастся извлечь тепло прямо из недр планеты?

Лахтин лукаво усмехнулся;

— Вы, оказывается, мастер спорить. Ну а как быть с тем, что наш добрый старый уголь вытеснится уже существующими и добываемыми топливами?

— Федор Гордеевич, вы, наверно, сами не верите, что человечество оставит лежать в земле без употребления несметные залежи угля!

— А если другие источники тепла выгоднее? — настаивал Лахтин с тем же лукавством.

— Я думаю, Федор Гордеевич, что новые топлива и энергии дадут огромный скачок прогресса, но тем самым вызовут и огромный рост потребностей.

Теперь Лахтин смотрел на Сашу серьезно и пристально, будто вглядываясь в самую его человеческую сущность.

— Очень хорошо, Александр Васильевич, когда человек может сказать — верую. И еще лучше, если дерзает добавить — и сделаю! Но, может

быть, все-таки... Вы свое сделали, принцип нашли, теперь начнется период испытаний и разработок... Надо ли вам, именно вам, тормозиться на опытной установке вместо работы в науке? Ведь и в институте будут решаться отдельные теоретические проблемы подземной газификации!

Саша вздохнул и ответил сдавленным голосом:

— Я все взвесил, Федор Гордеевич. Мне было нелегко принять решение. Если бы я передумал и остался у вас — а мне хочется остаться! — это было бы подлостью. Стоит ли вам растить ученого, способного на подлость?

Лахтин снял очки, протер заслезившиеся глаза и прикрыл их пергаментными веками. Голова его поникла, сквозь голубоватую седину волос была видна серая сморщенная кожа. И снова Саша с болью ощутил, что видит эту могучую голову в последний раз.

— Ну что ж, Александр Васильевич, — сказал Лахтин, открывая ласково блеснувшие глаза, — как я понимаю, ваша затея отнимет у вас год, а то и два. Желаю вам удачи. Мне хотелось бы увидеть вас опять в нашем институте. Как только сможете, я приму вас... если к этому времени сам буду.

Когда Саша вернулся домой, Люба выжимала и развешивала в кухне белье.

— Не хотелось везти грязное, — сказала она, пряча покрасневшее от слез лицо.

Он помог ей. Он был слишком взволнован, чтобы говорить. Они вернулись в комнату, где на стуле уже стоял раскрытый чемодан. Люба склонилась над чемоданом и твердо сказала:

— Вот что, Саша. Не надо обманываться. Я знаю, ты не отступишь. И не надо никаких обещаний, я же все равно... с тобой.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](http://Royallib.com)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)